

**ИГОРЬ
ФЕСУНЕНКО**

**По обе стороны
экватора**



Annotation

Книга известного журналиста и политического обозревателя Центрального телевидения рассказывает о его работе в странах Латинской Америки, в Испании и Португалии за последние двадцать лет. Строительство социализма на Кубе, борьба никарагуанского народа против контрреволюционных банд, «революция гвоздик» в Португалии, культура, искусство, жизнь и быт далекой Бразилии — вот неполный перечень тем в воспоминаниях журналиста. Книга адресована широкому кругу читателей и прежде всего молодежи.

-
- [И. С. Фесуненко](#)
 - [Необходимые пояснения](#)
 - [1 часть](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [2 часть](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)

- Промежуточный финиш
 - notes
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
-

И. С. Фесуненко
По обе стороны экватора

Необходимые пояснения

Это книга воспоминаний. Рассказ о двадцати годах работы в разных городах и странах по обе стороны экватора.

Начинается она с того момента, когда автор отправился в свою первую и, пожалуй, самую трудную командировку — в Бразилию. Почему самую трудную? Потому что страна была совершенно чужая и незнакомая, а автор — молод и неопытен. Поэтому процесс познания чуждой и поначалу стопроцентно непонятной жизни бразильцев шел параллельно с обретением опыта, открытием множества больших и малых секретов профессии. И получилось так, что воспоминания о тех, ставших уже далекими годах стали в какой-то мере исповедью, размышлениями о собственной работе, о просчетах и неудачах, обретениях и радостях, сопровождающих труд журналиста.

Сомерсет Моэм сказал однажды: «Пускать публику за кулисы опасно. Она легко теряет свои иллюзии, а потом сердится на вас, потому что ей была нужна именно иллюзия; она не понимает, что для вас-то самое интересное то, как иллюзия делается». Именно этому риску подвергает себя автор этой книги: он приглашает читателя за кулисы журналистской работы. Он рассказывает не только о встречах с разными людьми из разных стран, как это принято в мемуарной литературе, но он вместе с тем пытается объяснить, каким образом эти встречи переплывались потом в интервью, репортажи, фильмы.

Начинается этот рассказ, как уже было сказано, с Бразилии, где автору пришлось работать в трудную пору: в середине 60-х годов в этой стране пришел к власти, совершив государственный переворот, режим военной диктатуры. Сопровождался он всеми вытекающими из сути такого режима неприятными последствиями: подавление демократических свобод, жестокое угнетение народа.

Но с той же неумолимой логикой, с какой день приходит на смену ночи, обанкротившиеся генералы вынуждены были в конце концов уйти со сцены. В последние годы в жизни Бразилии происходят перемены к лучшему, новое гражданское правительство прилагает немалые усилия по консолидации демократических преобразований. Заметно расширились всесторонние связи с Советским Союзом и другими социалистическими государствами. Растущие чувства

симпатии двух великих народов привели к созданию осенью 1986 года Общества культурных связей СССР — Бразилия.

Интересно, что почти одновременно сходные процессы происходят в соседних с Бразилией странах — Аргентине и Уругвае.

Да и вообще над Латинской Америкой ощущается дыхание свежих ветров. Видимо, есть немалая доля истины в прозвучавшей однажды в Вашингтоне фразе: «Куда пойдет Бразилия, туда направится и вся Латинская Америка». Да, авторитет и влияние Бразилии не только на своем континенте, но и во всем мире неоспорим. Объясняется это разными причинами. Не только гигантскими размерами или численностью населения, и даже не столько всевозрастающей экономической мощью «тропического гиганта», уже сумевшего войти в десятку самых промышленно развитых держав западного мира. Впрочем, не только «в десятку»: по размерам валового национального продукта страна эта встала уже на восьмую ступеньку среди стран капитализма, уступая пока место только семи «грандам» во главе с Соединенными Штатами. Но дело, повторим, не только в этом. В последние годы Бразилия снискала уважение мирового сообщества своей последовательной миролюбивой политикой, стремлением противопоставить нагнетаемой в Вашингтоне истерии и лихорадке спокойствие, уравновешенность, стремление к созданию атмосферы сотрудничества и взаимопонимания в отношениях между государствами.

Эти принципы разделяются и поддерживаются бразильским народом, ибо он по складу своему, по духу и характеру глубоко демократичен и миролюбив. Бразилия мало воевала, хотя и внесла свою посильную лепту в разгром фашизма во второй мировой войне, о чем напоминает величественный Пантеон в Рио-де-Жанейро, где захоронены солдаты, офицеры и моряки, павшие в той войне. Бразильцам свойственны дружелюбие, гостеприимство, они добры и сердечны. Именно эти черты бросаются в глаза каждому, кто приезжает в эту страну. Именно такие воспоминания остаются в душе и сердце каждого, кто прожил в Бразилии пять дней или пять лет. И именно об этом — о национальном характере, о типических чертах, увлечениях, слабостях, достоинствах простых бразильцев — и пойдет речь в первой части этой книги, посвященной стране, за которой с уважением и интересом следит и Латинская Америка, и весь остальной мир.

Вторая часть объединила воспоминания о некоторых эпизодах работы автора на других широтах и меридианах: в Колумбии и Эквадоре, на Кубе, в Португалии, Испании и Никарагуа. На этих страницах речь в большинстве случаев тоже идет о людях рядовых, не слишком приметных. Хотя ситуации, в которых они живут и действуют, весьма разнообразны и далеко не всегда спокойны и безмятежны. Куба — в разгаре социалистического строительства. Португалия — в накате «революции гвоздик». Испания — на переломе от франкизма к новому обществу. Никарагуа — отражает империалистическую агрессию. Лишь Колумбия и Эквадор оказались на страницах этой книги в весьма редкие для них моменты относительной стабильности и спокойствия, хотя и в таких ситуациях работа журналиста далеко не всегда может оказаться спокойной и безмятежной.

Многоликость и сложность современного мира и наряду с тем удивительное единство и общность судеб, сходство стремлений и помыслов обитателей нашей планеты — это, пожалуй, единственный бесспорный вывод, к которому пришел автор книги.

...Впрочем, прежде чем говорить о финале, нужно до него добраться.

1 часть

Как это было в Рио

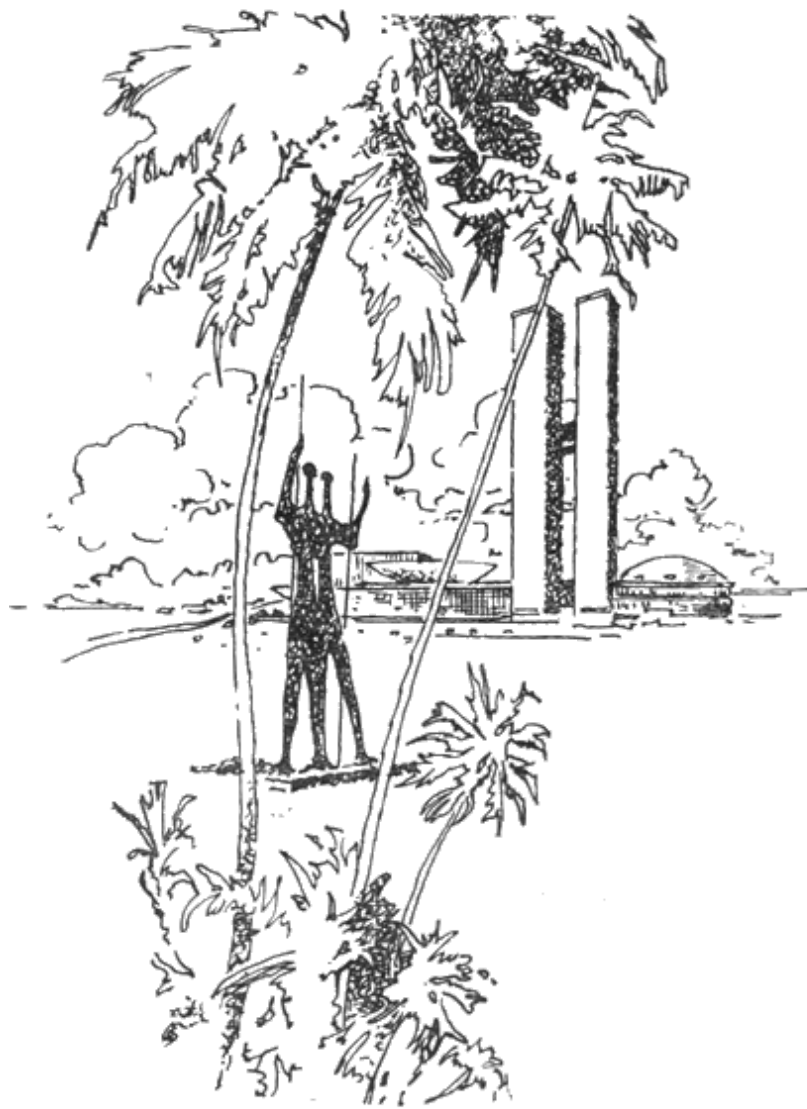
«Город Рио-де-Жанейро находится на восточном побережье Бразилии, на западном берегу залива Гуанабара, чуть севернее Тропика Козерога. Его координаты: 22°43' 23" южной широты и 43°45' 43" западной долготы.

Времена года начинаются в следующие сроки: осень — 21 марта, зима — 21 июня, весна — 23 сентября, лето — 21 декабря. Однако между ними нет большой климатической разницы. Листья с деревьев не падают. Заметны лишь небольшие колебания температуры... Лето — декабрь, январь и февраль — весьма жаркое. И поэтому, если вы намереваетесь посетить Рио в этот период, рекомендуем брать с собой только очень легкую одежду».

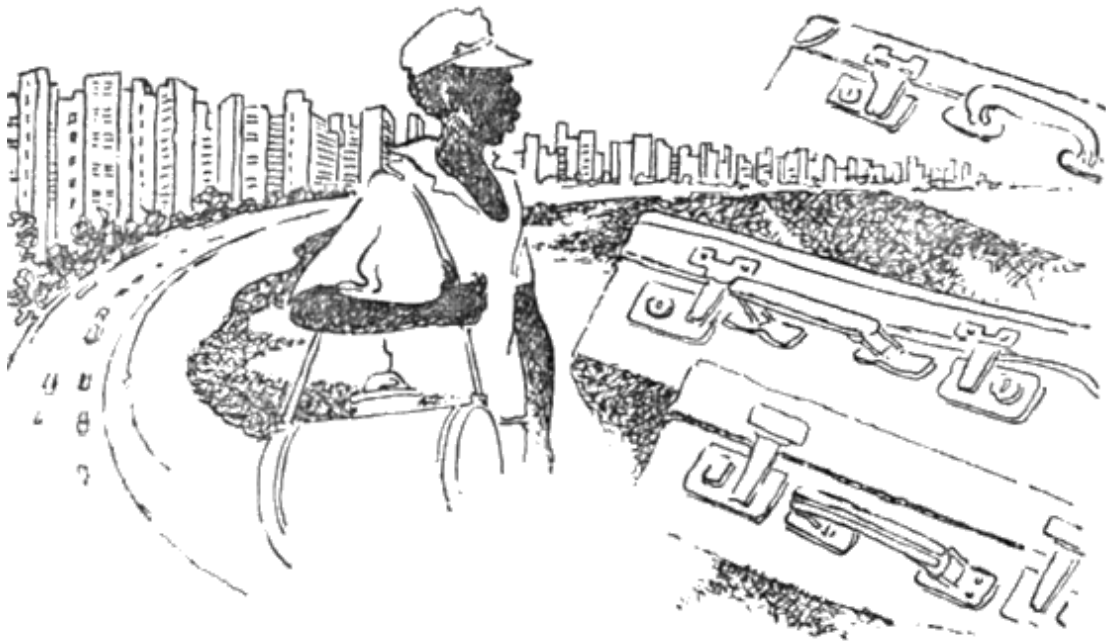
*Из путеводителя «Туринг-клуба Бразилии»:
«Глобтроттер Рио-де-Жанейро»*

«История Колумба повторяется. И мы часто открываем то, что уже давно существует и существовало до нас и только не было занесено на наши несовершенные карты».

Виктор Шкловский



ГЛАВА ПЕРВАЯ
Жареные бананы



«Оревуар» — «До свидания», — пропела стюардесса, одарив нас хорошо отработанной улыбкой. Из прохладного салона лайнера «Эр-Франс», завершившего перелет из Парижа в Рио-де-Жанейро, мы ступили на трап и окунулись во влажную духоту тропической ночи. С этого мгновения жизнь расчленилась на две части. Все, что происходило с нами до сих пор — день, год или десять лет назад, — ушло, словно провалившись куда-то в пропасть. Все, что ожидало впереди — через год, через неделю или через полчаса, — все это было пугающе неведомым. Среди обвешанных сумками пассажиров мы брели по горячим бетонным плитам аэродрома к светящимся неоновым огням «Добро пожаловать в Рио-де-Жанейро!» — «Сидади Маравильоза!» — «в Прекрасный Город!», наши ноги подгибались от усталости, а через сотню метров нам предстояло знакомство с бразильскими пограничниками, таможенниками и чиновниками санитарного контроля. И хотя все бумаги были у нас в полном порядке, и справки из санэпидстанции не утерялись в предотъездной спешке, и в паспортах красовались въездные визы, неумолимо приближавшееся общение с пограничниками и таможенниками вызывало в сердцах ощущение тоскливой тревоги: у нас с женой и дочкой на троих было полтора десятка туго набитых чемоданов и саквояжей, и я просто не мог представить себе, что придется вскрывать этот из последних сил

затянутый ремнями скарб, ибо знал, что, открыв любой из этих чемоданов, закрыть его снова уже никак невозможно.

Часы при входе в зал аэропорта показывали двадцать три часа. Вылетели мы из Москвы в шесть утра. С учетом поясной разницы во времени перелет, считая два часа на посадку в Париже, занял двадцать три часа. Таким образом, целые сутки без одного часа мы находились в пути. И вот оказались у финиша: за высокой стойкой из коричневого дерева смуглокожий офицер-пограничник протянул руку за нашими паспортами.

...Я прекрасно знаю, что нет в журналистике более затасканного штампа, чем рассказ о прибытии автора к месту назначения и радостном изумлении пограничника, который, конечно же, впервые в жизни берет в руки советский паспорт и произносит вдохновенный экспромт о мире и дружбе между нашими «далекими, но такими близкими» странами. Наш офицер ничему не изумился. Он равнодушно шлепнул в оба паспорта — мой и жены — печати, регистрирующие пересечение границы, и повернулся к следующему пассажиру.

С облегчением вздохнув, мы проследовали к неторопливо ползущей ленте транспортера. Когда багаж был найден и собран в монументальную пирамиду, таможенник, которому мы подали заполненную декларацию, проявил не менее восхитительный либерализм: невозмутимо начертил мелом на каждом из наших пятнадцати чемоданов какой-то загадочный иероглиф, после чего багаж был взят под опеку носильщиком-негром. Его тележка превратилась в передвижной небоскреб. Наши соседи по рейсу — поджарые джентльмены с маленькими саквояжами и аккуратно опоясанными «молниями» чемоданами — с легким удивлением смотрели на эту гору, и мне было стыдно. Хотелось объяснить джентльменам, что я прибыл в этот город на много лет и мой объемный и тяжелый багаж — это пишущие машинки, кинокамеры, магнитофоны и прочая корреспондентская снасть, которая нужна мне для работы. С ее помощью я буду знакомить советских людей с жизнью далекой и неведомой им страны Бразилии.

Но джентльменам не было до нас никакого дела. Элегантно огибая нашу медленно ползущую тележку, они легко скользили к выходу. Я свирепо им завидовал. Завидовал их непринужденной легкости, аристократической осанке, спокойной уверенности в себе, их легким,

немного усталым и чуть снисходительным улыбкам. Да, эти джентльмены могли пройти, не моргнув глазом, через любой пограничный и таможенный контроль.

...Нас встречали. Никто из встречавших не знал меня в лицо, но по смятению во взоре и по обилию багажа нас молниеносно вычислили в разношерстной толпе пассажиров наши соотечественники и коллеги, работавшие в Рио: корреспонденты ТАСС и «Правды» и пресс-атташе советского посольства. Со стоном облегчения мы припали к соотечественникам, которые хорошо знали свое дело: расплатились с носильщиком, рассовали наши чемоданы, коробки и узлы в три машины, усадили нас на мягкие сиденья и повезли куда-то. Куда именно, мы даже не отваживались спросить.

Первое ощущение от встречи с незнакомым городом врезается в память навечно. И сейчас, спустя два десятка лет, я помню так хорошо, словно это было вчера, ночную калейдоскопическую мозаику, откадрированную окном посольского «шевроле»: бегущие за автомобильным стеклом темные стены пакгаузов, желтый свет фонарей, обливающий неподвижные кроны пальм, бело-красные всполохи реклам, серую громаду кафедрального собора на авениде Варгаса, затем — парк Фламенго, за ним — белые небоскребы, слева — черный океанский залив Гуанабара с рассыпанными в беспорядке огоньками судов, а справа, на невидимой горе Корковадо — ярко освещенная фигура Христа с распростертыми, словно пытающимися обнять весь мир, руками.

В открытые окна машины бьет упругий, влажный, пахнущий сладковатой и пряной гнилью воздух. Гудят, взвизгивают и даже заливаются какими-то немислимыми руладами автомобильные клаксоны и сирены. Поют на асфальте шины. И постепенно исчезает смятение и проходит беспокойство.

Проскочив через ярко освещенный туннель, пресс-атташе торжественно произносит: «Внимание! Въезжаем на Копакабану!»

Машина принимает вправо и тормозит у подъезда, над которым ярко светится вывеска «Плаза-Копакабана-отель». Проворные негры в коричневых мундирах накидываются на наши чемоданы, тащат их в холл. Я заполняю карточки, напоминающие таможенные декларации. Дежурный администратор, как и пограничник, тоже не выказывает никаких признаков удивления при виде синих советских паспортов. И

это вызывает легкую досаду: было бы чертовски приятно услышать недоверчивый возглас: «Так вы русский? Прямо из Москвы? Не может быть!» Мне хочется, чтобы, как я это читал в десятках путевых очерков моих опытных и маститых коллег, и меня тоже сразу же после прибытия на бразильскую землю хлопали по плечу и сердечно приветствовали представители местной общественности. Мне хочется, чтобы, окружив меня плотной стеной, зарубежные друзья расспрашивали о непревзойденных красотах Московского метрополитена, восторгались бесплатным медицинским обслуживанием и отказывались поверить, что у нас, в Союзе, такая крошечная квартирная плата. Увы, ничего подобного пока не происходит.

Потом я пойму, что «Плаза-Копакабана-отель» — это традиционная обитель для наших соотечественников, прибывающих в Рио. В любой стране мира, с которой мы поддерживаем дипломатические отношения, экономические, торговые или культурные связи, имеются такие гостиницы, недорогие и надежные, проверенные опытом не одного десятка дипломатов, торговых работников, журналистов и спортсменов.

Поэтому и не удивляются в таких отелях нашим паспортам портье: привыкли они к советским людям, и эта привычка — гораздо более важная и характерная примета времени, чем восторги и ахи. Впрочем, я это понял гораздо позже, а поначалу был прямо-таки удручен, почувствовав себя в положении капитана Скотта, обнаружившего на Южном полюсе норвежский флаг, оставленный месяц назад Амундсеном.

...Анкеты заполнены. Портье ударяет ладонью по какой-то кнопке на стойке. У лифтов отзывается мелодичный звонок, и через мгновение у стойки появляется коренастая фигура в коричневом сюртуке, обшитом желтыми кантами. Глаза лифтера невозмутимо холодны, и во взгляде не чувствуется ни малейшего подобострастия.

Флавио! Этот сеньор — в двести тринадцатый номер, — говорит дежурный.

Лифтер нагибается, каким-то цирковым трюком берет сразу четыре чемодана и легко доставляет их к грузовому лифту. Администратор жестом приглашает нас проследовать к лифту пассажирскому. Мне не нравится эта ситуация: мы едем в одном лифте, багаж в другом...

Пресс-атташе, уловив сомнения, хлопает меня по плечу и подталкивает к пассажирскому лифту. «Все будет о'кэй!» — говорит его взгляд.

Действительно, все получается «о'кэй»: мы и чемоданы оказываемся в номере одновременно. Я сую Флавио двухдолларовую бумажку. Не теряя чувства собственного достоинства, он кладет ее в карман и гордо удаляется.

Войдя в номер, мы неуверенно озираемся, подавленные размерами комнаты, обилием мягкой мебели и духотой. Кто-то из сопровождающих нас заботливых соотечественников распахивает окно. Кто-то из не менее заботливых, но более опытных сопровождающих с криком «Напустите комаров!» тут же захлопывает его и включает «эркондишен»: аппарат для охлаждения воздуха.

Еще один сопровождающий спешит в санузел и проверяет там наличие горячей и холодной воды. Мы идем за ним. Все в порядке: вода есть, что, как мы узнаем впоследствии, случается в Рио далеко не всегда.

Мы возвращаемся в комнату, уже изрядно охлажденную кондишеном, рассаживаемся по кроватям, и заботливые старожилы начинают торопливый инструктаж новичков: «Телефон посольства... Телефон пресс-атташе... На всякий случай — телефон „скорой помощи“». «Но если вдруг почувствуете себя плохо, звоните не в „скорую помощь“, а консулу. Вот его номер...»; «Обедать лучше не в ресторане при отеле, а в забегаловке за углом. Тут совсем рядом есть дешевый и чистенький ресторанчик „Эль Сид“»; «На чай официантам давать десять процентов»; «Привезенные из Москвы доллары следует менять на местные крузейро в банке через дорогу»; «Не забывать при этом взять квитанцию, подтверждающую обменный курс, который скачет чуть ли не по три раза на дню»; «С двенадцати до двух в банке перерыв»; «Купаться на пляже осторожно: далеко не заплывать»; «На пляж — он в сотне метров, справа от отеля — можно ходить прямо в купальных костюмах. Возвращаться с пляжа — тоже. Но пользоваться при этом только „элеватор де сервисо“ — „служебным лифтом“»...

Это показалось нам невероятным, но на следующий день мы собственными глазами убедимся в чудесной простоте нравов этого города, позволяющего своим обитателям шествовать по улицам в купальных трусах. Мы убедимся, что даже в автобус можно влезть прямо с пляжа — босому, полуголому, обсыпанному песком! — следует

только накинуть на мокрое тело рубашку и не садиться на обитые клеенкой кресла.

Так начинается долгий процесс адаптации, освоения сложных, загадочных, курьезных, непонятных и анекдотических традиций, правил, обычаев и нравов страны, в которой тебе предстоит прожить большой кусок жизни. Страны, которую тебе нужно будет сначала понять, затем — заинтересоваться ею, а потом — полюбить. Потому что без интереса к стране и к людям, которые тебя окружают, ты не сможешь работать по-настоящему. А если не работать по-настоящему, то зачем тогда ехать? Зачем лишать себя и свою семью на эти долгие годы родного дома, друзей и всего того, к чему вы привыкли, что вам нужно, что вы любите?

Утром нам принесли завтрак: кофе с молоком, джем в аккуратных круглых коробочках из фольги. Желтые шарики масла. Сахар. Хрустящие булочки. И большие ломти загадочного плода, напоминающего дыню: зеленая кожура, темно-розовая мякоть и прилипшие к ней круглые черные шарики. Помятуя, что опыт — кратчайший путь познания истины, мы для начала осторожно попробовали на вкус шарики... Показалось явно несъедобно. Созрело мудрое решение кушать мякоть, которая оказалась прохладной и сочной, как у дыни, но почему-то почти не сладкой. Посыпали ее сахаром и возликовали. Наслаждение усиливалось от сознания, что стоимость завтрака входит в плату за номер.

Потом мы дерзнули предпринять первую самостоятельную вылазку из отеля. Со смешанным чувством опьянения своей смелостью и страха, что за эту смелость придется чем-то платить, спустились на лифте, вручили ключи равнодушно читавшему газету портье и вышли на улицу.

Перед нами лежал незнакомый город, загадочная страна, таинственный мир, переполненный сюрпризами, подстерегавшими нас на каждом шагу. Я проверил наличие в кармане телефона посольства — на всякий случай! — и нетвердой ногой ступил на тротуар, словно на лед, который мог оказаться слишком тонким и подломиться.

Нет, не подломился. Обошлось. Но все же что-то настораживало. Что именно?.. Внимательно осмотрелся, прислушался к собственным ощущениям и понял, что необычным показался даже тротуар: вместо привычного асфальта под ногами извивались черно-серые волны

мозаики, выложенной из миллионов крохотных камешков — осколков окружающего город скал. Вымощивать тротуары такими камешками — единственно приемлемое решение в городе, где температура летом перехлестывает сорок градусов в тени и где дамские каблучки безнадежно тонули бы в плавящемся асфальте! Все это мы осознали впоследствии, летом. А в тот день — в июне — в Рио в разгаре была зима, температура воздуха держалась на невыносимо низком для аборигенов уровне: где-то около 22 градусов. Выше нуля, разумеется. И знаменитая пятикилометровая песчаная дуга Копакабаны, которая действительно оказалась в сотне метров от отеля, была почти безлюдной. Никакой уважающий себя «кариока» — житель Рио, не полезет в воду в такой холод!

Мы не были кариоками и потому не смогли удержаться от искушения: разулись, вошли в воду, ощутили ласковый шелест прибоя и с радостным визгом бросились обратно от надвигающейся волны.

Купальщиков было мало. Видимо, такие же «грингос» — иностранцы, как и мы, они сидели на гостиничных полотенцах, млея под уже набирающим силу солнцем, и прислушивались к хриплым голосам разносчиков холодного зеленого чая матэ, апельсинового сока — «ларанжады», и, разумеется, кока-колы.

Мы пошли вправо вдоль полосы прибоя. Сначала по песку, потом — по широкому мозаичному тротуару, на котором стояли тележки торговцев мороженым, сушеной картошкой, прохладительными напитками, сидели на своих ящиках негрятя — чистильщики ботинок, и лежали продававшиеся для грингос пляжные принадлежности: козырьки от солнца, соломенные циновки, резиновые шлепанцы, черные очки.

Слева были пляж и море. Справа — серая стена прижавшихся друг к другу зданий, этажей в десять-двенадцать. Почти все первые этажи сверкали витринами магазинов, но мы со вчерашнего вечера уже знали, что здесь, на Копакабана, ничего покупать нельзя: все очень дорого. Те же товары, сообщили нам предупредительные и мудрые соотечественники, можно найти по куда более умеренной цене в центре города на улице Алфандега.

Мы шли, любуясь витринами, и наслаждались приятным сознанием своей осведомленности: уж кого-кого, а нас этим ловким торговцам одурачить не удастся! Пускай они околпачивают доверчивых

толстосумов — янки, а мы подождем, когда соотечественники отвезут нас на Алфандегу.

Маленький негритенок схватил меня за брюки: «Эй, мистер, вай граша, вай?» Моих в то время еще очень скудных лингвистических познаний было маловато для точной расшифровки этого вопроса, но я понял, что он предлагает мне почистить башмаки. Их были здесь сотни, таких мальчишек, а клиентуры ощущался явный дефицит, и я решил благодетельствовать юного представителя эксплуатируемого класса. Великодушно кивнув головой, я гордо водрузил ногу на замызганный разноцветной ваксой ящик, и черные детские руки замелькали вокруг моего скромного штиблета. Мальчишка работал ловко и быстро, и когда в коричневом скороходовском блеске засияло солнце, я чуть ли не впервые увидел, сколь прекрасными могут оказаться мои не первой молодости башмаки, и, похлопав парнишку по плечу, решил щедро вознаградить скромного труженика. Изнемогая от собственной щедрости, я протянул ему доллар, отлично сознавая, что этой зеленой бумажкой можно было бы оплатить чистку сапог по меньшей мере взвода солдат. Увы, мальчишка завопил «Майс, майс!», требуя прибавить. Я удивился, протянул еще один доллар и в ответ опять услышал: «Майс, майс!» Это показалось мне чем-то, напоминающим разбой на большой дороге. Спрятав деньги в карман, я попытался объяснить моему юному собеседнику, что перед ним — не какой-нибудь бессовестный янки — эксплуататор трудового народа, не посланец империалистических монополий, безнаказанно грабящих Латинскую Америку.

Вдохновенный урок политграмоты прозвучал гласом вопиющего в пустыне. Выслушав меня, мой юный собеседник постучал щеткой по ящику и сказал «Дэйс», растопырив для ясности перемазанные ваксой пальцы. «Дэйс! Дэйс!» — радостно возопили, кивая головами, его коллеги, обступившие меня.

«Десять?! Десять долларов за чистку пары башмаков?» Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что опытный и хитрый чертенок привычным глазом расшифровал во мне чужестранца, впервые ступившего на бразильскую землю и еще не успевшего освоить ни местные нравы, ни курс валюты. Я изумленно воззрился на этих мальчишек, они дружно вопили «дэйс» и хитро глазели на простофилю гринго, доверчиво попавшего в западню.

Я понял, что попытка стать филантропом провалилась, и вспомнил — увы, с опозданием! — рассказ одного коллеги, который, напутствуя меня незадолго до отъезда, предупреждал, что в Латинской Америке вообще и в Бразилии в особенности ни в коем случае нельзя давать монетку негритенку в фавеле, ибо в следующее мгновение тебя растопчут тысячи других соискателей монет. Я вновь мобилизовал свой небогатый словарный запас и сложил фразу, объясняющую моему юному собеседнику, что если он не удовольствуется одним долларом, я немедленно позову полицейского и спрошу у него, сколько стоит чистка башмаков. И уж тогда-то заплачу строго по таксе. Для вящей убедительности я кивнул головой на прогуливающегося неподалеку сержанта. Мне стыдно сейчас в этом признаваться, но это было действительно так... Мальчишка внимательно посмотрел на меня, понял, что я и в самом деле способен на такой низкий поступок, вздохнул, взял доллар, скомкал его, сунул в ящик, поблагодарил меня учтивым «обригаду» и отправился на поиски очередной жертвы.

Много можно вспоминать о впечатлениях и приключениях того первого дня. О том, как попытались мы сесть в автобус через переднюю дверь, где, как оказалось, можно только выходить. Как в какой-то крошечной бакалейной лавке с изумлением обнаружили несколько ломтиков черного хлеба, тщательно упакованных в целлофан и оцененных лавочником в пять раз дороже, чем роскошный белый батон. Как во время первого нашего обеда в подсказанной соотечественниками забегаловке опростоволосились, заказав три порции куриного супа, и потом не знали, что с ними делать. Как были потрясены отвратительно кислым вкусом светло-желтой горчицы и сражены наповал нестерпимо едким, сжигающим нёбо и язык соусом «пири-пири». Как читали на автобусах загадочно-манящие названия еще неизвестных нам городских кварталов: «Фламенго», «Леблон», «Ипанема», «Ларанжейрас» и пугающее «Жакарепагуа». Как, вернувшись в отель, спутали «служебный» и «социальный» лифты. Как мучительно долго пытались разгадать секрет запоров на окнах, а потом, когда наконец распахнули их, забыв вчерашние предупреждения соотечественников, в комнату влетели миллиарды mosquitos и накинудись с ликующим писком на наши экзотические, с их точки зрения, белые тела.

В любой стране приобщение к незнакомой жизни всегда сопровождается массой недоразумений. Иногда смешных, иногда

болезненных и обидных, а случается — трагических.

Но когда с неизбежными потерями, недоразумениями и раздражениями период адаптации пройден, где-то месяца через три, а то и через год, начинаешь ощущать себя старожилом, и со свойственной всем нам, русским людям, щедростью делишься своим нелегким опытом с очередным новичком-соотечественником, приехавшим после тебя: «Воду из крана не пить», «Кондишен по возможности не включать: от разности температур между прохладной комнатой и жаркой улицей можно простудиться», «Бананы покупать мелкие, желтого цвета. А большие, с зеленой кожурой не покупать: их в сыром виде не едят, а жарят как гарнир к мясу».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мой дом — моя крепость



Радостное возбуждение от встречи с прекрасной и диковинной страной долго не исчезало. Но где-то на третий или четвертый день восторженного знакомства с «Сидади маракульоза» я вдруг вспомнил, что послали меня в Бразилию не только для того, чтобы любоваться красотами Копакабаны и воспитывать чувства классовой солидарности у юных чистильщиков обуви. Не пора ли приниматься за работу?.. А работа любого корреспондента, открывающего корпункт в чужой

стране, начинается с операции долгой и не имеющей ничего общего с «работой» в высоком смысле этого слова: с поисков квартиры.

И в этом крайне хлопотливом деле вам тоже всегда готовы оказать помощь всезнающие соотечественники-старожилы.

— Старик, будь мужественным! — сурово предупредил пресс-атташе Юрий. — С квартирами здесь дело швах. Если ты не миллионер — а я почему-то чувствую, что ты еще не миллионер — запасайся терпением.

Юра был прав: миллионером я не был. Средств, отпущенных бухгалтерией Гостелерадио на наем помещения, хватило бы в лучшем случае для аренды подержанной туристской палатки. Поэтому первым шагом на тернистом пути поиска квартиры стала отправка взволнованной телефонограммы начальству в Москву с просьбой о помощи.

В ожидании ответа мы с Юрием листали пухлые кипы газеты «Жорнал ду Бразил», расшифровывая телеграфно краткие объявления об аренде жилых помещений. Поскольку газета взимает плату за объявления построчно, заказчики всячески ужимают свои опусы, превращая их в подлинные шедевры миниатюризации. В переводе на русский эти ребусы звучали бы примерно так: «Жел. дип. б/д. сд. 3 мб. к., вс. уд., лод., в/м., м/пол., к. сл., 2 л., тел., газ, гар.», что означало: «Желательно для семьи иностранного дипломата без детей, сдается квартира из трех меблированных комнат со всеми удобствами, лоджией, видом на море, с ковровой обивкой пола, отдельной комнатой для служанки, двумя лифтами, телефоном, газом и местом в гараже для автомобиля». Далее указывался номер телефона, по которому можно было вступить в контакт с квартирным владельцем или его адвокатом, и обозначалась трехзначная сумма месячной арендной платы, сразу же повергавшая в прах все сладостные надежды и мечты, родившиеся секунду назад при упоминании лоджии и вида на море.

— Не кручинься, старик, — бодро говорил Юрий. — Все мы так начинали: читаешь объявления, вздыхаешь, ругаешься, ходишь по квартирам. Наконец, тебе кажется, что ты нашел именно то, что нужно: недорого, уютно, от посольства недалеко, булочная рядом. Начинаешь торговаться с владельцем, но в последний момент выясняется, что в доме часто отключается вода. Или окна выходят на улицу: нельзя спать. А когда находишь квартиру с окнами в парк, узнаешь, что там, где

много зелени, — много москитов, и ваша жизнь превратится в ад. Это, кстати, сушая правда, учти на будущее. Но не унывай: рано или поздно все образуется. Найдешь себе более или менее сносный вигвам и заживешь не хуже нас, старожилов.

Юра был, как всегда, прав: довольно быстро все и впрямь «образовалось». Родина-мать не оставила в беде блудного сына, и вскоре из Москвы пришла телеграмма, разрешившая арендовать квартиру «с учетом местных условий». А вслед за этим мы выудили в «Жорнал ду Бразил» и подходящее объявление, созвонились с хозяйкой квартиры и отправились смотреть то, что впоследствии стало гордо именоваться: «Корреспондентский пункт Советского телевидения и радио в Рио-де-Жанейро».

Должен заметить, что, хотя поиски жилья являются занятием весьма хлопотливым и долгим, этот процесс приносит все же несомненную пользу: посещая квартиры, беседуя с их владельцами, разглядывая «вс. уд. вкл. ком. для сл.», ты обретаешь едва ли не единственную благодатную возможность переступить черту, отделяющую бразильский «мой дом — моя крепость» от остального мира. Другого способа увидеть этих людей дома, в кругу семьи, пожалуй, никогда не представится.

Дело в том, что в Бразилии, как и в большинстве других западных стран, не принято звать к себе в гости никого, кроме родственников и самых близких друзей. Традиционное русское хлебосольство, нескончаемые украинские застолья, эпические кавказские тосты вызвали бы у европейца, американца или латиноамериканца в лучшем случае ироническую улыбку. Гостей за рубежом принято приглашать в ресторан, если это «нужные» люди, или в кафе, если это просто приятели. Тем более, что и в кафе, и в ресторан попасть в Париже или в Рио не составляет труда даже вечером в воскресенье, если это вам, конечно, по карману. Возиться с пирогами, жарить шашлыки или замешивать пельмени испанская, французская или бразильская хозяйка дома категорически не любит. Хотя, разумеется, нет правил без исключений, и за пять лет жизни в Бразилии мы с женой раз пять побывали на весьма шумных и хлебосольных домашних «фейжоадах».

Но эти редкие исключения лишь подтверждают возведенное в абсолют в Англии и уважаемое в других странах Запада правило: «Мой дом — моя крепость». Я это быстро смекнул и не без интереса

осматривал сдававшиеся внаем квартиры, пытаюсь приглядеться, как живут эти люди, почему они сдают жилье, как они реагируют, узнав, что их возможный квартиросъемщик — русский. Говорю «русский», потому что именно так называют обычно за рубежом всех нас, советских людей.

Помнится, первое, что бросилось в глаза, когда, подыскивая квартиру, я обходил рيو-де-жанейрские дома, это отсутствие книг. Иногда попадались квартиры с двумя-тремя полочками, заполненными изящными, хорошо переплетенными томиками. Но чувствовалось, что выполняют они сугубо декоративную функцию: переплеты уютно гармонировали с обоями либо играли роль яркого пятна на стене гостиной. Позднее я узнал, что в бразильских мебельных магазинах книжные шкафы или стенки даже не входят в стандартные гарнитуры. И раздобыть книжный шкаф или стеллаж в Рио — задача, куда более трудная, чем приобретение, скажем, дивана-кровати, передвижного столика-бара или кресла-качалки.

Второй удивившей меня особенностью бразильского «жилфонда» была безукоризненная чистота подъездов и лестниц, а также обязательное присутствие в каждом доме портье, которые в Бразилии именуются «портейро».

Стоит только войти в подъезд, как портье, учтиво поприветствовав вас, осведомляется о цели визита. И узнав фамилию жильца, к которому идете, бдительный страж позвонит в указанную вами квартиру и проверит, действительно ли там ждут гостей. И не следует ли срочно сообщить о вашем визите в полицию?

В северной зоне города, за стадионом «Маракана», в Мадурейре, Тижукке, Мейере и других кварталах победнее, где народ живет попроще, привратники или консьержки настолько же менее подозрительны к случайным прохожим, насколько ниже их зарплата по сравнению с заработками и чаевыми вышколенных портье Кобакабаны или Ипанемы.

Если же опуститься по социальной лестнице еще ниже и посетить убогую пятиэтажку где-нибудь в пролетарской Жакарепауга, там вообще вы не увидите ни портье, ни надежных запоров. Да в них и нужды нет, ибо вора́м здесь просто нечем поживиться.

И еще одна необычная и приятно поразившая меня особенность бразильского быта: дома здесь имеют имена!..

Идя по улице с задранной головой и читая их, вы ощущаете себя в мире грез: с мраморных или бетонных, гранитных или кирпичных фасадов глядят на вас имена королей и ученых, великих артистов и мореплавателей, названия дальних стран и морей: «Карл Пятый», «Коперник», «Генрих Восьмой». Или «Параизо» — «Рай». Или «Рио Вермельо» — «Красная река», красиво, не правда ли? Так же, как «Мар Азул» — «Голубое море». Или «Синеландия» — «Кинострана». Впоследствии я узнал, что не только бразильцы дают имена своим домам. Такую же картину можно наблюдать в Париже, Мадриде и иных зарубежных городах.

...Дом, куда мы с Юрием направлялись, именовался тоже неплохо: «Сервантес». Согласитесь, что приятно жить в доме с таким именем. Как вообще гораздо приятнее сообщать своим друзьям: «Я живу в доме „Сервантес“», чем давать им адрес вроде «корпус номер три дома номер пять седьмого микрорайона».

Именно там, в доме «Сервантес», находящемся в самом центре Копакабаны, и обосновался мой первый корпункт: «3 ком., меб., вс. уд., тел., 2 л., кух., ком. сл.». Я был счастлив. Я искренне верил, что нашел именно то, что искал.

Это была десятая или одиннадцатая из осмотренных мной квартир, обнаруженная где-то недели через две после начала поисков. По рио-дежанейским стандартам я отделался малой кровью. И мог считать себя весьма удачливым дельцом. Иллюзия рассеялась очень быстро: в первую же ночь, которую мы провели в нашей новой квартире.

...Как ругал я себя в ту ночь новоселья за то, что не поверил смутному беспокойству, точнее говоря, недоумению, шевельнувшемуся где-то в глубине сознания, когда впервые знакомился с квартирой и с домом «Сервантес». Все там, в нашем будущем гнезде, казалось прекрасным: расположение комнат, наличие тихо изолированной спальни и еще одной спальни, которая легко трансформировалась в кабинет... Окна — во двор, а не на улицу. Значит, меньше шума и дыма. А это особенно важно, если собираешься жить в донельзя задымленной и до астрономических децибелов зашумленной Копакабане.

Океана из окна нашей квартиры, правда, не видать: его закрывает соседний дом. Но песчаный пляж — рядом, за углом, в сотне метров от подъезда. Можно до завтрака выбежать из квартиры в трусах, окунуться, и эта процедура займет не больше десяти минут!

Да, все казалось мне прекрасным, и, быстро договорившись с хозяйкой квартиры — обладательницей меццо-сопрано — о процедуре подписания контракта и сроках внесения арендной платы, я ликовал, но старался замаскировать свой восторг от хозяйки, чтобы она, не дай бог, не сообразила, что продешевила. Дона Терезинья де Жезус Карвальо, старательно делая вид, что не замечает моего ликования, пошла проводить меня. И только тогда обратил я внимание на три находящиеся рядом с нашим подъездом загадочные двери, тщательно закрытые спущенными до самого тротуара металлическими жалюзи. Ни вывесок, ни табличек, ни даже намека на какую бы то ни было информацию.

Тут-то и шевельнулось где-то в глубине моего сознания легкое недоумение, которому я, увы, не придал значения. Правда, вопросительно поглядел на дону Терезу. И она меня быстро успокоила:

— Это бары: «Дон Хуан», «Бакара» и «Тропикалия». Они откроются попозже, — сказала она с обворожительной улыбкой. И почему-то отвела глаза в сторону.

Бары так бары... Через минуту я забыл о них. Увы, в первую же ночь, когда, отпраздновав новоселье, мы собирались отойти ко сну, они о себе напомнили: в окна хлынули бравурные ритмы сразу трех ударников, полудюжины электрогитар, саксофонов и синтезаторов.

Кабаки были хорошо музифицированы и еще лучше радиофицированы. Их стоваттные колонки начинали свою работу около полуночи, а затихали где-то на рассвете. Спать под этот аккомпанемент можно было, только спрятав голову под подушку. Что очень нелегко в условиях тропической жары и девяностопроцентной влажности. Я спохватился слишком поздно: контракт был подписан сроком на год, расторгнуть его досрочно без уважительных причин было стыдно и перед доной Терезиньей и перед московской бухгалтерией. Словом, мы остались в здании «Сервантес» как в западне, до конца контракта, и в течение всего этого года каждую ночь были вынуждены вкушать неистовые прелести того, что в туристских путеводителях по «Сидади маравильоза» именуется «вечно бурной и радостной ночной жизнью всемирно известной Копакабаны».

Однажды она забурлила там, внизу, с такой силой, что где-то в четвертом часу утра прогремели пистолетные выстрелы. Дочка, правда, не проснулась, но жена, глотая снотворное и стуча зубами по стакану

минеральной воды, категорически заявила, что сыта по горло всей этой тропической экзотикой и хочет домой к маме. Пускай дома сейчас, в декабре, нет пляжа, но там «моя милиция меня бережет» и можно, по крайней мере, спать спокойно.

На следующий день невозмутимый портейро Жоаким объяснил, что перестрелка имела место в «Тропикалии». И уже не в первый раз. В чем дело? Да в этой мулатке Нейде — солистке стриптиза. Ее внимания домогались сразу три американских матроса. Сеньор знает, вероятно, что американцы предпочитают мулаток?..

Дона Терезинья де Жезус Карвальо была женщиной интеллигентной, обходительной и приветливой. Поэтому у нас легко и быстро установились дружеские отношения. Каждый раз, когда в первую пятидневку месяца я появлялся у нее в квартире — в нашем же доме, четырьмя этажами ниже — с очередным чеком арендной платы, она угощала меня «кафезиньо», заводила разговоры о житье-бытье, давала кучу полезных советов и наставлений. Была она «дескитада» — так назывались в Бразилии до легализации в этой стране развода супруги, разошедшиеся, но юридически все еще состоявшие в браке. Жила дона Терезинья с сыном-школьником. И жила безбедно, ибо, помимо своей собственной весьма уютной трехкомнатной квартирки, была обладательницей еще пяти квартир, которые сдавала в аренду. Эта уйма жилплощади служила ей своего рода алиментами: бывший муж — банкир и промышленник — полудюжиной апартаментов обеспечил ей и сыну безбедное будущее и гарантировал себе возможность без скандалов завести новую подругу, помоложе.

Мы беседовали с доной Терезой о наших житейских проблемах. Я жаловался ей на жару, она мне — на высокие налоги. Говорили мы о новых фильмах, телевизионных сериалах, о прогнозе погоды на ближайшие субботу и воскресенье, когда вся Копакабана от мала до велика дружно устремлялась на пляж. Иногда наша встреча выливалась в интеллектуальную дискуссию. Главным событием сезона в том году стало появление «бессмертных шедевров» (именно так называла их дона Тереза) американского писателя Генри Миллера. Шедевры были написаны еще в 20-х и 30-х годах, но долго не печатались, ибо шокировали и американцев и европейцев. Это было тогда... Теперь же, когда нравы стали проще, издатели — снисходительнее, цензура — помягче, некогда непризнанный гений брал реванш, повергая к своим

стопам Нью-Йорк и Париж, Рим и Стокгольм, Лондон и Рио-де-Жанейро.

Спорить с доной Терезой было нелегко. Я пытался объяснить ей, что меня раздражает истеричное и показушно-скандальное саморазоблачение этого сочинителя, для которого физиология человеческих отношений стала единственным смыслом жизни и объектом исследования в его сочинениях. Дона Тереза снисходительно отвечала, что мои сомнения — это ребячество, что в моем возрасте просто неприлично оставаться пленником отживших представлений, раз уж она — дона Тереза — куда старше меня, с наслаждением рвет цепи мещанских предрассудков.

Я говорил, что искусство немислимо без поэзии, без тайны, что есть рубежи, которые переступить нельзя, что — простите великодушно, дона Тереза! — даже будучи в квартире наедине с женой, я все же привык закрывать за собой дверь, заходя в туалетную комнату. И поэтому не могу понять писателя, который распахивает двери своего туалета на весь мир.

Дона Тереза ответствовала, что взгляды мои являются следствием определенного воспитания (произнося эти слова, она прикоснулась к моей руке, выразив этим жестом сочувствие молодому человеку, которому не повезло с воспитателями). Что искусство, если это настоящее искусство, должно быть свободным от всякой цензуры, в том числе этической и моральной. Что непозволительно надевать заржавевшие оковы устоявшихся эстетических концепций на рвущуюся ввысь творческую фантазию художника. И вообще: о вкусах не спорят, — приводила она самый последний и самый неопровержимый с ее точки зрения аргумент.

Я не сдавался. Я говорил, что о вкусах действительно не спорят. Но бывает вкус хороший, бывает плохой, а бывает и отсутствие всякого вкуса. Что до каких бы высот мастерства ни поднялась Нейда из «Тропикалии», она никогда не сможет соперничать с Анной Павловой или Галиной Улановой. Даже если из-за нее, Нейды, перестреляются экипажи сразу дюжины американских авианосцев. Потому что стриптиз — это физиология, а балет — это искусство. И давайте не смешивать экстаз поклонников Нейды с экстазом Ромео, проникающего в спальню Джульетты!

...Расставались мы с доной Терезой после таких горячих споров вполне дружелюбно. Я чувствовал, что ей искренне жаль меня за мою духовную неповоротливость, за неспособность быстро реагировать на свойственные нашей бурной эпохе трансформации взглядов и идей.

Но, пожалуй, больше всего мы говорили с моей хозяйкой о том, о чем всегда много приходится говорить за границей: о нашей стране и о жизни советских людей.

Дона Терезинья любила расспрашивать о далекой, загадочной России, искренне удивлялась, узнав, что далеко не вся она покрыта снегами и окована морозами, восхищенно подымала полуметровые стрелы нейлоновых ресниц, когда я рассказывал о Московском метрополитене, бесплатном медицинском обслуживании и пионерских лагерях, задумчиво качала головой, то ли в знак согласия, то ли выражая сомнение, и говорила, что все это, конечно же, впечатляет, что она ничего не имела бы против введения всеобщего бесплатного обучения и в Бразилии, поскольку за учебу своего Генри в «Англо-американском колледже» ей приходится платить весьма солидную сумму. Но ее смущает одно обстоятельство:

— У нас тоже ведь есть бесплатные школы. Для детей из малоимущих и бедных слоев. Правда, этих школ очень мало. И я, как вы понимаете, не могу допустить, чтобы мой Генри учился вместе с детьми прачек и мусорщиков. Тем более что качество обучения там очень плохое: учителя попроще, платят им меньше, чем педагогам частных колледжей. Учебников в государственных школах мало. В каждом классе — по сорок-пятьдесят детей. Нет, уж лучше заплатить, но иметь гарантию, что твой сын в школе чему-то научится.

Дона Тереза очень любила своего сына. И любовь эта выливалась иногда в весьма своеобразные формы. Как-то раз, когда я в очередной раз принес ей чек, подавая традиционное кафезиньо, она торжественно заявила:

— Поздравьте меня, сеньор Игорь! Моему Генри вчера исполнилось шестнадцать!

Я хотя и не учился этикету в высшей дипломатической школе, но, как и всякий человек, стремящийся казаться галантным, мгновенно изобразил на лице изумление и протест. Я воскликнул, что категорически отказываюсь поверить, будто такая молодая дама может иметь 16-летнее чадо.

Дона Тереза ликовала, ее распирало неудержимое желание выплеснуть на меня хотя бы малую толику обуревающей ее нежности к своему отпрыску.

— Угадайте, сеньор Игорь, — спросила она, — какой подарок получил от меня Генри к своему совершеннолетию?

— Какой?.. Мотоцикл, наверное, — сказал я, зная, что мотоциклетный спорт как раз в то время входил в моду среди молодежи «класса А», как классифицировали местные социологи наиболее обеспеченные слои населения, и каждую ночь Копакабана оглашалась неукротимым ревом мотоциклетных моторов и визгом сирен, исполняющих популярную мелодию «идола» 16-летних Роберто Карлоса: «Я хочу, чтобы все катилось к дьяволу».

— Нет, не мотоцикл, — с улыбкой ответствовала дона Тереза.

— Неужели вы купили ему автомобиль?

— Нет, вы не угадаете. Лучше послушайте и согласитесь, что такой подарок своему сыну может сделать только действительно эмансипированная мать... Так вот, я повела его в буате. Знаете этот миленький уголок: «Черная птица» на улице Сикейра Кампос?

Да, я слышал об этом «буате», как называются в Бразилии ночные кабаки с очень дорогой выпивкой и не очень дорогими служительницами Мельпомены и Талии. Пять лет назад, как писали газеты, он был самым модным прибежищем артистической богемы, но впоследствии пришел в упадок, и его владельцы пытались удержать клиентуру особо смелыми сеансами стриптиза.

— Я, конечно, знаю, что мой Генри бывал уже в «Черной птице» и без меня, но мне очень хотелось отпраздновать его совершеннолетие именно таким выходом «в свет». Тем более что я женщина без предрассудков. Я не прячу свои годы и не стесняюсь взрослого сына. — Она энергично взмахнула свежеокрашенными, черными, как смоль, кудрями. — Мы очень мило провели вечер. И Генри понравилась там Марго. Вообще-то ее зовут Жоана, но эти мулатки из простонародья всегда берут себе для сцены артистические имена на заграничный лад. Так вот Марго — она там королева стриптиза, ее всегда принимают очень хорошо — произвела на моего Генри просто неизгладимое впечатление. Я его не осуждаю: мальчик вырос, и у него появляются вполне естественные запросы. И потом эта девочка — одна из немногих, кто еще сохранил способность удерживать стриптиз на

уровне подлинного искусства... Генри прямо-таки потерял голову, и я решила сделать ему подарок. Я разрешила Генри пойти с ней. И оплатила ему целую ночь с Марго, что, между прочим, стоит недешево.

Дона Тереза торжествующе посмотрела на меня. И засмеялась счастливым смехом матери, у которой есть все основания гордиться любимым сыном.

Придя в себя от этого всплеска откровенности, я вздохнул и согласился, что ни я, ни моя жена, конечно же, не способны на такой взлет родительской нежности.

И будь у нас сын, а не дочь, жена вряд ли рискнула бы ознаменовать его совершеннолетие знакомством с глубоким и своеобразным артистическим дарованием Марго. Ибо в нашей опутанной архаическими предрассудками семье пока еще отдается предпочтение классическому балету перед новаторским искусством жриц свободной любви из «Черной птицы». «И вообще, — вздохнул я, — мы с супругой являемся приверженцами классических методов воспитания детей».

— А жаль! — назидательно сказала донна Терезинья и отправилась на кухню сварить еще по чашечке кофе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Монолог с подтекстом



После того как квартира была найдена, мне, как и каждому зарубежному корреспонденту, предстояло сделать еще один важный шаг: обзавестись аккредитацией, то есть получить у властей документ, разрешающий заниматься корреспондентской деятельностью. Для этого я отправился в старинный особняк на улице Флориано Пейшото, где находилось тогда министерство иностранных дел, названное «Итамарати» — в память об одном из прежних владельцев этого импозантного бело-розового здания.

В уютном салоне, затянутом древними гобеленами, меня встретил учтивый чиновник, облаченный, как гробовщик, в черный костюм. Пробежав глазами письмо руководства Гостелерадио с просьбой «аккредитовать подателя сего в качестве собственного корреспондента Советского телевидения и радио в Бразилии», он угостил меня неизбежным во всех официальных церемониях «кафезиньо», откашлялся, закурил и заговорил.

Прихлебывая густой сироп, я слушал его размеренный монолог. От имени всех сотрудников отдела печати министерства мне были даны заверения в искренней готовности оказать всяческое содействие в выполнении возложенной на меня миссии. Тут я энергично закивал головой, а мой собеседник легким и элегантным ответным кивком благосклонно принял мою благодарность, как нечто само собою разумеющееся, после чего продолжал свое нравоучительное повествование. С мягкой улыбкой он выразил непоколебимое

убеждение в том, что «наш дорогой и высокоуважаемый коллега» (то есть я) будет в своей деятельности неукоснительно руководствоваться «священными принципами объективности информации», что он (то есть я) «намерен свято уважать бразильские законы и главную свою цель всегда будет видеть в не предвзятом и правдивом освещении нашей жизни».

Я вновь закивал, но уже без прежнего энтузиазма. Я почувствовал, что путь мой не будет усыпан розами: монолог чиновника из отдела печати был пронизан драматическим подтекстом, как чеховская драма, в которой за банальными фразами о погоде и видах на урожай малины скрываются вулканические эмоции и трагедии. Я улыбался и соглашался, хотя прекрасно понимал, о чем идет речь. И мой собеседник понимал, что я его понимаю. А чтобы подтекст этого «взаимопонимания» стал понятен и вам, уважаемый читатель, необходимо сделать небольшой исторический экскурс.

Ровно за два года до моего приезда в Бразилию в этой стране произошел военный переворот. Само по себе это событие не является для Латинской Америки чем-то из ряда вон выходящим. Скорее наоборот. Скажем, в соседней Боливии за полтора века ее независимого существования власть менялась около двухсот раз. Но переворот перевороту рознь. Путч 1964 года в Бразилии отнюдь не был стандартной церемонией насильственного перехвата власти одной политической или военной группировкой у другой. Чтобы стала понятной его суть, отойдем еще на несколько лет назад и вспомним, что в конце 50-х — начале 60-х годов после долгого периода диктатуры в Бразилии начал консолидироваться режим буржуазной демократии. Сменявшие друг друга президенты Жуселино Кубичек, Жанио Куадрос и Жоан Гуларт сделали немало для экономического развития страны, для укрепления ее международного авторитета. При Кубичеке, например, была заложена и открыта знаменитая новая столица — Бразилиа, находящаяся в географическом центре государства и символизировавшая решимость нации приступить к освоению своих необъятных территорий. Его преемник Куадрос покончил с односторонней внешнеполитической ориентацией на США, заявил о намерении установить дипломатические отношения с Советским Союзом и другими социалистическими государствами. Гуларт пошел

по этому пути еще дальше: в ноябре 1961 года дипломатические отношения с нашей страной были восстановлены.

Тем временем в Бразилии нарастала борьба между реакционными партиями, защищавшими интересы крупного капитала, промышленников, латифундистов, и прогрессивными, националистическими и патриотическими силами, настаивавшими на дальнейшем углублении начатых или задуманных реформ.

...В таком конспективном изложении эти сложные процессы выглядят несколько примитивно, не отражают многообразия, запутанности и остроты внутривнутриполитической ситуации, но я надеюсь, что читатель поверит мне на слово: тогда, в начале 60-х, страна была охвачена кипением, брожением и лихорадкой. Увлечение «политикой» было повальным и повсеместным. Проекты государственных законов и программы политических партий обсуждались в студенческих общежитиях и заводских столовых, в солдатских казармах и великосветском кафе-кондитерской «Коломбо» на авениде Рио-Бранко в Рио-де-Жанейро. 31 марта 1964 года всему этому был положен конец: командующие вооруженными силами сместили президента Гуларта, который вынужден был отправиться в эмиграцию в Уругвай. Пришедшие к власти генералы объявили главной своей целью очищение страны от «коммунистической заразы», восстановление «добрых отношений» с Соединенными Штатами, укрепление позиций крупной буржуазии, земельных собственников, банкиров. Были запрещены и подверглись жесточайшим преследованиям не только коммунистическая партия, но и профсоюзы, крестьянские лиги, все общественные организации и политические партии, которых можно было заподозрить не то что в оппозиции, а хотя бы в скептическом отношении к новому режиму. А чтобы сохранить видимость нормального функционирования общества и создать иллюзию «демократии», генералы решили все же учредить две партии. Одну — она была названа АРЕНА — официальную, правительственную, куда резво сбежались все штатские сторонники нового режима, все идейные борцы с «коммунистической угрозой» и поборники дружбы с Соединенными Штатами. Другой — ее назвали МДБ — отвели роль благопристойной, выдрессированной и бесправной «оппозиции».

Это стремление подгримировать режим, придать ему хотя бы отдаленное сходство с традиционными моделями государственной

машины, было обусловлено старой, как сам мир, истиной: ни один из диктаторов не любит, когда его называют «диктатором». Самые кровавые перевороты и самые предательские мятежи всегда свершались, если верить их организаторам, во имя утверждения высоких идеалов демократии и самых чистых принципов свободы, равенства и братства.

Исторические параллели и ассоциации — дело крайне рискованное, и мне не хотелось бы отождествлять бразильский режим середины 60-х годов с какими-либо классическими образцами военной диктатуры. Но бесспорен тот факт, что его руководители, ревностно заботясь о поддержании на должном уровне своего международного престижа, строго следили за тем, как освещает их деятельность пресса. И весьма раздраженно встречали любое проявление скепсиса или недоверия, не говоря уже о критике. Со своими собственными «скептиками» внутри страны справиться было нетрудно. А с зарубежными — дело обстояло сложнее. Объективное и честное изложение событий, происходивших в стране в те годы, одним из советских корреспондентов вызвало резкое недовольство властей, результатом чего явилась его высылка из страны.

...Именно об этом я и вспомнил в ту минуту, когда учтивый чиновник отдела печати министерства иностранных дел, призвав к «правдивому и объективному освещению нашей жизни», многозначительно выразил сожаление, что далеко не все еще представители зарубежной прессы смогли правильно понять «всю сложность происходящих в нашей стране процессов». И в ряде случаев, сказал он, разведя в знак искреннего огорчения руками, это трагическое непонимание или «нежелание понять» повлекли за собой «крайне сожалительные и очень нежелательные последствия».

Из сказанного ясно, что мой визит в отдел печати министерства иностранных дел не был пустой формальностью. В чужой монастырь не ходят со своим уставом, и, коль скоро ты взялся за работу в той или иной стране, будь добр, уважай ее законы и особенно хорошо изучи «устав» и порядки, которые установлены там для иностранных журналистов. И которые, увы, индивидуальны, оригинальны и неповторимы в каждой стране. Есть правительства, рассматривающие корреспондентский корпус как враждебную банду в своем тылу или как злокачественную опухоль на здоровом теле местной демократии. Они

относятся к нашему брату корреспонденту с крайней подозрительностью, если не сказать, враждебностью, которая буквально удесятеряется, когда речь идет о корреспонденте телевидения, ибо человек с кинокамерой — это куда более подозрительное и потенциально «опасное» существо, чем журналист с блокнотом. Что написано пером, можно (вопреки пословице) опровергнуть, но все, что снято кинокамерой, не поддается обычно ни опровержению, ни отрицанию.

Когда газетчик пишет о зверствах военной диктатуры, о горах трупов, которые он видел, к примеру, в сальвадорской деревне после того, как ее посетила карательная экспедиция правительственных войск, официальный представитель президента Хосе Наполеона Даурте может сказать, что репортер это выдумал. Но когда дети с распоротыми животами запечатлены на киноплёнке, тут уж никто не поверит никаким официальным опровержениям и разъяснениям.

Поэтому в подавляющем большинстве стран работа телевизионных корреспондентов подвергается еще более строгой регламентации, чем деятельность газетчиков. И все же, возвращаясь мысленно в тот особняк Итамарати на улице Флориано Пейшото, прихожу к выводу, что с точки зрения условий работы жаловаться на Бразилию, пожалуй, не стоит: местные чиновники не отравляли нашу корреспондентскую жизнь слишком уж мелочными придирками или опекой.

Может быть, у кого-нибудь из читателей возник вопрос: почему я с такой дотошностью рассказываю об этих, в общем-то второстепенных, далеко не самых важных особенностях нашей работы? Делаю я это потому, что для нас эти «детали» очень часто вырастают в сложные и мучительные профессиональные проблемы. Представьте себе: вы узнаете, что где-нибудь в соседней провинции, километрах в ста от столицы страны, в которой вы живете и работаете, случилось что-либо чрезвычайное, важное. Крестьянское восстание или обвал в шахте. Наводнение или убийство фашистами популярного политического деятеля. Или, допустим, вам неожиданно сообщают о предстоящей завтра демонстрации, забастовке, митинге либо каком-либо ином мероприятии, которое вам обязательно хотелось бы отразить, о котором вам нужно во что бы то ни стало передать информацию или репортаж в газету, в программу «Время» или в выпуск «Последних известий» на

радио. Но по законам страны, в которой вы работаете, запрос на поездку может быть подан только, допустим, за двое суток. Вот вам драма, хорошо знакомая почти каждому из тех, кто работал зарубежным корреспондентом. Вот пример того, как незначительный на первый взгляд параграф инструкции может связать журналиста по рукам и ногам и лишить возможности выполнить возложенную на вас задачу.

...Сидя в мягком кресле против затянутого в черный костюм чиновника Итамарати, я не представлял себе пока толком мою предстоящую работу. Я почти ничего не знал о том, что буду делать. Строго говоря, я даже не был еще в те минуты корреспондентом, ибо мне пока не вручили зеленый корреспондентский билет. Но я хорошо понимал, что, хочешь — не хочешь, мне все же Придется учитывать «советы» и «пожелания», услышанные в ходе этого первого общения с представителем страны, в которой я впервые в жизни ступил на нелегкую корреспондентскую стезю.

Кстати, с чего она началась, эта стезя? Откуда следует вести отсчет? С того дня, когда я был «проведен приказом» председателя Гостелерадио? Или когда прибыл в Рио? Когда получил корреспондентский билет? Или когда передал в Москву первую корреспонденцию?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Премьера, которая не состоялась



Думаю, что началом творческой биографии собкора правильнее всего считать первую переданную им в редакцию заметку, комментарий или репортаж.

Первую свою корреспонденцию, отправленную из Рио-де-Жанейро в Москву, я разыскал много лет спустя в старых папках с копиями моих телеграмм. Эти папки уже после возвращения из Бразилии вручили мне сотрудницы отдела корреспондентской сети Гостелерадио. Опишу описание эмоций, охвативших меня, когда я листал пожелтевшие машинописные листы, зафиксировавшие всю мою пятилетнюю работу в этой стране. Но не могу не вспомнить волнение, с которым рассматривал самую первую телефонограмму:

«Для „Последних известий“.

Наш корреспондент передает из Рио-де-Жанейро:

С большим успехом проходят здесь гастроли Московского цирка. Бурными овациями сопровождаются выступления дрессированных медведей Валентина Филатова, канатоходцев Магомедовых и других артистов. Под громовой хохот публики собаки под руководством дрессировщицы Виктории Ольховиковой разыгрывают футбольный матч.

Бразильская печать публикует рецензии, отмечающие высокий уровень советского циркового искусства. Газеты

подчеркивают важнейшее отличие от других стран Запада: в Советском Союзе талантливая артистическая молодежь может бесплатно обучаться в специальных учебных заведениях. Бразильская общественность с большим одобрением встретила решение советских артистов пропускать бесплатно на представления воспитанников детских приютов Рио-де-Жанейро. Гастроли Московского цирка в Рио-де-Жанейро продлятся до конца июля.

Рио-де-Жанейро. Фесуненко. 15 июля».

В левом верхнем углу — мрачная резолюция: «Не исп.». Она означает, что мой вдохновенный опус не тронул черствые сердца дежурных редакторов «Последних известий», заметка не прошла в эфир.

...Я перечитываю восторженно-наивные строчки моей первой корреспонденции и вспоминаю, как это было. Как суетился я в день советской цирковой премьеры, которая должна была состояться во Дворце спорта знаменитого стадиона «Маракана», ласково именуемого бразильцами «Мараканазиньо», что означает нечто вроде «Крошечная Маракана», «Мараканашечка»... Я вспоминаю, как гордо следовал мимо контролеров, предъявлял им новенький, только что полученный в министерстве иностранных дел, зеленый корреспондентский билет. И, доверительно наклоняясь, сообщал каждому из них голосом, преисполненным чувства собственного достоинства: «Пресса». Я вспоминаю веселую суету публики перед спектаклем. Громкий рев динамиков, исторгавших ритмическую музыку, вопли маленьких продавцов жареных орешков, сушеной картошки, апельсинового напитка «ларанжады» и жевательной резинки «шиклет». Жаркий и влажный воздух был пропитан сложным коктейлем запахов жареного мяса, сигаретного дыма, пронзительных дезодоров и иными ароматами, которыми благоухают все цирковые арены мира.

Когда началось представление, публика продолжала шуметь, смеяться, переговариваться, мальчишки с лотками по-прежнему сновали между рядами. Меня это раздражало, мне казалось, что очарованный волшебным искусством моих славных соотечественников зал должен замереть с первыми аккордами оркестра. Я тогда еще не понимал, что ни один бразилец просто не способен просидеть молча более тридцати секунд, что по ходу спектакля он должен делиться

своими впечатлениями с соседом, вспоминать, как он уже видел нечто подобное два года назад в Буэнос-Айресе или прошлой зимой — в Порту-Алегре. Одновременно с этим он курит сигарету, читает газету, подкармливает орешками свое беспокойное чадо, нервно дергающееся у него на коленях, подмигивает незнакомой соседке слева, маскируя этот флирт от супруги, сидящей справа, которая тоже не сидит без дела. Она тоже в постоянном движении: грызет орешки, требует купить ей мороженое, восторгается акробатами, размышляет вслух о том, что будет, если кто-нибудь из них сорвется с трапеции, интересуется, чем дрессировщики кормят медведей и во сколько долларов в месяц им обходится звериный рацион.

Принимали наших артистов действительно хорошо. Овации сопровождались радостными воплями и оглушительным свистом, являющимся в этой стране высшим проявлением удовольствия. В антракте я направил стопы за кулисы. Во-первых, я сгорал от неудержимого желания еще раз ощутить себя корреспондентом, предъявив кому-нибудь корреспондентский билет. Во-вторых, считал своим долгом донести до соотечественников-артистов горячее дыхание зрительного зала, сообщить им, как хорошо их принимают, как их здесь любят и ценят.

Второе отделение прошло с еще более шумным успехом. Воздушные гимнасты вызвали вулканический восторг, клоун заставил публику рыдать от смеха, филатовские дрессированные питомцы потрясли «Мараканазиньо», а мотоциклетные гонки мишек сопровождались такими ликующими воплями, какие в Бразилии можно услышать только на футболе. На следующий день, вооружившись утренними рио-де-жанейрскими газетами, я приступил к сочинению уже процитированной выше корреспонденции. Слава богу, там, в Бразилии, как и в большинстве других стран мира, отчет о любой премьере — в театре, в цирке, на подмостках «Черной птицы» или на сцене Муниципального театра — обязательно печатается на следующий день. Рецензии на представление Московского цирка все без исключения оказались восторженными. И, изнемогая под бременем ответственности, лежащей на моих плечах, я попытался донести до советских радиослушателей горячее дыхание переполненного «Мараканазиньо». Увы, успех артистов не переплавился в успех собкора.

Я не имею права сердиться на дежурного редактора «Последних известий», отправившего в корзину мой взволнованный рассказ. Очень уж заметны в нем суэта и многословие, слишком уж непростительны казенные штампы, даже со скидкой на неопытность корреспондента: «С большим успехом...», «рецензии, отмечающие высокий уровень...».

Диктуя стенографистке о решении советских артистов пропускать бесплатно на представления воспитанников детских приютов Рио-де-Жанейро, я так растрогался, что утратил способность к оценке собственного труда и не сообразил, что вместо нудной, казенной и заштампованной фразы: «Бразильская общественность с большим одобрением встретила решение...», следовало бы сказать что-нибудь простое и душевное: «Бразильцы были рады...». Или «Бразильцы ликовали, узнав, что...».

Как бы то ни было, премьера моя в тот раз не состоялась. Но об этом, к счастью, я не узнал. Я уже начинал входить в роль. Мне нравилась эта работа. Я рвался в бой и принялся за сочинение следующей корреспонденции, в которой уже на полтора (аппетит приходит во время еды!) страницах изложил комментарий «влиятельного бразильского еженедельника „Фолья да Семана“» по поводу американской интервенции во Вьетнаме. Если сделать скидку на некоторую скованность и бедность языка и не обращать внимания на слишком уж большой размер этого сочинения, даже сегодня, я, может быть, рискнул бы поставить под ним свою подпись. И тем не менее в левом верхнем углу первой страницы стояла все та же роковая резолюция: «Не исп.». Видимо, много было в те дни откликов, комментариев и корреспонденций на эту тему.

Да, горек хлеб собкора за рубежом. Тем более, когда еще нет опыта, когда связь не надежна и не докричишься по телефону до московских коллег. А если докричишься, то не услышишь, что они говорят тебе в ответ. Горек хлеб собкора, когда не с кем посоветоваться, не у кого спросить, некому пожаловаться. И трудно даже узнать, в какой мере используется там, в Москве, твой труд. Газетчикам хорошо: они имеют возможность убедиться, хотя и с опозданием, в каком виде оказалась на полосе их корреспонденция, очерк или интервью. А нашему брату, радисту и телевизионщику, тем более работающему на другой стороне Земли, куда советские радиоволны почти не доходят и телефонный голос слышен еле-еле, не дано это наслаждение — увидеть

или услышать свой выстраданный опус. Но зато судьба оберегает нас от излишних разочарований, какие временами приходится испытывать газетчику, когда он обнаруживает в полученном с далекой родины номере газеты всего полтора десятка строк, оставшихся от своего очерка, который, казалось, «может потянуть на подвал». Мы редко узнаем о том, как безжалостно сократили в эфире наш очередной репортаж. Может быть, это даже и к лучшему: не опускаются руки, когда готовишь следующий.

«Комом» оказался не только мой первый корреспондентский «блин». Лишь с четвертого захода на цель я наконец добился успеха и вырвался во всесоюзный эфир. Положа руку на сердце могу признать, что дежурный редактор «Последних известий», если бы он руководствовался чисто творческими соображениями, и на сей раз имел все основания бросить в корзину мое донесение, но меня спасла важность события, о котором я повествовал: в Бразилию прибыл с официальным визитом советский министр внешней торговли. И поэтому из каскада моих взволнованных телеграмм, посвященных этому визиту, были отобраны и включены в выпуск новостей иновещания три следующие фразы: «В Рио-де-Жанейро начались переговоры о дальнейшем расширении советско-бразильской торговли, которые, как ожидают, завершатся через несколько дней подписанием нового торгового соглашения. В последнее время товарооборот между Советским Союзом и Бразилией заметно увеличился. За первые шесть месяцев этого года он достиг двух третей всего оборота за 1965 год».

Лиха беда — начало! Вслед за этой «премьерной» информацией в эфир подряд прошли еще несколько моих корреспонденций, но не пугайтесь, уважаемый читатель, не буду их цитировать, ибо не намерен испытывать ваше терпение.

Вспомню лучше, как однажды сквозь писк морзянок и треск атмосферных помех мне удалось поймать чуть слышную Москву. По какому-то невероятно счастливому совпадению именно в этот момент передавали очередной выпуск новостей, и я услышал, как диктор произнес: «Наш корреспондент Игорь Фесуненко передает из Рио-де-Жанейро». Сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди. Я вжался ухом в прохладную пластмассу «Спидолы», но именно в этот момент где-то над Атлантикой прошелестела если не магнитная буря, то какой-то ионосферный сквознячок, и голос Родины безвозвратно угас. Я не

услышал, что именно сообщил советским радиослушателям «наш корреспондент из Рио-де-Жанейро», но меня охватила и понесла сладостная волна восторга, я почувствовал, что мне теперь сам черт не брат и море по колению, захотелось выскочить на авениду Атлантика и поделиться своим счастьем с первым же встречным разносчиком кока-колы или чистильщиком башмаков.

Я не выскочил на улицу. Уже через пять минут я ощутил прилив энергии. Настал тот самый момент, когда мысль просится к перу, перо — к бумаге. Я почувствовал, что сейчас из-под моего пера должен появиться шедевр, бросился к столу и схватил лист бумаги. В такие мгновения надо писать поэму, вместо этого я принялся сочинять полнометражный радиоочерк под названием: «Рио, каким его видят птицы». Весь мой творческий восторг, всю мою, тогда еще весьма буйную энергию вложил я в это творение, посвященное «Сидади маравильоза» — «Прекрасному городу», как зовут Рио бразильцы. Восклицательных знаков на пяти страницах текста хватило бы Льву Толстому на весь второй том «Войны и мира». Я не жалел эпитетов, сравнительным степеням имен прилагательных без колебаний предпочитал превосходные. Сейчас просто не могу понять, как позволил себе сочинить эту пышную оду, которая могла бы пригодиться для рекламного буклета, вручаемого туристам, но никак не подходила для передачи по Советскому радио. И представляю себе досаду и удивление московских коллег, когда они читали сей опус, прежде чем выкинуть его — и поделом — в корзину.

Оглядываясь сейчас назад, вспоминая тот первый этап работы в Рио, сопоставляя его с опытом более поздних командировок, прихожу к выводу, что во всех странах, где мне довелось работать, повторялась одна и та же ситуация: сначала казалось, что я обречен на провал. Я не спал ночами, рычал на безответных домочадцев, изнемогал под бременем ответственности и ругал себя последними словами за то, что ввязался в это непосильное, гиблое дело. Потом, спустя несколько месяцев, обживаясь, обзаводясь друзьями и знакомыми, получая ободряющие письма от коллег и начальства из Москвы, узнавая, что мои материалы были «отмечены на летучке» или даже оказались «на красной доске», я вдруг неожиданно и незаметно для себя попал в сладостный плен эйфории. Мне казалось, что теперь-то я уже знаю все и об этой стране, и о работе зарубежного корреспондента. Что нет для

меня больше тайн и секретов и отныне буду выдавать на-гора одни только шедевры.

Иллюзия эта жила месяц-другой. Я безмятежно слал в редакцию бойкие, не требующие слишком больших интеллектуальных усилий заметки о происках американского империализма в стране моего пребывания и о борьбе трудящихся за свои права, о росте инфляции и падении реальной заработной платы. Сообщал о гастролях советских артистов и излагал комментарии прогрессивных газет. Отрезвление от этой самонадеянной творческой спячки наступало по-разному. Либо я брался за какую-то по-настоящему сложную тему и осознавал, что не могу, не умею, не способен убедительно и профессионально грамотно писать об этом. Либо встречался с ярким, хорошо знающим Бразилию человеком, который подавлял меня своим интеллектом, талантом, мастерством. Либо отправлялся в дальнюю командировку и, ошеломленный величием и многообразием страны и сложностью ее проблем, приходил к выводу, что для того, чтобы познать хотя бы поверхностно этот многоликий и противоречивый мир, не может хватить и десятилетний корреспондентской работы.

Сейчас, вспоминая первые шаги свои на корреспондентской стезе, посмеиваюсь и удивляюсь. Слишком уж долго не понимал я, что и к журналистской работе применима аксиома общего закона познания: чем больше диаметр круга твоих знаний, тем длиннее его окружность, то есть граница соприкосновения уже узнанного с непознанным. Чем дольше живешь в стране, чем больше узнаешь ее, тем острее становится жажда познать ее еще лучше, тем протяженнее становится граница, разделяющая то, что ты уже знаешь, от того, что тебе еще предстоит узнать. Если ты, конечно, этого хочешь.

Может быть, именно поэтому, если бы мне сейчас предложили на выбор любую точку для очередного раунда корреспондентской работы, я опять выбрал бы Бразилию, страну, где проработал дольше всего и которую, казалось бы, так хорошо знаю.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Вас вызывает Москва»



Попробуйте представить себе состояние журналиста, который впервые отправляется собкором за рубеж. Хорошо, если он едет в корпункт ТАСС или АПН, где обычно работают двое, трое, а то и больше сотрудников, которые встретят его, помогут войти в работу, подскажут, поправят. Ну а если ты должен работать в одиночку, как работает подавляющее большинство газетчиков? А если к тому же ты едешь открывать новый корпункт в стране, где нет коллег из твоей родной редакции, тебе никто не будет передавать дела, связи, адреса и телефоны знающих людей, друзей нашей страны, всех тех, кто может быть полезен тебе и нужен в работе?

Примерно в таком положении оказался я в Бразилии в то лето шестьдесят шестого года. Я знал, для чего там оказался, но меня угнетало непосильное бремя ответственности, лежащей на моих плечах. К тому же я чувствовал, что не умею ориентироваться в потоке обрушившейся на меня информации, не знаю, как искать в его водоворотах жемчужное зерно — ту нужную, актуальную и интересную новость, которую строгие московские редакторы без колебаний включают в выпуски последних известий.

Как и все зарубежные корреспонденты, одним из важнейших источников сведений о жизни страны, в которой работаешь, я считал, естественно, местные газеты. И каждый рабочий день начинал с того, что отправлялся к ближайшему газетному киоску, где за высоченными

кипами «Жорнал ду Бразил», «Коррейо да манья», «Ултима ора», «Глобо», «Диарио де Нотисиаш» сидел близорукий и тихий Лоретти, потомок итальянских эмигрантов.

Скупив все сегодняшние газеты, я возвращался домой, и тут начинались мучения. Что выбрать из газет? Что может послужить основой для заметки или комментария, который я передам через несколько часов в Москву?.. Первые полосы газет пестрели кричащими заголовками. Но ни один из них не сообщал ничего такого, что могло бы представлять интерес для кого бы то ни было, кроме самих бразильцев: «Губернатор штата Гуанабара доктор Неграо де Лима принял отставку начальника ДЕТРАН — департамента уличного движения». «Завтра с 14 до 16 часов будет закрыто движение по автомобильному туннелю Катумби — Ларанжейрас». «В национальном конгрессе сегодня начинаются дебаты по законопроекту об увеличении на 30 процентов заработной платы сенаторов и членов палаты депутатов». «Министерство авиации отвергает проект аэропорта столицы страны, разработанный Оскаром Нимейером». «Возникли серьезные трудности с финансированием строительства второй полосы автострады имени президента Дутра». «Военная академия „Агульяс Неграс“ проводит встречу ветеранов — бывших бойцов экспедиционного корпуса в Италии». «Сержио Порто публикует свой ежегодный список десяти „сертиньяс“ — самых очаровательных девушек сезона». «В ходе подготовки к конкурсу „Мисс Бразилия“ отмечены многочисленные нарушения регламента». «Тренер национальной сборной футбольной команды Висенте Феола все еще не вернулся из-за границы. Его дом по-прежнему находится под охраной полиции».

Любопытно, конечно, узнать, что и сейчас, спустя несколько недель после окончания чемпионата мира по футболу в Англии, на котором бразильская сборная потерпела жестокое поражение, ее наставник до сих пор не решается вернуться в родной Сан-Паулу, где его дом месяц назад чуть не сожгли разъяренные болельщики. Но ведь не станешь же передавать в Москву об этом как о главной новости в жизни Бразилии? А разве заслуживает внимания сообщение о дебатах в конгрессе насчет увеличения зарплаты законодателям? Нет никакого сомнения в том, что дебаты увенчаются «положительным решением». Еще бы: эти люди себя в обиду не дадут. Своя рука — владыка.

Я перелистываю газетные страницы, внимательно проглядываю полосы, отведенные сообщениям и комментариям на международные темы. Может быть, здесь найдется что-нибудь интересное? Вдруг кто-нибудь из здешних политических обозревателей выступил с острым комментарием о засилье американских монополий в стране? Или в какой-нибудь из газет опубликована телеграмма из Асунсьона о пытках политических заключенных в Парагвае? Читаю заголовки: «Находящийся в Бразилии с дружественным визитом министр сельского хозяйства Гватемалы посетил выставку племенного скота в Порту-Алегри». «Завтра в Лиме начнется очередной раунд переговоров о демаркации перуано-бразильской границы». «Министр вооруженных сил Лира Таварес дал завтрак в честь военного атташе Парагвая». «Итамарати в очередной раз опровергло слухи о якобы имевших место неофициальных контактах с правительством Кубы с целью поставок в эту страну излишков бразильского кофе».

Через два с половиной часа зазвонит телефон. Уже знакомый хриловатый голос бразильской телефонистки скажет: «Вас вызывает Париж». После треска, посвистываний и хрипа в трубке послышится мелодичное сопрано парижской телефонистки, которая переспросит: «Алло, это Рио? Месье Фесуненко? Вас вызывает Москва». И вслед за этим я услышу сначала международную телефонную станцию в Москве, а затем деловитый вопрос девушки, сидящей за пультом у нас, в радиокомитете на Пятницкой улице: «Это товарищ Фесуненко? Вам — стенографистку? Будете передавать?»

Страшный вопрос, на который нужно дать прямой ответ: «Нет, у меня сегодня ничего нет». — «С кем вас в таком случае соединить?» — «Спасибо, — торопливо скажу я, — мне сегодня никто не нужен». — «Ну а когда вас вызвать в следующий раз?» — «Пожалуйста, завтра или нет: послезавтра. В это же время».

...Я положу трубку, вытру пот со лба. Сегодня я ничего не передал. Это не страшно. Никто не требует и не ожидает от меня новостей из Рио-де-Жанейро каждый день. Но должен же я передавать что-нибудь хотя бы два-три раза в неделю? С тихой завистью думаю о коллегах, которым посчастливилось работать в Вашингтоне, Лондоне или Париже. Вот уж там не надо мучиться в поисках темы для корреспонденции. А здесь, в Рио?.. Попробуй я, например, сообщи, что местный муниципалитет принял решение о профилактическом ремонте

статуи Христа на горе Корковадо. Одновременно с такой телеграммой можно начинать укладывать чемоданы, ибо начальство там, в Москве, решит, что собкор либо повредился рассудком от тропической жары, либо вообще никогда не имел представления о корреспондентской работе.

Кстати, сколько времени осталось до звонка из Москвы? Два часа... Допустим, сегодня ничего диктовать не стану. Ну а завтра? Где я возьму материал для завтрашней или послезавтрашней корреспонденции? Ничего нового за ближайшие сутки не произойдет. Ничего важного может не произойти и неделю, и две, и месяц, а Москва рано или поздно задумается: почему так долго молчит корреспондент в Рио? И вновь берусь за газеты, вновь перечитываю все те же заголовки, которые меня не вдохновляют на сочинение корреспонденции, но которые — я с каждым днем ощущаю это все лучше и лучше — мне постепенно становятся все более интересны...

Это, пожалуй, было первым и самым поразительным открытием того начального, мучительного и трудного этапа моей корреспондентской работы: передавать нечего, газеты пишут вроде бы о пустяках, которые не могут заинтересовать никого, кроме самих бразильцев. А мне это интересно! Листаю газеты и восхищаюсь умением бразильских газетчиков не только синтезировать в заголовке суть статьи или интервью, но и приковать к ней внимание читателя. Ни в одной из здешних газет не найдешь абстрактных фраз типа: «Ценное начинание», «В борьбе за безопасность движения» или «Это не должно повториться!» В условиях острой конкуренции, борьбы за читателя, которого надо заставить купить и прочитать именно твою газету, такие слова не годны. Поэтому в заголовок здесь выносятся квинтэссенция факта либо то, что газета хочет навязать читателю в качестве квинтэссенции. Конечно, это приводит к тому, что заголовки у них получаются гораздо длиннее наших. Но это бразильских редакторов не смущает: у них газета выходит не на шести, а на шестидесяти, а то и больше полосах. Они могут позволить себе не экономить место. Они могут сочинить такой, например заголовок: «Город защищает автомобили, но обижает людей». Так вдохновенно названа заметка, в которой речь идет о нехватке автомобильных стоянок, что приводит к парковке машин на тротуарах и затрудняет жизнь пешеходам.

«Директор больницы в Нова-Игуасу требует от роженицы крови мужа...» Боже, что это такое: вампир, садист или уголовник в белом халате? Заметку под таким заголовком просто нельзя не прочитать. Читаю: «Руководство госпиталя в поселке Нова-Игуасу в предместье Рио требует от мужа находящейся там роженицы Франсиски Белем дос Сантос представить десять доноров. Взятая у них кровь пойдет на нужды госпиталя и послужит платой за услуги акушерского отделения, где Франсиска благополучно разрешилась от бремени дочкой весом в три с половиной килограмма. Муж нашел девять друзей и сам стал десятым донором. Все хорошо, что хорошо кончается...»

На следующей странице объявление: «Наследники Андре Шпицмана пытаются продать его апартамент в здании „Шопен“, на Копакабана».

Знаю это здание. Оно — в двух кварталах от нашей улицы Дувивьер. По-моему, это самый величественный и импозантный дом на Копакабана. В нем еще сохранилась квартира, принадлежащая экс-президенту Гуларту. Живут в «Шопене» самые состоятельные люди Рио.

А что там сказано о квартире, поступившей в продажу? Ого! Покойный Шпицман, надо полагать, не жаловался при жизни на тесноту в своей квартирке, которую теперь не могут поделить наследники: предлагаемый к продаже апартамент занимает весь тринадцатый этаж здания (Шпицман, видимо, не был суеверным) и состоит из семи салонов, шести спальных комнат, шести ванных и туалетных, шести комнат для прислуги, двух эксклюзивных (только для этой квартиры) лифтов. В подвале дома — персональный гараж на двенадцать автомашин. Имеется еще автономная внутриквартирная телефонная сеть на двенадцать номеров. Вещь, кстати сказать, крайне необходимая в таком жилище. Представьте себе, что сеньору Шпицману захотелось кофе: не кричать же ему об этом из своего кабинета кухарке на кухне через четыре салона, два коридора и три холла?! Достаточно снять трубку, набрать номер и, не повышая голоса, распорядиться. Очень удобно, не правда ли?..

Тут я вспоминаю о неотвратимо приближающемся телефонном звонке Москвы и хватаю следующую газету. Это «Ултима ора». Чем она радует читателей? «Манекенщица с обнаженным бюстом остановила автомобильное движение». Читаю с повышенным интересом. Выясняю,

что предприимчивая хозяйка бутика «Ана Паула» — небольшой лавки, рассчитанной на богатую клиентуру, наняла для пропаганды нового ассортимента юбок некую Дивину Алигьери (брюнетка, 53 кг, 1 м 72 см — деловито перечисляются дополнительные данные для читателей, которые пожелают заинтересоваться этим новаторским опытом торговой рекламы). Под музыку «йе-йе-йе» Дивина в витрине бутика демонстрирует юбки, оставив обнаженной верхнюю половину своего тела. «Успех бесплатного, хотя и частичного, стриптиза Дивины превзошел все ожидания, — сообщает далее „Ултима ора“. — На улице каждый день собирается громадная толпа. Каждая смена туалета сопровождается бурными овациями. Из-за большого скопления людей перед витриной „Аны Паулы“ автомобильное движение по улице Раймундо Коррейя временно прервано».

Вот уж действительно: реклама — двигатель торговли и прогресса. Вырезаю заметку для досье и разыскиваю в телефонном справочнике адрес бутика. На всякий случай.

Но, впрочем, не будем отвлекаться! Там же, в «Ултима ора», обращаю внимание на мрачное сообщение: «Самоубийцы! Психиатры пытаются сдержать волну самоубийств, достигшую только в Рио отметки тысяча в год...» Это тоже показатель благополучия или неблагополучия общества. Впрочем, где-то я читал, что в Швеции, считающейся чуть ли не самой благополучной страной капиталистического мира, уровень самоубийств достиг рекордных высот. Стало быть, человеку мало одного только материального благополучия...

Продолжаю меланхолически перелистывать «Ултима ора». В разделе скандальной хроники крупно набрано сообщение о том, как в квартале Сан-Кристован в пять часов утра из-за неосторожности одного из водителей сразу два автобуса врезались в стену ботекина — убогого бара, и убили трех молодых парней, которые пили там утренний кофе. Фотографии, интервью очевидцев, слезы владельца бара, горе родственников погибших. И ни слова о том, что водители автобусов этого «самого прекрасного» города на земле работают в самых невыносимых на нашей планете условиях: в тропической жаре, в загазованной до почти убийственного уровня атмосфере. В буквально разваливающихся машинах они вынуждены носиться по забитым транспортом улицам, на которых светофоры выходят из строя еще

чаще, чем эти автобусы, а пешеходы не считаются с правилами уличного движения. Удивительно не то, что два автобуса вломились вчера в ботекин, а то, что это не происходит ежедневно.

«Клинические анализы для вашей любимой собаки!..» У меня нет собаки, но я все равно добросовестно читаю заметку и узнаю о том, что на улице Матозо открылась первая в Рио ветеринарная лаборатория для любых клинических и паразитологических анализов. Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов. Вашу собачку или кошку обслужат специалисты, проходившие практику во Франции и Бельгии. Ну а если любимая собачка будет нуждаться в помощи в субботу или в воскресенье? О, в этом случае, как напоминает «Жорнал ду Бразил», на улице Санта-Клара, дом 327-а, круглосуточно — обратите внимание, сеньоры, именно круглосуточно! — работает станция ветеринарной скорой помощи. Вам нужно только позвонить по телефону 237-4405, и к услугам вашего мопса или фокстерьера появится автомашина со специализированным персоналом. В заметке этой нет ничего сенсационного: ветеринарная служба должна функционировать в каждом цивилизованном городе. Плохо то, что при такой отличной ветеринарной службе в Рио иногда бывает невозможно вызвать «неотложку» для человека. Об этом вчера с горечью писала «Ултима ора». И привела целый ряд ужасающих примеров, когда люди умирали, не дождавшись появления врачей.

Продолжаю изучать заголовки. Погружаюсь в этот чужой и странный мир: автобусы, проламывающие стены домов, манекенщица, совершающая стриптиз в витрине лавки, психиатры, героически борющиеся с самоубийцами, ветеринарные поликлиники, проекты уничтожения фавел и телефонизированный вигвам сеньора Шпицмана. Мир и в самом деле чужой и странный, живущий по своим, совершенно отличным от наших законам и традициям. Но мне нравится наблюдать за его жизнью, разгадывать загадки. А если это интересно мне, то почему я решил, что это не должно быть интересно москвичам и ленинградцам, узбекам и сибирякам, прибалтам и украинцам, словом, всем людям, ради которых я здесь сижу и которым я должен рассказывать не только о том, какая это страна — Бразилия, но и о том, какие это люди — бразильцы? Прав ли я, утверждая, что в газетах этих ничего почерпнуть нельзя? Может быть, стоит все-таки попытаться найти способ, манеру, форму, которая поможет донести до

соотечественников мой интерес, мои ощущения, мой гнев, мою радость. Не в этом ли ключ? Почему бы, например, не сочинить язвительную реплику о продаже апартамента Шпицмана?

Кстати, сколько стоит этот шпицмановский чертог?.. Два миллиона четыреста тысяч крузейро! А каков сейчас официально установленный минимум зарплаты?.. Обращаюсь к досье, нахожу искомую цифру, выясняю, что наследники Шпицмана хотят получить за свою квартиру в здании «Шопен» сумму, которую рабочий может заработать за две тысячи лет.

Итак, у меня уже вырисовывается черновой вариант корреспонденции. Впрочем, поразмышляв, чувствую, что это решение меня не устраивает. Оно кажется слишком уж примитивным, лобовым. А что, если столкнуть наследников Шпицмана с Франсиской — роженицей из Нова-Игуасу, которая должна платить за услуги своей акушерки кровью мужа и его девяти друзей? Это было бы интересно, но постойте: при чем тут Шпицман? Может быть, Шпицмана вообще не трогать, отправить в досье, он нам еще пригодится, а сейчас сопоставить проблемы, которые вынуждена решать Франсиска, с открытием ветеринарной лаборатории на улице Матозо!.. А ведь и в самом деле: как же это мне сразу в голову не пришло?

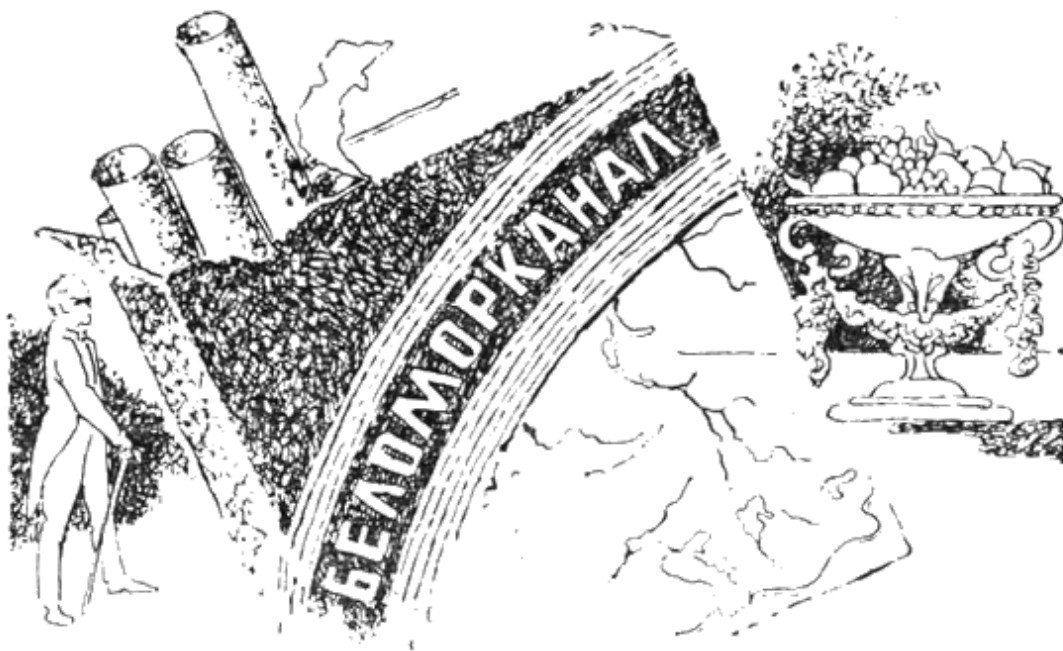
Кровь отца — как плата за рождение ребенка, когда у вас нет денег, и возможность, когда деньги у вас есть, сделать анализ крови своей любимой болонки силами специалистов европейской квалификации!

Два факта одного дня, затерянные на сотнях газетных полос, два в общем-то заурядных события из жизни этого города, встав рядом, вдруг слились во что-то цельное, во что-то, о чем можно сказать словами поэта: «тут ни прибавить, ни убавить»...

Когда меня вызовет Москва? Через полчаса? Пускай вызывает. Я уже знаю, о чем буду диктовать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Свой среди чужих



Мне крупно повезло: буквально через несколько дней после того, как я получил аккредитацию в министерстве иностранных дел и был благословлен на корреспондентскую деятельность, в Бразилию прибыл, как уже было упомянуто выше, с официальным визитом советский министр. «Почему повезло?» — спросите вы. Да потому, во-первых, что визит государственного деятеля такого ранга является важным событием, которое журналисты обязаны отражать, освещать, комментировать. И это позволяло мне, по крайней мере на несколько дней, избавиться от только что описанных душевных терзаний на тему: «О чем сегодня передавать в Москву?»

Кроме того, визит члена правительства сопровождается массой протокольных мероприятий: встреч, переговоров, коктейлей, приемов, пресс-конференций, которые помогают новичку-корреспонденту сразу же окунуться в водоворот местной жизни, обзавестись массой полезных знакомств и связей, найти интересные сюжеты и важные темы. Чего стоит одно только путешествие по стране в специальном самолете делегации, даже если полет продолжается всего несколько часов! Любой бывалый собкор хорошо знает, какие возможности открывают перед нашим братом корреспондентом такие спецрейсы: они укорачивают не только расстояния между городами, но и дистанции между самими пассажирами. Эти рейсы полны приятных неожиданностей и очень полезных для работы сюрпризов: соседом по

креслу, попросившим у вас зажигалку, может, к примеру, оказаться начальник департамента по освоению Амазонии. А идя по проходу между рядами кресел, вы можете нечаянно наступить на ногу разгадывающего кроссворд министра внутренних дел или президента Национальной службы защиты индейцев. И грош вам цена как журналисту, если после этого вы не сумеете, инсценировав шумные извинения, угостить министра «Беломором», затем принять участие в решении кроссворда, потом обменяться мнениями о ходе футбольного чемпионата и в завершение выторговать у него для себя поездку в Амазонию или посещение какой-нибудь обычно закрытой для иностранцев индейской резервации.

Но это теперь я стал таким умным! А тогда, осенью шестьдесят шестого года... До сих пор обидно вспомнить, скольким министрам в те первые месяцы я безрезультатно отдавливал ноги и сколько раз бескорыстно и без всяких позитивных для себя и для работы последствий угощал высокопоставленных чиновников экзотичным для них «Беломором». А ведь я не шучу: опытный журналист даже несложную процедуру прикуривания может и в самом деле превратить в стартовую площадку операции, которая завершится, если не командировкой, то интервью, если не книгой, то очерком строк на триста.

Взять хотя бы такую банальную ситуацию, как первый в творческой биографии самоучки дипломатический прием.

Страдания молодого Вертера начинаются с получением приглашения, этой изящной открытки с золотым обрезом и пропечатанным глубокой печатью гербом. Точнее говоря, с момента, когда в правом нижнем углу открытки обнаруживаются два английских слова «блэк тай», означающие, что на обеде необходимо появиться в смокинге, которого у дебютанта, разумеется, нет. Друзья подсказывают выход: взять смокинг напрокат, и тут же везут несчастного в ближайшее ателье. Многоопытный владелец этого заведения — старый еврей из Бердичева, эмигрировавший в Бразилию еще до революции 1905 года, всучает многострадающему новичку смокинг, который жмет под мышками. Черные панталоны с шелковой тесемкой вдоль шва оказываются, наоборот, великоваты, галстук-«бабочка» никак не хочет сидеть ровно, лакированных башмаков, которые положено обувать к смокингу, у вас нет.

Но делать нечего, журналистика требует жертв, и в точно назначенный час вы появляетесь у парадного подъезда, чувствуя себя как водолаз, которого только что вытащили из пучины, но еще не извлекли из скафандра. Сходство усиливается тем обстоятельством, что вы закутаны в плащ, ибо по закону падающего бутерброда именно в тот момент, когда вы отправляетесь на обед, начинается тропический ливень. О том, как при температуре 45 градусов в тени чувствует себя человек, облаченный в добротный прорезиненный плащ отечественного производства, не хочется даже и вспоминать.

Истекая потом в прямом смысле слова и кровью — в фигуральном, вы подходите к мраморному порталу дворца. Навстречу идет, приветствуя вас учливой улыбкой, седовласый джентльмен в безукоризненно (не то, что у вас!) сидящем смокинге. Изнемогая от сознания собственной ничтожности, вы пытаетесь изобразить на страдальческой физиономии искреннюю радость, благодарите за приглашение и крепко, от всей души пожимаете руку величавого старца, который не без удивления принимает вашу признательность, а затем... приглашает вас подняться по лестнице в салон, где проходит прием, снимает с вас мокрый плащ и несет его в скрытую под лестницей гардеробную.

Благодаря бога за то, то никто не видел крепкого рукопожатия, которым вы удостоили швейцара, спутав его с хозяином дома, вы поднимаетесь по лестнице и демонстративно отворачиваетесь от приветствующего вас у входа в салон убогого старичка, похожего на гардеробщика в третьеразрядном кабаке. Старичок слегка обескуражен вашим высокомерием, но протягивает вам руку, вы с опаской пожимаете ее и только теперь понимаете, что это и есть тот самый министр, который пригласил вас на обед.

Вот так, в страданиях и сомнениях, началась моя светская жизнь. А впереди меня ожидали кроссворды, западни и испытания, рядом с которыми жонглирование стаканом, спичками и сигаретой могло показаться детской забавой. Представьте себе, как под неожиданно возникшие звуки музыки медленно раскрываются двери в следующий зал и гости устремляются к сверкающему хрусталем столу. По неопытности вы не обращаете внимания на вывешенную у входа в обеденный зал схему рассадки гостей и пытаетесь сесть на первый подвернувшийся стул. Увы, рядом с прибором лежит карточка,

извещающая о том, что это место предназначено директору национального банка. Соседний прибор ожидает вице-губернатора, за ним — место пресс-секретаря министерства иностранных дел... У каждого прибора — на маленьких карточках имена гостей. Вы начинаете метаться вокруг стола в поисках карточки со своим именем, сопровождаемые удивленными взглядами остальных участников этого мероприятия и молчаливым негодованием застывшего метрдотеля. В конце концов вы обнаруживаете свое место на самом дальнем конце стола, со вздохом облегчения падаете на стул. И спустя несколько мгновений обнаруживаете, что вздох облегчения был, по меньшей мере, преждевременным: начинается драма общения. Слева и справа от вас сидят какие-то элегантные дамы, с которыми вас никто не познакомил.

По идее — мужчина должен в первую очередь ухаживать за соседкой справа, но дама справа уже поглощена разговором с другим своим соседом. А соседка слева, наоборот, молчалива и меланхолична. Нужно ли заговорить с ней? Или в качестве предлога для знакомства попросить ее подать соль? Но зачем просить об этом даму, если за спиной — полдюжины официантов?

В таких терзаниях проходит весь обед. Они усугубляются еще и тем, что, прислушиваясь к разговорам, вы ничего не понимаете в них: тонкости бриджа, последние открытия в области парапсихологии, кто-то самолично видел, возвращаясь третьего дня из Майами, летающее блюдце. Где-то рядом идет беседа о последнем бестселлере: знаменитом сексологическом исследовании доктора Кинсей. Обсуждаются достоинства футбольного клуба «Флуминенсе», искусство волшебника пластической хирургии доктора Иво Питанги... Вы слушаете все это, и вам хочется посыпать голову пеплом и больше никогда не появляться на мероприятиях такого рода и такого уровня.

Потом, спустя месяц-другой, вы поймете, что «светская жизнь» — этот опасный аттракцион, где очень легко сломать если не шею, то репутацию, является для журналиста, если это, конечно, настоящий журналист, незаменимым и очень важным средством получения ценнейшей информации, завязывания нужных знакомств, поиска людей, которые смогут решить ваши профессиональные проблемы или помочь в их решении.

В первую очередь «светская жизнь» помогает вам организовать интервью с государственными и политическими деятелями страны

вашего пребывания. Непреложный факт: высокопоставленному правительственному чиновнику гораздо труднее отказать вам в randevу, когда вы просите о нем не официальным письмом, а беседуете в кругу общих знакомых, угощая друг друга сигаретами и выясняя взаимные привязанности и вкусы, знание которых, кстати сказать, играет в нашем деле большую роль. Если вам необходимо заполучить интервью министра, то следует подумать не только о том, как выйти на этого министра, но и каким способом завоевать его расположение.

Говоря конкретно, в Бразилии, прежде чем завязывать знакомство с нужным тебе чиновником, весьма полезно узнать, за какой футбольный клуб он болеет. Выяснив это, вы получаете, во-первых, благодатную возможность войти в контакт с ним не официальным путем, а в результате «нечаянной» встречи на «Маракане» в тот день, когда играет его команда. А во-вторых, очень удобно начать разговор патетическим восклицанием типа: «Сеньор министр, вам не кажется, что второй гол в ворота нашего с вами „Флуминенсе“ в последнем матче с „Сантосом“ был забит из офсайда?..»

Могу поручиться, что вспышка симпатии и интереса к вам со стороны министра практически гарантирована, теперь вам следует ковать железо, пока оно горячо: ругать судью, приводить мнение других высокопоставленных поклонников любимой министром команды. И когда вы почувствуете, что ваш собеседник уже проникся симпатией к иностранцу, так хорошо осведомленному о всех драмах и проблемах родимого клуба, тут и настал момент, когда министра можно «брать голыми руками»: просить у него интервью, разрешение на поездку во вверенное его попечениям хозяйство или на съемку подведомственных ему объектов.

Впрочем, на бумаге такая операция кажется легкой и даже привлекательной. А осуществить ее не так-то просто. Необходимо, раз уж ты работаешь в стране, где футбол стал общенациональной страстью, быть в курсе всех футбольных дел и новостей, регулярно смотреть матчи, читать спортивную прессу, общаться с болельщиками, спортивными комментаторами и желательно с футболистами.

Но предположим теперь, что человек, который вам нужен, равнодушен к футболу. И в этом случае следует выяснить круг интересов, симпатии и антипатии вашего собеседника, чтобы суметь продемонстрировать свою осведомленность в той области, в которой он

считает себя специалистом. А это может быть все, что угодно: бридж, скачки, голливудские сплетни, коллекционирование древнеиндейской керамики, фестиваль стриптиза в театре на площади Тирадентиса или игра на бирже. И если вы сможете компетентно беседовать с ним об этом, тогда министр почувствует к вам уважение, заинтересуется вами и станет уже и на ваши деловые вопросы отвечать не формально, а искренне. А это значит, что вам нужно быть в курсе всех основных проблем, волнующих ваших вероятных собеседников, даже если они, эти проблемы, вам самому не кажутся интересными.

...Вернувшись домой после первого в моей жизни великосветского обеда, я попытался вспомнить, о чем беседовали его участники до обеда, за столом и после обеда, когда в соседнем салоне подавали кофе с коньяком и ликерами. Помимо футбола, без которого не обходится в Бразилии ни одно застолье, речь шла об очередной девальвации крузейро и повышении курса доллара на черном рынке, о трогательном романе бывшей «мисс Бразилия» и «мисс Универсул» Иеды Варгас с каким-то высокопоставленным чиновником. О недавнем фестивале американских фильмов, обладателей «Оскаров» последних лет. О предстоящем розыгрыше на ипподроме «Жокей-клуба» Рио «Кубка Бразилии». О самбе, которая может завоевать первое место на карнавале будущего года. О новой концертной программе певицы Элис Режины. И о последней книжке самого популярного сатирика Сержио Порто, которая называлась «Фестиваль идиотизма, охвативший страну».

Говорили о войне во Вьетнаме и о намерении бразильского правительства направить в Сайгон самолет с медикаментами для американских солдат. Говорили о писателе Генри Миллере и автогонщике Фитипальди, о семействе Кеннеди и о бывшей голливудской кинозвезде Джоан Кроуфорд, которая подалась в мир бизнеса и намеревалась открыть в Рио фабрику пепси-колы. Ругали городскую полицию, ужасались ростом преступности, возмущались автомобильными пробками, обсуждали проходивший недавно в «Мараканазиньо» международный фестиваль песни и делились слухами о предстоящем кинофестивале. Словом, это была оживленная светская болтовня обо всем и ни о чем, и единственной, достойной внимания темой (я даже сочинил об этом корреспонденцию для «Последних известий») было упоминание о предстоящем полете

самолета с медикаментами в Сайгой. Бразильское правительство стремилось продемонстрировать таким образом свою солидарность с американцами, ведущими войну во Вьетнаме. Спустя некоторое время об этой «акции солидарности» с возмущением заговорили все бразильские газеты, но впервые я услышал о ней именно там, на обеде у министра и стал первым журналистом, предавшим гласности эту затею бразильских генералов. Этот случай стал для меня первым предметным и наглядным уроком, говорящим о полезности таких сугубо «светских» мероприятий для нашей журналистской работы.

Но упоминание о готовящейся отправке медикаментов для американских войск во Вьетнаме было, повторяю, единственным фактом, заинтересовавшим меня в том долгом и сумбурном застольном разговоре. Все остальное показалось поначалу чепухой, не заслуживающей внимания. Впрочем, поразмыслив, я пришел позднее к выводу, что был не прав: все, абсолютно все, о чем говорили гости министра, мне тоже следовало знать. Я понял, что должен научиться в любой момент, в любом обществе вести разговор на любую тему, должен уметь жить жизнью людей, среди которых оказался. Читать книги, которые они читают, смотреть фильмы, которые им кажутся модными, в газетах обращать внимание не только на политические комментарии и международные обзоры, но даже и на светскую хронику или коммерческую рекламу. Завести знакомства не только среди солидных журналистов, чиновников или дипломатов, но и в мире музыки и театра, героев карнавала, футбольных комментаторов, репортеров уголовной хроники. Стараться понять все, что на первый взгляд непонятно, и не отвергать сразу то, что кажется чуждым, не заслуживающим внимания. Я не представлял себе еще тогда, насколько это может быть увлекательно: проникать в жизнь чужой, совершенно тебе не знакомой страны, усваивать и постигать ее традиции, привычки и законы ее бытия, чувствовать, как начинаешь понимать то, что не понимал еще вчера.

И так — день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И в какой-то день и час приходит к тебе радостное сознание того, что все это было не зря. Что ты не только привык к этой кропотливой исследовательской работе по узнаванию страны, но она уже стала тебе приятна и даже необходима. И что эти новые, на порядок более глубокие знания начинают приносить профессиональные дивиденды. В заметке

светского хроникера ты черпаешь идею фельетона для воскресной передачи «С добрым утром!». На репетиции школы самбы «Мангейра» рождается замысел очерка для «Музыкального глобуса». Затянувшаяся за полночь в маленьком баре исповедь случайного собеседника подскажет тебе тему заметки для радиостанции «Юность». Нужно только постоянно помнить о том, что в журналистике, как и вообще в жизни, ничто не падает с неба, ничто не дается случайно! Никакой интересный тебе человек не станет с тобой говорить, если ты ему не интересен. И чтобы твой сосед за стойкой в баре разговорился с тобой, ты сам должен его чем-то тронуть, расшевелить, задеть. Даже беря интервью у футболиста, нужно уметь не только сформулировать свои вопросы, но и научиться слушать ответы, реагировать на них, подхватывать неожиданно возникающие новые темы.

И тут, очевидно, пришло время сказать о том, что в этой работе были у меня советчики и учителя. Которые, впрочем, и не подозревали об этом. И самым первым из них, о ком всегда буду помнить с признательностью и восхищением, стал мой коллега и старший товарищ Виталий Боровский, корреспондент «Правды» по странам Латинской Америки. Работал и жил он тогда в Сантьяго-де-Чили, но осенью шестьдесят шестого года приехал в Бразилию, чтобы сделать несколько репортажей об этой стране. Его появление в Рио стало для меня подарком судьбы. Среди журналистов-латиноамериканцев он выделялся не только опытом, знаниями, стажем работы. Он был удивительно пытлив и любознателен, заражал окружающих своей энергией и неутомимостью. И там, где другие с трудом выжимали из себя информацию на десяток строк, Виталий писал аналитическую статью, очерк или репортаж.

Я употребил стыдливо-неопределенное слово «другие»... Буду до конца откровенным и признаюсь, что среди этих «других» оказался однажды и я, получивший от Виталия наглядный предметный и блестящий урок корреспондентской работы.

Дело было так...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Кофе фирмы «Касике»



В двадцатых числах октября шестьдесят шестого года в советском торгпредстве в Рио был подписан контракт с фирмой «Касике» на закупку довольно большой партии растворимого кофе, и по этому случаю я немедленно отправил в Москву следующую депешу: «СССР закупил в Бразилии растворимый кофе почти на полмиллиона долларов. Подписание контракта состоялось в Рио-де-Жанейро». Спустя сутки мне сообщили из отдела корреспондентской сети, что она прошла в нескольких выпусках новостей и даже была включена в 22-часовой выпуск «Последних известий», в который, как известно, попадают лишь самые важные, самые яркие и интересные корреспондентские информации. Я почувствовал, что меня охватило приятное ощущение исполненного долга. Впервые попав в 22-часовой выпуск, я уже мог считать себя — так, во всяком случае, мне тогда казалось — стопроцентным корреспондентом.

А спустя две недели на приеме в нашем посольстве по случаю годовщины Октября среди приглашенных я увидел руководителей фирмы «Касике» Орасио Коимбру и Родольфо Кретча. Мы поприветствовали друг друга, разговорились. Беседа была чрезвычайно содержательной: речь шла о погоде в Рио, затем — о погоде в Москве. Мы сошлись во мнениях насчет того, что в Москве сейчас осень, тогда как в Рио — в самом разгаре весна. Это умозаключение позволило прийти к глубокомысленному выводу о том, как далеки друг от друга

наши страны, а вслед за этим — согласиться, что эта астрономическая дистанция не может препятствовать укреплению дружбы между нашими народами. Тут я подобрался и напрягся, как часовой у полкового знамени. Ощувив личную ответственность за упрочение этой дружбы, я с гордостью сообщил собеседникам о скромном личном вкладе в это благородное дело. Имелась в виду корреспонденция о подписании контракта на покупку кофе. Я сказал, что ее неоднократно передавали в эфир и теперь советские люди с нетерпением ожидают, когда же наконец на прилавках наших магазинов появится баночки с эмблемой «Касике».

Коимбра и Кретч вежливо поблагодарили и выразили надежду, что это ожидание не окажется слишком долгим и русский потребитель, отведав первую чашечку «Касике», не будет разочарован.

Я, разумеется, запротестовал: бразильский — лучший в мире! — кофе не может разочаровать никого. Тем более моих соотечественников, пронизанных братскими чувствами к далекому бразильскому народу.

Так и текла бы эта безмятежная и никого ни к чему не обязывающая беседа к своему безмятежному, ни к чему не обязывающему концу, если бы рядом не появился Виталий Боровский. Он подошел к нам в тот момент, когда Орасио Коимбра — высокий, спокойный, я бы даже сказал, величественный сеньор, говорил о том, с каким нетерпением и даже волнением ждет он встречи своего кофе с русскими потребителями.

— Что такое? — спросил Виталий. — Ваш кофе в Москве? Почему?

Мои собеседники, не поняв вопроса, который был задан по-русски, церемонно поклонились, а я представил Виталия и одновременно пояснил ему, что сеньоры Коимбра и Кретч являются руководителями той самой фирмы «Касике», которая две недели назад заключила с нами контракт...

— Так, — сказал Боровский, не дослушав меня, и перешел на испанский язык, который все бразильцы, говорящие, как известно, по-португальски, прекрасно понимают. — А когда начнутся поставки?

— В самое ближайшее время, — ответил сеньор Коимбра.

— Откуда и каким образом пойдет кофе в Советский Союз?

— Мы будем доставлять его из нашей фабрики в Лондрине до порта Паранагуа на грузовиках, а дальше оно пойдет советскими

судами в Одессу.

— И когда именно начнется у вас в Лондрине отправка в Паранагуа первой партии?

...Сеньоры Коимбра и Кретч поняли, с кем они имеют дело: еще через несколько мгновений фирма «Касике» официально пригласила присутствовать на торжественной церемонии отправки первой партии кофе в СССР сеньора Боровского и... я так жалобно глядел на Орасио Коимбру, что он великодушно добавил: «...и других советских журналистов, работающих в Рио».

Я начал рассыпаться в благодарностях, но Виталий, перебив меня, спросил, где и когда следует разыскать уважаемых руководителей фирмы, чтобы «материализовать это приглашение».

— Что вы, что вы?! — воскликнули руководители. — Не беспокойтесь: мы сами сообщим вам об этом на следующей неделе и пришлем авиабилеты.

— Да, да, конечно, — согласился Виталий. Но визитные карточки с адресами и телефонами у Коимбры и Кретча все же взял. На всякий случай.

Возвращаясь с приема домой, я меланхолически размышлял о том, какой же я все-таки растяпа. Да и мои здешние коллеги тоже хороши! Мы втроем: я, корреспондент ТАСС, корреспондент АПН — сидим тут уже почти полгода и все это время регулярно жалуемся друг другу на отсутствие интересных тем и значительных событий, которые могли бы привлечь внимание наших читателей или слушателей. Мы присутствовали при подписании контракта с фирмой «Касике», отправили свои депеши в Москву и успокоились на этом. И нужно было появиться Виталию: человеку, работающему в другой стране, обремененному, казалось бы, другими проблемами и заботами, чтобы увидеть то, чего мы здесь разглядеть не смогли, и организовать для нас, для «бразильцев», интересную и нужную командировку.

Самое любопытное в этой истории: на следующей неделе, когда пришли приглашения, Виталий не смог выехать в Лондрину вместе с нами. Оказалось, что именно на эти дни у него намечено какое-то важное интервью с очень высокопоставленным чиновником. Вот ведь ирония нелегкой журналистской судьбы; мы без него отправились собирать урожай, который он посеял. И без него присутствовали на отправке первых ящиков кофе, осмотрели фабрику, побывали на

кофейных плантациях, поговорили с разными людьми: с инженерами, рабочими, батраками, работающими на плантациях, и немцем-управляющим, который командовал батраками. И в результате этой командировки на Московское радио, в ТАСС и АПН ушли три лаконичные, почти одинаковые телеграммы. Впрочем, я решил, что для меня результаты поездки в Лондрина не должны ограничиться одной только информационной депешей на радио. Там, на фабрике «Касике», на кофейных плантациях, я все время пускал в ход болтавшийся на плече магнитофон. И от этой поездки у меня накопилась солидная коллекция записей: шум двигателей на фабрике, голоса рабочих, ругань грузчиков, рокот грузовиков, выезжающих за ворота, интервью с Кретчем и инженером Уго Себеном. Были на этой пленке и записи, сделанные на плантации, в частности, довольно любопытный рассказ управляющего Абелардо о том, как выращивается кофе, как собирают урожай, как оплачивается труд батраков. Я знал, что все это рано или поздно обязательно пригодится, и не спеша обдумывал, каким образом использовать этот материал: то ли сделать репортаж на тему: «Продукция „Касике“ идет в Советский Союз», то ли копнуть тему поглубже и сочинить большой радиоочерк о бразильском кофе как об одной из традиционных опор национальной экономики. В моих пока еще не очень пухлых досье уже лежали несколько газетных вырезок и выписок на эту тему. Например, сообщение о том, что продажа кофе дает стране более половины ее доходов, что самая главная проблема, с которой сталкиваются кофейнопромышленники, — это перепроизводство. Я уже знал, что обязательно поведаю о тайнствах приготовления хорошего кофе. У меня была даже заготовлена соответствующая цитата, но я еще не успел обнаружить, что ее уже разнесли по всему свету все авторы, писавшие о кофе: «Этот напиток должен быть черным, как ночь, жарким, как ад, жгучим, как поцелуй, сладким, как любовь». Словом, я неторопливо обдумывал тему «Бразилия и кофе», любовно смаковал, пестовал ее, предвкушая, как отправлю сначала очерк на радио, потом, спустя некоторое время, разовью его, обогащу новой фактурой и сочиню статью на тему «Экономика кофейного производства» для «Нового времени». А затем можно подумать и о большом, орнаментированном фотографиями опусе для, допустим, журнала «Вокруг света».

И пока я размышлял на эти темы, строил прожектывы и упивался ими, почта принесла из Москвы очередную порцию газет, и в «Правде», датированной 28 ноября, был напечатан очерк Боровского: целый, как говорят газетчики, «подвал» под названием «Земля „зеленого золота“». Виталий, оказывается, съездил в Лондрину через несколько дней после нас, увидел там все то, что увидели мы, поговорил с теми же самыми людьми и с потрясающей быстротой и четкостью изложил в «Правде» все то, что неторопливо вызревало, обдумывалось и укладывалось в моей голове. Он, впрочем, рассказал читателям своей газеты не только обо всем том, о чем я лишь через несколько недель, а то и месяцев собирался поведать радиослушателям. Честно признаю: в его очерке была масса мыслей и идей, которые самому мне просто не пришли тогда в голову. Читал я его со смешанным ощущением злости, зависти и восхищения, чувствуя, что получил урок, который запомнится надолго: мой коллега, который, казалось бы, гораздо меньше, чем я, знаком с Бразилией, «пришел, увидел, победил». И сделал это лучше, чем сделал бы это я. Он не поддавался искушению экзотикой. Он не стал отвлекать внимание читателей долгими историческими экскурсами, зато сказал именно о том, что нужно было сказать. С безукоризненной логикой он объяснил, почему щедрая бразильская земля, которая способна напоить кофе чуть ли не весь мир, не может прокормить даже земледельцев, которые производят кофейные зерна. Он увидел главное противоречие в мировой системе производства и торговли кофе: несовместимость интересов стран-производителей, крупнейшей из которых является Бразилия, и стран-потребителей во главе с Соединенными Штатами.

Я прочитал его очерк и понял, что рассказ о кофе может быть интересным и без тщательно коллекционированного мной «оживляжа», без всех этих «черный, как ночь, жгучий, как поцелуй»... И, задумавшись, пришел к выводу, что нужно переключить свое внимание с забавных мелочей на главные проблемы, изменить направление поисков, прекратить погоню за дешевкой, за экзотикой и приступить к серьезному изучению кофейной политики и кофейной экономики. В конце концов рецепты варки кофе не столь важны и не столь нужны мне, как, например, знание законов и традиций международной торговли этим продуктом. Я начал собирать статьи на эту тему. Заинтересовался. Стал разыскивать специалистов, беседовать с ними. Мое досье распухло.

И вскоре я уже мог объяснить, почему, например, в Международной организации по кофе Бразилия, производящая около половины всего выращиваемого в мире кофейного урожая, располагает всего лишь 300 голосами, а США, которые покупают половину всего товарного кофе, имеют 500 голосов. Я уже знал, по каким принципам на мировых рынках устанавливаются квоты на продажу кофе и регулируются цены. Как хитро ведут страны-потребители во главе с США игру на понижение этих цен, пользуясь тем, что в одной только Бразилии накопленные в то время излишки этого продукта в полтора раза превышали объем его годового мирового потребления. И как тщетно пытается Бразилия разорвать этот заколдованный круг.

Я столь сильно увлекся драмами и трагедиями беспокойного мира кофе, что, и расставшись впоследствии с Бразилией, продолжал вести свои «кофейные досье», следил за всегда напряженным и нервным положением дел на мировом рынке кофе, который, кстати говоря, занимает по объему товарооборота второе место после нефтяного. Да, да! Мы привыкли считать кофе приятной услугой. Десертом, без которого хотя и трудно, но, согласитесь, можно обойтись. Мы знаем, что в жизни есть масса куда более нужных, важных и по-настоящему необходимых вещей. И вот, пожалуйста, выясняется, что ни зерно, ни мясо, ни автомобили, ни золото — словом, никакие иные изделия, товары, сырьевые продукты, кроме нефти, по данным на начало 80-х годов, не занимают в мировой торговле такого места и не имеют такой суммарной стоимости на рынке, как кофе!

И сейчас, работая над этой книгой, я вновь перелистываю пухлые папки, в которых собраны цифры, факты, мнения и оценки, рассказывающие о положении дел на кофейных рынках за последние тридцать лет, и вновь убеждаюсь, что, как ни трансформировался этот беспокойный мир, какие бури его ни потрясали, а в главном, в существе все в нем осталось без перемен. Кризисы сменялись взлетами. Цены падали и подымались снова. В истеричном стремлении покончить с перепроизводством и затовариванием кофе бестолковые администраторы предпринимали грандиозные вырубki кофейных плантаций. Но по закону все того же падающего бутерброда именно в это время страну поражали фантастические заморозки. Урожаи погибали. Запасы исчезали. И дело доходило до того, что Бразилия — это невероятно, но это так! — вынуждена была даже закупать кофе в

Африке! И на землях, только что расчищенных от вырубленных кофейных деревьев, перепуганные администраторы распорядились немедленно начинать... новые посадки кофе.

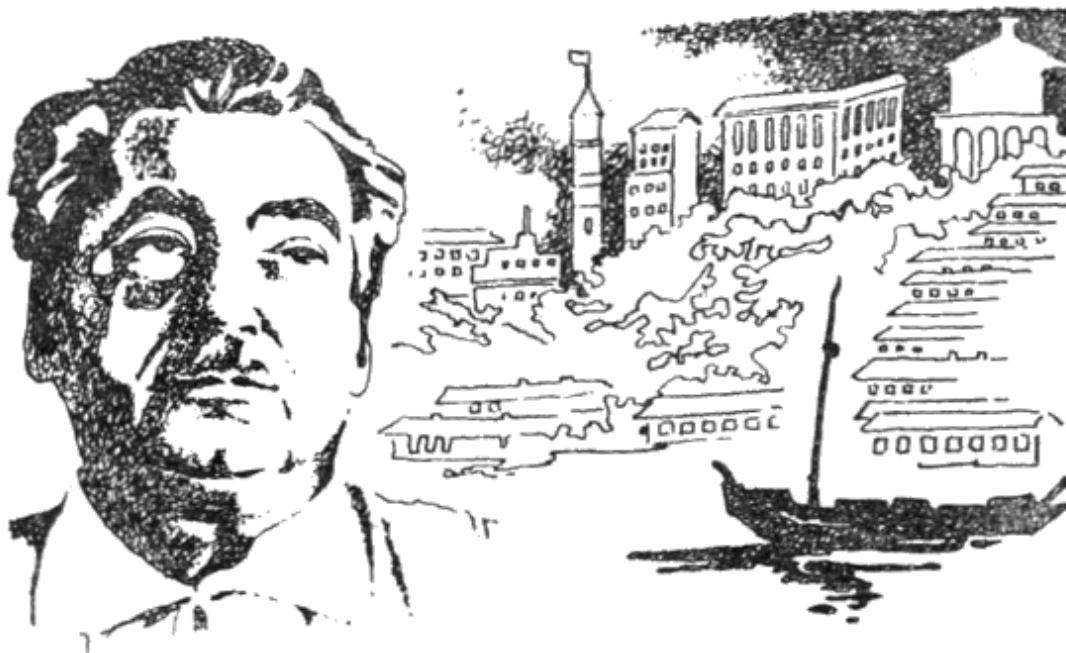
И при всех этих катаклизмах, метаниях и страданиях суть дела, как ее обнаружил в том памятном для меня очерке Виталий Боровский, никогда не менялась: в непрекращающейся ни на один день войне стран-потребителей во главе с США против стран-производителей во главе с Бразилией успех и победа всегда сопутствовали первым. А в проигрыше всегда оставались бразильцы.

Видимо, через это уже не перепрыгнешь, так уж устроен этот мир: когда производство кофе (из-за массовых заболеваний растений на плантациях или вследствие заморозков) падает и цены на него начинают расти, собранного зерна (ведь урожай-то невелик!) оказывается недостаточно, чтобы покрыть расходы и расплатиться с долгами. А когда урожаи хороши и высоки, кофе на мировых рынках оказывается в избытке, цены падают, и бразильцы опять терпят убытки. Так было двадцать лет назад, такая же ситуация сохраняется и в те дни, когда я пишу эти строки, и думаю, что двадцать лет спустя все останется по-прежнему в этой без устали вращающейся кофейной рулетке: сильный всегда побеждает, а слабый обязательно проигрывает.

Но тогда, в ноябре шестьдесят шестого, впервые соприкоснувшись с этим миром, побывав на фабрике «Касике» и побеседовав с ее директорами, я не был еще способен подняться до таких обобщений, ибо очень мало знал о кофе, как и вообще о жизни страны, в которой работал, да и о работе своей знал мало. И, держа в руках свежий номер «Правды», пытался понять, каким образом сумел Виталий за такой короткий срок сделать такую блестящую работу. Я думал об этом, размышлял, завидовал и восхищался. И пришел к выводу, что мне повезло с этим знакомством и надо внимательно присмотреться к тому, как работает Виталий. Ибо такие уроки не получишь ни в вузе, ни в редакции.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Амаду» означает «Любимый»



Накануне своего отлета из Бразилии Виталий решил съездить в Салвадор и спросил, не хочу ли я отправиться туда вместе с ним. Речь шла не о том Сальвадоре, что находится в Центральной Америке, а о столице Баии — северо-восточного бразильского штата. Я уже знал понаслышке, что Баия — это что-то вроде колыбели, в которой зародилась бразильская нация, и, перефразируя слова древнерусской летописи, о ней можно сказать, что это — то самое место, «откуда есть пошла бразильская земля». Именно там, у берегов будущей Баии, высадился 22 апреля 1500 года первооткрыватель Бразилии португальский мореплаватель Педро Альварес Кабрал. И именно столица Баии город Салвадор стал первой столицей новой заокеанской португальской колонии, уступив это звание в 1763 году Рио-де-Жанейро.

В журналистике — эта истина уже была твердо усвоена мной — ни в коем случае нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, тем более, когда объявляется такой интересный и энергичный попутчик, как Виталий Боровский. История с репортажем о кофе служила тому наглядным подтверждением. И, не колеблясь, я согласился. Мы полетели в Салвадор, уговорившись провести там дня два-три, не больше: у Виталия заканчивался срок действия бразильской визы, и к концу недели ему нужно было возвращаться в Сантьяго.

В «Каравелле» компании «Крузейро» облаченная в красную шапочку и красную накидку стюардесса вручила нам газеты. Виталий пробежал острым взглядом заголовки и сокрушенно покачал головой:

— Вот так всегда бывает в нашей репортерской жизни: ты летишь в одно место, а главное событие дня происходит совсем в другом.

Я глянул через его плечо. «Ултима ора» сообщала о побеге трех американцев-контрабандистов из столичной тюрьмы. Точнее говоря, не из тюрьмы, а из казармы пожарной команды Бразилиа. Молодая столица, которой к тому времени исполнилось всего пять лет, была, так сказать, «сдана в эксплуатацию» с недоделками. В городе, в частности, отсутствовала тюрьма, вследствие чего преступников держали пока под замком у пожарников, которые относились к этой «нагрузке» с прохладцей, справедливо полагая, что их дело: тушить пожары, а не стеречь правонарушителей. Этим-то и воспользовались Сэм Сэксто, Джозеф Маккутен и Джозеф Трухил, направлявшиеся сейчас под отчие небеса.

— Нам следовало бы немедленно лететь туда и разматывать это дело с максимальным треском, — сказал Виталий, постукивая ногтем по заметке.

— А зачем? — удивился я. — Что-то я не помню, чтобы «Правда» публиковала сообщения уголовной хроники.

Виталий укоризненно поглядел на меня и вздохнул.

— Посмотри! — сказал он и отчеркнул фломастером два абзаца. Я глянул и присвистнул: беглецы были не просто жуликами. Они занимались разведкой и контрабандой золота и стратегических минералов, в том числе сырья, имеющего отношение к атомной индустрии!

— Чувствуешь, чем пахнет?..

Я согласился. Заметка пахла сенсацией. Но мы, увы, летели не в Бразилиа, а в Салвадор.

Поездка в Баию понадобилась Виталию потому, что он надеялся встретиться там с жившим в Салвадоре Жоржи Амаду. Но вслух об этом, естественно, не говорилось, ибо Боровский, как большинство журналистов, был суеверен, опасался «спугнуть», «сглазить» задуманное. Уже там, на месте, когда на следующее утро после прилета мы вышли из отеля «Плаза» на шумную, переполненную людьми и автомобилями авениду «7 сентября», он сказал задумчиво, как бы

размышляя вслух, словно не будучи уверен, стоит ли это делать, сказал так, будто идея эта лишь сию минуту пришла ему в голову: «А не съездить ли нам к Жоржи Амаду?..»

— Надо было бы позвонить ему из Рио, узнать, сможет он нас принять или нет, — заметил я. Виталий улыбнулся.

— Нет, брат, в нашем деле — во всяком случае, в таких ситуациях, как эта, — протокольные церемонии ни к чему. Тут лучше действовать методом кавалерийской атаки: когда мы появимся в дверях и скажем, что ради встречи с ним приехали из Москвы, разве сможет он нам отказать?

— А как мы узнаем его адрес?

— Я уверен, — сказал Виталий, — что адрес такого человека должен знать тут каждый водитель такси.

Он опять оказался прав, мой мудрый друг и наставник: первый же водитель, которого мы об этом спросили, широко улыбнулся и сказал:

— Сеньор Жоржи? Да кто же его не знает?! К нему ездит каждый гринго, которого судьба заносит к нам, в Баию. Я еще вчера отвез к нему троих немцев. Они, правда, не попали к сеньору Жоржи: служанка сказала, что его нет дома. Как приехали на мне, так на мне и уехали обратно.

Мы с Виталием переглянулись, и он ободряюще подмигнул: «Не робей».

А таксист вез нас тем временем куда-то на окраину, на узкую, извиляющуюся между небогатыми, крытыми черепицей домиками улицу Алагоиньяс. И остановился у светлого особнячка под 33-м номером. Дом был действительно «светлый»: он заметно выделялся среди остальных строений. Но не пышностью, не размерами, а какой-то удивительной пропорциональностью, гармонией линий, рациональной простотой и изяществом отделки. Это было заметно во всем, вплоть до «азулежос» — керамической облицовки стен и лестницы, ведущей от входной калитки к узкой двери, приподнятой метра на два над уровнем земли. На светло-голубых плитках были схематически обозначены темно-синие фигуры, в которых угадывались очертания тропических плодов, диковинных птиц и зверьков, символизировавших, видимо, щедрость байанской земли.

...Встреча с Жоржи Амаду была хрустальной мечтой, которую я давно уже холил и лелеял, готовясь к ней, как футболист готовится к

финальному матчу на первенство мира: проигрывал различные варианты, разрабатывал хитроумные стратегические планы. Поскольку великий писатель очень занят, нужно придумать, как к нему подступиться. Может быть, воспользоваться помощью кого-нибудь из знакомых с ним бразильцев, попросив у них рекомендательное письмо? Или прибегнуть к содействию пресс-атташе советского посольства? А может быть, мне самому написать сеньору Жоржи вежливое послание, представиться, попросить о встрече? Он назначит день и час. Я приезжаю. Звоню из гостиницы: Мне говорят: «Сеньор Жоржи вас уже ждет».

Словом, вариантов было много, но среди всех этих «домашних заготовок» не было ничего напоминающего наш бесцеремонный и стремительный кавалерийский наскок. Добро бы еще мы пытались захватить врасплох какого-нибудь чужого человека, нужного нам, но уклоняющегося от встречи. Тогда метод Макиавелли «цель оправдывает средства» мог бы показаться приемлемым. А тут мы, можно сказать, нападаем из засады на друга нашей страны, на человека, который, разумеется, согласился бы встретиться с нами, предупреди мы его заранее...

Такие примерно мысли обуревали меня, когда мы стояли у черной, сплетенной из металлических прутьев калитки, ожидая, как кто-нибудь в доме откликнется на наш звонок. И в эту минуту я отчаянно злился на Виталия и втайне даже надеялся, что никого в этом доме не окажется. А когда светлая дверь все же отворилась и по каменной лестнице, орнаментированной осколками голубых «азулежос», к нам вниз пошла смуглая молодая женщина, я поспешил в самом прямом смысле этого слова спрятаться за спину Боровского. Я твердо решил поменьше раскрывать рот, пошире раскрыть глаза и побольше слушать, набираясь ума-разума рядом с бывалым коллегой, который — как уже неоднократно можно было убедиться — при всей своей мягкости и интеллигентности был способен идти к поставленной цели настойчиво, как ледокол.

А дальше все было именно так, как и предвидел Виталий. Мы представились этой молодой женщине. Она пригласила нас подняться, попросила подождать минуточку и вышла. Мы осмотрелись, увидели, что находимся в гостиной, напоминающей зал музея народного творчества: на полках и стеллажах были расставлены сотни сувениров

и игрушек из глины, камня, дерева, металла. И тут же к нам вышел хозяин этого дома: коренастый, неторопливый, в просторной красной рубашке, серых шортах и сандалиях на босу ногу. Он был спокоен и сосредоточен, словно тамада за грузинским столом. Он поздоровался, поинтересовался, чем может быть полезен, услышал в ответ от Виталия просьбу об интервью, «ради которого и добирался он, Виталий, сюда из Москвы по поручению газеты „Правда“».

Легкая улыбка тронула начинающие сесть усы этого человека, и мы почувствовали, что мудрый сеньор Жоржи все видит, все понимает и нам нет нужды прибегать к дешевым трюкам и к профессиональной патетике. Он с удовольствием побеседует с советскими друзьями, но не сию минуту, а завтра: сейчас он должен уехать, его уже ждут. А если у нас есть желание ознакомиться с городом, то он готов предоставить в наше распоряжение прямо сейчас свою машину и попросит Зору — он посмотрел на молодую женщину, которая встретила и проводила нас в дом, — помочь нам, показать все то, что достойно быть увиденным в этом лучшем из всех городов на нашей грешной земле. Сеньор Жоржи улыбнулся, развел руками, словно извиняясь, что сам не может сопровождать нас, и вышел.

И все так и было: мы сели в машину, и целый день нас возили по этому удивительному городу помощница Жоржи Зора и его дочь — пятнадцатилетняя Палома.

Даже сейчас, когда я пишу эти строки спустя два десятка лет после той феерической — другого слова не подберешь! — поездки по Салвадору, меня вновь охватывает сладкая волна восторга и изумления. Я вновь переживаю то неожиданное потрясение от встречи с этим тропическим городом, пропитанным соленым запахом моря. Из калейдоскопа впечатлений память выхватывает самые яркие кадры: шумный и грязный рынок Меркадо Модело, где в маленьком ресторанчике «Мария де Сан-Педро» Зора угощала нас экзотическими шедеврами байанской кухни, сдобренными нестерпимо острыми приправами. Вспоминается библиотека монастыря Святого Франциска, где мы окунулись в затянутый паутиной, запорошенный пылью мир XVII века с его необъятными фолиантами на гигантских пюпитрах, с древним глобусом, черепом на столе и сухой чернильницей, из которой торчало гусиное перо. Потом была «Школа капоэйры» — маленький спортзал, точнее говоря — не очень большая комната, в которой мы

наблюдали урок древней африканской борьбы, превратившейся в последние годы в любопытную смесь танца и спортивного состязания. А вечером — за городом, в большом деревянном бараке, освещенном неверным светом десятков свечей, хоровод кандомбле — языческого культа, пришедшего в Баию вместе с черными невольниками из Африки.

И на следующий день после этого фейерверка впечатлений пришли мы вновь в дом на улице Алагоиньяс, чтобы — наконец-то! — побеседовать с «местре», как уважительно зовут там, в Бане, сеньора Жоржи. «Местре» — это синоним понятий «маэстро», «учитель», «мастер».

Остановившись перед дверью 33-го дома по улице Алагоиньяс, Виталий строго посмотрел мне в глаза и отечески напомнил:

— Старик! Тебе, я надеюсь, хорошо известны нормы журналистской этики. И ты знаешь, что за интервью сюда приехал я. А ты приехал со мной. И поэтому, пока я буду беседовать со стариком, ты обязан хранить гробовое молчание. А уж потом, когда я отыграю свои вопросы, тогда ради бога: можешь спросить у него что-нибудь и для себя, чтобы и у тебя появилось право сказать когда-нибудь в одном из твоих опусов, «как рассказал мне однажды Жоржи Амаду»...

Виталий сказал это и нажал кнопку звонка. И мы опять были встречены тепло и приветливо. Прошли в гостиную, сели в мягкие кресла, и я приготовился получить от Виталия еще один урок: поучиться у него искусству ведения интервью. И даже не стал отвлекаться разглядыванием картин и сувениров, хотя и признавал, что опытный журналист на моем месте успел бы их рассмотреть. Онигодились бы ему для создания настроения при описании окружающей писателя атмосферы этого дома. Но я не умел еще тогда ловить сразу двух зайцев: слушать интервью, которое ведет Виталий, и глазеть по сторонам. Впоследствии я понял, что, если хочу стать профессионалом, необходимо научиться распределять свое внимание: фиксируя главное, не упускать из поля зрения и второстепенное. А тогда, в доме Жоржи Амаду, я целиком сосредоточился на одном: на беседе Виталия с хозяином дома.

И, с благоговейным трепетом прислушиваясь к диалогу моего коллеги с Мастером, я вдруг почувствовал, что что-то в этой беседе не клеится: интервью получалось какое-то заземленное, будничное. Мне

казалось, что все то, о чем спрашивал своего собеседника Виталий, уже было известно и Виталию, и мне.

«На скольких языках изданы Ваши книги?..» — «На тридцати». Мы знали об этом, потому что об этом не раз писали все, кто до нас встречался с Жоржи Амаду. «Каковы тиражи Ваших книг в Бразилии и за рубежом?» Ответ и на этот вопрос не был для нас новостью: даже небывалые по бразильским представлениям тиражи книг Жоржи Амаду на его родине уступают астрономическим тиражам его романов в Советском Союзе.

«Каковы Ваши творческие планы?» — спрашивает Виталий. И сеньор Жоржи отвечает, что вообще-то он не любит говорить о будущих книгах, ибо сам не знает, какой получится у него книга, до тех пор, пока не поставит точку в конце последней главы. Но сейчас он может ответить на этот вопрос. Ибо очередная книга почти готова. Это не роман. Это книга о Баие. Нечто вроде эссе. Гимн родной земле. Там будут фотографии Флавио Дамма, — одного из известнейших бразильских фотографов. И рисунки Карибе — «одного из лучших наших художников, может быть, самого байанского художника, хотя он, как это ни покажется странным, по происхождению не байанец и даже не бразилец: родился в Аргентине, по приехал сюда, стал бразильцем, живет у нас в Баие, и трудно найти другого художника, который так чутко и зорко чувствовал бы и понимал нашу землю».

— Как, простите, имя этого художника? — переспрашивает Виталий.

— Ка... ри... бе...

Виталий пишет, показывает написанное сеньору Жоржи, Мастер проверяет, утвердительно кивает головой. А меня начинает раздражать злость: зачем писать все это в блокнот? Не лучше ли было бы воспользоваться магнитофоном? Микрофон, бывает, поначалу пугает и сковывает людей, но к нему быстро привыкают, через пять-десять минут собеседник перестает обращать на него внимание, и беседа идет плавно, человек охотно раскрывается перед тобой.

— Извините! — В комнату входит женщина средних лет, черноволосая, густобровая, как украинка, с морщинками у глаз, теми самыми морщинками, о которых Марк Твен сказал, что они могут быть только следами прошлых улыбок. В руках у нее поднос: кофе, соки, печенье. Мы уже знакомы с ней: дона Зелия, жена Жоржи.

— Извините, что мешаю вашей беседе, но хотела бы угостить вас кофе.

— Ничего, ничего, — говорит Виталий, закрывая блокнот. — Мы в принципе уже почти закончили. Вот, может быть, мой коллега пожелает задать сеньору Жоржи какой-нибудь вопрос. — Он поощрительно похлопывает меня по плечу. Чувствую, что он доволен и интервью своим, и мной он тоже доволен: я проявил такт, не нарушил неписаных норм журналистской этики.

Дона Зелия разливает по чашечкам кофе, сеньор Жоржи дружелюбно смотрит на меня в ожидании, а у меня, как назло, вылетел из головы этот вопрос, который я вынашивал со вчерашнего дня. То есть не сам вопрос, а его перевод на португальский. Я мучительно вспоминаю заготовленную и напрочь забытую фразу, чувствую, что даже краснею от напряжения, но не могу вспомнить и, поскольку все вопрошающе глядят на меня, выпаливаю первое, что пришло в голову:

— У вас очень красивый дом...

Сеньор Жоржи улыбается и покачивает головой в знак согласия. Дона Зелия, которая в эту минуту ставит передо мной чашечку кофе, говорит:

— Да, он всем нравится. Его помогали отделать наши байанские друзья, художники и архитекторы. И знаете, кого мы должны благодарить за этот дом? — спрашивает дона Зелия. — Габриэлу...

Мы с Виталием удивленно поворачиваемся к сеньору Жоржи. Он улыбается в седеющие усы и прихлебывает кофе.

— Да, да, — говорит его жена, усаживаясь на диван. — Жоржи продал американской кинофирме «Метро» авторские права на экранизацию «Габриэлы», и на эти деньги мы построили дом.

— А фильм? — спрашиваю я.

— Фильм до сих пор так и не снят, — говорит дона Зелия.

— К счастью, — добавляет сеньор Жоржи. — Надеюсь, что этого никогда не случится.

— Мы хотели, чтобы дом был типично байанский, — говорит дона Зелия, и, услышав слова «типично байанский», сразу же вспоминаю вопрос, который хотел задать хозяину дома:

— Сеньор Жоржи, я работаю в Бразилии совсем недавно, всего несколько месяцев, и в Баию приехал впервые, но уже много раз слышал, что Баия — это самый типичный бразильский штат, что душа

Бразилии живет в Баие. Это правда? И если это правда, то объясните, пожалуйста, почему именно Баия приютила у себя «душу Бразилии». И вообще: что это такое — «бразильская душа»?..

— Конечно, душа страны нашей живет в Баие, — говорит сеньор Жоржи и ставит на столик чашечку кофе, словно давая понять, что время безмятежной болтовни кончилось, и сейчас начнется настоящий и серьезный разговор.

— Конечно, — повторяет он еще раз, смотрит в светлый, выложенный бело-голубыми изразцами пол, собирает морщины на лбу и начинает говорить неторопливо, словно размышляя вслух. Он говорит, что именно здесь, в Баие, родилось большинство обычаев и традиций бразильцев. Что именно на этой земле сложилась бразильская нация, вобравшая в себя все лучшее, что было в трех ее прародителях, в трех великих народах, которые смешали свою кровь, чтобы дать жизнь Бразилии: африканские негры, древнебразильские индейцы и выходцы из Португалии. Он говорит, что именно из этого великого смешения, этой случившейся именно на земле Баии встречи Америки, Африки и Европы, родилась не только этническая сущность бразильской нации, но и вся бразильская культура, характер, темперамент, словом, все то, что сегодня составляет неповторимый облик этой страны и ее людей. И поэтому именно здесь, в Баие, можно особенно хорошо почувствовать все самые лучшие, самые яркие и достойные уважения черты бразильцев. Например, демократизм.

— Вы видите на наших улицах людей разного цвета кожи, негров здесь больше, чем в Рио или в любом другом районе страны. Но вы никогда не заметите никаких расовых предрассудков и предубеждений. И если попытаться назвать самые типичные черты байанского характера, которые свойственны и остальным бразильцам, то это будут именно демократизм, простота, сердечность, присущая нам способность всегда по-братски встретить любого гостя нашей Земли...

Жоржи говорит вдохновенно и горячо. Он рассказывает о своих земляках, о друзьях и товарищах. Мы чувствуем, что он гордится своей землей, любит ее и счастлив, что живет и работает именно здесь. Он говорит о жизни людей, преисполненной страдания и горя, ведь подавляющее большинство сынов этой земли — нищие, бедняки, парии. Но при всех неурядицах, лишениях и несчастьях байанам, подобно всем остальным бразильцам и в большей степени, чем

остальным бразильцам, присущи оптимизм, жизнелюбие, вера в то, что рано или поздно жизнь изменится к лучшему.

...Жоржи говорил долго, взволнованно, страстно. И мы слушали его с тем же волнением и трепетом, с каким он говорил. И Виталий, слава богу, не раскрывал свою записную книжку и не переспрашивал, как пишется слово «кандомбле» и что означает понятие «террейро». И дона Зелия не предлагала вновь наполнить пустые кофейные чашки. И никто не входил в эту комнату, словно озаренную вдохновением и радостью.

Возвращаясь в гостиницу, мы молчали, потрясенные этой неожиданной вспышкой. А затем в номере, стоя у окна, выходящего на океан, Виталий достал из кармана записную книжку, пролистал ее и сказал:

— Черт знает, отчего это случается: сидишь, задаешь важные и нужные вопросы, слушаешь правильные и обстоятельные ответы, и все вроде бы хорошо, гладко, прямо по учебнику, а потом приходишь домой и видишь, что все не так, все не то. Умно, правильно, но неинтересно. Но кто мне скажет, как заранее узнать, от какого вопроса загорится и разговорится твой собеседник?..

Вскоре я понял, что именно в этом — в умении «разбудить», зажечь своего собеседника — и кроется высшее искусство и, может быть, главная тайна журналистики. С Жоржи Амаду я больше так и не встретился там, в Бразилии. Но продолжал следить за его творчеством, читал все, что выходило из-под его пишущей машинки (я не сказал: «из-под его пера», ибо знаю, что он пишет только на машинке), собирал рецензии и интервью, которые брали у него бразильские и зарубежные журналисты. И, разумеется, размышлял о его книгах, о его героях. Пытался постичь причины его феноменального успеха в своей стране и за рубежом. И спустя уже много лет после той единственной встречи с писателем в Баие, к 70-летию со дня рождения Мастера, появился очерк. Нечто вроде попытки понять, в чем секрет неотразимого профессионального обаяния «сеньора Жоржи» и неугасимого интереса, который вызывают у людей его романы. И все, что он пишет. Я хочу процитировать его в этой книге.

«Несколько лет назад на Цейлоне (это было в те времена, когда государство это еще не называлось Шри Ланкой) Жоржи Амаду и его жена, находившиеся проездом в том далеком уголке света, случайно встретились за утренним кофе с единственным, кроме них, постояльцем маленькой гостиницы. Как всегда бывает в таких ситуациях, за учтивыми поклонами и скупыми замечаниями о погоде последовали взаимные представления. Узнав, что имеет дело с бразильцами, исландец пришел в волнение и спросил, не знакомы ли они случайно с великим писателем из их страны — Жоржи Амаду. Дело в том, что он только что прочитал изданное недавно на исландском языке „Мертвое море“, пришел в восторг и был бы счастлив выразить свою признательность соотечественникам автора этой поистине выдающейся книги...

Итак, бразильский роман на исландском языке на острове Цейлон! Согласитесь, что трудно представить себе иную ситуацию, которая столь наглядно рисовала бы поистине безграничную популярность писателя, произведения которого печатаются почти на четырех десятках языков мира: от английского до вьетнамского, от китайского до арабского. Десять лет назад, когда Жоржи Амаду отмечал свое 60-летие, бразильский журнал „Вежа“ сообщил, что только на родине книги его изданы тиражом два с половиной миллиона экземпляров. И это в стране, где более половины населения неграмотно и где книге крайне трудно оторвать человека от экрана телевизора, транслирующего бесчисленные футбольные матчи!

Видимо, было бы не очень этично безапелляционно присвоить Жоржи Амаду „звание“ лучшего писателя Бразилии: в конце концов на вкус и цвет, как говорится, товарища нет, бразильская литература очень богата талантами и яркими именами, да и вообще литература — это не спорт с его объективными показателями, выраженными в голах, очках и секундах. Давно уже не секрет, что даже астрономические тиражи книг далеко не всегда способны служить пропуском на литературный Олимп и в сердца людей, понимающих толк в хорошей литературе. Вспомним, например, авторов „комиксов“ типа Микки Спиллейна или даже таких, претендующих на звание писателя книгопеков, как Ирвин Уоллес. Обо всем этом можно спорить бесконечно долго, но в любых литературных спорах дискуссия сразу же угасает, когда произносится имя Жоржи Амаду. И когда неожиданно осознаешь, какой глубокий символ несет в

себе фамилия писателя: ведь „Амаду“ в переводе на русский означает „любимый“... Да, он действительно любим и почитаем. Безусловный авторитет этого имени у критиков и читателей сомнению не подлежит. И хочется спросить: почему?

В чем же причина этой не знающей границ и языковых барьеров читательской любви? Почему Габриэла, Педро Арканжо, дона Флор или Тереза Батиста с такой легкостью завоевывают сердца и души русских и японцев, французов и австралийцев, мексиканцев и англичан? Пытаясь найти ответы на эти вопросы, можно, вероятно, говорить о величайшем таланте писателя, о его доведенном до филигранной тонкости владении всеми секретами литературного ремесла, о силе его воображения, способного с одинаковой легкостью зажечь и увлечь и книжника-сноба, ищущего утонченных литературных эмоций, и бесхитростного читателя, привыкшего довольствоваться хитроумной интригой или щедрыми сексуальными сценами. Правомерно, видимо, было бы отметить и еще одно обстоятельство: подавляющее большинство героев Жоржи Амаду — простые люди, воплощающие в себе самые типические и характерные черты бразильской нации, ее страстный темперамент, неугасимый оптимизм, умение не сгибаться под тяжестью лишений и всегда сохранять наивную, но чистую веру в обязательное, хотя, может быть, и не очень скорое торжество добра над злом.

Все это будет правильно, и в каждом из этих соображений безусловно содержится что-то немаловажное и существенное для ответа на поставленный вопрос. Но ведь, с другой стороны, мы можем вспомнить немало писателей, отличающихся многими из вышеуказанных достоинств, в совершенстве владеющих литературной техникой, подымающих на страницах своих произведений самые актуальные и важные проблемы современности, но не сопоставимых с Жоржи Амаду ни по своему авторитету, ни по тиражам, ни по бесспорности читательского признания.

Размышляя на эти темы, я подумал, что одно из возможных объяснений кроется в удивительной эмоциональности Жоржи Амаду, которой мы заражаемся, читая его книги. Именно об этой особенности его натуры и его творчества хотелось бы сказать несколько слов.

Свидетельства очевидцев, изыскания биографов, предания и анекдоты, всегда сопутствующие писателям на их творческой стезе,

говорят о том, что каждый из них по-своему отмечает завершение работы над книгой. И что в подавляющем большинстве случаев это событие носит торжественный, праздничный характер. Рассказывают, например, что Александр Дюма имел обыкновение, закончив очередной роман, падать на постель, охваченный приступом счастливого смеха. Утверждают, что Габриэль д'Анунцио отмечал эти мгновения вакхическими празднествами с обязательным участием своих самых красивых и жизнерадостных подруг. Машаду де Ассиз, поставив слово „конец“ на последней странице книги, брал бумагу и начинал писать десятки писем своим друзьям, сообщая о радостном событии. А Хемингуэй, как утверждают некоторые из его биографов, телеграфировал или звонил из любой точки планеты в Мадрид хозяину своего любимого кабака „Каса де лос торерос“ с просьбой угостить каждого из находившихся в тот момент посетителей двойной дозой коньяка „Фундадор“. Ничего подобного с Жоржи Амаду не происходит. В его доме завершение работы над очередным романом всегда оваяно меланхолией, если не грустью.

— Габриэла нас оставила, — сказал он однажды жене поздно ночью, когда за окном шумел ливень и грохотала гроза. Помолчал и добавил: — Надо же было свершиться этому несчастью в такую и без того ненастную ночь!

Его супруга Зелия вспоминает о еще более драматичном потрясении, вызванном завершением работы над „Доной Флор“:

— Это было как кончина близкого друга, даже члена семьи... Флор жила с нами два года. И мы словно жили с ней, жили ее жизнью. Жоржи день за днем рассказывал нам о ней. О ее радостях и секретах, горестях и заботах, о каждом ее шаге. Флор стала в доме совсем своим человеком, близким и родным. И вдруг, представляете себе, она уходит, оставляет нас! Но дело не только в этом. Меня больше всего удручает, что эта женщина — наша подруга, член семьи, родной человек — неожиданно превращается вдруг в нечто как бы „обобществленное“. Словно наша жизнь становится достоянием всех.

Купив за несколько крузейро книгу Жоржи, тысячи людей словно входят в наш дом, в наши мысли, в нашу жизнь, — продолжает свой рассказ Зелия. — Потому что в каждой его книге живем и мы тоже. Мы уже были „старыми моряками“ и крестьянами, мы были арабами, неграми и белыми, красивыми или безобразными, честными или

жуликами, героями или предателями, словом, мы были разными людьми, ибо в каждой книге Жоржи всегда найдется что-то взятое от нас и угадывающееся в ее персонажах и героях...

Возможно, эти полушутливые признания жены Жоржи Амаду гораздо более серьезны, чем может показаться на первый взгляд. Не то ли самое хотел сказать другой великий писатель другой страны и эпохи своей знаменитой фразой: „Эмма — это я?“

— Когда Жоржи работал над „Габриэлой“, я очень просила его, — вспоминает Зелия, — чтобы он обвенчал Жерузу с Мундиньо Фалкао. И знаете, что он мне ответил? „Нет уж, спасибо. Я и так по горло увяз в неприятностях с неудачным браком Габриэлы и Насиба, а ты мне хочешь подбросить еще один?“

Сам писатель откровенно признает, что термин „сочиняет“ ни в коем случае не может быть приложен к его творческому процессу. Он не сочиняет книги, не конструирует образы, не разрабатывает характеры, не планирует сюжеты и не задумывается над кульминациями и развязками. Он живет в своих героях и вместе с ними. И в каждом из них оставляет частицу самого себя и своих близких, как мы это увидели только что в признании его жены. Поэтому-то расставание с каждой книгой выливается для него самого и для его семьи чуть ли не в трагедию. Мы, читатели, чувствуем эту искренность, эту взволнованность, она подкупает нас, мы заражаемся ею. Нам в той же мере интересно следить за переживаниями Насиба или Дамиана, Жукундины или Кинкаса Берро Дагуа, как самому Жоржи Амаду было интересно писать их, следить за ними и изумляться их выходкам. Не те ли самые чувства привык испытывать Жорж Сименон, признавший однажды, что „как только герой романа родился, он обретает плоть и — тут я готов биться об заклад — начинает жить самостоятельной жизнью“?

Однажды друзья и коллеги, беседовавшие с Жоржи Амаду в редакции литературно-художественного еженедельника „Паскин“, спросили, кто, по его мнению, обладает более „коварным“ характером: дона Флора или Габриэла?

— Я не знаю, — ответил он. — Но вспоминаю, что Флор меня очень удивляла. Я уже собирался заканчивать роман, когда она вдруг переметнулась к первому мужу, который неожиданно вернулся. И я подумал: „Что же случится теперь?“ Ведь мне всегда казалось, что она

— женщина глубоко порядочная. Исходя из этого предположения о порядочности и честности Флор, я представил себе, как она будет раскаиваться и терзаться, и решил, что именно таким должен быть финал романа, и даже рассказал о нем дочери моего брата Жамеса. Ей понравилось, она сказала, что это будет очень поэтичный финал.

Словом, я написал сцену, когда Флор отдается первому мужу, а затем, на следующий день, приступил к лирической, как и задумал, финальной сцене. Но тут вдруг у меня ничего не получилось: вместо того чтобы умереть от стыда и раскаяния, донна Флор вдруг решила остаться сразу с обоими мужьями. Она — представляете себе! — предпочла иметь сразу двоих, и все тут...

Когда я рассказываю, — улыбнулся не без смущения Жоржи Амаду, — это похоже на шутку, но это чистейшая правда: я никогда не могу сделать из моего героя то, что хочу. Он ведет себя так, как считает нужным.

...После этих, согласитесь, интереснейших и подкупающе откровенных признаний, приоткрывающих душу писателя, позволяющих ощутить психологический и эмоциональный драматизм работы над книгой, нас уже не удивляет, когда в ответ на вопрос корреспондента португальского еженедельника „Темпу“, не чувствовал ли он когда-нибудь влюбленности в своих героев или героинь, Жоржи Амаду говорит:

— Я всегда люблю героев своих книг. Но каждый мой роман интересуется меня, только пока я работаю над ним, пока создаю его и в моем воображении, моими руками, из моего жизненного опыта, из моей плоти и крови рождаются мои герои. В тот момент, когда я сдаю книгу издателю, она умирает для меня, перестает быть моей, и ее герои тоже перестают быть моими. С этого времени они начинают принадлежать читателю. Они даже перестают быть такими, какими я их создал. Потому что читатель обязательно прибавляет к ним что-то свое. Заметьте, что я скупко описываю физический облик персонажа. Отмечу каждого лишь двумя-тремя самыми характерными чертами и оставляю остальное фантазии читателя.

Корреспондент „Темпу“ поинтересовался, не собирается ли Жоржи Амаду написать что-нибудь о Португалии, раз уж он приехал в эту страну и провел в ней целый месяц.

— Совершенно точно могу сказать, что не собираюсь этого делать. Я — романист. А роман пишется только о том, что ты пережил, а не о том, что ты видел, наблюдал, изучал в кабинете или в ходе поездки по какой-то стране. Я считаю, что невозможно написать роман, который отражал бы что-то, не пережитое тобой. Я не могу писать о Португалии по той же причине, по какой не могу писать о бразильских штатах Сан-Паулу или Рио-Гранде-ду-Сул. Я пишу о Баие, ибо это — земля, на которой я живу, моя жизнь — это то, что я пережил.

Баия, добрая земля Баня... Этот северо-восток Бразилии, родина Жоржи Амаду, стала для него и для его творчества тем же, чем были Прованс для Доде или Сезанна, а Миссисипи для Фолкнера или Льюиса Армстронга. (Я сознательно прибегаю к таким сложным ассоциациям литературы с музыкой и живописью: мне кажется, что романы Жоржи Амаду по своей выразительности, по сочности и богатству языка находятся где-то на стыке литературы, изобразительного искусства и музыки.) И, видимо, невозможно понять секреты успеха и тайны профессионального мастерства Жоржи Амаду, не узнав, что это такое — Баия, о которой с такой силой и нежностью рассказывает миру этот взволнованный и добрый человек. По-моему, его так же невозможно отделить от героев его книг, как неотделимы от Форсайтов Голсуорси, от Пьера Безухова или Платона Каратаева — Лев Толстой. Как стареющий, но не желающий сдаваться Хемингуэй неотделим в нашей памяти от немногословного и упорного старика Сантьяго и в то же время от велеречивого и склонного к патетике полковника Кантуэлла.

В посвященном Жоржи Амаду специальном выпуске бразильского литературно-публицистического альманаха „Журнал де летрас“ (июль 1967 года) американский критик и переводчик Уильям Гроссман цитировал одного из своих коллег и соотечественников: „Трудность в анализе творчества Амаду заключается в том, что он в такой же мере идеолог, в какой литератор. Он видит целые классы, а не отдельных людей“.

С мыслью, выраженной в первой половине этой цитаты, в какой-то мере можно согласиться: сам Жоржи Амаду неоднократно и настойчиво повторял, что все его романы пронизаны „социалистическим духом“ и содержат острую критику капитализма. Но никак нельзя квалифицировать иначе, как безграмотную, вторую часть тезиса американца. Он грубо ошибается, полагая, что писатель склонен только

к глобальному и „оптовому“ — исключительно в масштабах класса! — анализу социальных проблем. Американец просто слеп, если не понимает, что „сеньор Жоржи“ обладает способностью с поразительной силой и мастерством увидеть „целый класс“ в одном человеке, воплотить народ — в индивидуальном характере и передать настроение эпохи — в веселом или грустном голосе своего героя. В голосе, который задевает струны нашей души и нашего сердца и заставляет звучать их в ответ».

* * *

...Вечером в гостинице, собирая вещи, чтобы завтра утром отправляться обратно в Рио, слушаем по радио выпуск новостей. Почти весь он посвящен побегу трех американцев-контрабандистов. Похоже, событие это и впрямь разрастается в скандал национального масштаба.

Оказывается, у столичных пожарников на гауптвахте сидели не трое, а четверо янки. Четвертый бежать отказался: срок его отсидки подходил к концу, рисковать не имело смысла. Теперь он вдохновенно «колется», рассказывая следователям и репортерам сенсационные подробности о своих похождениях и подвигах своих улизнувших друзей.

Диктор радиостанции «Баия» вибрирующим от благородного негодования голосом пересказывает откровения Ральфа: еще в 1964 году за две тысячи долларов он «купил» какого-то чиновника Национального департамента геологоразведочных работ, который познакомил его — американца! — с секретными материалами о месторождениях стратегических минералов, а затем снабдил документацией, разрешающей их разработку. Лабораторные пробы Диал и его друзья направляли в лабораторию этого же департамента, а все результаты исследований и найденные образцы минералов вывозились в США. Вывозились благодаря подкупу бразильских таможенных и пограничных служб.

— Я завидую тебе, — говорит Виталий. — Я чувствую, что здесь пахнет, как минимум, «подвалом» в моей газете. Эх, если бы мне можно было продлить бразильскую визу еще недельки на две!..

«В последний раз, — читает диктор радио „Баия“, — Ральф Диал и его сообщники прибыли в Бразилию на собственном самолете „Аэрокомандер“ с бортовым номером „аче-6208-икс“ и, получив в Сан-Пауло разрешение на полеты внутри страны, отправились в Анаполис, где обосновались на аэродроме, принадлежащем местной пресвитерианской миссии. Есть все основания полагать, что эта миссия тоже занимается незаконной разведкой и контрабандой стратегического сырья из Бразилии в Соединенные Штаты...»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ноев ковчег «Сан-Жорже»



В доме «Сервантес» на Копакабана мы смогли прожить только один год. Прошел он в непрерывных страданиях. Днем — от визга автомобильных тормозов на перекрестке, а по ночам — от еще более пронзительного визга, рвавшегося из «Дон Хуана», «Бакара» и «Тропикалии» на первом этаже «Сервантеса». Каждое из этих заведений ковало прибыль методом строгой сдельщины и поэтому было кровно заинтересовано в том, чтобы именно к нему, а не к соседям, заглянул подвыпивший турист, желающий культурно развлечься и интеллигентно отдохнуть. Бредущего без руля и без ветрил по вечерней

Копакабане искателя немудреных ночных радостей надо было убедить, что именно в «Тропикалии» ему уготован самый горячий прием, что только здесь его ожидают самые жизнерадостные и полностью лишённые предрассудков ночные подружки. И поскольку убеждать его нужно было еще на дальних подступах к «Тропикалии», самыми убедительными аргументами были децибелы и киловатты аппаратуры, старания ударников и колоратуры вокалистов, опять же помноженные на децибелы аппаратуры.

Творческий спор трех соседствующих в нашем безответном «Сервантесе» очагов ночного отдыха разгорался около полуночи, достигал апогея к трем часам ночи и затихал где-то около пяти утра. Ни привыкнуть к нему, ни изолироваться от него было невозможно.

Поэтому мы с громадным трудом дожили, точнее сказать — пострадали до окончания срока первого годового контракта, подписанного мной и доной Терезиньей, после чего я сообщил ей о глубоком сожалении, которое охватывает меня при мысли, что не смогу впредь пользоваться ее гостеприимным апартаментом.

Дона Терезинья искренне огорчилась: в поисках нового жильца ей теперь предстояли внеплановые хлопоты, которые должны были отвлечь ее от радостей и волнений бурной, как она говорила, «социальной жизни». Но расстались мы друзьями. А спустя несколько дней мне удалось подыскать квартиру в квартале Ботафого. Подальше от океана, но поближе к центру города. Главным ее достоинством была двухкилометровая дистанция, отделявшая теперь нас от ночных радостей Копакабаны.

В длинном двенадцатиэтажном здании, покрытом розовой штукатуркой и окрещенном звучным именем «Сан-Жорже», мы были единственными иностранцами, если не считать обитавшую на нашем же одиннадцатом этаже чету португальцев: худую, вечно больную, молчаливую портниху Марию-Фернанду и ее такого же неприметного и вежливого супруга Жозе Лопеша, работавшего метрдотелем в ресторанчике «Леме». Это был тихий и скромный человек, носивший на себе печать своей профессии. Мария-Фернанда и Жозе весьма гармонично вписывались в пестрый мир «Сан-Жорже», где люд жил разночинный, небогатый, с трудом удерживавшийся на какой-то промежуточной ступеньке от среднего достатка к стыдливой бедности. Это, впрочем, не относилось к сеньору Перейра — владельцу

небольшой, но процветавшей туристической конторы. Он владел квартирой на самом верхнем, двенадцатом этаже, и мне казалось, что это обстоятельство служило для него каким-то дополнительным престижным фактором, позволяющим поглядывать свысока на своих менее преуспевающих соседей. Впрочем, я ни в коем случае не хотел бы, чтобы у кого-либо из читателей сложилось представление о сеньоре Перейре как о человеке высокомерном. Наоборот, молодцеватый, подтянутый, всегда с неизменной черной «бабочкой» под накрахмаленным белоснежным воротничком рубашки, он источал флюиды благожелательности, добродушия и оптимизма. Его выбритое до синевы лицо постоянно сохраняло профессиональную улыбку чиновника, распявшего себя на кресте сервиса. Впрочем, улыбка улыбка — рознь... Если в улыбке метрдотеля Жозе Лопеша читалось стремление извиниться за сам факт своего существования на земле, то сеньор Перейра одарял мир улыбкой человека, знающего себе цену. Но улыбка эта была вместе с тем и глубоко демократичной. Сеньор Перейра одинаково сердечно приветствовал и сильных мира сего, и страждущих, жаждущих, обездоленных. И тех, кто зависел от него самого, и тех, от кого зависел он сам. И негритенка, который заправлял его «шевроле» на соседней с нашим домом бензоколонке «Шелл», а затем, добросовестно отработав чаевые, усердно протирал чистое ветровое стекло машины грязной тряпкой. И американских туристов, входивших к нему в контору с намерением заказать увеселительную экскурсию по ночной Копакабана или поездку в Амазонию. Думаю, что именно у них, у своих американских клиентов, сеньор Перейра позаимствовал это умение источать оптимизм и радушие.

Я знал только одного человека, имевшего в своем арсенале такую же несмываемую и лучезарную улыбку: это был сеу Жоахим с шестого этажа, работавший в политической полиции ДОПС. Сразу же поясню, что обращение «сеу» является модификацией слова «сеньор». «Сеу» употребляется, когда вы имеете дело с людьми уже вам знакомыми. Оно не носит сугубо официального характера обращения «сеньор», принятого в контактах с незнакомыми или официальными лицами, а содержит иногда некоторый оттенок подобострастия. Что было вполне закономерно в общении с улыбающимся «сеу Жоахимом» из ДОПСа.

Я так много говорю об улыбках Жозе Лопеша, сеньора Перейры и сеу Жоакима, что может сложиться ошибочное впечатление, будто

«Сан-Жорже» был населен только людьми улыбающимися. Это не совсем так, хотя вообще-то бразильцы по натуре своей люди веселые, оптимистично настроенные, умеющие и любящие улыбаться, смеяться, а иногда и хохотать. Но способность эта проявляется чаще и охотнее всего у тех, кто не обременен мелочными заботами о хлебе насущном, чего никак нельзя было сказать о подавляющем большинстве обитателей «Сан-Жорже».

В доме нашем, как я уже упомянул, было двенадцать этажей, на каждом — полтора десятка квартир, и поэтому при всем желании невозможно рассказать обо всех пассажирах этого удивительного Ноева ковчега, пришвартовавшегося на вечную стоянку близ пляжа Ботафого и сумевшего собрать в своих каютах чуть ли не все самые типические компоненты удивительного человеческого коктейля, именуемого словом «Рио». Кстати, Рио — эта интимно-ласкательная форма от Рио-де-Жанейро, столь широко употребляема, что за пять лет жизни в стране я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из бразильцев назвал этот город его полным именем. Все и всегда говорят только: Рио.

Я уподобил «Сан-Жорже» ковчегу и сравнил квартиры с каютами не случайно. Дом этот был узким и высоким, как океанский лайнер. На каждом этаже квартиры выходили в длинный прямой коридор, слегка напоминающий судовую прогулочную палубу: с одной стороны через равные промежутки — квартирные двери, с другой — окна во двор. Да, это был настоящий Ноев ковчег: в лифтах нашего дома и в его двенадцати коридорах можно было встретить, например, капитана бразильской армии Америко Гимараеса с пятого этажа. Прямо над ним жил седовласый торговец недвижимостью сеньор Карвальяс, у которого я арендовал стоянку в подземном гараже. Капитан Гимараес, сеньоры Перейра и Карвальяс жили в пятикомнатных квартирах, выходивших окнами на набережную. Таких квартир в доме насчитывалось только двенадцать: по одной на этаже. Все остальные были поплоше. Из двух, иногда трех комнат. С окнами во двор или на задымленную улицу Сан-Клементе. Там жили и уже упомянутая чета португальцев, и сеу Жоаким, который, хотя и работал в полиции, но не дослужился до больших чинов.

В этом же плебейском крыле «Сан-Жорже» на третьем этаже жила мулатка Мария — объект самого горячего внимания мужской половины дома и неусыпного интереса женской его части. Внимание мужчин

объяснялось общеизвестными, когда речь заходит о настоящей мулатке, достоинствами ее женской стати. Интерес женщин мотивировался тем, что Мария жила здесь на каком-то странном положении приживалки-экономки при дряхлой старухе, которая никогда никуда не выходила. Женщины «Сан-Жорже» с нетерпением ждали, когда старуха помрет и наследники — два племянника, живущие где-то в Сан-Пауло, — незамедлительно выгонят из квартиры ненавистную Марию.

В коридорах, подъездах и лифтах нашего дома можно было встретить штурмана дальнего плавания Томаса Рошу и его приятеля, перебивающегося случайными заработками журналиста Саржио-Энрике, изгнанного из газеты «Диа» после переворота 1964 года. Он отнюдь не отличался слишком уж левыми взглядами, но вскоре после тех мрачных событий опубликовал язвительную заметку об одном из высокопоставленных гражданских участников путча, который заявил, что, по его мнению, «все, что хорошо для Соединенных Штатов, хорошо и для Бразилии». Высокопоставленное лицо действительно сказало эти слова, но позволивший себе якобинский сарказм вольнодумец Сержио-Энрике вынужден был с тех пор пробовать свои силы в уголовной хронике на радио «Глобо».

Его соседкой по этажу была «мисс Паула», увядающая труженица балета с площади Тирадентес, где обосновались театры и театрики, культивирующие искусство стриптиза. В свое время Паула была звездой этого жанра в театре «Рекрейо», что означает в переводе на русский «Отдых», и за кратковременный период творческого взлета успела скопить денег на первый взнос за самую скромную двухкомнатную квартирку в «Сан-Жорже». Вскоре, однако, безжалостная судьба в лице импресарио Коле-и-Фильо оттеснила Паулу с залитой светом авансены «Рекрейо» во вторую шеренгу «кордебалета», то есть нестройной толпы выходящих в тираж девиц, и это самым катастрофическим образом отразилось на ее актерской ставке. И тогда перед ней во всей своей жестокой обнаженности встала банальная проблема: где взять деньги для уплаты очередных взносов? И разумеется, Паула вынуждена была прибегнуть к неизбежному для представительниц ее профессии решению...

Этажом выше, прямо над Паулой, снимал такую же двухкомнатную квартирку низенький, толстенный, обросший волосами чуть ли не до пояса Марчело. Вообще-то его звали «Марсело», но

«Марчело» звучало на итальянский манер, поэтому он требовал именовать себя только так. Принадлежавший к крайне неопределенной возрастной категории «вечных мальчиков», но уже седой Марчело подвизался на пиве музыки: был ударником ансамбля йе-йе-йе с бессмысленным, но весьма звучным названием «Рокс-э-Бокс». Он приходил с работы под утро, спал до двух, а то и трех часов дня, потом бежал на пляж, благо для этого нужно было только пересечь четыре ленты автомобильных дорог, отделявших наш дом от набережной залива Ботафого, окунался в теплую и грязную воду, а затем отправлялся на репетицию, провожаемый восхищенным взглядом племянницы сеньора Перейры четырнадцатилетней Марилене, кроткой ученицы англо-американского колледжа, который находился через два квартала от нашего дома. В свою очередь, Марилене была объектом тайного внимания со стороны окномоя и уборщика Жоана. Он ночевал где-то в фавеле «Санта-Марта» но весь день проводил в «Сан-Жорже», который требовал постоянного ухода: с утра, задолго до того, как проснется встававший раньше других сеу Жоаким, Жоан начинал мыть коридоры. Двенадцать коридоров, длиной метров по сорок каждый. Как тут Жоан умудрялся выкраивать время, чтобы вздохнуть по Марилене? Тем более, что отвлекаться от исполнения своих обязанностей ему было трудно, ибо работал он под бдительным контролем портейро Браза, боцмана нашего Ноева ковчега. Браз жил в маленькой однокомнатной квартирке над гаражом, вставал даже раньше сеу Жоакима, и поскольку над столом, за которым он сидел в холле центрального подъезда «Сан-Жорже», висел никогда не смолкающий транзисторный приемник «Филипс», портье, приветствуя по утрам выходящих жильцов, сообщал каждому из нас о важнейших событиях дня. Причем эта информация была избирательной и направленной. Сеньор Перейра узнавал от Браза о том, что на подходе к Рио находится очередное судно линии «Че» с туристами из Европы. Карвальяэсу портье докладывал о том, как подскочили цены на земельные участки южного побережья после недавнего сообщения о предстоящей прокладке прибрежной автострады между Рио и Сантосом.

Приветствуя особенно почтительно сеу Жоакима, портье со ссылкой на только что переданное радиостанцией «Бандейрантес» сообщение доверительно информировал его об аресте еще двух активистов Национального союза студентов. Марилене Браз радовал

слухами о возможном закрытии на неопределенный срок всех лицеев и школ Ботафого в связи с нехваткой воды, вызванной очередной засухой. А со мной вел нескончаемые дискуссии на международные темы. Его интересовало абсолютно все: от японо-китайских отношений до сенсационных диверсий, учинявшихся террористами «тупамарос» в соседнем Уругвае. «Как бы не перекинулась эта зараза и к нам!» — озабоченно качал он головой, услышав об очередном похищении американского дипломата в Монтевидео. В отношениях со мной Браз всегда был крайне предупредителен и почти дружелюбен. Но я чувствовал, что где-то внутри его естества постоянно кипит мучительная борьба: «С одной стороны, — думал он, — этот русский — „красный“, следовательно, потенциальный враг, и поэтому с ним нужно держать ухо востро». Но, с другой стороны, Браз не мог не признать, что в отличие от многих жильцов «Сан-Жорже» я самым аккуратнейшим образом в точно назначенные сроки выплачиваю как арендную плату владельцу арендованной мной квартиры, так и взносы за коммунальные услуги, из которых идет зарплата самому Бразу, ночному охраннику, уборщикам и «гаражисту», следящему за порядком в гараже. «Весь дом, — рассуждал Браз, — относится к этому русскому вполне дружелюбно. Даже сам сеу Жоаким здоровается с ним за руку и беседует подолгу. А уж сеу Жоаким хорошо знает, кого следует приветствовать, а с кем можно не церемониться».

Было и еще одно весьма важное обстоятельство, которое подняло мой авторитет в глазах Браз на недостижимую высоту: я ездил на «мерседесе»! Конечно, это была не самая последняя и не самая шикарная модель: «Мерседес-180» считался машиной весьма скромной по шкале оценок шестьдесят седьмого года. Но в Бразилии немецкие автомобили вообще, а «мерседесы» — в особенности всегда пользовались особой популярностью и уважением. И обладание любой машиной этой фирмы считалось неоспоримой приметой как имущественного благосостояния, так и политической благонадежности. Поэтому даже когда год спустя я сменил эту старушку на американский «аэровиллис», кредит доверия, заработанный «мерседесом», не иссяк и продолжал, во всяком случае во взаимоотношениях с Бразом, приносить мне дивиденды.

На втором этаже жил Пауло Пратини, молодой чиновник СУРСАН — департамента санитарно-технических и коммунальных служб, — с

женой, которую звали довольно странно: «Вина», и пятилетней дочкой, которая была самым беспокойным ребенком не только в «Сан-Жорже», но наверняка и во всем Ботафого. Не раз ее жизнерадостный голосок, раздававшийся внизу, в песочнике, приводил в трепет и дрожь наши оконные рамы на одиннадцатом этаже.

Самым близким другом Пауло в нашем доме был бесшабашный и безалаберный балагур, пилот Ариэл Палма. Он жил на четвертом этаже с молчаливой и строгой супругой и еще более молчаливой и строгой дочкой-дошкольницей. С семейством Палма мы быстро подружились. Дружба эта покоилась на прочном фундаменте, который Ариэл называл «голос крови»: его жена Эужения, которую мы, естественно, стали звать «Женя», оказалась дочерью русских эмигрантов, приехавших в Бразилию еще до революции. Старики доживали свой век где-то в глухой провинции на юге страны, именно там Ариэл, как он сам говорил, и «заарканил» Женю. Ариэл был южанин — из Рио-Гранди-ду-Сул. И поэтому с гордостью именовал себя, как и все южане, «гаушо». Чуть ли не в первый же момент нашего знакомства он сообщил мне, что гаушо — это «супербразильцы», самые достойные сыны великой нации. Гаушо — это вам не жалкий сибарит кариока, бессмысленно прожигающий свою жизнь на пляжных лежбищах Кобакабаны и Ипанемы, и не скучный работяга — паулист, лишаящий себя всех радостей жизни в погоне за лишней монетой. Гаушо — это Человек с большой буквы, Робин Гуд XX века, рыцарь без страха и упрека, словом, существо высшего порядка, которое по всем показателям — от стрельбы из седла по движущейся мишени до умения в считанные минуты повергнуть к своим стопам самую неприступную красавицу — далеко опережает всех остальных соотечественников. Доблести гаушос (во множественном числе это слово произносится именно так: гаушос), кодекс поведения этих выдающихся сынов нации, их бесчисленные добродетели и их славные пороки (ибо настоящий гаушо велик во всем, даже в своих слабостях!) были излюбленной темой нескончаемых монологов Ариэла, когда мы заглядывали к нему вечерком по семейному «на огонек».

Я любил эти вечера, любил наблюдать, как кроткая Женя колдует над кофейником, как наша пугливая семилетняя дочь на каком-то немислимом детском эсперанто пытается найти общий язык с еще более пугливой дочкой Ариэла и Жени. Я любил слушать ораторские

упражнения отца этого семейства, восседавшего, точнее говоря, возлежавшего в жестком драном кресле с усталой грацией ратника, вернувшегося с поля боя. Он был года на два младше меня, но относился ко мне снисходительно и терпеливо. Это было нечто, напоминавшее общение многоопытного Шерлока Холмса с непонятливым Ватсоном: как и все остальные обитатели «Сан-Жорже», я тоже не был гаушо. Но мне в отличие от остальных соседей Ариэл готов был простить этот грех: в конце концов это не вина моя, а беда, что родился я на другой половине земного шара и по другую сторону экватора, в далеком, снежном, закованном льдами краю, где даже гаушо пришлось бы нелегко.

Я любил слушать его цветистые, словно грузинские тосты, речитативы о великом народе, который вплоть до недавнего времени полжизни проводил в седле, другую половину — у костра. О людях, которые обладали непревзойденным умением в несколько десятков секунд заарканить и свалить быка, а любое другое занятие считали унижительным. «Конечно, сейчас, — вздыхал Ариэл, — мы уже не те...» Он разводил руками, словно извиняясь за то, что променял седло из сыромятной кожи на обитое синтетикой кресло своего «пайпера»: до недавнего времени Ариэл был пилотом воздушного такси, но в один недобрый час хозяин выгнал его за злоупотребление в рабочее время спиртными напитками, и теперь, оказавшись, как сказал Ариэл, «на профилактическом ремонте», то есть, болтаясь в поисках подходящего для гордого сына пампы занятия, он с особым наслаждением предавался воспоминаниям о родных краях и о старых добрых временах, когда никакому мерзавцу и в голову не могло прийти упрекнуть гаушо в том, что он позволил себе пропустить лишний глоток кашасы. Впрочем, о чем мы говорим: разве может быть «лишним» глоток этого божественного напитка?..

Второй излюбленной темой Ариэла были женщины. Он начинал философствовать о них во второй половине вечера, когда подходило к концу содержимое стоящих на столе бутылок, когда дети отправлялись спать, а жены уходили на кухню варить кофе. О женщинах Ариэл рассуждал еще более вдохновенно, чем о великих традициях гаушос. И в этом отношении он тоже был ревностным и горячим патриотом, горячо убеждая меня, что лучшими из всех обитающих на земле женщин являются, безусловно, дочери бразильской нации. И однажды в

пылу таких рассуждений он посоветовал мне посетить очередной конкурс «Мисс Бразилия», подготовка к которому шла полным ходом и освещалась местной печатью как одно из главных событий зимнего сезона, продолжающегося там, в Бразилии, с июня по август.

— Обязательно сходи, и ты увидишь, что такое настоящая бразильянка. Кстати, почему бы тебе не сделать репортаж об этом конкурсе? Почему бы тебе не рассказать твоим землякам о красоте бразильской женщины? — Он прищелкнул языком и лихо подкрутил микроскопические черные усики.

— Видишь ли, — сказал я, — мы как-то не привыкли говорить по радио и читать в газетах о женской красоте. Советскому человеку это чуждо.

— Ничего подобного, — возразил Ариэл. — Женщина, — он назидательно поднял указательный палец, — это никому не чуждо.

Он встал, закурил и голосом, не допускающим возражений, сказал:

— Какой у нас сегодня день? Воскресенье? А «мисс Бразилия» будет избираться в следующую субботу. Превосходно... Завтра я еду на «Маракану» и беру четыре билета. Нет, шесть: пригласим и Пауло с Виной.

Он подошел к столу, плеснул в стаканы еще по несколько капель виски, протянул один стакан мне, другой поднял над головой и гордо провозгласил:

— Итак, до встречи в следующую субботу на «Мараканазиньо»! А сейчас, уважаемые сеньоры, я приглашаю вас поднять бокалы за красоту, обаяние, темперамент, нежность и грацию бразильской женщины — самой лучшей женщины в мире.

Он опрокинул в глотку виски, хлопнул меня по плечу и крикнул Жене, что пора подавать кофе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«Бедная девочка „Мисс“»



Ариэл задел-таки мое самолюбие. И заставил задуматься: а почему бы и в самом деле не рассказать соотечественникам о конкурсе красоты? Это можно сделать в сатирическом ключе в передаче «С добрым утром». Или в жанре очерка нравов для радиостанции «Юность».

Но я колебался. Меня пугала необычность темы. В нашей журналистике до тех пор за нее никто, кажется, не брался. Конкурс красоты — как объект исследования советского журналиста? М-да... А почему бы и нет? Да, согласен, конкурсы красоты чужды нам. Но ведь никто еще толком не объяснил, почему мы их отвергаем. А вот на Кубе, например, их проводят и после революции. Правда, кажется, пытаются наполнить каким-то новым содержанием?

Я размышлял и спорил сам с собой. Я говорил себе, что если десятки тысяч людей в разных странах мира посвящают себя этой затее, значит этому должно быть если не оправдание, то, по крайней мере, какое-то объяснение. И если на это тратятся миллионы долларов, то где-то должен всплыть источник компенсации этих расходов. А может быть, и прибылей на вложенный в это предприятие капитал?

В конце концов я таки уговорил себя. И решил получить журналистскую аккредитацию при конкурсе «Мисс Бразилия», для чего направился в его Организационный комитет, который разместился в Копакабана-Палас-отеле — самом шикарном и дорогостоящем объекте рию-де-жанейрского гостинично-туристического сервиса. Предъявляю

полицейскому свой корреспондентский билет. Прохожу. В большом салоне под серебристым транспарантом «Космическая косметика» — десятка два столов, за которыми восседают девицы из оргкомитета. Большинство из них выполняет здесь функции секретарш-стюардесс. В их задачу входит профильтровывать прорывающуюся через полицейский кордон публику, отсеивать неугодных и сопровождать к начальству тех, кто может быть полезен или нужен. Каждого появляющегося в салоне девицы встречают, как самого дорогого гостя: «Что угодно сеньору? Сожалеем, но интервью с участницами конкурса пока не разрешены». «Извините, но генеральный директор отсутствует...» «Надеюсь, сеньор не обидится, если я сообщу ему, что эту информацию мы не имеем права разглашать до открытия конкурса...» Величаво и категорично смыкая свои полуметровые накладные ресницы, девицы произносят эти фразы голосами громкими, преисполненными чувства собственного достоинства, как бы утверждая значимость сообщаемой информации или сожалея о невозможности выполнить вашу просьбу.

Мое появление вызывает суматоху: впервые аккредитации на конкурсе «Мисс Бразилия» просит советский журналист. Сразу три девицы, возбужденно хлопая ресницами, бросаются ко мне с бланками анкет, которые необходимо заполнить, чтобы получить пропуск в ложу прессы. Четвертая девица столь же стремительно наливает кафезиньо. Беру анкету, усаживаюсь в кресло и читаю ее: «Фамилия, имя, отчество. Год рождения. Домашний адрес. Орган печати, который Вы представляете. Адрес органа печати...».

— Простите, сеньор! — Подымаю голову и вижу перед собой седого джентльмена в черном костюме. Он деликатен и обходителен, как старый Ферри из оперетты «Сильва». — Простите, сеньор, — говорит он, покашливая в знак извинения за беспокойство, — но я хотел бы узнать, не понадобится ли вам репортажная радиокабина?

— Извините, не понял?

— Я хотел бы выяснить, — терпеливо повторяет Ферри, — будете ли вы вести прямой репортаж из «Мараканазиньо»?

...Ах да! В корреспондентском билете, который я предъявил девицам, указано: «собкор Московского радио»! Нет, я вынужден разочаровать организаторов конкурса: прямого репортажа на Москву не будет.

Ферри удаляется, стараясь не выказать своего разочарования. И в самом деле, какая это была бы сенсация, до какой невообразимой высоты взлетел бы престиж этого мероприятия, если бы в субботу утром можно было бы сообщить в газетах о том, что выборы «Мисс Бразилия» транслируются сегодня вечером Московским радио на Советский Союз!

Мне даже жалко, что я не могу оказать эту маленькую услугу симпатичному Ферри и его девушкам. И я улыбаюсь, представив себе лицо главного редактора «Маяка», в тот момент, когда ему докладывают, что корреспондент в Рио предлагает включить в субботнюю программу прямой репортаж о конкурсе красоты.

— А кто еще из иностранных корреспондентов аккредитовался на конкурсе? — спрашиваю девицу, которая подает мне очередной кафезиньо.

— Никто. Во всяком случае, пока.

И тут я чувствую, как во мне шевельнулся скользкий червячок сомнения: В Рио работают более ста зарубежных корреспондентов. И если ни один из них — даже американцы, которых здесь целая дюжина, — не интересуется конкурсом «Мисс Бразилия», то с какой стати пытаюсь ввязаться в эту затею я? И если уж это мне так любопытно, то разве не правильнее ли было бы, как и предлагал Ариэл, взять билеты на второй ярус и тихо отсидеть там, затерявшись среди тридцати или сорока тысяч зрителей? И волки были бы сыты, и овцы целы: и удовольствие получил бы, и никто не узнал бы об этом. Да и репортаж можно было бы сочинить, сидя на галерке, ничуть ни хуже, чем в ложе прессы. Пожалуй, даже лучше: там, в народе, по-иному ощущаешь и воспринимаешь реакцию зрителей, их отношение к происходящему на сцене... А теперь меня здесь зарегистрируют, да еще небось фотографию попросят для корреспондентского пропуска. Точно! Вот на анкете квадратик: «Место для фото»! Уж, конечно, эти девицы растрезвонят местным репортерам: «Наш конкурс освещает и корреспондент Московского радио!» Кто-то тиснет эту новость в своей газете. Прочитают ее в посольстве. Зададутся вопросом: «А нужно ли это?», «Кому это выгодно?»... И иди докажи им, что развенчивание чуждых нам проявлений буржуазной морали тоже входит в круг обязанностей советского журналиста. И для того чтобы развенчать любое такое «проявление», нужно сначала с ним познакомиться...

Ну а что теперь делать? Не бежать же отсюда? Назвался груздем — полезай в кузов! И я продолжаю заполнять анкету, потягиваю кафезиньо и стараюсь улыбаться с небрежной снисходительностью бывалого репортера, давно уже пресытившегося этими конкурсами.

Но странное дело: по мере того как я заполняю анкету, размышляю над ответами на ее вопросы и делаю вид, что мне совершенно безразличны суетливое внимание девиц и джентльменская учтивость Ферри, где-то в глубине моего естества рождается уверенность. Последние сомнения исчезают, когда меня знакомят с репортером Раулем из журнала «Крузейро».

Сразу видно, что Рауль здесь — свой человек. Войдя в салон, он звучно перечмокал всех девиц в наштукатуренные гримом щечки. И каждой отпустил комплимент: «Мари-Элен, ты сегодня просто неотразима!.. Лурдес, ты опять помолодела лет на десять. Если так будет продолжаться и дальше, то на Рождество я вынужден буду купить тебе в подарок соску!.. Тереза, если ты не хочешь разрушить мою семью, ты должна немедленно дать моей жене телефон своего парикмахера».

Девицы жмурились, как кошки, когда им щекочешь за ухом, и томно шевелили ресницами. Закончив обряд целования, Рауль повернулся к Ферри, похлопал его по плечу и, взявшись прокуренными до черноты пальцами за пуговицу его пиджака, спросил:

— Что нового в этом лучшем из миров?

— Да ничего особенного. У «Мисс Сан-Пауло» — легкий насморк. Но до субботы пройдет. «Мисс Гуанабара» потеряла талоны на питание.

— А как поживает наша главная героиня? — спросил Рауль, сделав ударение на слове «главная». Девицы фыркнули, будто услышав нечаянно шутку, рассчитанную на сугубо мужское общество. Ферри пожал плечами и воздел очи к небу, словно ища у всевышнего защиты от неприятных сюрпризов, сваливающихся на голову человека, посвятившего себя этому неблагодарному делу — конкурсу «Мисс Бразилия»: — Наша главная героиня, — сказал Ферри, тоже делая ударение на слове «главная», — изволит отдыхать после трудов праведных.

Рауль вопросительно поднял брови и оставил в покое пуговицу на пиджаке собеседника. Ферри улыбнулся, посмотрел в мою сторону, как

бы извиняясь за то, что вынужден и меня, человека постороннего, посвящать в эти не совсем приятные семейные драмы, и пояснил, слегка понизив голос: — Наша уважаемая Золушка сегодня утром взяла у горничной пылесос и отправилась — представляете себе! — чистить ковры в коридоре отеля на своем этаже...

— Молодец, девчонка! — засмеялся Рауль, достал блокнот и быстро черкнул в нем несколько слов. — Представляю себе физиономии других девиц, когда они это увидели.

— Увидели! Как же! Они еще спали, как ангелы. Эта трудолюбивая «мисс» вскочила с постели ни свет ни заря: в шесть часов. А когда Мария-Августа узнала об этом и сделала ей внушение, наша героиня ответила, что она, видите ли, привыкла вставать рано. И что не может сидеть без дела, когда рядом кто-то работает.

Девицы за спиной Ферри дружно фыркнули. Я понял, что речь идет об Анизин Фонсека, той самой «Мисс Бразилиа» — королеве красоты из столицы, о которой в те дни захлеб и с умилением писали все газеты: «Золушка из Тагуатинги», «Самая красивая и самая бедная!», «Впервые в истории: прачка на пассареле красоты!», «Домработница из фавелы Тагуатинга признана первой красавицей нашей столицы!» И почувствовал, что устроители конкурса в отличие от газетчиков отнюдь не в восторге от того, что среди их подопечных оказалась эта заблудшая овца.

— Вчера она чуть было не отправилась на кухню ресторана, чтобы ускорить приготовление обеда, сегодня взялась пылесосить ковры, и я спрашиваю вас: а что будет завтра? — благородное негодование Ферри было искренним и горячим.

— Интересно, что вы будете делать, если она действительно победит? — спросил с улыбкой Рауль, вновь берясь за пуговицу Ферри.

— Ну конечно! Как же! Еще чего? — зашумели девицы.

— А ты, брат, большой оригинал, — сказал Ферри. — Если она победит, я первый брошу эти конкурсы и подам в отставку. Но она никогда не победит. И ты, Рауль, это знаешь не хуже меня. И если бы вы, газетчики, не подняли вокруг нее такого ажиотажа, мы вообще не имели бы с ней никаких проблем. Она прошла бы у нас тихо и незаметно. Так нет же, вы устроили ей рекламу на всю страну, и теперь нам придется включить ее, как минимум, в восьмерку финалистов.

Ферри озабоченно покачал головой и укоризненно посмотрел на Рауля, который тоже был причастен к этой шумихе: я вспомнил его репортаж в «Крузейро» со столичного конкурса, когда он писал о победе Анизии Фонсека как о самой оглушительной сенсации в истории всех конкурсов красоты и впервые назвал Анизию «Золушкой из Тагуатинги».

— Но если хочешь знать, — сказал Ферри Раулю, церемонно беря меня под руку, — главная сенсация нынешнего года, это не твоя столичная кухарка. Главная сенсация — это вот, представляю тебе — новый коллега, который удостоил нас своей дружбой и оказал нынешнему конкурсу беспрецедентную честь: стать первым в истории конкурсом, который будет освещаться для радиослушателей далекой России.

— Россия? — спросил Рауль, поворачиваясь ко мне. — Если не ошибаюсь, это и в самом деле первый случай, когда на конкурсах аккредитуется советский корреспондент.

И со свойственной только бразильцам стремительностью сближения он хлопнул меня по плечу, перешел на «ты», задал несколько лаконичных вопросов, выясняя, что я действительно из Москвы, что работаю в Рио уже чуть больше года, но конкурс красоты буду «делать», как он говорит, в первый раз в жизни и вообще в этих вопросах — полный профан.

После этого Рауль бросил благодарный взгляд на Ферри, предложившего ему такой чудесный подарок, опять повернулся ко мне, и я увидел, как в глазах этого порывистого мулата разгорается огонек, похожий на нетерпение гурмана, уже вооружившегося ножом и вилкой, но еще не решившего, с какой стороны подступить к чудесному, так аппетитно подрумянившемуся цыпленку. Он взял меня за пуговицу и сказал, что мне повезло. Что я должен благодарить бога за то, что он свел меня с ним, с Раулем. Ферри согласно кивнул головой. Девушки заулыбались и дружно захлопали ресницами. Рауль проникновенно глянул мне в глаза и сказал, еще энергичнее вертя мою пуговицу, что в Бразилии не было ни одного конкурса «Мисс Бразилия», который он, Рауль, не «делал бы» для журнала «Крузейро». Что именно он, Рауль, является единственным в Бразилии журналистом, который «делал» все до одного послевоенные конкурсы «Мисс Универсул» в Майами, а

также почти все — «Мисс Мира» в Лондоне и некоторые «Мисс Красоты» в Токио.

Да, я и впрямь должен благодарить судьбу за то, что она свела меня с этим человеком, который о конкурсах красоты знает абсолютно все. Он перечислил на память имена всех «Мисс Бразилия», рассказал, как сложились их судьбы после того, как их головки были увенчаны коронами. Он вспомнил о тех, кому удалось особенно успешно катапультироваться прямо со сцены «Мараканазиньо» в солидные офисы и конторы, в пресс-бюро, рекламные агентства, протокольные департаменты, «отделы общественных связей» — словом, во все эти кормушки бездельников и тунеядцев, где от мужчин требуется только умение правильно подобрать себе галстук к рубашке, а от женщины вообще ничего не требуется, кроме умения произвести впечатление на мужчину.

Всегда приятно говорить с настоящим специалистом своего дела. А специалисту всегда приятно найти терпеливого и тем более заинтересованного слушателя. Короче говоря, мы с Раулем не заметили, как подошел вечер, как солнце скрылось где-то за Корковадо. Но желудки не обманешь. Мы сели в мою машину и через пять минут подкатили к итальянскому ресторанчику «Фиорентина», что находится там же, на Копакабана, ближе к холму Леме. Мы не рискнули идти внутрь: очень уж было жарко. Мы выбрали уютный столик, из тех, что выставлены на тротуар и отгорожены от прохожих шеренгой кадучек с пальмами и фикусами. Отсюда хорошо видна вся пятикилометровая дуга уже пустого песчаного пляжа и заполненной автомашинами ленты шоссе, протянувшейся у подножия серо-желтых зданий, которые кажутся небоскребами, хотя редкие из них перешагнули шестнадцатизэтажный рубеж. На набережной зажглись огни. Они колышутся в горячем воздухе, словно вздрагивая под набегавшим с океана и несущим живительную вечернюю прохладу ветерком.

Трудно представить себе обстановку, более соответствующую возвышенной теме женской красоты, служению которой посвятил свое перо Рауль и которую мы с таким упоением обсуждали в тот вечер. Мы заказали пиццу с креветками, ибо Рауль сказал, что раз уж мы оказались в итальянском ресторане, то надо полагать, что итальянская кухня у них лучше бразильской. И после этого, отложив меню, он продолжил свой монолог о тайнствах конкурсов красоты, о разыгрывающихся вокруг

них страстях, которые, как он сказал, бывают достойны пера Шекспира, но гораздо чаще — пишущей машинки Генри Миллера. Вдохновленный вином, он теперь говорил о конкурсах красоты в масштабе всей планеты, о драмах, слезах и восторгах, сопровождавших выборы «Мисс Универсул» в Майами, «Мисс Мира» — в Лондоне. О знаменитых победительницах, сумевших пробиться в кинозвезды, вроде Джини Лоллобриджи, Авы Гарднер, Сильваны Мангано. О тех немногих, кому неслыханно повезло, как Иветт Лабрус — «Мисс Франция» 1932 года, умудрившейся подцепить и даже затащить к алтарю Ага-Хана — одного из самых знаменитых миллионеров и плейбоев. Он рассказал мне и о тех, кто не сумел по-хозяйски распорядиться свалившейся на них короной: о Джуди Брин — «Мисс Англия» 1951 года, которая — подумать только! — ограничилась скромной профессией стюардессы. И о множестве «мисс», которым крупно не повезло, чьи жизни и судьбы были искалечены. Как, например, Мира Сколипс — «Мисс Греция» 1932 года, пытавшаяся стать танцовщицей и опустившаяся до грязных притонов Шанхая. Или Агнесс Сюре — «Мисс Франция» 1921 года, скончавшаяся в самой страшной нищете в Буэнос-Айресе. Как Пегги Дэвис — «Мисс Англия» 1928 года, которая покончила с собой, оставив записку: «Нет сил, чтобы вынести эту жизнь». Или Шарлотта Насг — «Мисс Сан-Луис» 1927 года, которая убила своего мужа и отправилась в тюрьму.

— А вообще-то, — подвел итог Рауль, — из двадцати тысяч «мисс», которые за последние двадцать лет были удостоены корон на самых разных уровнях — от маленьких городков до «Мисс Универсул», — лишь каждая десятая сумела удачно выйти замуж, что, конечно, является главной и самой желанной целью каждой «мисс». Но судьбу не обманешь: почти девяносто процентов их браков заканчивались разводами в первые пять лет после свадьбы.

И когда, изумленный такой потрясающей эрудицией, я спросил у Рауля, каким образом он умудряется помнить все эти бесчисленные имена, даты, цифры и факты, он сказал, назидательно подняв палец:

— Все очень просто: у нас, репортеров, конкуренция ничуть не менее жестокая, чем у этих наивных девчонок, гонящихся за коронами «мисс». Чтобы печатали именно меня, а не моего коллегу, я должен знать свое дело лучше, чем он. Должен доказать шефу, что

именно я могу дать газете самый яркий, самый читаемый репортаж. И я должен доказывать это каждой моей работой, каждый день, всю жизнь.

Мы попросили кофе, закурили, и я задал Раулю главный вопрос, который давно уже вертелся у меня на языке. Я спросил его, ради чего вот уже столько лет работает эта гигантская, охватывающая весь земной шар машина. Кому это нужно, кроме самих претенденток на корону? Кто платит деньги и кто заказывает музыку?

— Коммерция, — сказал он лаконично. — Бизнес.

— А все-таки?

— Имя «мадам Елена Рубинштейн» тебе что-нибудь говорит?

Имя мадам Елены Рубинштейн я уже знал, как его знал в те годы любой телезритель любой западной страны: каждый вечер ослепительно улыбающиеся телевизионные девушки проникновенными голосами убеждали мою жену пользоваться пудрой «Сил Фэйшн», помадой «Силвер Рэйдж» и карандашом для ресниц «Дэрк Броун».

— Фирма мадам Рубинштейн, производящая, как ты знаешь, косметику, — главный патрон и организатор конкурсов. Фирма мадам Елены (сама мадам умерла в 1965 году) — это «крестная мамаша» всех «мисс», которых она превращает в своих агентов по рекламе. Каждая победительница получает премию, взамен она подписывает контракт, который делает эту девочку, если говорить по-английски, «модел», а если по-португальски — «модело» — штатной сотрудницей мадам Рубинштейн, точнее говоря — куклой, которая будет рекламировать ее — и, заметь, только ее! — косметику. И хотя никто не делает из этого секрета: условия контрактов, наоборот, публикуются и рекламируются печатью, и всем в общем-то ясно, что вся эта затея с конкурсами красоты — всего лишь рекламный трюк, но в сознании читательниц моего журнала, других журналов и газет, в сознании телезрительниц все это трансформируется. Под воздействием нашей рекламы, наших восторгов и оваций у публики подсознательно складывается впечатление, что королева красоты стала победительницей очередного конкурса не потому, что она красива, а потому, что пользовалась косметикой с маркой «Елена Рубинштейн». И они бегут в магазин... А для того чтобы постоянно поддерживать этот интерес к своей продукции, фирма мадам Рубинштейн периодически меняет моду. И меняет ее кардинально. Все то, чем девушка пользовалась еще вчера: пудра, помада, тушь для ресниц и прочие

снадобья — все это завтра будет объявлено вышедшим из моды. Безнадёжно устаревшим. Смешным и недостойным девушки, которая хочет шагать в ногу с веком. Эти рекламные катаклизмы и приурочиваются к конкурсам красоты: пассарела «Мараканазиньо», по которой пойдут в субботу наши девицы, станет стартовой площадкой для очередной премьеры: «Космической косметики». Да, да, можешь заранее предупредить свою жену: отныне и до будущего года в моде будет «космический» макияж: голубовато-серебристые тона, блески, металлический отлив.

А вообще-то в этом деле, кроме мадам Рубинштейн, замешаны десятки других фирм. И швейных, и обувных, и туристических, и даже автомобильных. Главный конкурс в Майами патронируют сейчас, например, «Тони» — дочерняя косметическая фирма от «Жиллета», «Пепси-кола», «Олдсмобил». В это дело вложены в Майами такие миллионы, какие нам тут, в Бразилии, и не снились. И заметь: все расходы не только окупаются, но и приносят десятикратную, если не больше, прибыль. А как же иначе: стоит только «Мисс Айдахо» сказать по радио или по телевидению, что она умывается по утрам мылом «Пальмолив», а чистит зубы пастой «Филипс», как все парфюмерные фирмы, которые производят другие типы мыла и пасты, могут либо покинуть штат Айдахо, либо примириться с падением своих продаж процентов этак на пятьдесят.

Рауль закурил, сладко потянулся. Я подумал, что пора бы и по домам. Но как истинный бразилец Рауль, видимо, настроился на долгую и серьезную беседу. Он уже в третий раз заказал кафезиньо, пачку сигарет «Голливуд». И говорил, говорил, говорил...

— Возьми наш нынешний конкурс: ты, может быть, думаешь, что скандальная сенсация с Анисией Фонсека, кухаркой из фавелы, которая стала «Мисс Бразилиа» и претендует на звание «Мисс Бразилия», возникла сама по себе? Нет, брат, все это было организовано с определенными целями. Во-первых, нашему угасающему, теряющему популярность предприятию нужна свежая кровь. Годами и десятилетиями королевы красоты появлялись из «чистой публики», из «приличных семей», поэтому простонародье, миллионы людей, которых социологи относят к самой низшей и самой многочисленной категории населения, стали терять интерес к нашим «мисс», понимая, что все эти великосветские игры их не касаются, что их дочкам доступа

на Олимп нет. И вот теперь пожалуйста: по пассареле гордо шагает кухарка и дочь кухарки, прожившая всю жизнь в фавеле и ни разу в жизни не облачавшаяся в вечернее платье!

Вторая и главная причина: если раньше телезрители этой низшей, но, повторяю, самой многочисленной категории рассматривали рекламу изделий мадам Рубинштейн как нечто, не имеющее к ним никакого отношения, как дорогие игрушки королев, кинозвезд и светских львиц, то теперь им начинает казаться, что продукция мадам Рубинштейн способна и кухарку превратить в «мисс». И ты представляешь себе, сколько огребет фирма мадам Рубинштейн, если хотя бы одна из десяти, ну, пусть даже одна из ста этих бедных и нищих девчонок, сэкономив на еде, на билетах в кино, урвав из жалкой заначки, которая лежит в ожидании рождества или карнавала, отправится в ближайшую галантерейную лавку и купит самую дешевую губную помаду или лак для ногтей?..

Вот поэтому-то успех Анизии был запланирован еще до того, как сама она оказалась среди соискательниц короны. Да и вообще: Анизия тут ни при чем. Она просто подвернулась под руку. Не будь ее, взяли бы любую другую. С подходящими, разумеется, параметрами по бюсту и бедрам.

А все то, что ты слышал в Организационной комиссии: жалобы на хлопоты, которые им причиняет Анизия, крикливое возмущение ее «выходками» — это тоже игра, подогревание сенсации, создание возбужденной, может быть, даже скандальной атмосферы, на которую мы, репортеры, слетаемся, как мухи на падаль. И к счастью для всех нас, эта добрая и наивная девочка, сама того не понимая, участвует в нашей игре, когда, искренне и от души желая помочь горничной в отеле, хватается за пылесос. Остальные «мисс» шокированы, в оргкомитете скандал, мы, газетчики, подогреваем страсти, а публика умиляется.

Рауль устало откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Уже первый час ночи. Окна на авениде Атлантика гаснут одно за другим: Копакабана отходит ко сну. Мы молчим, прислушиваясь к шелесту волн, лениво набегающих на песчаный пляж и отступающих обратно в черный океан. У пустого соседнего столика останавливается одинокая женщина. Она оборачивается в нашу сторону с молчаливым, хорошо понимаемым на всех широтах вопросом. Это Паула из нашего «Сан-

Жорже». Узнав меня, она улыбается, пожимает плечами, словно извиняясь за нечаянную ошибку, и прикладывает палец к губам, намекая, что эта нечаянная встреча должна остаться между нами. Я чуть заметно киваю ей, и она идет дальше к «Леме-палас-отелю», где и в этот час можно найти любителей ночных приключений. Я гляжу ей вслед. У нее мягкая походка человека, которому некуда торопиться, которого никто нигде не ждет. Удаляющуюся фигуру Паулы провожает усталым взглядом и наш официант, который давно уже отправился бы домой, но суровый закон ресторанного сервиса, гласящий, что клиент всегда прав, удерживает его от деликатных намеков и вопросительных взглядов. «Фиорентина» славится обслуживанием, и сейчас я это могу оценить в полной мере.

Мы прощались с Раулем, пронизанные взаимной братской любовью, и договорились встретиться завтра в «Мараканазиньо» на репетиции конкурса.

— Обязательно приезжай, — сказал он, обнимая меня за плечи. — Репетиция может оказаться для тебя еще интереснее и важнее самого конкурса.

Я подумал, что он преувеличивает: чего ради тратить время на репетицию? Все уже казалось предельно ясным. Рассказ Рауля расставил все точки над «и»: «бизнес и красота, капитализм и бесправное положение женщины. Холодная игра дельцов на честолюбии и жадности провинциальных девиц. Массовый обман потребителя, которому фирмы-патроны всучают свои товары, рекламируемые участницами конкурса». И в конце — ликование победительницы, слезы остальных и холодные улыбки хозяев, подсчитывающих барыши. Хоть сейчас я был готов садиться за контрпропагандистский очерк. Оставалось только решить, в каком эмоциональном ключе его делать: либо писать с откровенным негодованием, и тогда получится разоблачительный памфлет, либо, мобилизовав иронию, попытаться высмеять конкурсы и возню вокруг них. И в том и в другом случае следовало обрушить пыл не только на организаторов конкурса, но и на девиц, добровольно продающих себя фирме мадам Рубинштейн. Словом, прощаясь с Раулем, я был убежден, что мой очерк уже сложился: осталось его только записать или как «гневное разоблачение», или «разоблачение с иронией». С признательностью за бесценную помощь, за обрушенный на меня поток

информации, который поможет мне создать шедевр — именно шедевр, я в этом уже не сомневался! — я обнимал Рауля как друга и брата и пытался сообразить, чем же мне отблагодарить его за восхитительное, не так уж часто встречающееся среди журналистов бескорыстие. А Рауль, понимая это, потрепал меня по плечу, взялся в последний раз за мою пуговицу, улыбнулся и повторил:

— Приходи все-таки на репетицию. Не пожалеешь. Увидишь вблизи.

Он сказал это, кивнул мне и пошел по тротуару в сторону авениды Принцессы Изабель, где легче было поймать такси. А я задержался около подсчитывающего чаевые официанта. Пытаясь понять смысл этой последней фразы «увидишь вблизи», я вдруг почувствовал, что Рауль подарил мне совершенно неожиданный вариант решения темы «Конкурс красоты». А обе мои домашние заготовки — «гневное разоблачение» и «разоблачение с иронией» — лучше отложить. Или использовать как вспомогательный инструмент. Главные усилия следует сосредоточить не на разоблачении конкурса. Разоблачение прозвучит в любом случае. Но как бы я ни писал, главным объектом исследования должны стать не организаторы и хозяева. Не фирма Елены Рубинштейн. Решать эту тему нужно на улыбках и слезах «мисс»...

«Увидишь вблизи», — сказал Рауль. И вновь оказался нрав: в огромном, еще не заполненном публикой «Мараканазиньо» с какой-то неожиданной силой обнажились страсти, волнения, слезы, улыбки, радости и разочарования, кипящие вокруг конкурса и вокруг двадцати пяти растерянных его участниц. И почти физически ощутив их робость и страх, я вдруг понял очень важную вещь: можно сколько угодно иронизировать и высмеивать честолюбивые притязания этих девочек, их наивную веру в удачу, истеричное ожидание: «А вдруг именно я?!»

Но нельзя было не увидеть, что эти чувства, эти страхи, вера, надежда, смятение — они-то искренние, а не поддельные!.. В лихорадочном калейдоскопе фальшивых и продажных страстей, бушующих вокруг этой помпезной аферы, именуемой «Конкурс „Мисс Бразилия“», только слезы и страдания девочек были честными, настоящими, подлинными. И я понял, что нужно писать об этих слезах и о том, что они — не только соблазнительная эмоциональная приправа, придающая зрелищу особую пикантность, а заранее

рассчитанный устроителями и умело переплавляемый в дивиденды компонент действия.

Я приехал в «Мараканазиньо» одновременно с автобусом, на котором доставили на репетицию «мисс». Уже одно это зрелище было достойно кисти художника, специализирующегося на батальных сценах: впереди автобуса на территорию стадиона ворвались, завывая сиренами, мигая красными и синими огнями, полицейские мотоциклы. У служебного входа выстроились две шеренги солдат, которые должны были защитить «мисс» от восторгов сотен их поклонников. Взявшись за руки, солдаты оттирали спинами толпу. Девушки выпрыгивали из автобуса, как цыплята из инкубатора, и бежали между вздрагивавшими, прогибающимися шеренгами солдат. Девушкам было немного страшно и радостно при виде беснующихся, ревущих и свистящих физиономий. И они, пожалуй, не стали бы возражать, если бы солдаты слегка ослабили свою бдительность. Или если бы поклонники малость прибавили энергии. И хотя бы частично прорвались за кулисы. Но солдаты выстояли. Может быть, потому, что поклонники берегли свои силы для решающей схватки в субботу.

Девушки исчезли за дверью, около которой грозно встали трое полицейских. Поклонники прекратили истерику и рассредоточились вокруг круглого здания Дворца спорта в поисках каких-нибудь щелей, через которые можно было бы просочиться внутрь. А я разыскал вход с надписью «Пресса» и вошел в огромный круглый зал, где стучали молотки декораторов, укрепляющих плакат: «Космическая косметика», хрипели динамики, а на трибунах покрикивали и посвистывали, словно проверяя свои силы, уже просочившиеся поклонники и болельщики. И бродили продавцы прохладительных напитков и жареных орешков.

Внутри большого круга, образованного примыкающей к сцене пассарелой — дорожкой, по которой будут дефилировать трепещущие соискательницы звания первой красавицы страны, уже топтались фотографы и репортеры. Из-за охраняемых полицией кулис доносился легкий шум. Слышно было, как кто-то спорил. А кто-то ругался. И выражения, долетавшие в зал, казались не совсем уместными в общении с самыми красивыми девушками страны. А потом появились и сами девушки. В купальниках. Не в парадных, которые они наденут в субботу, а в «тренировочных». Несмело выползали они по двое, по трое из-за кулис на сцену, боязливо поглядывали на репортеров. Поклонники

на трибунах встречали каждую «мисс» доброжелательным свистом, а фотографии — фейерверком блицев.

Потом на сцене появилась сухощавая дама в строгом темном костюме, с тростью в руках. Дама слегка прихрамывала. Опираясь на трость, она подошла к краю сцены, строго посмотрела на нас — репортеров и фотографов — и сказала:

— Фотографировать можете сколько угодно, по разговаривать с девушками, отвлекать их я не разрешаю.

Коллеги вокруг сердито загудели. Кто-то крикнул, что пресса не напрашивается, пресса — если ей не создают условия — вообще может уйти и не освещать этот конкурс. Но кому он тогда будет нужен, если пресса о нем не скажет ни слова?

Дама постучала тростью об пол и сказала, что после окончания репетиции пресса получит полчаса для интервью со всеми «мисс», а пока от имени оргкомитета она просит создать условия для нормальной работы.

«Пресса» угомонилась. На сцене появился рояль. За рояль уселся тапер в черном костюме с бабочкой под несвежим воротничком. Выдав из себя улыбку, он лениво пробежал пальцами по клавишам, но дама грозно застучала тростью, вновь потребовала тишины и обратилась к выстроившимся в две шеренги девочкам с напутственным словом. Она сказала, что до конкурса осталось мало времени, а им предстоит много работы. Поэтому она требует внимания и прилежания. Природные данные девочек сами по себе ни одной из них не могут гарантировать победу, ибо для победы нужно еще и умение «подавать себя». Именно этому она, дона Мария-Августа, будет их сейчас учить. И кто не успеет усвоить то, что она будет рассказывать и показывать, пускай не обольщается ложными надеждами и пеняет сама на себя.

— Итак, мы начинаем! И первое, чему вам следует научиться, — это умению стоять. Вот вы, например, «Мисс Парана», — Мария-Августа махнула тростью в сторону испуганно съежившейся худенькой блондинки. — Почему вы так сутулитесь? Подымите-ка голову, отведите назад плечи... Еще, еще! Сделайте так, чтобы там, на спине, у вас соприкоснулись лопатки! Втяните живот, расслабьте бедра! Ноги поставьте вместе, но ступни слегка разведите, так чтобы правая ступня находилась бы под углом к левой!..

«Мисс Парана», краснее собственного купальника, пыталась выполнить руководящие указания. Репортеры веселились, фотографы устрашающе наводили на нее жерла объективов.

Так начался урок, в ходе которого девушки получили массу полезных сведений. Узнали, как следует держать себя и как ставить ногу во время прохождения по пассареле: «Свободно, от бедра, неторопливо, словно вы входите в океан, преодолевая сопротивление воды...» Как нужно поворачиваться перед жюри: «Представьте себе, что у вас на голове стакан с водой и нельзя пролить ни капли...» Как следует глядеть на публику: «Вы должны улыбаться, словно извиняясь за то, что пытаетесь оспаривать корону у своих подруг».

Репетировали сначала все вместе, а потом начались сольные и потому самые мучительные для девушек упражнения. Болельщики архибанкады — так называется в «Мараканазиньо» самый дешевый второй ярус трибун — активно реагируют свистом на все происходящее. Причем свистит архибанкада по-разному: одобрительно, негодующе, возмущенно, а иногда даже радостно. Свист может быть ласковый, ободряющий, означающий: «Девочка, не робей, мы — с тобой!..» Иногда — восхищенный, выражающий восторг и поклонение. По законам своего и чужого «поля» он сопровождает каждый шаг, каждый поворот представительницы Рио-де-Жанейро. Почти всем остальным «мисс», кроме общей любимицы Анисии, предназначается свист безжалостно-уничтожающий.

В загоне для прессы тем временем работают в основном фотографы. А репортеры рассказывают пикантные анекдоты, вспоминают любопытные казусы из истории прежних конкурсов и, естественно, обстоятельно анализируют шансы претенденток. Главным экспертом выступает Рауль:

— Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Баия, — диктует он свой прогноз о трех победительницах.

— А «Мисс Бразилиа»? — возмущенно кричат фотографы.

Рауль улыбается и пожимает плечами:

— Корону она не получит, ибо никто не позволит возложить ее на голову кухарки, чтобы отправить затем эту кухарку в Майами на конкурс «Мисс Универсул»! Это означало бы полную дискредитацию бразильского конкурса в глазах всего мира. Второе место?.. Маловероятно: его обладательница автоматически едет затем в Лондон

на конкурс «Мисс Мира». И эти снобы англичане тоже никогда не простят нам такого оскорбления. А что касается третьего места... — Рауль задумался.

— Третье — гарантировано!

— Третье — наверняка! — зашумели коллеги.

Фотограф из «Маншете» подвел итог спорам:

— Третье место почетно и выгодно: и премия полагается, пусть маленькая, и поездка в Токио на конкурс «Мисс Красоты». Японцы — не англичане, с ними можно не церемониться, да они, глядишь, и не заметят, что им подсунули кухарку.

Рауль скептически улыбается. А я тем временем наблюдаю за «Золушкой из Тагуатинги». Среди всех соперниц Анизия — единственная бесспорная королева. Высокая и стройная, она держится уверенно, поворачивается так грациозно и улыбается так непринужденно, словно всю жизнь только и делала, что вышагивала по пассареле. Эта девочка, которая еще неделю назад мыла полы в своей лачуге и ни разу в жизни не надевала туфли на высоких каблуках, кажется в роли «мисс» более естественной, чем все окружающие ее дочки банкиров, чиновников и офицеров.

А на сцене тем временем продолжают страдания остальных соискательниц первой короны страны.

— Раз, два, три, поворот! Раз, два, три, поворот! — обозначая ритм ударами трости в пол, донна Мария-Августа нещадно гоняет неуклюжую «Мисс Сержипе».

«Легче крокодила научить танцевать танго», — ворчит Рауль. Осваивая пируэт, которым надо будет порадовать жюри, «Мисс Сержипе» уже близка к обмороку и от сознания своей полной неспособности становится еще более косолапой и неповоротливой. Конкуренстки глядят на нее с тайным злорадством. А некоторые, представив себя на ее месте, с испугом.

— Стоп! — Трость вонзается в доски помоста особенно яростно. — Вы свободны, «Мисс Сержипе», но вам придется дополнительно поработать сегодня вечером в отеле, ибо я не могу поручиться, что ваше появление на пассареле не вызовет у жюри нервного шока.

Тем временем в загоне для прессы, пользуясь тем, что на сцене выстроены все двадцать пять соискательниц, Рауль на правах

старейшины проводит голосование по выборам «Мисс Фотогеничности» и «Мисс Симпатии». По неписаной, но свято соблюдаемой традиции конкурсов эти звания и ленты служат утешительными призами для заведомых аутсайдеров, которые наверняка не войдут даже в восьмерку финалисток.

А потом нам предоставляют обещанные полчаса на интервью. Фотографы вновь озаряют сцену фейерверком вспышек, репортеры, вооружившись блокнотами и магнитофонами, дружно атакуют трепещущих девиц под бдительным оком Марии-Августы, следящей, чтобы никто из нас не посмел фамильярничать с ее подопечными.

— Вы уже заметили, — обращается к «Мисс Парана» репортер журнала «Манжете», — что почти все участницы предыдущих конкурсов сумели впоследствии весьма удачно выйти замуж? А у вас имеются какие-либо матримониальные планы?

Простодушная «Мисс Парана» в первый момент не замечает подвоха. В ее глазах разгорается возбужденный блеск, но тут же девочка, спохватившись, смиряет себя и, потупив взор, смиренно отвечает, что, возможно, некоторые и надеются подцепить здесь мужа побогаче, но она, «Мисс Парана», об этом не думает. В настоящий момент все ее помыслы сосредоточены только на одном: как можно достойнее продемонстрировать на предстоящем конкурсе красоту, грациозность и обаяние девушек своего штата. А если бог поможет, то она, «Мисс Парана», готова защитить честь и достоинство национального флага и на любом из международных конкурсов: в Майами, Лондоне или Токио.

Сцена постепенно превращается в базарную толкучку. На нее прорвались чуть ли не все, кто находится сейчас в зале: репортеры, чтобы интервьюировать девиц, полицейские, чтобы охранять их от чрезмерно настойчивых интервьюеров, болельщики, спустившиеся с архибанкады, чтобы поближе оценить достоинства и недостатки «мисс», и даже присутствовавшие на репетиции седовласые сеньоры из оргкомитета, которые на правах хозяев и устроителей конкурса старательно играют приятную роль опекунов. Якобы защищая «мисс» от натиска «представителей прессы», сеньоры-покровители с видимым удовольствием трогают их за руки, обнимают за плечи, гладят по голове. Мария-Августа делает вид, что не замечает этого.

Проталкиваюсь в глубину сцены, где атакуемая сразу десятком репортеров и сеньоров-опекунов стоит уже успевшая переодеться «Мисс Бразилиа». В скромном темном платье она не потеряла элегантности, хотя немного смущена градом обрушивающихся на нее вопросов. «Представители прессы» хотят знать о ней все: любимое кушанье и напиток, имя жениха или друга сердца, фасон платьев, который она предпочитает, и марку губной помады, которой она пользовалась до того, как на положении «Мисс Бразилиа» получила обязательный к употреблению ассортимент изделий мадам Рубинштейн. Это, впрочем, запрещенный прием. На вопросы о своих косметических пристрастиях, выходящих за рамки ассортимента фирмы Рубинштейн, никто из «мисс» отвечать не имеет права под угрозой дисквалификации. Анизию, впрочем, этот подвох не смущает: она говорит, что до участия в конкурсе вообще не пользовалась косметикой. И все понимают, что она говорит правду.

Пробиться к ней невозможно, поэтому прибегаю к не слишком джентльменскому по отношению к коллегам методу силового давления. Достаяю из кармана свой зеленый билет с надписью: «Зарубежный корреспондент», подымаю его над головой и иду напролом, расталкивая репортеров и фотографов со словами: «Прошу извинить, сеньоры! Московское радио!» Поскольку в этой свалке я — единственный представитель зарубежной прессы, коллеги ворчат, но расступаются, понимая, что выход конкурса на международную арену отвечает национальным интересам страны. А кроме того, они не прочь послушать и сообщить завтра в своей газете, о чем будет спрашивать нашу «мисс» этот странный русский.

Увы, доверчивые коллеги еще не осознали моего коварства. Вместо того, чтобы поблагодарить их и дать им возможность насладиться бесплатным шоу: «„Мисс Бразилиа“ отвечает на вопросы Москвы», я громко говорю: «Эксклюзивное интервью!», оттесняю бедром присосавшегося к Анизии сеньора-опекуна, беру ее под руку и веду за кулисы. Не ожидавшая такого натиска девушка покорно следует за мной. Растерявшиеся коллеги расступаются, донна Мария-Августа в ужасе подымается со стула, но я успокаивающе киваю головой, пытаюсь телепатически передать ей на другой конец сцены нечто вроде: «Не волнуйтесь, мадам, это совсем не то, что вы думаете. В руках

советского журналиста любая из ваших „мисс“ может чувствовать себя в такой же безопасности, как за стенами монастыря кармелиток».

За сценой, забившись вместе с Анизией в какую-то полуосвещенную щель между фанерными декорациями, достаю из кармана вырезку из вчерашней «Ултима ора»: фотографию Анизии в магазине у сверкающей никелированными переключателями газовой плиты. Под фотографией подпись: «„Мисс Бразилиа“ всю жизнь мечтала о такой газовой плите. Теперь она получит ее в новом домике, предоставленном префектом Бразилиа нашей королеве красоты».

— Это правда? — спрашиваю.

— Да, кажется. Мне обещали от имени префектуры небольшой домик.

— А еще говорят, что префект обещал устроить вас на хорошую работу?

— Обещал.

— И где же вы работали до конкурса?

— Прислугой: кухаркой и уборщицей.

— Ну и как?

— По-разному. В таком деле все зависит от того, какая у тебя хозяйка.

— И давно вы работаете прислугой?

— С двенадцати лет. Сейчас мне девятнадцать, значит, уже семь лет.

— Учились где-нибудь?

Она замялась:

— Меня мама всему учила. Она ведь тоже прислуга: прачка.

— Нет, я спросил о школе.

— Ах, школа? Да, я училась в школе, окончила четыре класса. Умею читать и писать. — Она посмотрела на меня не без гордости.

— А почему же не учились дальше?

Анизия грустно улыбается:

— Как же мне учиться, если нужно помогать маме? У нас ведь в семье еще четыре брата. Все младше меня. Представляете себе: каждого нужно обуить, одеть.

— А отец ваш где работает?

— Отца нет у нас уже давно. Уехал на заработки в Амазонию, когда мне было десять лет. Года три присылал немного денег, А потом

перестал. Может быть, помер, а может быть, нашел себе другую женщину.

О многом еще хотелось бы расспросить ее, но слышу, как дона Мария-Августа с помощью полицейских и сеньоров-опекунов начинает энергично собирать девиц и выводить их со сцены. И торопливо задаю последний вопрос: — Скажите, Анизия, чего вам хочется сейчас больше всего?

— Чтобы этот конкурс закончился как можно скорее, — улыбается она.

— Ну а если серьезно? Есть же у вас какое-то самое главное желание, не связанное с конкурсом?

Она посерьезнела.

— Я хотела бы... Это трудно объяснить. Но я думаю о маме. Представляете себе: всю жизнь — грязная посуда, чужое грязное белье. И нас — пятеро, которых надо покормить хотя бы раз в день. И так всю жизнь. Поэтому самое главное мое желание — чтобы она почувствовала себя хотя бы на один день счастливой...

На сцене слышится трубный глас Марии-Августы: «А где же наша „Мисс Бразилиа“? Кто видел „Мисс Бразилиа“? Девушки, поживее! Автобус ждет!»

— Извините! — Анизия улыбнулась, подала мне руку, повернулась и пошла на выход.

Высокая и стройная, она шла, эта девушка из сказки Перро, повесив сумку на плечо, как баскетболистка после матча. Я глядел ей вслед, и у меня как-то сами собой родились строчки, которые, как я думал, должны будут стать финальными в очерке об этом конкурсе «Мисс Бразилия»: «Сейчас, окруженная всеобщим восхищением и поклонением, она чувствует себя счастливой, как и должна чувствовать себя настоящая Золушка. Но, как настоящая Золушка, она слишком уж доверчива и наивна. А эти качества вряд ли помогут ей в мире, сработанном по выкройкам и моделям мадам Рубинштейн».

А в субботу пришел финал всех страданий, ожиданий и надежд. Переполненные трибуны «Мараканазиньо» вскипали нетерпением. Архиванкада расцвела приветственными транспарантами и самодельными плакатами. Где-то там, наверху, в водовороте воплей, трещоток, песен и свиста, затерялись Ариэл с Женей и Пауло со своей супругой. Не без гордости я заметил, что «Сан-Жорже» был весьма

неплохо здесь представлен: на архибанкаде волновались и спорили о том, кому достанется корона, Марилене и Паула. Рядом с ними спокойно ожидала начала церемонии Мария-Фернанда, ее интересовало только одно: фасоны платьев «мисс». А внизу, поблизости от сцены, за столиками для более уважаемой публики, я увидел сначала сеньора Жоакима, потом — сеньора Перейру. И он тоже увидел меня и успел поприветствовать своей традиционно лучезарной улыбкой, прежде чем зал погрузился в темноту, грянула музыка, вспыхнули прожекторы на сцене, вырвав из полумрака рекламные щиты, на которых аршинными буквами красовались призывы пользоваться только косметической продукцией фирмы Елены Рубинштейн, и перед микрофонами появилась чета ведущих: Пауло Макс в смокинге и мадам Марилу в темно-зеленом вечернем туалете. Музыка стихла, и тысячекратно умноженный электроникой бархатный баритон Пауло Макса заполнил необъятную полусферу «Мараканазиньо»:

— Под эксклюзивным патронатом фирмы Елены Рубинштейн, предлагающей бразильской публике новый ассортимент своей продукции: «Космическую косметику» — самое последнее слово науки о красоте, которая распахнет перед вами дверь в двадцать первый век, мы имеем честь и привилегию провозгласить торжественное открытие конкурса «Мисс Бразилия»!

Еще ярче вспыхнули прожекторы, тысячами огней засверкали, замигали, завертелись на сцене и в зале серебристые рекламные транспаранты: «Рубинштейн!!», «Космик Рэйдж!», «Лайт Уоркс!», «Липшайн!», «Космическая косметика!»

И началось первое из трех традиционных «дефиле» — прохождение «мисс» по сцене и по круглой пассареле. Сначала они шествуют в вечерних платьях все вместе, как солдаты в колонне «по одному», потом вся кавалькада выстраивается на сцене, и соискательницы отправляются описывать круг по пассареле в одиночку.

Второе появление «мисс» происходит в так называемых «этнографических костюмах», когда каждая из них в своем карнавальном наряде должна отразить, так сказать, «производственно-социальную специфику» своего штата. «Мисс Сан-Пауло» с этой целью водрузила на голову корзину с макетами небоскребов. «Мисс Пернамбуко» восхитила зрителей костюмом пастушки, щедро демонстрирующим ее прелести. «Мисс Санта-Катарина» разочаровала

архибанкаду шахтерским комбинезоном и была встречена дружным осуждающим свистом.

И через каждые пять минут Пауло Макс и Марилу напоминают публике, что отныне начинается новая эра в истории косметики: каждая уважающая себя женщина должна пользоваться теперь только изделиями из серии «Космическая косметика»!

Наконец начинается главный номер программы, ради которого и собрались под сводами «Мараканазиньо» тридцать или сорок тысяч восторженных поклонников женской красоты и обаяния. Изнемогающий от сознания важности наступающего момента, Пауло Макс под звуки фанфар торжественно провозглашает:

— А сейчас, уважаемые зрители, мы приглашаем вас насладиться самым ярким и самым неповторимым зрелищем: благодаря любезности фирмы мадам Елены Рубинштейн мы имеем честь и удовольствие предложить вашему вниманию лучшие в мире... (драматическая пауза!) купальники фирмы «Каталина», которые покажут вам наши «мисс»!

И поплыли по пассареле лучшие в мире купальники «Каталина», облегающие тела самых красивых девушек Бразилии. Заметались лучи прожекторов. Еще лихорадочнее замигали серебристые призывы: «Рубинштейн!», «Космик Рэйдж!», «Лайт Уоркс!», «Космическая косметика!», «Липшайн!»... И начался «последний раунд драматической схватки за звание первой красавицы страны». Претендентки на это звание сражались с упорством претендентов на титул «первой перчатки». Победа в решающей схватке определялась граммами и сантиметрами. Появление из-за кулис каждой «мисс» и ее проход по пассареле сопровождался бархатным голосом Пауло Макса, истекавшим из десятков установленных по всему залу динамиков: «Мисс Алагоас», Мария де Лурдес Баррос, рост один метр шестьдесят восемь сантиметров, вес пятьдесят шесть килограммов, окружность талии — шестьдесят, бюста — восемьдесят восемь, бедер — девяносто два!..

Старательно вспоминая уроки Марии-Августы, «Мисс Алагоас» очень хочет быть грациозной, но от чрезмерного усердия становится еще более неуклюжей. Руки торчат в стороны, как вешалки для шляп, ноги подгибаются в коленках. Зал отзывается дружным свистом. Зал не обманешь: аудитория здесь квалифицированная, не первый раз наблюдает за страданиями незадачливых претенденток. Судьи с

нескрываемо брезгливым выражением на лицах обращаются к своим таблицам с параметрами соискательниц, придирчиво считают сантиметры и граммы, строго изучают каждую «мисс», стремясь выразить в баллах невыразимое даже в поэзии: «гармонию линий тела», «грациозность походки» и «непринужденность в общении». Именно по этим показателям жюри, осененное неоновым сиянием «Космик Рэйдж», классифицирует и оценивает стремительный полет по пассареле изящной и миниатюрной «Мисс Рио-Гранде-ду-Сул» (и я уже представляю себе, как ликует на архибанкаде болеющий за свою землячку Ариэл), неторопливую походку мулатки «Мисс Баии», неуклюжие пируэты «Мисс Сержипе» и безукоризненную во всех отношениях «Мисс Бразилиа», которую архибанкада встречает вулканическим ревом одобрения и поощрения. Даже под килограммовыми пластами «космической косметики» лицо Анизии остается по-земному красивым. И кровавая помада «Липшайн» не может испортить ее улыбку. Всем ясно, что состязание здесь может иметь место только за второе место. За корону спор окончен, корона уже безоговорочно принадлежит этой, повергнувшей к своим стопам весь зал, всю страну и — чего там скромничать! — весь мир «Золушке из Тагуатинги».

Я смотрю, как она идет по пассареле, сопровождаемая бархатным баритоном Пауло Макса: «Мисс Бразилиа»!.. Анизия Фонсека! Метр семьдесят два! Шестьдесят килограммов! Бюст — девяносто два! Бедро — девяносто два! Талия — шестьдесят два! Смотрю на нее и вижу, как в глазах, в походке, в каждом движении ее рук, в каждом повороте, стремительном и в то же время грациозном, разгорается восторженный огонь вдохновения. Да, именно так: тот самый огонь, который сжигает поэта или музыканта, который озаряет душу артиста или художника! Ведь проявляется он по-разному. Кто-то, озаренный им, слагает сонеты, воздвигает дворцы или пишет симфонии.

А Анизия горит этим огнем на пассареле «Мараканазиньо» как живое воплощение извечного стремления человека к красоте и гармонии.

Смотрю на нее и вижу восторг в ее глазах. И понимаю, что она счастлива сейчас, эта девочка из Тагуатинги. Счастлива в первый и, может статься, в последний раз в жизни. Счастлива не только потому, что, как каждую женщину, ее приводит в экстаз это бурлящее

ликование, обожание и восхищение. Она знает, что в тысяче километров отсюда сидит сейчас у телевизора ее мама и смотрит на дочь и слышит и видит ее триумф. Мама, которая не могла, да и не мечтала дать дочери образование и «чистую» работу. Мама, которая всю жизнь плакала от горя и вот сейчас первый раз плачет от счастья.

Я думаю об этом и не знаю, как писать о том, что вижу, что чувствую. В какую «домашнюю заготовку» уложу эти слезы: в «гневное разоблачение» или в «разоблачение с иронией»?..

А Анизия продолжает свой триумфальный марш, нет, полет по пассажире.

Вот — судьи. Здесь надо остановиться, сделать пируэт, потом реверанс.

Она делает это с невероятной грацией манекенщиц Нины Ричи или Пьера Кардена. Она держится так, словно всю жизнь только и делала, что ходила по пассажире.

Архибанкада отзывается на каждый ее поворот уже не овацией, а каким-то стоном восторга. Она счастлива, Анизия, эта девочка из сказки, и разве виновата она в том, что вынуждена наивно и доверчиво дарить свою красоту и грацию этому тупому, ревущему залу, судьям с рыбьими глазами и арифмометрами вместо сердца? Разве виновата она в том, что даже и не понимает, сколь недостойно ее красоты, ее волнения и восторга все то, что происходит вокруг: зал, судьи, репортеры, операторы... Вспышки фотоламп, нестерпимый блеск прожекторов, мигающие лампочки реклам «Космической косметики».

— Такого единодушия никогда еще, по-моему, не было на этих конкурсах, — говорит мне Рауль, кивая в сторону архибанкады, где подняты десятки громадных самодельных транспарантов и плакатов: «Анизия — „Мисс Бразилия!“» — Но представить себе, что тут начнется, когда зал узнает, что Анизия не получит корону.

А я уже не верю ему. Я тоже заражен психозом восторга и поклонения. Я болею за Аизию, я готов бежать к судьям, кричать, требовать, доказывать... Впрочем, зачем доказывать то, что ясно всем и каждому?

— А-ни-зи-я! А-ни-зи-я! — скандирует зал.

— Леди и джентльмены! — гремит в динамиках баритон Пауло Макса. — «Космическая косметика» мадам Рубинштейн имеет честь пригласить на авансцену восемь финалисток нашего конкурса!

Зал замолкает.

— Итак, восемь финалисток! Пока без определения мест внутри этой великолепной восьмерки... — рокочет Пауло Макс. — Повторяю, мы вызываем на авансцену «мисс» по алфавиту штатов, а не по окончательной классификации, которая еще не определена!

По алфавиту первой, естественно, вызывается «Мисс Бразилиа». Зал снова грохочет, свистит и стонет. Остальные семь финалисток удостаиваются жидких, «протокольных» аплодисментов. Они выходят вперед, под свет прожекторов, ближе к судьям и к публике, эти восемь счастливиц. А остальные семнадцать остаются сзади, в полумраке большой сцены, выстроившись под рекламными щитами «Елена Рубинштейн» и «Космическая косметика». По их лицам словно прошли жесткой щеткой. Потухший взгляд, плотно сжатые губы. В глазах — слезы. «Слезы у этих девочек — настоящие», — вспомнил я слова Рауля.

Восемь финалисток, сияющие и трепещущие, — лицом к лицу с публикой. Начинается «проверка на интеллект»: из запечатанных конвертов извлекаются по жребию вопросы, на которые каждая «мисс» должна ответить экспромтом, не задумываясь. Зал замирает, услышав вопрос, обращенный к Анизии:

— Если бы у вас была возможность обратиться к президенту страны с тремя просьбами, о чем бы вы его попросили?

— Я попросила бы дом для мамы, школу для младших братьев, работу для себя.

«Мараканазиньо» еще раз взрывается ревом восторга, а Рауль рядом со мной скептически кивает головой:

— Бедная девочка, она не понимает, где находится. Ей бы сейчас состричь что-нибудь насчет «Космической косметики», так нет же: «работу», «школу» она, видите ли, захотела.

...Не могу описать, что творилось в зале, когда Пауло Макс объявил, что жюри решило провозгласить королевой красоты представительницу Сан-Пауло, что второе и третье места отданы соответственно Рио-де-Жанейро и Пернамбуко. А Анизия Фонсека оказалась на четвертом.

Осыпаемая гнилыми апельсинами и бумажными стаканчиками из-под мороженого, «Мисс Сан-Пауло» в короне первой красавицы страны

совершила под уничтожающий свист торопливый «круг почета» и скрылась за кулисами, рыдая то ли от счастья, то ли от унижения.

Часа два мы с Раулем отсиживались в моей машине, дожидаясь, когда можно будет выехать с территории стадиона, не рискуя получить камень в стекло. И все это время с ночного неба неспешно падали разбрасываемые невидимыми вертолетами листовки: «Только косметика мадам Елены Рубинштейн может сделать вас по-настоящему красивой!» «Женщина, которая идет в ногу с эпохой, пользуется „Космической косметикой“!»...

Добрался я домой чуть ли не на рассвете, усталый лег спать. И спал до полудня. А первое, что увидел, когда проснулся: на туалетном столике жены — косметический набор «Космик Рэйдж».

— Видишь ли, — смущенно сказала она, — сегодня утром уже началась продажа. Кажется, это что-то новенькое, свежее, оригинальное. Надоели традиционные тона... И я подумала, почему бы и в самом деле не попробовать: вдруг это окажется удачным?..

Я вздохнул и мысленно поздравил мадам Рубинштейн еще с одной верной клиенткой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Отверженный пророк



В жизни зарубежного корреспондента — человека, в силу особенностей своей работы живущего в обстановке почти постоянного стресса, да к тому же оторванного от родины, от друзей и близких, а иногда и от семьи, — через определенные промежутки времени случаются кризисы. Ты вдруг чувствуешь, что абсолютно все тебе надоело. Исчезает прелесть новизны, которой поразила тебя незнакомая страна, забывается ощущение нетерпеливого ожидания чуда, с которым ты когда-то ступил в нее с трапа самолета. Ты уже не рвешься в бой, не гредишь сенсационными репортажами или фильмами. Все вдруг начинает казаться уныло привычным и скучным.

И когда с тобой случится такое, это означает, что ты устал. И не просто устал, а подхватил самую опасную инфекцию, от которой не спасают никакие из сделанных перед выездом за рубеж прививок, — равнодушие. Поэтому, как только ты почувствуешь первые симптомы этой болезни, сразу же начинай интенсивную терапию. Причем обращай к самому радикальному и чудодейственному средству: садись в машину и отправляйся туда, где ты еще не был, где ты никого не знаешь и тебя никто не ждет.

Да, командировки всегда спасают от хандры, потому что в любой поездке тебя обязательно ожидает сюрприз. Это может быть интересный человек, с которым ты случайно познакомишься в мотеле, в

крестьянской хижине или в очереди у железнодорожной кассы. Это может быть событие, свидетелем которого ты станешь: забастовка водителей грузовиков, блокирующую оживленную национальную автостраду, перестрелка полиции с горсткой прячущихся в горах леваков-экстремистов, или крестный ход пострадавших от засухи и взывающих к всевышнему о ниспослании живительной влаги крестьян. Да мало ли чего можно увидеть в дороге!.. Может статься и так, что спасительным «лекарством» окажется какое-то совсем мимолетное, случайное ощущение или впечатление. Оно не ляжет на бумагу, не будет зафиксировано киноплёнкой или магнитофонной лентой, а просто-напросто полоснет тебя по сердцу и останется зарубкой в твоей душе. И будет жить в ней, не напоминая о себе, годы или десятилетия. А потом когда-нибудь вспыхнет неожиданно ярким огнем от столкновения с каким-то другим ощущением или впечатлением, как о том прекрасно сказал мой любимый писатель Виктор Викторович Конецкий: «Все наши прошлые душевные состояния хранятся в нас, как хранится в закрытом рояле вся музыка мира. Что-то или кто-то тронет клавиши, и возникнет та мелодия, которая давно забыта, но ее ноты не истлели на душевном складе. Конечно, плеск живой жизни почти мгновенно заглушит эту мелодию. Но она успевает подарить нам прошлое, давно исчезнувшее в хаосе времени».

Обо всем этом я, конечно, не думал, когда в один из сравнительно прохладных июльских дней, готовясь к первому большому автомобильному путешествию по Бразилии, укладывал чемоданы и кофры с аппаратурой в свой «аэровиллис», обладание которым, как вы уже знаете из предыдущей главы, свидетельствовало о том, что я являюсь человеком «умным, динамичным и преуспевающим». Думал я о том, как бы не забыть перочинный нож, кипятильник, термос, аптечку, флакон противомоскитного эликсира и другой необходимый в поездке флакон — с таблетками, дезинфицирующими воду. Нет, я отнюдь не собирался, во всяком случае в этот раз не собирался пробиваться через джунгли и ночевать в пещерах. Я знал, что в пути меня ждут более или менее сносные мотели или гостиницы, предоставляющие усталым путникам определенный минимум комфорта. Именно «минимум», который предусмотрен не страдающей излишествами графой «расходы на гостиницу» в смете корпункта. Но я помнил и мудрую бразильскую поговорку: «предусмотрительный

человек стоит двоих». Кто знает, вдруг случится в пути какая-то непредвиденность? Уже упомянутая блокада автострады бастующими водителями? Или застрянет твоя машина из-за поломки на каком-нибудь забытом богом и людьми проселке? И тогда придется пить воду из заброшенного колодца и ночевать под открытым небом. Вот тут-то и пригодятся дезинфицирующие таблетки и противомоскитная жидкость.

Этот вояж по Бразилии обещал стать путешествием не только в пространстве, но и во времени: первый этап поездки — в штат Минас-Жерайс — должен был вернуть меня на два века назад. А второй — в столицу Бразилиа — перенести в XXI век. Такое, согласитесь, бывает не так уж часто, и поэтому легко понять волнение и нетерпение, с которым я начал эту поездку.

Волнение, впрочем, было вызвано не только упомянутым «ожиданием чуда». Но и вполне реальными опасениями и страхами, вызванными неожиданно хлынувшим в момент отъезда ливнем. Неукротимые тропические дожди очень опасны в этой гористой стране, где оползень или камнепад в мгновение ока может обрушить мост, завалить шоссе и оборвать связи города или поселка, где вы в тот момент оказались, с окружающим миром. В тот день, когда мы отправлялись в Минас-Жерайс, ливень был действительно свирепым, но я благополучно успел проскочить самое опасное место на выезде из Рио, где шоссе пересекает грозившую выйти из берегов речку Сан-Жоан-де-Мерити. Потом дорога взвилась серпантинном по отрогам горной гряды Эстрела. С вершины гор на асфальт шоссе, как театральный занавес, опустился туман. Глухой и плотный. Такой, что уже в метре впереди машины ничего не было видно. И свет фар беспомощно увязал в этой ватной стене. Ехать можно было только «шагом». Со скоростью пешехода. А вскоре вообще пришлось встать: на горной дороге при видимости, равной нулю, шанс оказаться в пропасти был слишком велик.

Пережидая ненастье, мы простояли несколько часов. Так была потеряна большая часть дня. Сломались планы, рухнул график движения: мы не успевали до полуночи добраться до города Белу-Оризонти, где намеревались заночевать. Пропетляв в ночи по скользкой извилистой дороге сотни две километров, я почувствовал, что устал, что руки дрожат на руле, а глаза слезятся от слепящего света летящих навстречу грузовиков и автобусов. Нужно было искать ночлег.

...Даже сейчас хорошо помню, с какой радостью увидел в ночи рекламные щиты на обочине, выхватываемые из мрака светом фар: «До мотеля — 5 километров!»... «Через три километра: мотель „Сабана да Мантикейра!“»... «Горячий ужин и приятный отдых — через тысячу метров в „Сабане да Мантикейра!“»... И наконец категорически указующий трехметровый фанерный перст: «Сабана да Мантикейра — это здесь!»

Да, чертовски все-таки приятно, заглушив мотор, хлопнуть дверцей, отдать выбежавшему из мотеля мальчишке в фирменной курточке ключ, чтобы машину твою увезли на охраняемую парковку, потом сладко потянуться, так чтобы хрустнули онемевшие от долгого сидения за рулем кости, и войти в чистый и пустой зал придорожного ресторанчика или кафетерия.

Дремлющий за стойкой хозяин встрепенется, включит негромкую музыку — Роберто Карлоса или Валдика Сориано, поспешит навстречу с огромной, отпечатанной раз на несколько лет «картой» типового меню. Ты вдыхаешь пряный аромат поджаренного чеснока, струящийся от цыплят на медленно вращающемся под стеклянным колпаком вертеле, и просишь холодного апельсинового сока, чтобы сразу же укротить свирепую жажду.

А потом, когда подадут ужин и ты утолишь голод гигантским шашлыком — «чурраско», в голову придут всякие мысли. Насчет того, например, что неплохо было бы пригласить сюда, в «Сабану да Мантикейру», нескольких соотечественников, руководящих автомобильным транспортом и ведающих сервисом на наших автомагистральных. Пусть посмотрят и поучатся. И попытаются внедрить этот опыт.

...Я отходил ко сну, мысленно благодаря бразильское министерство иностранных дел за то, что оно не требует от нашего брата-корреспондента, отправляющегося в командировку, заранее представлять точное расписание поездки с указанием городов и отелей, в которых предполагается ночевать! Это избавило нас от объяснений с чиновниками министерства иностранных дел за незапланированную ночевку в «Сабана да Мантикейра». Зато на следующее утро, когда непогода кончилась, тучи унесло ветром и лишь лужи на асфальте напоминали о вчерашнем ливне, нам осталось совсем немного до первой цели путешествия: до города Оуру-Прету, приютившегося в

бурых пологих горах Минас-Жерайса. На подходе к нему путника убаюкивает сухой зной, шелест шин по мягкому асфальту, ритмичные повороты. И вдруг за каким-то сотым или трехсотым поворотом взгляд испуганно замирает, проваливаясь в обнажившуюся справа пустоту. И в следующее мгновение вы видите окруженную зелеными горами долину. И на дне ее и по склонам — россыпи домов, белых, голубых и серых, среди которых высятся башенки храмов. Вы приехали в Оуру-Прету, а еще точнее — в Вилу-Рику — старинную столицу капитанства Минас-Жерайс.

Но прежде чем спуститься по последнему серпантину вниз, остановите машину, выйдите и посмотрите на этот городок издали и сверху. Специалисты по истории архитектуры утверждают, что нет на Американском континенте другого, столь хорошо сохранившегося до наших дней архитектурного ансамбля XVIII века. С архитекторами согласна ЮНЕСКО, объявившая Оуру-Прету «культурным достоянием человечества».

Обязательно, раз уж вы остановились там, вверху, над Оуру-Прету, заглушите мотор и услышите, как вас обступает звенящая тишина. Вы смотрите на вьющиеся по горным склонам извилистые улочки, на застывшие волны красно-бурых черепичных крыш, и вас охватывает изумление. Вы погружаетесь в незнакомый и странный мир, который, кажется, совсем не изменился за последние два века.

...А ведь было время, когда все здесь кипело! Минас-Жерайс делал живительные и в то же время губительные инъекции золота в склеротические вены своей дряхлеющей метрополии Португалии. На это золото была отстроена чванливая столица Лиссабон, разрушенная землетрясением 1755 года. На это золото задыхающийся от тщеславия король Португалии дон Жоао Пятый отгрохал в Мафре под Лиссабоном свой фантастический дворец, перещеголявший помпезностью воздвигнутый за два века до того знаменитый мадридский Эскориал. Еще бы: фасад Эскориала тянется на 206 метров, а дворец в Мафре вытянулся на 220. В Эскориале насчитывается 3 тысячи 800 окон и дверей, а в Мафре — более четырех с половиной тысяч. Не знаю, сколько комнат, салонов и зал во дворце испанских королей. В Мафре их 880! Это чудовище было вспоено потом и кровью рабов, погибших на рудниках Минас-Жерайса, вскормлено тоннами добывавшегося здесь золота. Сказав «тоннами», я не допустил ни малейшего

преувеличения: одна только шахта «Конго-Соко» давала до 15 килограммов золота в день. А шахт здесь были сотни... Представим же себе этот казавшийся нескончаемым караван галеонов и барок, уходивших от берегов Бразилии в Португалию с трюмами, полными желтого металла.

Центром этого горного края, повергавшего в экстаз наживы лиссабонский двор, стала его стремительно растущая столица, называвшаяся тогда «Вила Рика де Носса Сеньора ду Пилар де Альбукерке». Португалия и вся Европа знали тогда, в начале XVIII века, один только город в Бразилии, достойный называться «городом»: Вилу-Рику. Прежняя столица страны — Баия — медленно дряхлела. О новой столице, именуемой Сан-Себастьян-до-Рио-де-Жанейро, никто еще ничего толком не слышал, кроме того, что этот самый Рио-де-Жанейро служил портом, через который Вила-Рика вывозит свое золото и драгоценности в Португалию.

Вила-Рика! Это слово, магическое, пьянящее и волнующее, влекло со всех концов Португалии тысячи авантюристов и романтиков, путешественников и разжалованных за шулерство офицеров, художников и плотников, которым трудновато было устроить свою жизнь в Коимбре или Брагансе. Десятки кораблей уходили через Атлантику к берегам Бразилии. Их каюты были заполнены искателями приключений и охотниками за золотом. На одном из таких кораблей в 1724 году плыл Мануэль Франсиско да Коста Лисбоа — небогатый португальский архитектор. И почти одновременно от берегов Африки отвалило судно, в переполненном невольниками трюме которого, задыхаясь от зноя и вони, умирала от жажды черная Изабель. Они встретились в Вила-Рике — Мануэль Франсиско Лисбоа и рабыня Изабель. И у них в 1730 году родился сын — Антонио Франсиско. Сын свободного человека и рабыни должен стать рабом. Но в день крещения своего наследника Мануэль подписал грамоту, дарующую ему волю. Против этого закон не возражал. В конце концов, ведь архитектор Мануэль Франсиско Лисбоа был собственником рабыни Изабель и имел полное право решать судьбу своего сына.

Смуглый мальчик рос, наблюдая за работой отца. Сначала таскал за ним инструменты, потом стал выполнять несложные поручения: обтесать заготовку из кедра, набросать контуры будущего алтаря, отполировать законченную отцом деревянную мадонну. С помощью

отца Антонио выучился читать, писать, немного считать. И конечно же, рисовать и работать с резцом и зубилом. Время летело быстро, и однажды Мануэль с удивлением вдруг обнаружил, что шестнадцатилетний мальчишка уже режет по дереву лучше его самого! Он стал брать парня с собой в мастерскую и все чаще поручал ему выполнение тех работ, которые не доверял помощникам. Слава богу, парень вроде бы рос смышленным, и это радовало Мануэля: как-никак сын. Хотя и не единственный: когда мальчишке исполнилось восемь лет, Мануэль женился на достойной белой женщине, тоже из Португалии, по имени Антония Мария де Сан-Педро, и быстро нажил с ней еще четверых. Но вот ведь как случается: «неполноценный» Антонио, рожденный «черной» Изабель, оказался умнее и талантливее своих законнорожденных братьев.

Правда, был у парня один серьезный недостаток: любил он гульнуть со сверстниками, плясать до рассвета на празднествах и вечеринках. Любил повеселиться. И выпить опять же не дурак! Глядя на веселый нрав своего чада, Мануэль сокрушенно качал головой: это, конечно, материнская кровь гуляет в жилах. Бог с ним, разве виноват он в этом?

Не только авантюристов, инженеров горного дела и черных рабов из Африки привлек в Вила-Рику певучий звон золота. Спешили сюда и слуги господни, церковники всех мастей и орденов: иезуиты, бенедиктинцы и францисканцы обосновывались в краю легкой наживы, щедрых подаваний и чистого горного воздуха. И каждая церковная община, каждое «братство», каждый орден, стремясь щегольнуть друг перед другом, воздвигали богадельни, храмы и монастыри один роскошнее другого. Лучшие архитекторы Португалии изощрялись здесь, ослепляя святых отцов и их паству великолепием классического барокко. Правда, проповедуя свойственный им аскетизм, иезуиты умеряли буйные фантазии художников. Вероятно, поэтому в завитушках бразильских церковных алтарей чувствуется больше строгости и сдержанности, чем в ослепляющих изыском алтарях и фресках португальских храмов.

Процветала в Вила-Рике не только архитектура, но и другие виды искусства. Поэты и художники, композиторы и музыканты съезжались сюда со всей Бразилии. Что удивительно: традиции эти не умерли и до сих пор, даже сейчас, когда давно уже опустели рудники Вила-Рики, на

фестивали искусства в Оуру-Прету собираются ежегодно лучшие артисты, художники и поэты Бразилии.

В такой обстановке рос Антонио Франсиско Лисбоа, встретивший смерть отца, когда ему было 37 лет. Тридцать семь лет — середина жизни, заказы уже сыплются со всех сторон, и цены на исполняемые работы растут из года в год. Он работал с упоением и восторгом, жил весело и буйно. Знал, что его имя становится известным за пределами Минаса, что знатные португальцы, люди чистой крови, приехавшие строить храмы на богатую землю Вила-Рики, с завистью и недовольством смотрят на дьявольски преуспевающего и — увы! — бесспорно талантливую мулата-выскочку, в жилах которого течет половина «дикой» африканской крови.

Да, буйно процветающая земля Минас-Жерайс меньше всего напоминала идиллическую Аркадию! За десять лет до рождения Антониу на главной площади Вила-Рики был разорван привязанный к хвостам лошадей Филипе дос Сантос, революционер. Он осмелился посягнуть на суверенитет португальской короны, подняв голос в защиту независимости Бразилии. И до и после этого периодически вспыхивали на рудниках и шахтах бунты рабов: негры бежали в глубь страны, основывая там свободные поселки «киломбос». Показное величие и процветание Минаса разъедалось раковой опухолью сегрегации.

Мулат Антонио Франсиско Лисбоа, прославившийся своим мастерством за пределами капитанства и даже самой Бразилии, оставался все тем же полубелым, полунегром, человеком смешанной крови. Такие, как он, не могли быть избраны в муниципальный совет, им запрещалось заниматься политикой или занимать должность судьи. Он строил храмы, но не имел права войти в них: почти все церковные общины имели статуты, преграждающие доступ «евреям, маврам, мулатам, кварталонам или прочим поганым нациям». Он мог зарабатывать большие деньги, но был лишен права надеть изысканный костюм или украсить себя драгоценностями, потому что в 1749 году король Жоао Пятый, тот самый, что на золото, добытое неграми Вила-Рики, воздвиг свой сказочный дворец с 880 залами, издал декрет, гласящий: «Неграм, мулатам, сыновьям и дочерям негров и мулатов, или детям черных матерей ЗАПРЕЩАЮ — будь они в состоянии рабства или родившиеся свободными — носить одежду из шелка,

батиста, тонких шерстей и прочих дорогих тканей, равно как ношение драгоценных камней, золота, серебра и других дорогих украшений, какими бы маленькими они ни казались!» А те, кто ослушается этого декрета, могли быть наказаны по усмотрению местных властей — заключением в карцер или битьем батогами на площади города. А в случае повторения их надлежало сослать пожизненно на острова Сан-Томе.

Более того, с целью сохранить подчиненное положение негров и мулатов, ограничить их не только физическую, но и духовную свободу, возникали и плодились в Минасе уставы, запрещающие «цветным» различные виды и категории художественных работ, например, ювелирных по золоту.

И поэтому можно представить себе, какое это было потрясение, когда малограмотный мулат вдруг бесцеремонно шагнул в это сонное благополучие, в царство канонов и традиций, где тысячелетиями все было заранее известно и определено: сколько вершков росту определил господь святому Себастьяну, каким цветом глаз наделил он святую деву Марию, сколькими гвоздями был приколот к кресту Иисус Христос. Фронтоны выстроенных Антонио Франсиско церквей, алтари и фрески, скульптуры, барельефы и медальоны, его ангелы и дьяволы, святые и пророки разорвали пропахшую сладким ладаном тишину чопорного классического барокко. Мир, оживающий под его резцом, был иным, неведомым ранее миром. И поэтому, взирая с благоговением и трепетом на фрески и статуи Антонио, святые отцы терзались сомнениями. Они не понимали, что впервые присутствуют при великом таинстве, свершение которого доступно только руке и сердцу великого художника: ангелы и пророки, святые девы и великомученики сходили с отполированных тысячелетиями пьедесталов и становились людьми!.. Их бесплотные фигуры голубели, наливались кровью, хотя и не всегда голубой. Теряя свою опостылевшую им самим непорочность, святые обретали способность не только страдать, но и мыслить. Не только смиряться, но и спорить. Не только кротко верить в добро и справедливость, но и требовать их торжества. И негодовать, не находя его в этом мире, полном жестокости и ханжества.

— Я даже не знаю, радоваться нам или сожалеть, что покрыли асфальтом дорогу в Оуру-Прету, — говорит директор городского музея Орландино Сейшас Фернандес. Мы пришли к нему, подавленные великолепием храмов и потрясенные поэзией узких, вьющихся по склонам гор улочек с разноцветными фасадами домов под коричнево-красной черепицей. — С одной стороны, это вроде бы хорошо: к нам теперь легко добраться, и люди всей Бразилии могут приобщиться к национальной истории, увидеть своими глазами, каким был Алейжадиньо. Но с другой стороны...

Орландино кивает головой в окно: внизу на крохотной площади Тирадентиса, которую в Бразилии и «площадью»-то не назовешь, она обычно называется «ларго», то есть «площадка», и вот на этой площадке, которая здесь в Оуру-Прету, все-таки горделиво именуется «пласа» — «площадь», стоят бок о бок десятки — именно десятки! — мощных пульмановских автобусов. Величественные, снабженные барами, туалетами и кондиционерами воздуха, гигантские, как динозавры, чудища, непонятно как умудрились протиснуться сюда по вьющимся к центру городка переулкам. А внизу, на ведущих к площади улочках Флорес и Дирейта — еще и еще автобусы, нетерпеливо фыркающие дизельным чадом и сотрясающие горные склоны своими чудовищными сиренами.

— Наш город называют «песней, выполненной в камне». Но на самом деле мы превратились в вечную ярмарку, в какое-то незатихающее торжище, — печально говорит Орландино. — Посмотрите, что делают эти дизельные моторы с нашим горным воздухом. Сколько дыма и копоти! Какой непоправимый вред наносится фрескам! Вот уж, действительно, не знаю, радоваться или страдать!..

Орландино, энтузиаст-фанатик, влюбленный в свой город, конечно же, прав. Здесь, в Оуру-Прету, происходит то же, что в самых популярных музеях мира. С той, правда, разницей, что в музее поток экскурсантов можно регулировать билетами и контролерами, стирающиеся паркетные полы — можно, хотя это и наивно, попытаться сохранить коврами или тапочками, а здесь, в Вила-Рике, ничего этого нет и быть не может. И тысячные орды волосатых космополитических хиппи, американских старух, японских студентов, аргентинских, уругвайских и парагвайских туристов, не говоря уже о толпах своих

соотечественников из окрестных городов и весей, топчутся по храмам, заплывавают улицы, штурмуют крохотные гостиницы и отели, задыхающиеся и захлебывающиеся в этой лавине.

(Орландино еще не знал тогда, что вскоре рядом с городом вырастет алюминиевый комбинат... И выбрасываемые в воздух химические вещества начнут стремительно пожирать в самом прямом смысле этого слова фрески и скульптуры, фасады зданий и даже могильные памятники на двух маленьких кладбищах.)

На все той же забитой автобусами «площади» Тирадентиса — двухэтажный домик. Серые стены, голубые оконные рамы и черные декоративные решетки на окнах. Это ресторан «Пилао». Попасть туда невозможно. Все столики заполнены, и у входа — очередь жаждущих, как у дверей московского «Арагви» в субботний вечер. Мы благословляем себя за предусмотрительность и вытаскиваем из машины сумку с бутербродами.

— Дона Олимпия! Дона Олимпия! — раздается мальчишеский визг. С улицы Флорес показывается странное существо: ветхая старуха, на девятом, если не на десятом, десятке лет. Сморщенное, страшное лицо. Правая бровь вздернута высоко на лоб. Левая — лохматая и густая, почти напозла на глаз. На голове — нечто, напоминающее головной убор. Можно предположить, что этот предмет был шляпкой в годы, когда Мэри Пикфорд только-только начинала свою карьеру в кино. Облачена старуха в ветхое, латаное-перелатаное платье, голубое в белый горошек, и увешана от шеи до колен значками, брелоками, цепочками. В руках у нее — палка, на которой болтается потрепанный бразильский национальный флаг.

— Дона Олимпия! Дона Олимпия! — вопят и прыгают вокруг нее мальчишки. А она, не обращая на них внимания, идет, тяжело шаркая громадными мужскими сандалиями по отполированным до блеска булыжникам.

Я уже знаю, что мы видим одну из самых традиционных «достопримечательностей» Оуру-Прету. О старой Олимпии вот уже несколько десятилетий упоминают даже многоязычные — с прицелом на зарубежную публику — туристические справочники и путеводители Минас-Жерайса. В них можно прочесть трогательную легенду о том, как в самом начале века первая красавица Бразилии сошла с ума, когда

ее оставил уехавший в дальние страны возлюбленный. С тех пор она ждет его.

Тяжело опираясь на палку, дона Олимпия подходит к нам. Зрелище, надо сказать, не для слаонервных. Один ее глаз закрыт. Другой смотрит на окружающий мир как-то пронзительно. Не могу понять, видит она меня или не видит? Пожалуй, нет... Кажется, взгляд ее обращен куда-то внутрь себя. И видит она там что-то такое, чего не видит никто.

— Это город страданий и горя, — слышу я ее голос. — Много людей ушло отсюда на каторгу и в тюрьмы, — бормочет она чуть слышно. — Много людей умерло и еще больше умрет скоро, сын мой...

«Сын мой» явно относится ко мне. Старуха вроде бы увидела меня, смотрит в упор и ждет. Но чего?.. Может быть, подаяния?

Я лезу в карман. Она продолжает пронзать меня тусклым взглядом, потом протягивает руку, трогает костлявым пальцем ремень фотоаппарата.

— Почему ты не хочешь сфотографировать меня, сын мой? — спрашивает она.

— Я не делаю этого без разрешения, — оправдываюсь я.

— Так я разрешаю, сын мой. Если, конечно, дашь мне денежку.

Открываю чехол аппарата, старуха приосанивается и заученным жестом, словно солдат на часах, берущий «на караул» при виде проходящего командира, отводит свою палку с флагом в сторону. Щелкаю раз-другой. Протягиваю ей два доллара.

— Спасибо, сын мой, — говорит Олимпия, приподнимает обтрепавшийся подол и прячет зеленые бумажки в рваный полуспущенный чулок. — А почему ты ни о чем меня не расспрашиваешь?

— А о чем я могу спросить вас, дона Олимпия?

— Ну, где покушать в нашем городе, например.

И тут я замечаю, что к подолу ее платья пришпилены визитные карточки с названиями местных харчевен и ресторанчиков: «таверна до Шафарис», «Калабоусо», «Лампиао».

Какие, черт возьми, инициативные и предприимчивые люди живут в Оуру-Прету. Это же надо додуматься, приспособить сумасшедшую старуху на роль бродячей рекламы! А в качестве компенсации за услуги — подкармливать ее обедками с кухни...

— Или ты хочешь, сын мой, узнать, где можно в нашем городе заночевать?

— Спасибо, дона Олимпия, — говорю я. — Но мы уже пообедали и сейчас уезжаем. Не нужно нам ни ресторана, ни гостиницы.

— Как хочешь, сын мой. Я привыкла помогать людям.

— Спросите ее, сеньор, о том, как она была «мисс Бразилия»! — кричат мальчишки.

— Это правда, что вы были когда-то «мисс Бразилия»? — послушно спрашиваю я.

— Нет, сын мой, тебя обманули, — хрипит старческой голос. — В мое время не было этого. Но я все равно была первой красавицей, — говорит дона Олимпия, ухмыляясь и приосаниваясь. Глаз, глядящий на меня или сквозь меня, вдруг становится осмысленным, человеческим. Что-то тронуло клавишу, и в душе ее пробудилась давным-давно забытая мелодия. Это трогательно и страшно. И я даже машинально отступаю на шаг.

— Ах, как была я хороша! — Она засмеялась, нет, захрипела и задрожала. Лицо ее исказила гримаса боли, но руку она успела поднести к волосам, словно пытаюсь поправить прическу. — Ах, как была хороша!.. Я была «принцезинья» — «маленькая принцесса» Сан-Паулу. Так назывались тогда те, кого сейчас зовут «мисс».

— А когда это было?

— В пятом году, сын мой.

«В пятом году, — соображаю я про себя. — Если в пятом ей было, допустим, семнадцать, то сейчас стало быть ей уже за восемьдесят...»

Дона Олимпия смотрит на меня, и я чувствую, как взгляд ее снова гаснет, уходя куда-то в глубь себя. Она опять не видит меня, не видит мальчишек, не видит никого и ничего вокруг. Опираясь на палку, делает шаг, другой. Осторожно ступает по скользким булыжникам. И голос, уже совсем другой, погасший, хриплый голос доны Олимпии, продолжает под мерное постукивание палки с обтрепанным желто-зеленым флагом свой ни к кому не обращенный речитатив:

— Страдание и горе придут в этот город, много людей уже померло здесь и еще больше умрет...

До 47 лет Антонио жил и работал спокойно, но затем с ним начало происходить что-то непонятное: заболели суставы. Сначала глухо, потом все острее и острее. Появились какие-то странные язвы на теле. Пальцы рук и ног вдруг перестали повиноваться. Стало трудно держать молоток и резец. Однажды утром, пытаясь побриться, он со страхом обнаружил, что по лицу пробегают конвульсии. Судорога искривила шею и смяла рот. Охваченный ужасом бросился он к медикам, знахаркам и шарлатанам. Те полезли в пыльные фолианты, в которых можно было найти снадобья для любых видов немощи. От всего были средства в старинных книгах, но ни одно из них не могло помочь Антонио.

Болезнь прогрессировала. По завалинкам Вила-Рики шептались старухи, что не случайно господь ниспослал кару на грешника. Видать, решил отметить его за беспутство в молодости. Вздыхали и крестились испуганно женщины, некогда плясавшие с ним до утра и обнимавшие на рассвете неотразимого и неутомимого охальника, а некоторые, изведавшие с ним нечто большее, чем торопливые утешения на терпких ветках канелы, плакали горько. Народ прозвал Антонио «Алейжадиньо», что означает «Несчастенький», «Отверженный», «Убогий».

Трудно сказать, что его мучило больше: страдания физические или боль, поразившая душу. Люди стали сторониться его. Когда шел он по горбатым переулкам Вила-Рики до пят закутанный в голубой плащ, ставни захлопывались. И матери торопливо кричали, зовя детишек. Поэтому он решил ходить к месту работы — в храм, где рождался очередной алтарь, рано утром, до восхода солнца, чтобы избежать испуганных взглядов соседей и случайных встречных. А возвращался затемно, когда городок засыпал. Он понимал, что люди боятся его, потому что подозревают проказу. И знал, что проказа равносильна смерти: прокаженный должен быть изгнан из города и страны. Таковы законы предков: прокаженных даже не хоронили на общих кладбищах.

Потом он лишился возможности ходить: сгнили и отвалились пальцы на ногах. Три его раба — Маурисио, Агостиньо и Жануарио — старались не глядеть на своего хозяина. Жануарио, которому пришлось таскать Антонио на своей спине, пытался покончить с собой. Потом смирился. Приспособил мула, куда можно было усаживать хозяина. Потом сколотил для него носилки.

Прошел еще год, и случилось самое страшное: стали мертветь и отваливаться пальцы рук. И кто-то рассказывал потом, что в ярости Алейжадиньо отрубил себе пальцы. Он клал их по очереди на кедровое полено и кричал Жануарио: «Руби!» И тот рубил...

Губительный недуг разъедал тело Антонио. Но дух его, неистовый и непокорный, не сдавался. Лишившись пальцев на ногах, он научился ползать на четвереньках. Потеряв пальцы на руках, он заставил Маурисио привязывать к немощным культяпкам молоток и зубило.

Молоток — к правой, зубило — к левой. И продолжал работать, скрываясь от людей. Загораживаясь в храмах и богадельнях специальным пологом, чтобы никто не мог видеть его. Что это: отчаяние? Одержимость? Истерика? А может быть, великая сила духа?

Тридцать семь лет продолжалась неравная схватка Антонио с болезнью. Свыше трех десятков лет умирающий художник, скульптор, зодчий ваял скульптуры, барельефы, конструировал храмы и расписывал фрески инструментами, привязанными к изуродованным кистям рук. Именно так создал он главное дело своей жизни, величайший памятник, который не занял в учебниках и монографиях по истории искусства место рядом с бессмертными творениями Микеланджело или Рублева только потому, что ученые мужи лишь недавно открыли его. Только потому, что мир еще слишком мало знает об этом поразительном взлете человеческого гения.

Речь идет о малоизвестном за пределами Бразилии храме в городке Конгоньяс-до-Кампо.

* * *

От Оуру-Прету до Конгоньяса — около 120 километров. Сначала, петляя километров 70 по уже знакомым бурым склонам, поросшим тростником, эвкалиптами и пинией, мы возвращаемся к 135-й национальной автостраде Рио-Белу-Оризонти. Затем, уже на автостраде, сворачиваем налево в направлении на Рио, проезжаем еще полсотни, или, если уж быть точным, 52 километра, поворачиваем направо у столбика, отмечающего 389-й километр, и вскоре после поворота видим на дороге невысокого человека в сером форменном мундире. Он властно поднял руку, приказывая остановиться. Что еще

такое: на полицию это не похоже... Может быть, представитель какой-нибудь дорожной службы? Как бы то ни было, я ударяю по тормозам. Машина послушно останавливается. Человек подходит, мы видим, что это подросток лет пятнадцати.

— Хотите посетить Конгоньяс? — строго спрашивает он. В голосе его звучит металл, а на подбородке шевелится редкий, еще не тронутый бритвой пушок.

— Да, а что?

— Тогда разрешите представиться: я — из местной «гварда мирим». Это детская организация. Вроде бойскаутов. Зовут меня Жозе Кейрос Фильо. Мы оказываем содействие туристам: показываем дорогу, объясняем, что непонятно. Если не возражаете — я к вашим услугам.

Я не возражаю. Решительно отодвинув мою сумку с фотоаппаратами, розовощекий лоцман усаживается на сиденье рядом со мной и командует: «Прямо».

Я послушно еду прямо. Тем более что ни вправо, ни влево дороги нет. Путь можно держать только «прямо».

Пока наша машина нервно вздрагивает на ухабах и опасно перебирается через скрипучие мостки, Жозе приступает к исполнению своих общественных обязанностей: беглыми мазками рисует портрет Конгоньяса. «В нашем городе около двенадцати тысяч жителей, выходят две газеты, имеется госпиталь на девять коек, одна „синема“ и четыре телефонных аппарата. Основан Конгоньяс в 1700 году...»

Лавируя между выбоинами, я размышляю о том, не слишком ли много газет в этом очаге цивилизации и не слишком ли мало коек в госпитале и телефонных аппаратов? Впрочем, такова бразильская провинция: больной может отлежаться и у себя дома, а вот пресса — это вопрос престижа. Какой уважающий себя город не заведет себе собственное печатное издание? А если самоуважение достаточно велико, то меньше, чем двумя газетами, вообще не обойтись!

— Осторожно, яма! — кричит лоцман. Я принимаю вправо и едва не цепляю бампером лениво пощипывающую травку козу. Прямо по курсу — над черепичными крышами и фонарными столбами белеет на вершине холма между двумя высокими пальмами строгий фасад храма с двумя симметрично вознесшимися к голубому небу колокольнями.

— Бом Жезус де Матозиньос! — торжественно возвещает Жозе, словно объявляя появление на ринге боксера-тяжеловеса,

претендующего на звание чемпиона мира. Машина петляет, взбираясь по узким улочкам все выше и все ближе к вершине холма, а лоцман вдохновенно продолжает блистать эрудицией: «Наш храм построен группой архитекторов, в их числе — Манозель Родригес Коэльо, Жоао де Карвальо, Иеронимо Феликс. Но славой своей он обязан знаменитым и ни с чем не сравнимым чудом человеческого гения: статуям двенадцати пророков, установленным при входе. Их автор — великий Алейжадиньо».

Под этот монолог, вполне достойный гида-профессионала, мы выезжаем на площадь перед храмом, Жозе выскакивает, хлопотливо показывает место, где можно припарковаться, а потом, когда мы вылезаем и разминаем затекшие ноги, глядит на нас с необычайно довольным видом, будто это он, а не Алейжадиньо, высек специально для нас из серого «педра-сабао» — «мыльного камня», двенадцать скульптур, выстроившихся вдоль лестниц и террас у главного входа в храм.



Вот они — двенадцать самых знаменитых работ Алейжадиньо. Двенадцать пророков... Исайа: неистовый старец, бросающий в лицо каждому, кто проходит мимо, гневные и бранные слова. Молодой красавец Даниэль, погруженный в какую-то вечную думу. Абдиас, властный и гордый, предупреждающий о близости страшного суда. Страдающий Иеремия. Рассудительный и уверенный в себе Барух. И все остальные — усталые и грустные, гневные и мятежные — они словно ведут нескончаемый, длящийся веками спор друг с другом. О смысле жизни, о ее жестокости, о людской несправедливости, о неизбежности, неотвратимости конца и о том, что, несмотря на несправедность и жестокость этого мира, придет когда-то час справедливости. И пусть со страхом ждут этого мига дьявольские силы, живущие в душах людей и среди людей.

Двенадцать пророков. Кажется, что, собрав последние силы, больной художник отдал им гаснущее в собственной груди тепло. А может быть... Есть такое предположение, хотя никто еще не сумел его доказать, что каждому из двенадцати Алейжадиньо придал внешность и постарался вложить в него душу одного из героев разворачивавшейся тогда борьбы за освобождение Бразилии от гнета португальской короны...

Но это еще не все. По аллее, подымающейся к храму, стоят шесть маленьких часовен, напоминающих сараи для хранения дров или старого хлама. Внутри их, во влажном, пропахшем плесенью и гнилью полумраке — еще шестьдесят шесть деревянных, полихромных, вырезанных из кедра скульптур Алейжадиньо. Они объединены в семь сцен-композиций, изображающих «страсти Христовы»: весь печальный путь «Жезуса» (так по-португальски произносится имя Иисус) от тайной вечери с Иудой до распятия. Вот он — Иуда Искариот. На его деревянном теле — следы ножей и застрявшие пули: бразильские паломники уже 150 лет сводят с ним счеты, вымещая на безответном куске кедра древнюю, как мир, ненависть и презрение к предателям и шкурникам.

— Последний раз в него стреляли в прошлом году, — деловито информирует Жозе, о котором я, честно признаться, уже позабыл. — Это был разорившийся фазендейро. Он дал обет — наказать Иуду за страдания Жезуса Христа. В самого Иуду он не попал. Вон, видите: в стене правее и выше головы — след от пули.

След от пули на темной стене разглядеть не могу. И у меня нет никакого желания разыскивать его. Хочется помолчать. Но неугомонный экскурсовод суетится и теребит нас, пытаюсь побыстрее протащить от одной часовенки к другой, чтобы, стремительно вывалив на нас свой интеллектуальный багаж и получив мзду, отправиться на поиски очередного «гринго». Поэтому я вынужден, не дожидаясь окончания экскурсии, поблагодарить и щедро вознаградить за пояснения, после чего он, как я и думал, стрелой бросается обратно к храму, куда подруливает необъятных размеров туристский «пульман».

А мы наконец-то остаемся в одиночестве. Пока прикатившие автобусом немцы или американцы будут осматривать собор, мы можем в тишине и покое пройти вместе с «Жезусом» весь его скорбный путь на Голгофу: антологию коварства, подлости, злобности и вместе с тем терпимости, веры в свою правоту, в силу добра и величие страдания, возвышающего, очищающего и искупляющего.

«Жезус»... Миллионы раз художники всех эпох, народов и цветов кожи воплощали эту библейскую фигуру в бронзе и гипсе, в масле и камне. Алейжадиньо стал одним из первых, если не первым, кто, сохранив страдальческое, скорбное, классически-покорное выражение лица Христа, наделил его мускулистым телом атлета. Зачем он это сделал? Почему он часто менял положение стоп у своих скульптур? Как это видно, например, у пророков Исайи и Иеремии. Правая нога у каждого из них неестественно вывернута вправо, а левая — влево, словно пророки спутали башмаки, надев правый — на левую ногу, а левый — на правую.

Почему Алейжадиньо, прекрасно знавший анатомию человека, во многих своих работах вдруг сознательно разрушал привычный рисунок кисти руки, так что все пять пальцев оказывались строго параллельными, не выделяя большой палец? Что это: своеобразная «подпись» мастера, желающего таким образом навечно удостоверить подлинность своих работ, или, как убежден один из бразильских критиков, «примеры первого в истории живописи экспрессионизма»? Или, может быть, страдающий художник умышленно наделял свои творения своими же собственными муками, болями, недугами?..

Впрочем, главная тайна его творчества и секрет его необычайной выразительности кроется не в деформации рук или ног у скульптур, а в удивительной мятежности всего того, что выходило из-под его резца.

Его неистовое, почти еретически страстное искусство было бунтом. Бунтом против тысячелетних неприкасаемо-святых догм «красоты», «благолепия», «благочестия», прикрывавших розовыми облатками фресок и алтарей столь же древние, терзающие мир язвы фарисейства, жестокости и низости. Ведь он как мулат, потомок африканцев все это испытал на себе: и фарисейство святых отцов, и жестокость власть имущих, и низость друзей, отвернувшихся от него в трудную минуту.

...Все это можно пока только предполагать.

Потому что творчество Алейжадиньо остается до сих пор столь же плохо изученным, как и его жизнь. Академии Запада лишь совсем недавно открыли его для себя. А многие искусствоведы долгое время пребывали под воздействием суждений первых европейцев, столкнувшихся с этим феноменом. Один из них — немецкий барон Эшвег, посетивший Минас еще в 1811 году, то есть при жизни Алейжадиньо, писал о пророках Конгоньяса с хладнокровным высокомерием «стопроцентного арийца»: «Их одежды и фигуры иногда безвкусны и лишены пропорций. Но все же не следует игнорировать достоинств человека, который был самоучкой и никогда не видел настоящего великих произведений искусства».

Да что там иностранцы! Сами бразильцы лишь недавно начали осознавать истинное величие этого гения. Появились восторженные определения: «Микеланджело Тропиков», «Эль Греко-Мулат», «Новый Пракситель». И все же до сих пор большинство историков, журналистов и искусствоведов едва ли не основное внимание уделяют выяснению загадочной болезни Алейжадиньо, споря о том, что же это такое было: проказа, сифилис или что-нибудь еще? В то же время выявлена и учтена лишь небольшая часть его произведений, а масса неопознанных работ рассыпана по сотням церквушек, монастырей, часовен, богаделен и частных коллекций Минас-Жерайса. А те, что опознаны и внесены в каталоги, — шедевры, способные украсить лучшие залы Лувра или Эрмитажа, медленно, но верно гибнут, разрушаясь под воздействием губительных солнечных лучей, убийственной тропической влажности и истеричных богомольцев и зевак-туристов.

...В последние годы ему стало совсем плохо. Чувствуя приближение конца, он перебрался в дом к племяннице, престарелой повитухе Жоане. Вместе с ней за умирающим ухаживала соседская

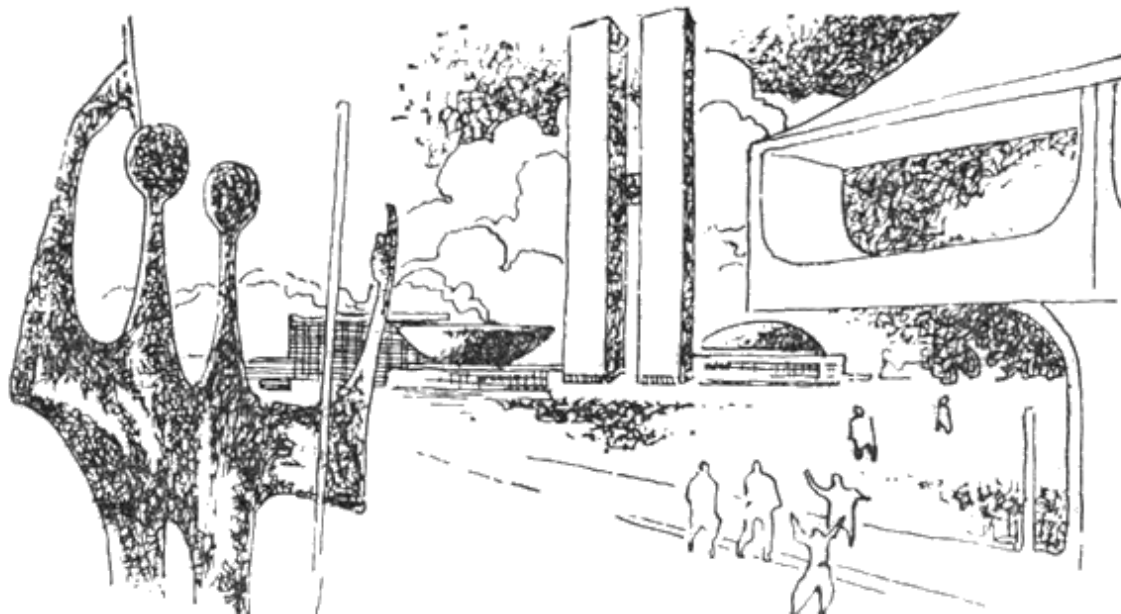
старушка Елена, заставлявшая его глотать новые и новые снадобья. Увы, ничего не помогало. Он все-таки ослеп.

После этого страдания его продолжались еще около двух лет. Все это время немощный, заброшенный и забытый всеми дряхлый старик пролежал на грубом топчане в темной камерке, моля бога о ниспослании смерти как избавления. Он погибал в муках, но разум не покидал изуродованное, парализованное тело до последней минуты. До 18 ноября 1814 года, когда в возрасте 84 лет, двух месяцев и двадцати дней он скончался.

...Здесь следовало бы поставить точку, но, перечитав написанное, подумалось, что жаль расставаться с Алейжадиньо на такой грустной ноте. Я порылся в досье и раскопал подходящую к случаю цитату — высказывание одного из директоров Лувра, приехавшего в Бразилию договориться об издании во Франции альбома работ Алейжадиньо: «Перед нами достижение человеческого духа, которое еще ждет своего эпоса».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Закон гармонии



Сосед по дому владелец туристической фирмы «Рио-Мар» сеньор Перейра любил пофилософствовать со мной о секретах своего бизнеса.

Мы рассуждали о преимуществах индивидуальных туров перед групповыми экскурсиями, намечали новые маршруты, выискивали еще не открытые конкурентами сеньора Перейры объекты и достопримечательности, способные заинтересовать высокомерных клиентов «Рио-Мар», приезжающих в Бразилию из США, Европы и даже Японии. С точки зрения сеньора Перейры Бразилия представляла собой неиссякаемую золотonosную жилу, основные богатства которой еще только предстоит открыть. Думаю, что он был прав: страна эта располагает поистине неисчерпаемым многообразием чудес, вызывающих восхищение и восторг туриста. Тут тебе и экзотические народные праздники, и природные ландшафты, каких нет больше нигде на земле, и уникальные памятники архитектуры. Тут тебе и амазонская сельва, и водопады Игуасу, древние храмы Оуру-Прету и фантастический пейзаж Понта-Гроссы, знаменитая «Маракана» и феерия карнавала, индейские хижины Шингу и небоскребы Сан-Паулу, байанское кандомбле и сафари Мату-Гросу. А ведь я еще не упомянул легендарную Копакабану!

Сеньор Перейра ценил мои суждения и называл меня «внештатным консультантом»: он знал, что я много ездил по стране, был профессионально любознателен и как иностранец обладал, как говорил Перейра, «незамутненностью взгляда». Все то, что интересует меня, должно было заинтересовать и клиентуру «Рио-Мар». И вот однажды он предложил мне не задумываясь назвать самый «ударный», самый с моей точки зрения интересный и привлекательный «туристический объект» страны. Я без колебаний сказал ему одно слово: «Бразилиа»... И пояснил, что с моей точки зрения для того, чтобы получить самое сильное эмоциональное потрясение, гостю этой страны совсем не обязательно спешить на Амазонку или Копакабану. Достаточно подняться на смотровую площадку столичной телевизионной башни и глянуть оттуда на юго-восток, в сторону площади Трех Властей.

Первый раз я проделал эту операцию в шестьдесят шестом году, потом повторял ее неоднократно, но до сих пор где-то у сердца дрожит тонкой стрункой воспоминание о том самом первом взгляде, брошенном с этой вышки. Я все это помню, словно это было вчера: за спиной — солнце, клонящееся к закату. У подножия башни, где рабочие покрывают бурую землю кусками свежего дерна, мозаика красно-

зеленых пятен, которые по мере удаления выстраиваются в начертанные на земле стройные геометрические фигуры: голубой овал — бассейн, неправильная трапеция — фонтан, серые кольца и прямоугольники — прогулочные дорожки. Справа и слева — уходящие вдаль кварталы параллелепипедов — жилые дома, прямо — слегка приподнявшаяся над землей транспортная развязка, за ней слева — усеченная пирамида театра, а правее и дальше — конструкции тогда еще не достроенного кафедрального собора: взметнувшиеся вверх, тонкие и изломанные, как взывающие к всевышнему и не находящие утешения руки страждущих и жаждущих. А за ним, за собором, чуть левее — серые блоки министерств, между которыми — центральная точка, куда сходятся все линии этой перспективы: на фоне голубой полосы озера две стройные светлые колонны конгресса с чашами-полушариями по бокам. Правая чаша — срезом вверх, левая — вверх полусферой.

...Я перечитываю сейчас этот геометрический трактат и чувствую, что он дает о бразильской столице такое же представление, какое способна дать о сокровищах Ленинской библиотеки в Москве инвентарная опись ее мебели, пожарного инвентаря и канцелярских принадлежностей в читальных залах.

Я вспоминаю, как в стремительно проносящиеся минуты заката голубое небо вдруг вспыхивало оранжевым пламенем. Почему так быстротечен заход солнца в этом городе? Почему так быстро проваливается оно за горизонт, погружая город в ночь?

Я вспоминаю сюрреалистическую картину площади Трех Властей при лунном свете, когда полусферы конгресса становятся похожими на только что приземлившиеся корабли — посланцы других миров, а стоящий тут же, поблизости, черный скульптурный дуэт воинов — «геррейрос» с пиками в руках видится первым патрулем инопланетян, ступившим на Землю. В памяти оживают невесомые, слегка прикоснувшиеся к земле хрупкими углами колонны дворца Альворада; буйное пламя фламбоянтов, бросающих розовые тени на серые стены зданий; зеленое одеяло газонов на красной, словно пропитанной кровью земле. Я вспоминаю все это и чувствую, что бессилён передать восторг, который охватывает человека, оказавшегося в этом фантастическом городе, где экспрессия графики Пикассо помножена на

ослепительно яркую палитру Матисса и погружена в тропическую атмосферу Гогена.

Впрочем, стоит ли мне еще раз братья за описание созданной гением Лусио Косты и Оскара Нимейера бразильской столицы? Ведь столько уже о ней написано, что нечего, кажется, к сказанному добавить. Все восторги излиты, восклицательные знаки расставлены и напрочь израсходован запас превосходных степеней и цветистых эпитетов. В бесчисленных журналистских опусах и научных монографиях скрупулезно зафиксирована и вдохновенно воспета долгая история борьбы идей и мнений вокруг давно уже ставшего очевидным и необходимым переноса столицы страны из Рио-де-Жанейро, с побережья, в центр Бразилии. Рассказано и о том, что лишь в конце 50-х годов нынешнего столетия энергичный и честолюбивый президент Жуселино Кубичек решил наконец воплотить эти замыслы в жизнь. Хорошо известно, что на конкурсе проектов новой столицы победил даже не проект, а черновой эскиз Лусио Косты, в основе которого лежала самая простая из самых простейших идей: крест! Ничего проще этого урбанисты до сих пор не придумали. И не придумали они ничего логичнее. Действительно, когда человек хочет пометить что-либо знаком: «Это — мое!», будь то участок земли, хижина в лесу или место, где будет вырыт колодец, он ставит крест. Как приметку собственности, как знак утверждения своей воли. Именно таким крестом «Это — мое!» утвердила себя новая столица в географическом центре страны на безмолвном плато, откуда до ближайшего города было тогда несколько сот километров. Крест, правда, получился не совсем правильным: его поперечные линии слегка опустились вниз, и он превратился в схематическое изображение самолета.

И об этом уже сказано и написано достаточно: «Город-самолет! В крыльях — жилые кварталы, в фюзеляже — административные здания, на носу — площадь Трех Властей, которую окружают конгресс, дворец президента и верховный суд». Все это уже хорошо известно. Известно, что воплощал «план-пилото», или, как мы говорим, «город-самолет», друг и ученик Лусио Косты Оскар Нимейер. Именно в его воображении и родились все эти дворцы и здания Бразилиа, словно пришедшие на землю из другого мира или предвосхитившие XXI век. Ничего подобного до того времени ни история архитектуры, ни

градостроительная практика не знали. И когда задумываешься и начинаешь осознавать уникальность и беспрецедентность этой урбанистической революции, возникают вопросы: почему это стало возможным именно в Бразилии? Почему не в Аргентине, не в Индонезии, не в Японии или не в какой-нибудь из африканских стран? И почему это случилось именно сейчас, а не полвека назад? Или не сто лет спустя?

Я начал думать об этом еще в начале 60-х годов, когда лишь понаслышке, по статьям в газетах и журналах, по фотографиям познакомился с новорожденной бразильской столицей. И хотя с тех пор прошло уже более четверти века и за это время я неоднократно побывал в Бразилии, не раз беседовал с Нимейером, прочитал горы литературы, собрал обширное досье на эту тему, а все равно и сейчас не могу сказать, что нашел ответы и расставил все точки над «і». Сегодня я по-прежнему продолжаю размышлять на эти темы. И поэтому откажусь от принятого в этой книге жанра воспоминаний или путевых дневников. А вместо этого порассуждаю вместе с вами, читатель, о бразильской архитектуре вообще, о ее вершине — Бразилиа. Попытаюсь понять, почему строителем столицы был избран именно Нимейер: человек, отношения которого с властями никогда не отличались гармонией или хотя бы терпимостью? И продолжу поиски ответа на самый главный вопрос, который, видимо, поглощает и обнимает все предыдущие: кто же он такой, этот Оскар Нимейер? Человек, шагнувший к нам из будущего? Наивный идеалист или революционер? Мечтатель или бунтарь? Поэт или ученый?

Вряд ли можно дать на эти вопросы точные и безапелляционные ответы: служенье муз не терпит не только суеты, но и категоричности. Да я и не берусь за такую непосильную задачу, сознавая, что это было бы донкихотством и вызвало бы справедливый гнев и насмешки специалистов. Поэтому все, что будет сказано ниже, следует рассматривать лишь как гипотезу, более или менее достоверную. Я не берусь писать портрет Нимейера, ограничусь лишь несколькими штрихами к портрету. Да, именно так: не «портрет», а «информация к размышлению» о том, каким мог бы быть портрет этого удивительного, не укладывающегося в рамки стандартных представлений человека.

* * *

Родился он в 1907 году в старинном доме, принадлежавшем его деду, который был генеральным прокурором республики и министром — членом высшего федерального трибунала, но в наследство своим пятерым сыновьям оставил только этот особняк. В Бразилии, где казна считалась в те времена естественным и неиссякаемым источником пополнения фамильных достояний, дед Оскара мог послужить образцом неподкупности и честности, доходящих до наивности. Отец будущего архитектора был владельцем небольшой типографии, мать умерла рано, но на всю жизнь сохранились у маленького Оскара воспоминания о мире и покое, о добрых отношениях и дружбе, царившей в этом громадном доме, где бабушка с ключами за поясом хлопотала по хозяйству, кроткая, вечно одинокая тетушка отправлялась по утрам в церковь собирать пожертвования на благотворительные нужды, старшая кузина тайком подкармливала сладостями Оскара, который был всеобщим любимцем большой и дружной семьи. Учиться мальчика отдали в духовную семинарию, богобоязненная тетушка усердно старалась водить его на воскресные мессы, но он не стал все же добропорядочным и смиренным католиком. Да и вообще не стал верующим.

И учеником он не был прилежным и благонамеренным, хотя именно таким должны представлять его в детстве те, кто сейчас общается с этим тихим, интеллигентным, воспитанным человеком, который, похоже, никогда не способен голоса повысить и мухи обидеть. Наоборот, в детстве и юности он был законченным «повесой», учебе частенько предпочитал футбол, а сидению над книгами — бильярд, кабачки и ночные вылазки в богемные кварталы знаменитой рио-де-жанейрской Лапы — района, знаменитого в те далекие 20-е годы своими увеселительными заведениями и бурной ночной жизнью. Да, человек соткан из противоречий, и многие из тех, кто сегодня слушает спокойную, всегда хорошо аргументированную, почти изысканную речь «сеньора Оскара», вряд ли способны поверить, что в кругу близких друзей этот человек может обронить острое, далеко не литературное словцо, что он любит перебирать струны гитары, безжалостно перевирая любимые мелодии своей юности. Злые языки утверждают, впрочем, что он вообще способен сносно проиграть одну только знаменитую «Амелию», но один из самых близких его друзей,

поэт Винисиус де Мораес, снисходительно отвечал скептикам: «Зачем Оскару гитара? Он творит музыку в бетоне и стекле своих дворцов».

Как и у любого бразильского мальчишки, одной из самых сильных страстей его детства и юности был футбол. К счастью, на этом поприще Оскар не добился многого: дошел всего лишь до юношеской сборной Рио-де-Жанейро, цвета которой защищал в матче со сборной Сан-Пауло в 1925 году. Но известно, что и в этой области не был он бездарен, или, как говорят в Бразилии, не оказался «деревянной ногой»: его даже приглашали в знаменитый клуб «Фламенго». Но, слава богу, говорят друзья, футбольная карьера молодого Оскара быстро угасла, ибо в душе его взяла верх другая, еще более сильная страсть — рисование. Занятие, конечно же, малопочтенное, с точки зрения отца и прочих близких и дальних родственников. Но отдадим им должное: рисовать Оскару они не мешали, хотя и не поощряли это увлечение. И именно через рисование юноша пришел к архитектуре. Это было неожиданно, это получилось «противу правил» и против моды. Модно в то время было идти в адвокатуру. А у внука генерального прокурора республики никаких препятствий на этом пути, конечно же, не могло возникнуть, но вот, поди же ты, вопреки осторожным советам домашних и к невысказанному, но и нескрываемому ими разочарованию подался он в Национальную школу изящных искусств. А затем стал работать чертежником в маленьком архитектурном ателье молодого, но уже известного градостроителя Лусио Косты.

Уже первая самостоятельная работа Оскара Нимейера: небольшое здание детских ясель, показала, что в богатую яркими индивидуальностями бразильскую архитектуру уверенно вошел талантливый и самобытный мастер. В проекте этом, датированном тридцать седьмым годом, ощущается, правда, заметное влияние величайшего новатора архитектуры XX века Ле Корбюзье, которого и Нимейер, и Лусио Коста считают своим учителем и духовным наставником. В этом здании мы еще не разглядим пристрастия к пластическим решениям и криволинейным формам, которое вскоре стало наиболее характерной формальной приметой творческой палитры этого мастера, но заметим многие из тех идей, которые будут воплощены в последующих его работах: простоту и логику, четкость в делении помещений, стремление создать максимальный простор в интерьере даже небольшого здания, заботу об удобствах тех, кто будет в

нем жить и работать. Уже в этом первом своем реализованном проекте он сделал и первое открытие: нашел оригинальное средство защиты помещения от солнечных лучей — поворачивающиеся вертикальные шторы — жалюзи. Впоследствии и сам он, и многие из его коллег будут неоднократно пользоваться этим приемом.

С того времени, когда это скромное невысокое здание появилось в Ботафого — одном из самых оживленных и энергично застраиваемых районов Рио-де-Жанейро, совсем, кстати сказать, неподалеку от моего дома «Сан-Жорже», — прошло уже полвека, а оно и сегодня на фоне окружающих его более молодых «соседей» выглядит не только вполне современным, но даже новаторским! Откуда у молодого Оскара уже тогда появилось это поразительное чутье? Это умение видеть на несколько десятилетий вперед, которое впоследствии с такой ошеломляющей силой проявилось в зданиях и дворцах Бразилиа?

Не буду подробно описывать историю строительства здания бывшего министерства просвещения и культуры, которое воздвигли в Рио-де-Жанейро в 1937–1943 годах по проекту большой группы архитекторов, где консультантом был Ле Корбюзье, руководителем — Лусио Коста, а одним из авторов — Нимейер. Напомню только, что это величественное сооружение стало символом, программным манифестом новой бразильской архитектуры, энциклопедией ее творческих приемов. Уже в те годы молодой Оскар пользовался в профессиональной среде таким уважением и авторитетом, что после ухода в 1939 году Лусио Косты именно он был избран руководителем группы проектировщиков и именно под его руководством было завершено строительство этого здания.

При всей своей уникальности и самобытности гений Нимейера не родился на голом месте: именно в годы его молодости в упорной борьбе с приверженцами так называемого «неоколониального» стиля, которые слепо копировали архитектурные идеи XVIII века, проходил процесс становления современной бразильской архитектурной школы, давшей миру такие имена, как Карлос Леао, Жоржи Морейра, Сержио Бернардес, братья Марсело и Милтон Роберто, Афонсо Эдуардо Рейди, не говоря уже о Лусио Коста. И чтобы зримо ощутить величие вклада, внесенного ими в мировую архитектуру, достаточно пройти по нескольким центральным кварталам Рио-де-Жанейро близ авениды Рио-Бранко: от аэропорта Сантос-Дюмон и Музея современного

искусства до авениды президента Варгаса, обратив внимание на здания Бразильской ассоциации прессы, Института предпринимателей, банка Боависта, Дома страховых компаний на улице Сенадор Дантас. А затем — съездить в квартал Педрегульо, чтобы восхититься там восьмизэтажным зданием, причудливо извивающимся по склону холма, и в парк Гинле, где Луисио Коста с удивительной легкостью вписал в причудливый природный рельеф комплекс семиэтажных зданий. А завершить эту экскурсию можно на стадионе «Маракана», который и к 2000 году, когда исполнится его 50-летие, останется одним из самых элегантных и, видимо, самым крупным в мире футбольным дворцом.

Даже одна эта небольшая экскурсия может дать наглядное представление о том, «питательном бульоне», в котором «вскармливалась» творческая индивидуальность молодого Оскара. Ну а если говорить о более узкой группе его друзей, коллег и единомышленников, то это была созданная в конце 30-х годов Служба по охране памятников национальной истории и искусства, которая, пытаясь защитить шедевры старинной архитектуры от разбушевавшихся ветров стремительной урбанизации, привлекла в свои ряды таких выдающихся представителей бразильской творческой интеллигенции, как художник Кандидо Портинари, инженер Жоаким Кордозо, писатель Карлос Друммонд де Андраде. Жаркие споры о том, как спасти памятники прошлого, сыграли немалую роль в формировании творческих убеждений Нимейера. Тут я подхожу к одному из сложнейших и интереснейших вопросов: о преемственности в бразильской архитектуре вообще и о связи «школы Нимейера» с национальным архитектурным наследием.

На первый взгляд не может быть ничего общего между пышной и буйной декоративностью колониального барокко и абстрактно-геометрическими формами Бразилиа, которую современники сразу же и дружно стали ассоциировать не с прошлым, а с будущим. Чуть ли не все авторы, пишущие о молодой бразильской столице, называют ее «городом XXI века», и никому не придет в голову вспоминать в этой связи Алейжадиньо, Оуру-Прету, причудливую изысканность храмов Минас-Жерайс и вьющиеся по зеленым склонам гор тихие улочки Диамантины.

Но почему же тогда неукротимый революционер архитектуры Ле Корбюзье, познакомившись с эскизами и чертежами Оскара, сказал ему,

как вспоминает сам Нимейер: «Ты создаешь барокко из железобетона, по делаешь это здорово!..»

Обратите внимание на конструкцию фразы, точнее говоря, на ход мысли: союз «но» подчеркивает оттенок то ли легкого осуждения, то ли удивления Ле Корбюзье тем фактом, что его ученик Нимейер позволил себе эту слабость: «делать барокко». И далее угадывается невысказанная, но читаемая между строк мысль: «Но раз уж ты делаешь это хорошо, то так и быть, простим тебе этот грешок...»

В той же книге, откуда взята эта цитата, Нимейер вспоминает: «Двадцать лет спустя, когда я однажды обедал в его доме в Париже, Ле Корбюзье, забыв о прежнем разговоре, признался мне: „Говорят, будто я строю в стиле барокко и весьма удовлетворен этим. Они не понимают, что архитектура подобна реке, которая постоянно меняет русло“».

В этих словах великого архитектора слышится нечто, напоминающее попытку самооправдания. Тем более что, как утверждает Нимейер, Ле Корбюзье тут же показал ему один из своих эскизов и добавил: «Это, может быть, и барокко. Но ведь не каждый же так построит!»

Привел я эти мысли Ле Корбюзье для того, чтобы показать, что он одним из первых уловил преемственную связь творчества Нимейера с архитектурной школой колониальной эпохи. Разумеется, связь эта была не прямой и выражалась не через подражание или заимствование идей и решений, а проявлялась в каких-то иных, более сложных и менее очевидных формах. Например, в желании добиться максимальной гармонии возводимого сооружения с ландшафтом и окружающей средой. Или в стремлении к живописности, красочности. В сочетании новых и традиционных материалов. В нетерпимости к шаблону, к прямой линии и к прямым углам. Не это ли имел в виду тот же Ле Корбюзье, когда сказал однажды: «Оскар, в твоих глазах — все горы Рио?..» И не оказал ли Нимейер обратного влияния на своего учителя? Эта мысль приходит мне в голову, когда просматриваю в хронологическом порядке и сравниваю репродукции их работ. И замечаю, что если в раннем Нимейере без труда угадывалось многое от Корбюзье, то не явилось ли, например, исчезновение в капелле Ле Корбюзье в Роншане прямых углов и линий следствием его восхищения не менее знаменитой нимейеровской церковью в Пампулье?

Как известно, строительство комплекса в Пампулье стало возможным благодаря встрече Оскара Нимейера с Жуселино Кубичеком — будущим президентом страны, а тогда префектом города Белу-Оризонти. Префект был молод и горяч, он жаждал поразить мир, воздвигнув в своем городе нечто сенсационное, способное привлечь туристов и принести доходы. Нимейер упомянул, что для этих целей лучше всего подошел бы комплексный центр отдыха и развлечений. Кубичек загорелся, попросил показать ему проект уже на следующий день. Так и было сделано: Нимейер просидел в отеле всю ночь с карандашом в руках. На следующий день Кубичек утвердил идею. С этого и началось строительство ставшего впоследствии знаменитым комплекса в Пампулье (казино, яхт-клуб, ресторан, зона отдыха, церковь), с этого началась и долгая их дружба, продолжавшаяся до смерти Кубичека.

Мне приходилось слышать, что Пампулья стала первым в Бразилии наглядным воплощением плодотворного сотрудничества представителей сразу всех градостроительных специальностей: архитектора, инженера, художника, скульптора и мастера садово-паркового зодчества. Может быть, это и верно, но сейчас хочу подчеркнуть другую особенность этого комплекса: он стал первой «бунтарской», нонконформистской работой Нимейера. Первым его открытым вызовом сторонникам догматического понимания функционализма в архитектуре, как чего-то самодовлеющего, диктующего все изобразительные и инженерные решения. Уже здесь, в Пампулье, сооруженной в начале 40-х годов, нашли воплощение смелые идеи Нимейера, выраженные впоследствии формулой: «Архитектура должна быть функциональной, но прежде всего — прекрасной и гармоничной». Эта страсть к красоте и гармонии стала одной из характернейших особенностей творчества Нимейера. А поскольку понимание красоты и чувство гармонии всегда субъективны, его работы, особенно ранние, нередко встречались скепсисом, недоверием, непониманием. Тот же комплекс в Пампулье, например, вызвал буквально взрывную реакцию восторгов и протестов, энтузиазма и критики. Кто-то из недоброжелателей назвал его даже «советской архитектурой», что нельзя рассматривать иначе, как горькую иронию: ведь в те времена в советской архитектуре защищаемые Нимейером идеи еще не были в чести и легко могли быть

квалифицированы как проявления «космополитизма», как «увлечение модернизмом» или как «влияние упадочнических идей буржуазного Запада». Особенно взбесила критиков церковь Пампульи: гигантская раковина, припавшая к голубому озеру, с вынесенной в сторону колокольной в виде расширяющейся кверху светлой башни. Католическое духовенство было настолько шокировано, что поначалу отказалось принять это еретическое сооружение. Церковь была завершена строительством в 1943 году, а освящена лишь в апреле 1959 года, когда полным ходом шло строительство новой столицы и игнорировать Нимейера святые отцы уже не решались.

За эти 16 лет в жизни архитектора произошло немало важных событий. Он построил «Гранд-отель» в Оуру-Прету, здание банка «Боависта» в Рио-де-Жанейро, разработал проект авиационного учебно-технического центра в городе Сан-Жозе дос Кампос близ Сан-Паулу, реализация которого сначала была запрещена правительством, не желавшим поощрять архитектора-коммуниста, но впоследствии запрет был отменен. И в этой связи уместно сказать и о политических убеждениях Нимейера. В 1945 году в стране происходят важные перемены: уходит в отставку диктатор Варгас, рушится тоталитарный режим, восстанавливается парламентаризм, начинается процесс демократизации. Выходит из подполья компартия. И вместе с тысячами своих соотечественников Нимейер вступает в ее ряды. Причем он не просто декларирует свою принадлежность к партии, свою приверженность идеям коммунизма, он начинает трудиться как коммунист, как партийный работник. В течение целого года в его мастерской размещается городской комитет компартии. А сам он, случалось, выходил вместе с другими активистами на улицу и продавал прохожим коммунистическую газету «Импrensa популяр». Через некоторое время в Нью-Йорке, куда он был привлечен вместе с архитекторами ряда других стран для разработки проекта здания штаб-квартиры ООН, руководитель этой группы американец Уоллес Харрисон принес однажды и продемонстрировал коллегам номер «Таймс» с фотографией Нимейера на улице с пачкой газет в руках. Можно представить себе иронию и снисходительные улыбки коллег! Сам Нимейер вспоминал впоследствии: «Они забросали меня вопросами. Только советский коллега держался в стороне, а впоследствии сказал: „Это неправильно. Компартия должна заботиться

о том, чтобы вы могли оказывать влияние в своей профессиональной области, а не продавали газеты на улицах“.

С ним нельзя было не согласиться, — вспоминает далее Нимейер, — однако вместе с тем я понимал, что в данном случае речь шла о своеобразной „детской болезни“, которой в свое время, наверное, болели и в России».

Факт этот мне кажется не только любопытным, но и весьма важным для понимания мировоззрения, натуры, характера этого человека. В том, что он вступил в коммунистическую партию в годы демократического подъема, нет ничего необычного. Творческая интеллигенция таких стран, как Бразилия, всегда «тянулась влево», традиционно симпатизировала прогрессивным идеям и демократическим лозунгам. Именно поэтому тогда, в сорок пятом году, в ряды коммунистов пришли многие писатели, артисты, художники Бразилии. Для Нимейера этот шаг явился не просто проявлением традиционного интеллигентского нонконформизма, а выражением твердой жизненной позиции. И об этом убедительно говорит тот факт, что коммунистом Нимейер остался на всю жизнь, что и впоследствии, когда партия вновь была объявлена вне закона, когда любое подозрение о принадлежности к ее рядам или хотя бы о симпатиях к идеям коммунистов вновь стало чревато самыми неприятными последствиями, он никогда не скрывал своих убеждений, что причиняло ему много проблем, страданий и трудностей. И в своей стране и за рубежом. Достаточно вспомнить, например, упорный и твердолобый остракизм, которому Оскара Нимейера подвергали американские власти, неоднократно отказывавшие ему в разрешении на въезд в США. Или печальную историю разработанного им проекта столичного аэропорта, который показался одному из руководителей министерства авиации носителем «скрытых марксистско-ленинских концепций» и был отклонен, причем бдительный бригадейро, принявший такое решение, безапелляционно заявил: «Марксистскому архитектору место не здесь, а в Москве».

Справедливости ради следует признать, что президент Кубичек, будучи по своим убеждениям бесконечно далеким от «марксистско-ленинских концепций», не был смущен и шокирован, когда узнал, что Нимейер стал коммунистом, и пригласил его возглавить коллектив,

который должен был проектировать и строить будущую столицу. Эта работа стала главным делом жизни архитектора.

Как и сказал ранее, не буду вновь излагать бурную, ставшую легендарной историю строительства Бразилиа. Об этом написано уже достаточно. В том числе и самим Нимейером в работах: «Мой опыт строительства Бразилиа» и «Почти воспоминания: путешествия — время энтузиазма и взрыва (1961–1966)». Когда я однажды попросил его назвать свои работы, которые сам он считает лучшими, он без всяких колебаний из тех, что были сделаны на родине, отметил свой собственный дом в пригороде Рио-де-Жанейро Каноя, Пампуюлю и несколько зданий Бразилиа: президентский дворец Алворада, ансамбль площади Трех Властей, дворец Арок (в котором размещается министерство иностранных дел) и Кафедральный собор. Видимо, именно их и следует считать его важнейшими, программными работами, наиболее полно и всеобъемлюще выражающими философию и творческое кредо Мастера, которое сам он однажды в беседе с друзьями в редакции журнала «Паскин» сформулировал следующим образом: «Каждый архитектор должен идти своим собственным путем в соответствии со своим темпераментом и возможностями. Мой путь — это поиски новых пластических форм, поиски неожиданного и изгибов, которые так много могут сказать». Изгибы, волнистые линии, плавные кривые вместо перпендикуляров и прямых углов... В этом пристрастии к нестандартным решениям, бросающим вызов традиционным представлениям о строгом соответствии архитектурного замысла, особенностям и природе материала, а также функциональному назначению здания, и просматривается его профессиональный творческий почерк. Его симпатии и склонности, сопоставимые и сравнимые, условно говоря, с предпочтением, которое поэт отдает тому или иному стихотворному размеру, живописец — любимому колориту, композитор — ритму или жанру. Но я не ставлю себе задачу проанализировать «кухню» архитектора, его приемы, стиль и метод работы. Это дело специалистов. Меня, напомню, интересует, во-первых, почему именно Нимейер стал самым ярким и главным выразителем идей новой бразильской архитектуры? И почему она, «новая бразильская архитектура», появилась и заявила о себе на весь мир именно в это время и именно в Бразилии, а не, скажем, в Аргентине или Австралии? И почему именно архитектура стала той

областью бразильской культуры, которая получила наибольшее признание?

Ответы на эти вопросы попытаюсь искать в обратном порядке. Начну с вопроса о том, почему «именно Бразилия» и почему «именно архитектура»? Дело в том, что в середине 40-х годов в этой стране начинается весьма мощный процесс экономического и социального развития. Бразилия словно пробудилась после полуторавековой спячки, она стремится расправить плечи, встать на ноги. Это находит свое выражение в появившихся тогда смелых экономических проектах, в настойчивых попытках освоения интeриора — необъятных внутренних районов, прокладке дорог, строительстве новых городов, заводов, электростанций. Нация начинает осознавать свои силы. Всего за десятилетие — с 1948 по 1958 год — объем промышленного производства вырастает в два с половиной раза. Рождается атмосфера патриотического энтузиазма, стремление добиться того, чтобы «наша Бразилия» заняла подобающее место в семье великих (именно великих, на меньшее бразильцы не согласны!) держав. Характерный пример того — широчайший размах кампании «Нефть — наша!», в которой отразились глубоко укоренившиеся антиамериканские настроения этого народа.

Таковы были политические, социально-экономические и эмоционально-психологические предпосылки зарождения новой бразильской архитектуры. И именно архитектуры! Ибо она, будучи искусством, по самой природе и специфике своей обращенным к массе людей, к народу, к современникам и потомкам, наиболее полно отвечала возникшим потребностям и могла выполнить социальный заказ эпохи. Грандиозные задачи требовали грандиозного воплощения. Отсюда и борьба Кубичека за реализацию проекта новой столицы. Отсюда смелость и размах замыслов Лусио Косты и Оскара Нимейера.

О том, почему знаменем, символом и вождем этой «новой волны» в архитектуре стал именно Нимейер, можно строить различные предположения. Думается, что главной причиной является, конечно же, профессиональная одаренность этого выдающегося творца. Он вошел в архитектуру стремительно и уверенно, как входит в порт, вызывая восторги людей на берегу, белоснежный океанский лайнер новейшей конструкции. И с первых же работ, буквально с первого его проекта коллеги-архитекторы признали талант Оскара. Его общепризнанное

«первенство среди равных» объясняю также и все тем же уже упомянутым мной императивом: грандиозные задачи требовали грандиозного воплощения. И не просто грандиозного, а нестандартного, революционно нового, порывающего с господствовавшими взглядами и идеями. Это было по плечу не только и не просто одаренному, талантливому, пускай даже гениальному архитектору, но бунтарю, разрушителю традиций, революционеру в искусстве. А среди своих братьев и коллег — в этой среде было и есть немало новаторов, пролагающих новые пути, ищущих необычные решения, — Нимейер был смелее всех и пошел в своих творческих исканиях и жизненных убеждениях дальше всех. Именно потому он и стал коммунистом. Этот шаг выразил не только его политические взгляды, но и его профессиональную позицию. Его кредо творца.

Немалую роль сыграло здесь, мне кажется, и то обстоятельство, что среди своих коллег, учителей, и учеников Нимейер оказался, если можно так выразиться, «самым бразильским» по натуре, по характеру, по своей психологии, по подходу к жизни, к работе, к людям. И эта его «национальная аутентичность» тоже помогла ему с такой потрясающей легкостью быть понятым и принятым бразильским народом, да и другими народами тоже. Ибо давно уже известно, что универсальное признание завоевывают обычно те художники, которые с наибольшей силой, талантом и умением способны выразить душу своего собственного народа.

Назвав его «самым бразильским» из бразильских архитекторов, я имею в виду не характер, не сумму взглядов и привычек, не образ мыслей и не манеру поведения, которые часто с такой легкостью принимаются за самые определяющие черты национального характера. Нет, с этой точки зрения Оскар Нимейер, наоборот, кажется на первый взгляд как раз «не типичным» бразильцем. В отличие от миллионов своих соотечественников он не является страстным футбольным болельщиком, весьма равнодушно наблюдает на экране телевизора за футбольными баталиями и — что уж совсем невероятно в этой стране! — не отдает предпочтения ни одной из местных команд. Он совершенно не по-бразильски сдержан, спокоен, уравновешен, мягок, даже деликатен в общении, хотя в кругу близких друзей, как уже было сказано, превращается в остролова, любит крепкое словечко. Видимо, следствием этой его сдержанности, отвращения к позерству, неприятия

красивой фразы является и всем известная нелюбовь Нимейера к интервью, пресс-конференциям и любым другим формам деловых контактов с журналистами. Уже хорошо зная меня, относясь ко мне с самой искренней симпатией, он все же даже не пытался скрыть своих страданий, когда я обращался к нему с просьбой об очередном интервью. И всегда старался заменить традиционную, естественную и наиболее, казалось бы, легкую форму этого процесса: «вопрос — ответ», заблаговременным сочинением и собственноручным написанием ответов даже на самые простые вопросы, типа «пожеланий советскому народу в связи с приближающимся праздником». Любой бразилец на его месте безмятежно отстрекотал бы в микрофон полдюжины соответствующих случаю фраз, а Нимейер при всей его занятости считал необходимым, получив заранее вопросы, тщательно записать, отредактировать, собственноручно отстучать на машинке ответы и вручить их «заказчику» с церемонным, учтивым поклоном. Хорошо знаю, что так он поступал не только со мной — корреспондентом из СССР. Так он поступает всегда или почти всегда, когда к нему обращается любой бразильский или иностранный журналист. Друзья утверждают, что страх Нимейера перед прессой сопоставим лишь с его боязнью самолета, которую он, впрочем, ни от кого не скрывает.

Ну а что ж все-таки дает мне основание утверждать, что он — «стопроцентный бразилец»? Мне кажется, он бразилец не по поведению, а по духу. Как все бразильцы, он демократичен и прост. И несмотря на кажущуюся сдержанность и немногословие, он удивительно легко сходится с людьми, о чем однажды в Париже сказал ему чилийский коллега: «Оскар, я знаком с тобой только два месяца, но ты мне гораздо ближе, чем те, с кем я работаю уже четыре года».

...Оскар. Именно так — только по имени, как и Жоржи Амаду, уважительно и тепло зовут его в Бразилии все: бесчисленные друзья и враги, которых у него не так уж и мало, седовласые коллеги и юные ученики. Как каждый настоящий бразилец, он любит людей, он всегда окружен ими. «Их так много, что трудно перечислить, — сказал он однажды, отвечая на вопрос, кого он считает лучшими из своих друзей. — Самое ужасное — это состариться в одиночку. Со мной этого не случится». И, как это свойственно именно бразильцам, он привык ставить дружбу даже выше политических разногласий: среди тех, кого

он считает своими друзьями, немало и таких, кто не разделяет его убеждений. Но «различие во мнениях не должно мешать дружбе», считает он с чисто бразильской терпимостью и идеализмом, и когда его спросили, как должен, по его мнению, выглядеть идеальный для жилья дом, он ответил: «Когда хороши соседи, любой дом может оказаться идеальным».

Он «стопроцентный бразилец» еще и потому, что обладает удивительной способностью зажигаться поправившейся ему идеей, причем далеко не всегда связанной с архитектурой. Как-то раз друзья попросили его оформить декорации для спектакля «Черный Орфей», и он, как вспоминал поэт Винисиус де Мораес, целиком отдался этой работе, обложился книгами, театральными буклетами и афишами, а клиенты, ожидавшие выполнения заказанных проектов, в панике звонили в театр и жаловались, что мастерская Нимейера практически прекратила работу. Спустя несколько лет он с такой же страстью рисовал карнавальные костюмы и макеты декораций для знаменитой школы самбы Мангейра, которая решила посвятить свое карнавальное шествие 1981 года его другу Жуселино Кубичеку.

Если верно, что в сердце каждого бразильца живет поэт, то Оскар не чужд и этой страсти. (Видите, при всем моем безмерном к нему уважении я тоже не могу называть его по фамилии. Ибо это будет как-то церемонно и холодно. Слишком не по-бразильски.) И судя по тем немногим стихам его, которые стали достоянием гласности, он и в этой области тонок, лиричен и страстен. Как настоящий бразилец. И как настоящий бразилец он — мечтатель и фантазер. И часто наивен в своих мечтаниях. Он искренне верил, что Бразилиа сможет стать «городом свободных и счастливых людей». А потом со свойственной ему прямоотой и честностью признался, что был идеалистом.

Помнится, однажды попытался я выяснить у него его «хобби». Он долго отшучивался, я был настойчив, и в конце концов он признался, впрочем, как мне показалось, с каким-то слегка виноватым видом, словно сознаваться пришлось в чем-то не совсем достойном, что очень любит фантастическую литературу, в первую очередь — романы о будущем человечества. «Я дал бы сейчас все, что угодно, чтобы заглянуть, если не на тысячу, то хотя бы на пятьсот лет вперед... Как будут жить тогда люди? Будут ли они счастливы?..» Я глянул на него и почувствовал, что этот человек вдруг ушел от меня. Под нами шумела

океанским прибоем и вскрикивала автомобильными гудками Копакабана, а он был уже не здесь, а где-то там, куда ему так хотелось «заглянуть», и я подумал, что и не могло быть у этого человека, предвосхищающего будущее в своих дворцах и сооружениях, другого желания и другой мечты.

...В ноябре 1984 года, будучи в Рио-де-Жанейро в командировке, я вновь встретился с ним. Мы долго беседовали в той же самой его мастерской на верхнем этаже дома под номером 3940, выходящего окнами и широким балконом на Атлантический океан. Была суббота. Никого, кроме нас двоих, в мастерской не было. Молчали телефоны, и можно было беседовать с Мастером долго и обстоятельно, не оглядываясь на постоянную в будние дни очередь тех, кто ждет совета или интервью, помощи или подсказки великого Учителя, не умеющего отдыхать и щедро отдающего себя людям. И, воспользовавшись этой редкой возможностью, я расспрашивал его о последних событиях в жизни страны и его отношении к ним. То были дни перелома: доживал последние месяцы, даже недели, военный режим. Уже было ясно, что на предстоящих в январе 1985 года президентских выборах победит кандидат оппозиции Танкреду Невис, обещавший в предвыборных речах и заявлениях «социальный пакт» внутри страны и поддержку разрядки, политики мирного, благожелательного сотрудничества государств — на международной арене. Но еще никто не знал тогда, что в апреле, за несколько часов до своего вступления на пост главы государства этот человек, ставший для бразильцев символом «Новой республики», заболеет и скончается. Страна кипела и бурлила, обсуждая начинающиеся радостные перемены и осуждая исходящие из Вашингтона напряженность, нервозность, истерию, неуверенность в завтрашнем дне.

Я спросил Оскара, что он думает об этих переменах? Верит ли, что они необратимы? Он улыбнулся и сказал, что только за последнюю неделю отвечал на эти вопросы раз двадцать. Почему все хотят знать именно его мнение? Ведь он не политик, не член правительства и не может влиять на происходящие события.

— Ого! Еще как можете, — сказал я. — Ваш авторитет...

Мастер недовольно поморщился и махнул рукой:

— В паше время, к сожалению, далеко не всегда случается так, что авторитет каких бы то ни было людей или вообще логика играют

определяющую роль. Это горький урок, который преподала нам, бразильцам, жизнь... Правда, в последнее время те, кто командует страной, начинают брать за ум. И это вселяет надежды.

Он порылся в толстой стопе газет, лежащей на столе, и протянул мне вчерашний номер «Ултима ора»:

— Вот, посмотри, мое последнее интервью...

Я развернул газету. На первой странице второй тетради был напечатан отрывок из будущей книги воспоминаний Оскара и рядом — интервью, в котором, в частности, говорилось: «Сейчас, когда в стране началась „абертура“ — пока еще робкий процесс восстановления демократических свобод, мы начали забывать все наши горести и разочарования. Мы чувствуем себя оптимистами, мы верим, что этот процесс приведет к торжеству демократии и в конце концов — к легализации Бразильской коммунистической партии... Я чувствую, что очень важно протестовать всегда, когда только возникает потребность. Сейчас мы должны создать в Центральной Америке и в Латинской Америке крепкий союз стран, чтобы противостоять давлению Соединенных Штатов на наши государства. История вторжения англичан на Мальвинские острова показала, что Соединенные Штаты решительно поддержали Англию против южно-американской страны.

И мы должны поддержать все страны, которым угрожает Рональд Рейган, — сейчас он только тем и занимается, что стремится усилить для всего мира угрозу всеобщей войны и особенно настойчиво ведет яростную борьбу против Никарагуа.

По этой причине, я не придаю сейчас слишком уж большого значения архитектуре. Самое главное для меня сейчас — это жизнь, это человеческое общение. И необходимость изменить несправедливый мир, в котором мы живем».

— Не слишком ли вы категоричны, Оскар, когда утверждаете, что не придаете сейчас большого значения архитектуре? — спросил я, бережно складывая газету. — Не кажется ли вам, что это отдает тем же максимализмом, той же, если хотите, горячностью, с какой вы отправились в сорок шестом году продавать коммунистическую газету? Помните, что сказал вам по этому поводу в Нью-Йорке советский архитектор?

— Пусть так, может быть, ты и прав, но я такой. И меня не изменишь. А самое главное: если случится атомная война — весь мир

погибнет. И кому тогда будет нужна наша архитектура? Поэтому-то я убежден, что главное сейчас — не строить здания, а отвратить страшную угрозу, которая нависла над планетой как дамоклов меч.

* * *

Таков он, Оскар Нимейер, коммунист, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», почетный президент Института культурных связей «Бразилия — СССР», честный и чистый человек. С душой, которая с какой-то чеховской готовностью откликается на страдания окружающих его людей. С обостренным умением, отрешившись от сугубо профессиональных проблем, опираясь на силу могучего, присущего только ему воображения, заглянуть в завтрашний день и в грядущий век. И с такой поражающей четкостью представить себе однажды «город будущего»:

«Три башни многоэтажных жилых домов на сто тысяч жителей. Внизу — учреждения для работы, отдыха и спорта.

Высоко под облаками, защищенные с помощью техники от воздействия солнца и ветра, три башни хорошо вписываются в бескрайний пейзаж.

Внизу: зоны работы, культуры и отдыха.

...Уровень земли целиком высвобожден для пешеходов; машины движутся на высоте двух метров от них. Кругом сады, никаких улиц...

Факультеты университетов превращены в научно-исследовательские центры. Знания в течение нескольких минут навсегда фиксируются в мозгу.

А люди становятся ближе друг другу, более дружелюбны и, что самое главное, равны между собой».

...«Три башни хорошо вписываются в бескрайний пейзаж». Не этот ли образ, высказанный в одной из статей еще в 1965 году в Париже, пришел ему в голову и запал в душу, когда он десять лет спустя работал над очередным своим крупным комплексным проектом: ансамблем зданий, которыми в конце 70-х годов начал застраиваться «бескрайний пейзаж» южных предместий Рио-де-Жанейро? Нимейер предложил там воздвигнуть десятки идеально круглых башен. А башня

в плане, как известно, представляет собой круг. То есть идеально «волнистую линию», наиболее правильный «изгиб», геометрически точную «кривую» и самое логичное «криволинейное решение», которые всегда были самым любимым его творческим приемом. Теперь он, похоже, возвел принцип в абсолют. И достиг, во всяком случае с формальной точки зрения, идеала.

Но означает ли это, что дальше идти некуда? Что достигнута вершина и познана абсолютная истина?..

Разумеется, нет! Ибо для таких людей, как Оскар Нимейер, не существует последних вершин. Они всегда в пути, всегда в движении. И смысл своей жизни видят не в накопительстве почетных премий и покоренных вершин. А в приближении своим трудом того часа, когда все люди на земле «станут ближе друг другу, более дружественны и, что самое главное, равны между собой».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Трудный путь к Пеле



Третьим после Жоржи Амаду и Оскара Нимейера великим бразильцем, с которым уже в самом начале работы в Бразилии мне хотелось познакомиться, был Пеле, уже тогда, в середине 60-х годов, взлетевший в зенит всемирной известности и славы.

Увы, с первых шагов стало ясно, что решение этой задачи является куда более сложным и трудным делом, чем можно было предположить. Во-первых, Пеле не был «кариокой». Он играл в футбольном клубе «Сантос» из города того же названия и жил там, в Сантосе, в трех с половиной сотнях километров от Рио. Разумеется, на первый взгляд проще всего было бы познакомиться с великим футболистом в тот момент, когда «Сантос» приедет к нам, в Рио, на очередной матч. Однако в первый же такой день, когда прославленная команда прибыла для встречи с «Фламенго», я убедился, что добраться до Пеле практически невозможно: команду и тем более его самого тщательно оберегали от поклонников и журналистов. В гостинице на этаже, где разместились футболисты, я наткнулся на полицейский кордон, преодолеть который не помогли ни билет иностранного корреспондента, ни советский паспорт, ни неуклюжая попытка сунуть дюжему сержанту взятку в виде четвертинки «Московской водки». Поскольку я посягал на покой национального героя — Короля — именно так, с большой буквы, писали тогда это слово применительно к «великому и неповторимому» Пеле все бразильские газеты, а радиокомментаторы в ходе репортажей произносили его либо на восторженной истерике, либо с почтительным придыханием — так вот, поскольку речь шла о покое Короля, командовавший оцеплением лейтенант оказался неколебим, как высящаяся у входа в бухту Гуанабара скала «Пао де Асукар», что в переводе означает «Сахарная голова».

Попытка подстеречь Короля в тот момент, когда команда выходила из гостиницы, чтобы отправиться на стадион, тоже не увенчалась успехом: громадная толпа «торседорес», как называются в Бразилии футбольные болельщики, и репортеров была отсечена от футболистов шеренгами полицейских, которые выстроились от подъезда отеля до дверей автобуса, образовав сплошной и неприступный коридор. Пеле я увидел только издали: мельком, приветливо помахав рукой беснующимся соотечественникам, он торопливо нырнул в гигантский «мерседес».

Вторую попытку добраться до Короля я предпринял уже на «Маракане» после матча. Решил просочиться в раздевалку, поймать его где-нибудь, пускай даже в душевой, и там договориться о встрече. Но поскольку тогда, в самом начале моей футбольной одиссеи, у меня еще

не было постоянного пропуска в ложу прессы, открывавшего допуск и в подтрибунное хозяйство, пришлось потратить много времени, уговаривая неумолимых контролеров. Когда же, наконец, с помощью членского билета Ассоциации иностранной прессы мне удалось пробиться в святая святых «Мараканы» — раздевалки клубов, оказалось, что я опоздал: под грохот петард и барабанов, сопровождаемый ликующим свистом торседорес автобус с «Сантосом» уже отчаливал от служебного подъезда. Я знал, что команда едет прямо в аэропорт, но, разумеется, при всем желании не смог бы ее догнать, ибо автобус «Сантоса» вел через город, завывая сиренами и мигая синекрасными огнями, полицейский эскорт.

Вернувшись не солоно хлебавши, я улегся на диван и погрузился в размышления. В следующий раз «Сантос» вернется играть в Рио только через полтора месяца. Можно, конечно, и подождать... Но где гарантия, что мне тогда повезет больше, чем сегодня?

Чем сложнее казалась задача, тем сильнее пульсировал во мне азарт репортера: работать в Бразилии и не суметь проинтервьюировать Пеле?! Этого я просто не мог себе представить.

После недолгих размышлений возникло еще одно решение: если Магомет не идет к горе, придется горе отправиться к Магомету. То есть мне самому поехать в Сантос. Разыскав в своих футбольных досье расписание ближайших матчей «Сантоса», я быстро установил, что в следующую неделю этот клуб должен проводить сразу три игры подряд на своем поле: в ближайшее воскресенье, затем в среду и в следующую субботу. Это означало, что команда и, следовательно, Пеле будут в тот период находиться в своем городе, наверняка не выедут на гастроли, ибо даже в условиях сумасшедшего бразильского футбола, когда команды играют чуть ли не по сотне матчей в год, ни один импресарио не рискнет вывозить свой клуб на товарищескую встречу, когда он должен за семь дней провести три календарных игры. Итак, еду! Уже на следующее утро была продиктована телефонограмма московскому начальству с просьбой «разрешить командировку в город Сантос для подготовки репортажа о ходе уборки кофе на плантациях штата Сан-Паулу». Маленькая неточность в формулировке целей экспедиции объяснялась очень просто: не мог же я рисковать, объясняя заведующему отделом корсети, что отправляюсь охотиться на Пеле? В

ответ мне могли бы напомнить, что совсем не за футбольными приключениями послали меня на другую сторону земного шара.

Получив на следующий день разрешение на командировку, отправляюсь на юго-запад по «Виа-Дутра» — самой оживленной автостраде Бразилии, соединяющей два крупнейших города этой страны: безмятежный, погрязший в тропической неге сибарит Рио с деловитым, задымленным работягой Сан-Паулу. Три сотни километров отличного полотна с двумя рядами движения в каждом направлении преодолеваются без особого напряжения часа за четыре. Со свистом наплывают на ветровое стекло, а затем, перевернувшись, съеживаются и исчезают в зеркале заднего обзора указатели со звучными названиями городов и поселков, через которые проходит автострада: Волта-Редонда, Пиндамоньянгаба, Таубате.

«Виа-Дутра» как-то незаметно вливается в Сан-Паулу. С трудом продравшись через вязкую автомобильную лаву, застывшую на улицах этого города-гиганта, поворачиваю на восток: на Сантос, лежащий на атлантическом побережье. Дорога петляет по горам, спускается к океану длинными извилистыми зигзагами. Еще через час по напоминающей Копакабану набережной Сантоса подкатываю к «Парке Бальнеарио» — величественному четырехэтажному дворцу, который служил тогда штаб-квартирой футбольному клубу Пеле.

В первой половине 60-х годов команда находилась в апогее своей славы, дважды завоевала звание чемпиона мира среди клубных команд, дважды выигрывала кубок Южной Америки и с неповторимой легкостью сокрушала всех своих бразильских и зарубежных соперников. Дворец «Парке Бальнеарио» был куплен тогда в кредит у семейства миллионеров Фракаролли сходящими с ума от тщеславия картолами (так зовут в Бразилии футбольных чиновников), убежденными, что лучшая в мире футбольная команда должна обладать и лучшим в мире зданием клуба.

Это было в период взлета «Сантоса», а потом, как это часто случается в футболе, команда покатила под гору, ее доходы начали быстро падать, а вследствие неудержимой инфляции годовые взносы, которые картолы должны были выплачивать за этот чертог роскоши прежним владельцам, стремительно росли. «Сантос» оказался по уши в долгах, и слово «банкротство» все чаще и чаще начало фигурировать в футбольной прессе и в колонках светской хроники рядом с гордым

названием клуба Короля. Поэтому хозяева «Сантоса» были крайне раздражены журналистами, избегали контактов с прессой. И я прекрасно понимаю, что и мое появление в этом клубе тоже может быть воспринято с подозрительностью.

«Парке Бальнеарио» напоминает то ли застывший на вечном якоре древний трансатлантический лайнер, то ли дворец какого-нибудь восточного магараджи: зимние сады, салоны, паркетные полы. Ресторан — в неоклассическом стиле, один зал — в стиле «неофлорентийского ренессанса», другой — «строгого ренессанса». В одном из отсеков лайнера разместился небольшой отель. И хотя стоимость номеров в нем была вполне сопоставима с платой за трансатлантический круиз в каюте первого класса на «Куин Элизабет II», я решаю бросить якорь именно в «Парке Бальнеарио», поскольку надеюсь, что картолы, с которыми мне в поисках Пеле неизбежно придется иметь дело, станут более покладистыми, узнав, что свои командировочные средства я расходую не где-то на стороне, а вкладываю их в кассу клуба.

Около часа блуждаю по бесконечным коридорам и трапам лайнера в поисках футбольного начальства, которое должно — как я искренне и наивно верю — вывести меня на Пеле, пока наконец не обнаруживаю в административном крыле здания, где стрекочут пишущие машинки и позванивают телефоны, дверь с табличкой «Директория». Высветив лицо беззаботной улыбкой, которая должна, как мне кажется, пробить любую броню, распахиваю дверь. Передо мной — за пишмашинкой сидит миловидное существо, которое разлетом бездонных глаз и длиной синтетических ресниц напоминает Монику Витти. Вежливо обратившись к ней с просьбой доложить обо мне самому высокому начальству, которое имеется сейчас в клубе: желательно — президенту, если его нет, то одному из вице-президентов или, на худой конец, директору департамента социальных связей, я, не дожидаясь приглашения, величественно погружаюсь в кресло с усталой физиономией человека, который уверен, что ему отказать нельзя.

— А в чем, простите, дело? Что привело уважаемого сеньора в наш клуб?

Я протягиваю Монику Витти корреспондентский билет и поясняю, что представляю 200 миллионов советских радиослушателей, что прибыл в Сантос вчера непосредственно из Москвы только для того,

чтобы взять небольшое интервью у Короля. (Уроки Боровского, как видите, не пропали даром.)

— Как? Неужели прямо из Москвы? — восхитилась Моника Витти. — Как же вы чувствуете себя в нашей жаре? Ведь у вас там все покрыто снегом?

С готовностью соглашаюсь: все покрыто снегом и все заковано льдами. И поэтому тем более важной и неотложной становится моя задача: интервью Короля, которое я привезу советским людям, должно отогреть их сердца и утеплить души.

Моя собеседница поднимает брови и говорит, что ничем, к сожалению, не может мне помочь. Президент клуба сеньор Атье Жоржи Кури в отъезде. То ли в Уругвае, то ли в Буэнос-Айресе. Когда вернется — неизвестно. Что касается сеньоров вице-президентов, то они «Парке Бальнеарио» посещают крайне редко. Бывают, как правило, лишь на общих собраниях президенсии, собираемых Жоржи Кури. Административный директор Сиро Коста еще не пришел. И придет ли сегодня — тоже неизвестно.

— А тренеры?

— Они находятся вместе с игроками на тренировочном предыгровом сборе.

— Где?..

По плотно сомкнувшимся губам и возмущенно взметнувшимся на лоб бровям моей собеседницы я понял, что мой вопрос по меньшей мере бестактен. И что мне его прощают только потому, что я — иностранец из далекой, закованной льдами России. Строго помолчав, Моника Витти объясняет, что любые данные, касающиеся команды, футболистов и тренеров, могут быть сообщены прессе только департаментом по социальным связям.

— Где находится этот департамент?

— Сейчас он временно закрыт.

— А когда будет работать?

— Может быть, через неделю. А может быть, позже.

— А вы не могли бы дать мне домашний адрес Пеле или, хотя бы, номер его телефона?

Моника Витти вновь строго поджимает губы и разводит руками: этого она не может сказать, даже если ее попросит президент республики.

...Я понял, что теряю понапрасну время. Нужно искать какой-то другой выход. Вернувшись в номер, углубляюсь в досье по «Сантосу», предусмотрительно захваченное в поездку.

Журналистское досье, в котором накапливаются газетные вырезки, визитные карточки, фотографии, записи бесед, черновые наброски и копии собственных статей и корреспонденций, — это великая штука. Одна из первых заповедей, которые я усвоил в ходе моего корреспондентского ликбеза — максимальное уважение и внимание к досье. Ценность его — не просто в обилии информации. Досье — это верный спутник, советчик, друг, товарищ и брат. Я не преувеличиваю: был в моей практике случай (это произошло лет десять спустя после описываемых сейчас событий, когда я работал уже в Португалии), когда досье даже спасло мне жизнь. Когда-нибудь поговорим и об этом, а сейчас вернемся в Сантос, где досье должно было подсказать мне кратчайший путь к Пеле.

С интересом листаю эту довольно уже пухлую папку.

...Заметка о первом голе Пеле в «Сантосе», забитом 7 сентября 1956 года «Коринтиансу» из Санто-Андре. Надо же, счет своим годам Пеле начал в день, когда страна отмечает свой национальный праздник: очередную годовщину независимости. Прямо-таки символическое совпадение... А вот — фотография первого гола в матче за сборную страны: 1957 год, встреча со сборной Аргентины, ворота которой защищал легендарный Каррисио... Сотый гол: забит 31 июля 1958 года на стадионе «Пакаэмбу» в Сан-Паулу. А Пеле, между прочим, было тогда всего семнадцать лет... Листаю дальше. Заметка Жоана Салданы: «Любой технический элемент Пеле выполняет лучше любого другого футболиста». Интервью с доктором Гослингом после тяжелой травмы на чемпионате мира в Чили в 1962 году: «Король уже поправляется и скоро снова сможет играть».

Ага, вот, кажется, именно то, что я искал!.. В одной из сравнительно недавних газетных заметок сообщается, что полгода назад Пеле вынужден был порвать все деловые отношения со своим бывшим компаньоном по бизнесу Пепе Гордо, с которым они вдвоем до недавнего времени владели «Португезой Сантистой» — небольшой фабрикой по производству санитарно-технического оборудования. Я уже слышал об этой истории: никто толком не мог понять, что там произошло? То ли причиной было просто-напросто бездарное

руководство фирмой со стороны Пепе Гордо, который не сумел воспользоваться громким именем Пеле для рекламы выпускаемой продукции, то ли этот махинатор откровенно обворовал своего доверчивого компаньона. Как бы то ни было, но фирма обанкротилась. Пеле рассорился с Пепе Гордо и расстался с «Португезой Сантистой», потеряв на этом кучу денег. (Кстати, это был первый и последний финансовый промах Короля. Впоследствии он не только компенсировал убытки, вызванные ссорой с Пепе Гордо, но и в сотни тысяч раз приумножил свое состояние.)

«Если Пеле оборвал свои связи с „Португезой Сантистой“, — рассуждаю я, — на этой фирме вряд ли станут оберегать его покой от репортеров. И, следовательно, есть, шанс выудить там его адрес или, на худой конец, телефон».

Узнать адрес самой этой фирмы было делом двух минут: по всему Сантосу все еще красовались рекламные щиты обанкротившегося предприятия с телефонами (2–5441 и 2–3884) и координатами (улица Жоан Пессоа, дом 134), и я немедленно отправляюсь туда.

«Португеза Сантиста» оказалась убогой мастерской по изготовлению умывальников, унитазов и прочей утвари для санузлов. Она уже была перекуплена какими-то новыми владельцами, и в небольшой конторе, в которую можно было попасть, пройдя через двор, заваленный грудями не находящей сбыта продукции, царила атмосфера сдержанного оптимизма.

Из начальства в конторе оказался только изможденный вечной борьбой за существование главбух в пенсне, чудом удерживающемся на кончике испещренного склеротическими жилками носа. Я как можно учтивее поприветствовал его и сообщил, что приехал в Сантос из далекой, покрытой снегами и закованной льдами России только для того, чтобы взять интервью у великого Короля Пеле, жизнью которого интересуются все 200 миллионов советских людей, которых я в данную минуту представляю.

— Да, но Пеле уже здесь не бывает, — сказал главбух, поправляя пенсне. — Последние перемены в деятельности нашего предприятия...

— Знаю, знаю, — перебил я. — Но мне хотелось бы получить у вас его домашний адрес.

Старик вздохнул, посопел, снял и протер очки. В душе его шла борьба. Если бы Пеле еще оставался совладельцем фирмы, главбух,

конечно же, не стал бы мне ничего сообщать. Но поскольку Король расстался с «предприятием», а может быть, с точки зрения этого скромного и, видимо, честного финансиста, бросил детище в трудный час, что ускорило банкротство фирмы, старик, еще раз вздохнув, махнул рукой и прошептал мне на ухо название улицы, номер дома и квартиры.

Я поблагодарил и бросился к машине через монбланы белых унитазов и эвересты голубых умывальников. Еще через четверть часа я уже стоял перед массивной дверью на одном из верхних этажей большого многоквартирного дома.

Никакой таблички на двери нет. Нажимаю кнопку звонка, который отзывается мелодичным перезвоном откуда-то из самой глубины апартаментов. Через несколько мгновений слышу за дверью легкие шаги, звяканье замка. Дверь распахивается. Передо мной — супруга Короля Роземери. Я узнаю ее сразу: десятки раз видел фотографии в газетах и в кинохронике, по телевидению. Руки ее обсыпаны мукой. И фартук — тоже в муке. Пирожки, видать, печет... Эта мысль мелькает в голове у меня с быстротой молнии. И тут же замечаю, как лицо ее вытягивается, и она делает рукой движение к дверной ручке. Все ясно: по фотоаппарату на шее, по магнитофону на плече и самое главное — по просительному-умоляющему взгляду она расшифровала во мне репортера. Сейчас захлопнет дверь, и будь здоров!..

Не давая ей опомниться я сую ногу между дверью и рамой и скороговоркой приношу глубочайшие извинения за это беспокойство. Дверь уже начинает закрываться, и я, умоляюще глядя в глаза Роземери, говорю ей, что я — русский, что приехал вчера вечером из далекой, покрытой снегами и закованной льдами России только для того, чтобы взять хотя бы пятиминутное интервью у ее супруга — величайшего человека в истории этой страны. И если я вернусь в Москву без этого интервью, мой шеф выставит меня на улицу и я окажусь безработным... А ведь у меня, между прочим, имеется маленькая дочь, которая только что пошла в школу. И дочь надо кормить и содержать.

Заметив, что негодование в глазах Роземери сменяется удивлением, я спешу ковать железо, пока оно горячо: говорю ей, что как истинный джентльмен никогда не позволил бы себе вот так, без приглашения, без предварительного телефонного звонка, явиться в чужой дом, тем более в отсутствие хозяина, который — я знаю это — находится на

предыгровом сборе, но если не оправдать мою вину, то, хотя бы, смягчить ее может то обстоятельство, что уже через двое суток я должен возвратиться из Рио в Москву с записанным на пленку интервью, а в «Парке Бальнеарио», куда я, естественно, обратился в первую очередь, никого из начальства нет и никто не знает, когда они, эти картолы, там появятся.

— Но видите ли...

— Да, да, уважаемая сеньора, я еще раз приношу вам мои глубочайшие извинения и выражаю самое искреннее сожаление, но согласитесь, что безвыходность ситуации, толкнувшая меня на этот бестактный шаг, может — я хочу верить в это — разбудить в вашей душе искру понимания по отношению к вашему покорному слуге...

Удивление в глазах Роземери сменяется улыбкой. Слава богу, она добрая женщина. Я знал это заранее. И она приглашает меня войти и, извинившись, исчезает. Проходит минута, другая. Роземери вновь появляется передо мной. Она уже без фартука. И руки уже не в муке. И прическа поправлена. И на губах — помада. Она протягивает мне руку грациозным жестом. Я почтительно прикасаюсь к тонкой белой кисти губами и успеваю заметить на ней следы стирок и стряпни, мытья посуды и возни с иголками и нитками.

— Но как вы узнали наш адрес? — спрашивает она.

— Да кто же не знает адрес великого Пеле? — пытаюсь отшутиться я.

— Нет, я серьезно: Эдсон совсем недавно купил эту квартиру, и мы держим ее в тайне.

...Первый раз в жизни я слышу, как Пеле назван по имени: Эдсон. Роземери улыбается, смотрит на меня почти с симпатией. И я стремлюсь расширить плацдарм доверия и взаимопонимания. Я говорю ей, что адрес их получил в «Португезе Сантисте».

— Ох, эта фабрика! — морщится Роземери. — Мы потеряли там столько денег.

— Ну у вас с Пеле все еще впереди, — говорю я. Она пожимает плечами: кто знает, что ждет нас в этом беспокойном мире?..

Я спрашиваю ее, как можно добраться до тренировочной базы «Сантоса»?

— Боюсь, что ничем не смогу вам помочь, — отвечает Роземери. — Я так же, как и все другие жены футболистов, никогда не

бывала там и не знаю, где она находится. Знаю только, что где-то в горах.

— Ну а телефон?..

— Телефон-то там, конечно, имеется, по его тоже никто не знает.

— Но как же так, — я начинаю горячиться: — Представьте себе, что — не дай, конечно, бог! — в семье случится несчастье. И Пеле нужно срочно предупредить, а может быть, даже и вызвать. Как же вы поступите в этом случае?

— Во-первых, он сам звонит мне каждый вечер. А во-вторых, в случае срочной необходимости я позвоню в «Парке Бальнеарио» и попрошу связаться с мужем и передать ему все, что нужно. Или сказать, чтобы он немедленно позвонил домой...

Черт возьми! Действительно, их охраняют, этих футболистов, как коронованных особ. Я чувствую, что теряю спокойствие и уверенность в успехе. И меня охватывает злость: неужели и в самом деле придется отступить, когда я уже добрался даже до квартиры Короля?!

Роземери сочувственно смотрит на меня.

— Что же мне делать? — говорю. — Я просто отказываюсь поверить, что никто не знает, как попасть на эту базу.

— Директора, тренеры, члены президенсии знают, — говорит она. — Но их самих поймать очень трудно. И кроме того, где гарантия, что если вы и найдете кого-нибудь из них, то он согласился помочь вам?

— Так как же быть?.. — Я смотрю на нее и чувствую, что на лице моем — отчаяние. Роземери морщит лоб. Вижу, что она искренне хочет мне помочь, но не знает, как это сделать.

— Послушайте, — улыбается она вдруг. — Я вспомнила: ведь мы вчера вечером говорили по телефону с Эдсоном, и он сказал, что сегодня во второй половине дня туда к ним поедет Зито. Муж еще сказал, что если я захочу что-нибудь передать ему, то могу воспользоваться помощью Зито. Поскольку ничего передавать не нужно, я как-то даже и забыла об этом. И вот думаю, что если вы спросите Зито взять вас с собой...

— Где он? — кричу я, вскакивая с кресла.

— Я дам вам его домашний телефон. Вы можете позвонить прямо отсюда. А пока я сварю кофе.

Через несколько секунд я уже набирал номер. А заодно прочитал и запомнил нанесенный на аппарате номер телефона, с которого звонил к Зито. Совсем неплохо знать домашний телефон Пеле. Когда-нибудь он мне пригодится...

Женский голос в трубке в ответ на просьбу позвать к аппарату сеньора Зито поинтересовался, кому он нужен. Я ответил, что уважаемая сеньора говорит с репортером, который только что приехал в Сантос всего на два дня из далекой, покрытой снегами и льдами России для того, чтобы...

— Но Зито нет дома, — перебил меня голос. — Он уехал в «Парке Бальнеарио», а оттуда направится на базу команды.

Скороговоркой выпаливаю слова благодарности в трубку, бросаю ее, вскакиваю и сталкиваюсь с Роземери, чуть не сбив ее с ног вместе с подносом, на котором стоят «кафезиньо».

— А кофе? — спрашивает она.

Я прижимаю руки к груди и говорю, что дорога каждая секунда. Она желает мне успеха. Она говорит, что я, может быть, успею застать Зито в «Парке Бальнеарио». И если я все-таки попаду сегодня в команду, то Эдсону — привет от семьи.

— Кстати, скажите ему, пожалуйста, что дочь уже в полном порядке: у нее была легкая простуда, мы опасались, не загриппует ли, но все обошлось.

— Все сделаю, сеньора, все обязательно передам, — торопливо бормочу, направляясь к двери. — Извините, если кажусь вам неучтивым.

— Да, да, понимаю, желаю вам успеха. — Она открывает дверь. Киваю ей. Какое счастье: лифт уже стоит именно на этом этаже! Бросаюсь в него как парашютист-десантник.

Сантос — город небольшой. Через десять минут влетаю в уже знакомый мне холл, мчусь по коридорам, врываюсь в кабинет президентии, где дежурная девица сообщает, что Зито уже отправился на базу пять минут назад...

— О дьявол!..

— Правда, он сказал, что по пути заедет на «Вилу Бельмиро», чтобы захватить там комплект постельного белья для команды, и если сеньор поторопится, то сможет перехватить Зито на «Виле».

«Вила Бельмиро» — это стадион клуба. Находится в двух шагах от «Парке Бальнеарио», и еще через пять минут я уже там.

Прорвавшись через бдительного портейро, пытаюсь разыскать кого-нибудь из руководителей клуба, ибо понимаю, что без разрешения начальства Зито меня с собой не возьмет. Мечусь по кабинетам и коридорам. За дверью с надписью «Директория» сидит еще одна девица, с еще более длинными ресницами и листает журнал мод «Бурда». Она равнодушно сообщает мне, что Зито на «Виле Бельмиро» не появлялся и, насколько ей известно, никто его здесь не ждет. Что касается руководителей клуба, то никого на месте нет. Сообщив об этом, юная дева вновь погружается в изучение «Бурды».

На лице у меня появляется такое отчаяние, что старый негр, пылесосивший диваны и ставший случайным свидетелем беседы с девицей, проникается сочувствием и советует мне вполголоса:

— Может быть, сеньор Сиро Коста что-нибудь знает и сможет вам помочь?

Еще бы! Сиро Коста — это административный директор клуба. Как раз тот человек, который мне нужен.

— Но разве он здесь? — спрашиваю старика.

— Конечно. Я его только что видел.

— Позвольте! — возмущенно поворачиваюсь к девице с «Бурдой». — Но ведь вы сказали, что никого из начальства нет.

— Да, сеньор Сиро здесь, но он очень занят и не велел себя беспокоить, — холодно отвечает юная дева и одновременно буквально пронзает своим острым взглядом проболтавшегося уборщика.

Черт возьми!.. Надо что-то придумать. И я решаю прибегнуть к древнему, как мир, оружию грубого обольщения. Я рассыпаюсь в комплиментах, пытаюсь подхватить деву под локоток и заверяю ее, что даже если не смогу взять интервью у Пеле, мое путешествие через океаны и материки было не напрасным, ибо я смог воочию убедиться, что здесь, на этой гостеприимной земле, — точнее говоря, в Сантосе, обитают самые красивые девушки планеты. И обаяние моей очаровательной собеседницы является самым бесспорным тому доказательством.

Очаровательная собеседница, невозмутимая, как статуя, продолжает спокойно перелистывать «Бурду».

Говорю, что после завершения этой журналистской миссии был бы счастлив именно с такой неотразимо прекрасной девушкой, как она, отметить успех в самом шикарном кафе Сантоса или даже, чем черт не шутит, Сан-Паулу. Фирма не останавливается ни перед какими расходами! — патетически восклицаю я.

Девушка и бровью не ведет.

— Но, может быть, вы хоть подскажите мне, где находится кабинет сеньора Сиро? — жалобно взываю я.

— Простите, но я не могу этого сделать, — отвечает она, не повернув головы.

Стискиваю зубы. Мне хочется сказать ей что-то такое, чего ни при каких обстоятельствах не следует говорить женщинам, но в этот момент негр-уборщик трогает меня за рукав. Оборачиваюсь. Он показывает глазами: «Выйдем в коридор».

Выходим. Притворив за собой дверь, негр сообщает, что он знает, где находится сейчас сеньор Сиро.

— Ну?! — ору, хватая его за рукав.

— Мы — люди маленькие, — дышит мне в ухо жареным чесноком старик, — и если кто узнает, что я вам это сказал, мне будут большие неприятности.

— Да никто не узнает!

— И все-таки... — Он переминается с ноги на ногу и вопросительно глядит на меня.

Ну, конечно, как же я забыл святое и незыблемое правило игры в мире свободного предпринимательства! Рву из кармана бумажник и сую старику несколько ассигнаций, не разобрав даже толком, сколько именно. Не теряя чувства собственного достоинства, негр прячет их в карман и сообщает мне на ухо, что сеньор Сиро находится по этому же коридору, за углом третья дверь справа.

Нахожу Сиро Косту в кабинете, обилием кубков на столах и почетных дипломов на стенах напоминающем мемориальный музей. Он сидит, этот флегматичный толстяк, за письменным столом, обложившись конторскими книгами, и щелкает арифмометром. Вхожу, здороваюсь, он подымает голову и глядит усталым и раздраженным взглядом на взмокшего, увешанного фотоаппаратами и магнитофонами субъекта, оторвавшего его от важных дел:

— Я же просил мне не мешать...

Учтиво поклонившись, извиняюсь за беспокойство и в очередной раз выстреливаю очередь насчет далекой, покрытой снегами, закованной льдами России, с нетерпением ожидающей интервью с Королем лучшего в мире футбола. Говорю ему, что прибыл в Сантос только на одни сутки, что завтра вечером рейсом «Панамерикен» я должен вылететь в Лондон, где послезавтра делаю пересадку на Москву. И чтобы успеть на все эти рейсы, мне необходима немедленная помощь уважаемого сеньора Сиро Косты, который должен меня связать с Зито, выезжающим, как мне известно, на тренировочную базу с комплектом белья для команды. Ибо только сегодня — заметьте: только сегодня! — я должен встретиться с Пеле. Другого варианта нет...

Административный директор внимательно смотрит на меня. Может быть, у него дебет не сходится с кредитом, может быть, его терзают какие-нибудь домашние проблемы, но и невооруженным глазом видно, что он не в настроении. И мой наглый ультиматум лишь разозлил его.

— Послушайте, молодой человек, — говорит он, потянувшись так, что хрустнули кости. — Даже если вы и впрямь прилетели вчера из вашей заснеженной Москвы, а завтра намерены отправляться в Лондон или куда-то там еще, то почему вы решили, что это дает вам право требовать допуска на базу команды? Должен вам сообщить, уважаемый сеньор, что мы туда не допускаем репортеров ни при каких условиях. Никогда и никого. Мы не хотим, чтобы они отвлекали наших парней от тренировок и мешали их отдыху.

— Но неужели нельзя сделать исключение для человека, который пересек ради этого океан?

— Боюсь, что это было бы невозможно, даже если бы вы пересекли океан вплавь. Посудите сами: я не пускаю на базу даже своих, местных, постоянно работающих с командой репортеров. И если они узнают, что я сделал исключение для русского журналиста...

— Они не узнают!

— О, вы ошибаетесь. В этом мире ничего скрыть невозможно. Кстати, откуда вы знаете, что туда, на базу, едет Зито да еще собирается захватить комплект белья? Кто вам это выболтал?

Я почувствовал, что настал момент нанести решающий удар. И наношу его прямой наводкой, в упор:

— Видите ли, мне об этом сказала Роземери. Я только что говорил с ней, и она сказала мне насчет Зито, попросила съездить вместе с ним и передать кое-что Эдсону. Кстати, она и вам передавала привет и заверила меня, что уж кто-кто, а вы-то мне обязательно поможете.

Сиро Коста глядит на меня с изумлением. Он не может понять, шушу я или говорю серьезно. После минутного колебания он решает, что я вру: разве может иностранец, примчавшийся в Сантос всего сутки назад, уже успеть познакомиться с супругой Пеле и даже получить от нее какие-то поручения? Что за чушь? Если Роземери и впрямь что-то нужно передать мужу, она звонит сюда, и все делается в мгновение ока. Зачем ей прибегать к услугам какого-то иностранного репортера?..

— Да, но... А где вы видели Роземери? — с раздраженным недоверием и в то же время не без колебания в голосе спрашивает административный директор. И я без сожаления добиваю его:

— Как это «где»? Дома, разумеется. Я только что от нее...

И без запинки называю ему адрес квартиры Пеле!

— Впрочем, вы можете позвонить ей и перепроверить, был ли я у нее. Только она сейчас занимается стряпней, а когда женщину отвлекают от плиты, она может рассердиться, — улыбаюсь я, снимаю трубку с аппарата, стоящего на столе Сиро Косты, и диктую ему номер телефона Пеле, который административный директор, конечно же, знает наизусть и без моей подсказки. Но тот факт, что стоящему перед ним наглецу-репортеру известен домашний адрес Пеле и номер его телефона, который вряд ли известен более, чем дюжине самых доверенных людей, убеждает Сиро Косту, что я, по всей видимости, не вру.

Сиро сломлен. Он внимательно глядит мне в глаза, качает головой:

— В общем-то вы правы: Зито действительно едет туда. И по пути должен заехать сюда, на «Вилу», за комплектом белья. Так и быть: я попрошу его захватить вас с собой.

— Благодарю вас, сеньор! Вы просто представить себе не можете, какую услугу оказываете мне, — я с облегчением вздыхаю, опускаюсь в мягкое кресло, закидываю ногу на ногу и угощаю Сиро «Беломором». После традиционного в такой ситуации недоумения: с какой стороны закуривается эта странная русская сигарета с мундштуком, Сиро Коста вызывает секретаршу и велит принести кафезиньо. Мы разговариваем о делах «Сантоса». Я сокрушаюсь по поводу кризиса, который

переживает великий клуб. Сиро уверяет меня, что кризис далеко не так силен, как пытаются уверить публику безответственные газетчики.

— За последний год, — говорит он, покопавшись в своих бухгалтерских книгах, среднемесячный заработок игрока «Сантоса» составил около пяти тысяч крузейро. Это больше, чем утвержденная конгрессом зарплата министра. Скажите, сеньор: разве может позволить себе убыточное разоряющееся, как пишут газеты, предприятие платить своим служащим оклады министров?

Потом в кабинет впархивает худой джентльмен с тонкими усиками под Кларка Гейбла, знаменитого американского киноактера довоенной поры. Такие усики были в моде на рубеже 30-х годов. Ассоциация с кинематографом далекого прошлого появилась у меня не случайно: стремительный джентльмен в полосатом костюме и светлых лакированных туфлях словно спрыгнул с киноэкрана моего далекого детства. Говорил он не по-португальски, а по-испански. И не говорил, а выстреливал слова и фразы нервной скороговоркой. Он сообщил, что заскочил на «Вила Бельмиро» буквально на минутку. По пути из Амстердама в Монтевидео.

Сиро Коста представил меня джентльмену. Джентльмен сказал, что Василий Блаженный — это самая красивая из православных церквей, а борщ — лучшее блюдо европейской кухни. Затем он назвал себя, хотя я его уже узнал, опять же по газетным фотографиям из досье: это был знаменитый Ратинов, международный импресарио «Сантоса», который всю жизнь проводит в самолете, ангажируя будущих соперников клуба, организуя его постоянные зарубежные гастроли. Вот и сейчас Ратинов с нескрываемым ликованием сообщил Сиро Косте, что до конца года программа вояжей команды Короля практически готова. Удалось договориться о некоторых встречах, которые дадут приличный доход.

— Если все будет, как мы планируем, — сказал Сиро Коста, — годовая выручка клуба окажется где-то на уровне трех миллионов крузейро. Разве такая цифра говорит о кризисе, как кричат газетчики? — укоризненно покачал головой директор, вновь поглядев в мою сторону. И в этот момент появился наконец Зито. В недавнем прошлом — знаменитый полузащитник «Сантоса» и сборной, а теперь — тренер клуба по физической подготовке. Сиро Коста представил меня ему: «Вот... русский репортер. Просит взять его на базу».

Я добавил для верности, что приехал из далекой, покрытой снегами и льдами Москвы в эту солнечную и жаркую Бразилию только для того, чтобы взять интервью у Короля. Кроме того, у меня есть к нему личное поручение от Роземери, у которой я только что был...

Зито не спорил. Для него рекомендация Сиро Косты была столь же решающей, как для Сиро Косты — рекомендация Роземери.

Через пятнадцать минут мы с Зито катили по уходящей от океана в горы прекрасной автостраде Аншиетта. На тридцатом примерно километре свернули на проселок, потом пропетляли по холмам, долинам и рощам еще километров десять и добрались наконец до заветной, тщательно оберегаемой от репортеров и зевак тренировочной базы, которая представляла собой нечто, напоминающее небольшое аристократическое поместье: уютная дача в тихой долине на берегу идиллического озера. Швейцария, да и только... На футбольном поле шла тренировка. Я сразу же увидел Пеле, который стоял в воротах. Да как стоял! Вытащил за какие-то три минуты из углов такие пушечные мячи, что даже знаменитый ветеран Жильмар, заканчивающий карьеру основного вратаря «Сантоса» и сборной, одобрительно покачал головой. А Зито, заметив восхищение в моих глазах, сказал, что талант Пеле настолько многогранен и велик, что из этого парня в случае необходимости можно было бы сделать и прекрасного вратаря, тем более у нас, в Бразилии, где ощущается постоянный и острый дефицит голкиперов. Но нужды в этом нет, ибо нельзя разбрасываться такими гениями атаки, каковым является Король.

Когда тренировка закончилась и парни нестройной толпой вывалились из душевой, я подобрался, взял нервы в кулак и направился к Пеле. Настал наконец момент истины: великий Пеле был здесь, передо мной. И что самое главное: он был полностью в моем распоряжении. Ведь мы находились на тренировочной базе, откуда футболист никуда не может исчезнуть, где он обречен сидеть еще двое суток до того часа, когда локомотивная, сотрясающая окрестные горы и долины сирена отправляющегося на матч клубного автобуса не призовет его на очередной ратный труд.

Итак, пробил мой звездный час! Осторожно ступая негнуцимыми ногами по пружинистому газону, я подошел к Королю и сказал:

— Здравствуй, Пеле!

Выходивший вместе с остальными парнями из раздевалки и беседовавший в эту минуту с Карлосом Альберто Король обернулся, улыбнулся, приветливо скользнул взглядом по моему незнакомому лицу и сказал:

— Ола, как дела!.. Все о'кэй?.. Ну и слава богу.

Он сказал это и пошел дальше. У Короля было доброе сердце. Впоследствии я неоднократно наблюдал, как именно так тепло и по-приятельски отзывался он на приветствия людей, которых видел впервые в жизни. Он никогда не отмахивался от незнакомца, пытающегося заговорить с ним. И никогда не жаловался, что ему надоели эти нескончаемые восторги, просьбы автографов, похлопывания по плечу. В ответ на истеричный вопль: «Привет, Пеле!» — какого-нибудь подвыпившего, растрепанного, взмокшего торседора, кулаками пробившего себе дорогу поближе к двери автобуса, в котором рассаживался «Сантос» после матча, Пеле откликнулся с какой-то восхитительной деликатностью, создавая у крикуна иллюзию, будто давно знаком с ним, будто они — старые друзья и лишь вчера провели весь вечер у стойки бара в какой-нибудь «Лузитании» или «Фиорентине»: «Привет, привет! Как дела? Никаких новостей? Ну ничего, у меня тоже все по-старому».

И поднимался в автобус, оставляя ошеломленного такой братской нежностью крикуна в состоянии полного оцепенения.

Я тоже чувствовал, что цепенею от теплого тона, от дружеской улыбки Короля. Я понял, что он принял меня за обычного соискателя маленьких околофутбольных радостей, решил, что перед ним — еще один случайно просочившийся на базу фанатик, которому очень хочется, вернувшись в свой ботекин у «Вилы Бельмиро», во всеуслышание заявить, что час назад он побеседовал с Пеле, и Король заверил его, что Эду ни в коем случае не будет продан во «Фламенго», а Кубок Роберто Гомеса Педрозы в нынешнем сезоне обязательно будет завоеван «Сантосом»...

Итак, Пеле обласкал меня своим обычным теплым «Как дела? Все о'кэй» и тут же отвернулся, забыв о моем существовании. Но я тормознул Короля:

— Минуточку, Пеле! — крикнул я. — У меня к вам важное дело от Роземери. Она просила меня сказать вам, что простуда у дочки уже прошла. И дома все в порядке. Роземери шлет вам привет!

Уже отвернувшийся, уже уходивший и вырубивший меня из своего сознания Король с такой стремительностью погасил скорость, что мне почудилось, будто я слышу визг тормозов. Он остановился и обернулся. На его лице появилось недоумение. И не давая ему опомниться, уже хорошо отработанной скороговоркой я сообщил ему о том, что прибыл вчера из далекой заснеженной и покрытой льдами России для того, чтобы взять у него хотя бы пятиминутное интервью. И что приношу извинение за то, что вынужден был побеспокоить в его отсутствие столь добрую Роземери, которая — видит бог, я говорю правду — действительно уполномочила меня сообщить, что дочь поправилась и дома все в порядке... И если бы мне не удалось разыскать вас, Пеле, то просто не хочется думать, что было бы со мной в этом случае, но теперь, когда я сюда наконец добрался, Пеле ведь сможет великодушно уделить мне несколько минут, не правда ли?..

Король был добр и отзывчив, как настоящий король из доброй сказки Андерсена. Улыбнувшись, он восхитился моей наглостью, хлопнул меня по плечу и сказал, что целиком и полностью к моим услугам.

И, не теряя времени, я перешел от слов к делу: достал магнитофон, усадил Пеле на первый подвернувшийся стул и записал первое из многих моих интервью с Королем, которое, как выяснилось, стало самым интересным и содержательным.

Это было, впрочем, даже не интервью, а долгая, откровенная, душевная беседа «за жизнь». Торопиться нам было некуда. Других репортеров на базе не было, и поэтому коллеги-конкуренты не вмешивались, не перебивали, не лезли со своими вопросами. Пеле рассказывал мне о том, о чем он рассказывал уже десятки, может быть, сотни раз другим журналистам, но делал это так, что казалось, будто все это произносится впервые. Впрочем, кое-что было в нашей беседе и такое, о чем я не читал и чего не находил в публиковавшихся ранее рассказах моих бразильских коллег-конкурентов об их встречах и беседах с Пеле. И это придавало мне чувство здоровой профессиональной гордости, ибо главная мечта журналиста — это мечта об эксклюзивности, исключительности, неповторимости того, что он делает, о чем пишет или рассказывает. В самом деле: зачем пережевывать в своих сочинениях то, что уже было описано и проанализировано братьями по перу? Каждый из нас стремится

поведать миру о том, чего до него никто еще миру не поведал. Вот и тогда, в тот незабываемый вечер после долгого пересказа моему магнитофону о том, что уже было говорено много раз, Пеле постепенно разоткровенничался. И после обычных, стандартных, постоянно повторяющихся на «Виле Бельмиро» и в «Парке Бальнеарио» заверений о том, что кризис «Сантоса» позади, что «клуб — на правильном пути и новые победы не за горами», Король вдруг махнул рукой и сказал, что он дьявольски устал. И другие парни устали. Нельзя же, черт возьми, играть круглый год по два-три матча в неделю, без отдыха и перерыва.

Потом он замолчал, вздохнул, пленка продолжала идти, и я не хотел выключать магнитофон, чтобы не спугнуть это возникшее между нами чудесное и такое неожиданное ощущение взаимопонимания и даже доверия. И тогда я не понял и до сих пор не могу понять, почему она возникла, эта атмосфера? Пеле давал бог знает какое по счету интервью, перед ним сидел совершенно чужой человек из далекой страны, и как тут поймешь и чем объяснишь симпатию, которая появилась так неожиданно?

А может быть, я преувеличиваю? Может быть, мне это показалось? И дело совсем не в том, что Пеле, как мне хотелось бы верить, вдруг испытал какую-то нежность к пареньку из далекой, заснеженной, покрытой льдами России, а в том, что он по натуре своей был общителен и приветлив. И любое, пускай тысячное или миллионное интервью он давал так, что оно казалось неповторимым...

Как бы то ни было, но я никогда не забуду эту долгую беседу. Усталую улыбку Пеле и вспыхнувшее во мне ощущение благодарности к этому человеку, который щедро потратил на меня весь вечер.

Последний вопрос, который я задал Пеле, видимо, слегка растревожил его. Разбередил душу. Я спросил его, как он чувствует себя сейчас, оказавшись на самой верхней точке своей футбольной карьеры, в зените славы, успеха, материального благополучия? Кажется, добиться в жизни большего, чем сумел добиться он, невозможно, если, конечно, не мечтать о кресле президента страны или о должности генерального секретаря Организации Объединенных Наций... Неужели он, Пеле, ни к чему больше не стремится? Неужели ему не о чем больше мечтать?

Королю редко задавали такие вопросы. Обычно беседа с репортерами не выходила за рамки конкретных послематчевых или предыгровых комментариев: «Как себя чувствует мениск?», «Почему защитникам „Сантоса“ не удалось нейтрализовать Жаирзиньо?», «Какую премию обещает Сиро Коста выплатить игрокам в случае победы над „Коринтиансом“?»?

— Так неужели вам не о чем больше мечтать? — спросил я.

Пеле сначала засмеялся и попытался отшутиться. Он сказал, что до сих пор не сумел реализовать одну заветную мечту: забить мяч в ворота соперников с центра поля первым же ударом после свистка судьи, дающего сигнал к началу матча.

— Ну а если серьезно? — спросил я.

Пеле задумался, посмотрел мне в глаза. Его ответ на этот вопрос я уже приводил в книжке «Пеле, Гарринча, футбол». Не люблю цитировать мысли или пересказывать ситуации, описанные в прежних книгах, но в данном случае нарушу заповедь и еще раз дословно воспроизведу ответ Пеле, потому что он мне кажется очень важным для понимания этого человека.

— Видишь ли, — сказал он. — Мне кажется, что всего, о чем мечтаешь, добиться никогда невозможно. Потому что человек никогда не перестает мечтать, стремиться к чему-то, что еще не достигнуто, что еще впереди.

Я, неграмотный, негритянский мальчишка из бедной семьи, мечтал научиться хорошо играть в футбол. И... — он засмеялся, — вроде бы у меня это немного получается. Правда, моих собственных заслуг тут не так уж и много. Просто мне повезло: я попал в руки хорошему тренеру, нашел друзей, у которых было чему поучиться, играл в хорошей команде.

Я женился на девушке, которую любил и люблю. У нас родилась дочь. Кажется, лучшего и желать нельзя. Но все же я не могу сказать, что добился всего, к чему стремился. Ведь мне еще предстоит самое главное: вырастить и воспитать моих детей. Ведь я надеюсь, что у моей дочери появятся братья и сестры. И только тогда, когда они встанут на ноги, получат образование, начнут самостоятельную жизнь, только тогда я смогу сказать, что добился всего, о чем мечтал...

А потом он взял гитару и запел. И это уже была та самая бесспорная стопроцентная эксклюзивность, о которой можно только

мечтать. О том, что Пеле в свободное от своей футбольной работы время занимается сочинительством песенок, знали тогда в Бразилии очень немногие: его родственники, игроки «Сантоса», некоторые журналисты из тех, кто «специализировался по Пеле», кто вроде Олдемарио Тогиньо из «Жорнал ду Бразил» сопровождал Короля во всех его матчах и вояжах. Сам я узнал об этом хобби Пеле еще в Рио от Олдемарио, когда советовался с ним накануне поездки в Сантос. И вот вдруг я сам, так неожиданно, первым из иностранных корреспондентов, слышу, как Пеле поет, и не только слышу, но и записываю его песню на магнитофон... Я даже похолодел в этот момент при мысли, что пленка может кончиться и запись сорвется! Скосил глаза вниз, на маленький «Филипс», увидел, что кассета продолжает вращаться, но не смог определить, много ли там осталось чистой пленки. И после этого уже не смог воспринимать, как того хотелось бы, песню, а только беззвучно взывал к фортуне, чтобы она еще раз обласкала меня и не подвела с магнитофоном.

А Король пел своим мягким хрипловатым баритоном. Он пел о детях, которые верят, что им принадлежит весь этот необъятный мир. А потом, вдруг изменив ритм, запел о себе: «Если бы я мог переделать мир, то поступил бы так: покончил бы с невежеством, уничтожил нищету, запретил бы войну. И пусть на земле будет много-много любви и мира...»

Подо мной качнулся земной шар. И звезды приветливо замигали в этот мой действительно звездный час. Я подумал, что даже в самых смелых мечтах не мог и предположить такого поворота темы: Пеле — борец за мир!..

Уже само по себе интервью советского журналиста с Королем было тогда сенсацией. Уже один только его сугубо футбольный рассказ о памятных годах, о незабываемых матчах и завоеванных победах оправдывал мою поездку в Сантос. А тут вдруг, плюс к этому, Пеле еще и поет! Да не просто поет, а, так сказать, «утверждает в своем музыкальном и исполнительском творчестве антивоенные идеи и лозунги!»... Действительно, было от чего сойти с ума.

Но я с ума не сошел. Судьба вновь оказалась благосклонной ко мне. «Филипс» не подвел: все несколько песенок, которые Пеле пел тогда в ожидании ужина, оказались удачно записанными. И уже через неделю после возвращения в Рио я отправил в журнал «Кругозор» эту

пленку с песнями Короля и сопровождал ее восторженными пояснениями насчет обстоятельств, при которых была сделана историческая запись, а также бурными восторгами по поводу высоких чувств гражданственности, отличающих героя моего репортажа.

Вспоминая сейчас об этом, не могу не признать, что малость переборщил тогда. Даже не малость, а как следует. Пеле, конечно, был добрым и душевным парнем, этого никто не станет отрицать, но было бы преувеличением изображать его таким борцом за мир, самоотреченным общественным деятелем, страдающим за судьбы планеты. Нет, Пеле, увы, всегда был демонстративно аполитичен, избегал категорических суждений на острые темы. А его периодически звучавшие призывы к добру и взаимопониманию оставались благими пожеланиями. Именно так случилось с его знаменитым заклинанием насчет помощи бедным детям, которое он со слезой во взоре и с надрывом в голосе выкрикивал в эфир после того, как послал с пенальти свой тысячный гол в ворота «Васко-да-Гамы». Хорошо помню тот вечер на «Маракане» 19 ноября 1969 года, ибо сам сидел тогда на корточках за воротами вратаря Андрады и успел пофазно сфотографировать исторический гол: разбег Короля, замах, удар, летящий в нижний левый от вратаря угол мяч, бросающийся за ним в отчаянном полете вратарь... Потом — Пеле, бегущий в ворота, нагибающийся за мячом и целующий его. А дальше вторжение на поле тысяч обезумевших от восторга торседорес, стоны восторга, Короля поднимают на плечи и бегом пытаются тащить вокруг поля, и он в протянутые репортерами микрофоны действительно с рыданием в голосе кричит на всю страну о том, что его первая мысль в эту минуту — о детях, о нищих, голодных детях, о детях фавел: «Давайте поможем им! Кто чем может! Давайте все вместе подумаем, как же улучшить их жизнь, как облегчить их страдания».

Отдадим должное этому благородному порыву. Вспомним, что Пеле действительно приложил немало сил на благотворительной стезе, активно сотрудничал с ЮНИСЕФ — специализированной организацией ООН, занимающейся программами помощи детям в развивающихся странах мира. Но согласимся и с тем, что этот наивный донкихотский призыв, прозвучавший тогда на «Маракане», так и остался гласом вопиющего в пустыне. И положила руку на сердце следует

признать, что и сам Пеле не сумел сделать все возможное для того, чтобы его голос был услышан и вызвал достойную реакцию.

...Но все это так, к слову. А возвращаясь к вокально-музыкальным экзерсисам короля футбола, с законной гордостью могу вспомнить: в то время, когда почти никто еще в Бразилии не слышал песен своего футбольного кумира, мои коллеги из журнала «Кругозор» поднапряглись, постарались и выдали на-гора оснащенный мягкой грампластинкой репортаж «Пеле поет». Не стану утверждать, что это был такой уж потрясающий шедевр журналистики, но факт остается фактом: не в Бразилии, а в далекой, покрытой снегами и льдами России появилась первая пластинка с записью песен Пеле! Да, да, именно так расценивали бразильские коллеги-журналисты это постыдное для своей национальной футбольно-музыкальной жизни событие. Хорошо помню, какой фурор произвел номер журнала с загадочной дырочкой посередине, когда, получив через несколько месяцев бандероль из Москвы, я горделиво продемонстрировал свое произведение Королю. Это уже было в Рио, на «Маракане», после одного из матчей «Сантоса». В раздевалке «сантистов», теснясь, толкая друг друга локтями, отпихивая чужие микрофоны и подсовывая свои, пишущая, телевизионная и радиовещательная братия хватала у вытиравшегося после душевой Пеле традиционные короткие интервью: «Почему так слабо играла сегодня средняя линия „Сантоса“?», «Что происходит с Коутиньо: неужели никто не может заставить его сбросить лишний вес?», «Когда наконец введут в основной состав Пиколе и выгонят из команды Джалму Диаса?»

И тут, в этом сонмище перекрикивающих друг друга бразильских коллег появляюсь я с заветным «Кругозором» в руках. Пробриться через окружившую Короля толпу невозможно, но, увидев меня за спинами наседавших на него репортеров, Пеле приветливо машет рукой, кричит свое обычное: «Как дела? Все в порядке?» И, потеснив могучим бедром какого-то слишком уж назойливого «радиалиста», громко требует: «А ну-ка, парни, пропустите ко мне русского друга». И ворчащая толпа коллег нехотя расступается, как пантеры, которых дрессировщик после окончания номера начинает загонять с манежа в клетки. Протискиваюсь к Королю, мы хлопаем друг друга по плечам, и я небрежно демонстрирую ему «Кругозор» и голубую пластинку.

Пеле сначала ничего, конечно, не понимает. Я долго втолковываю ему суть дела, напоминаю о том моем первом визите в «Сантос» и о песнях, которые тогда записал. Так вот они, твои песни, Пеле, на этом маленьком голубом диске!

Не берусь описать изумление бразильских коллег-конкурентов, осознавших, что перед ними изданная в России пластинка Пеле. Но хорошо помню, что первыми словами Короля, когда до него дошла суть дела, был вопрос: «А сколько мне за это заплатят?»

Я снисходительно, хотя и не без смущения объяснил ему, что наша страна еще не подписала Женевскую конвенцию об авторских правах и поэтому вряд ли стоит рассчитывать на гонорар в твердой валюте. Конечно, если он, Пеле, приедет в Союз, там можно будет организовать ему небольшое вспомоществование в рублях, которое, правда, необходимо будет истратить до возвращения на родину, точнее говоря, до пересечения госграницы в Шереметьеве на обратном пути. Но, с другой стороны, добавил я, мы тоже не претендуем на оплату издающихся за границей наших песен, книг и прочих творческих опусов. Пожалуйста, можешь сколько угодно издавать тут, в Бразилии, диски нашего знаменитого Иосифа Кобзона, и весь навар будет твой...

Король был практичен, но не жаден. И обладал чувством юмора. Поэтому он похлопал меня по плечу, поблагодарил, сказал, что в ближайшее время вряд ли сможет заняться изданием в Бразилии советских песен, и выразил надежду, что, продавая в далекой, заснеженной, покрытой льдами России его песни, я рано или поздно стану миллионером. После этого он попросил один голубой кругозоровский диск на память. Я, естественно, вручил ему этот подарок под злое сопение оттесненных на второй план бразильских коллег-конкурентов. Профессиональная зависть и ревность не помешали им, однако, сообщить на следующий же день в своих газетах и журналах об этом жесточайшем национальном позоре, об ударе по престижу Бразилии вообще и бразильской журналистики в особенности: «Первую пластинку Короля издали не мы, а русские. Да еще умудрились не заплатить ему за это ни гроша. И он сумел со своим традиционным „файр-плэем“ простить им это чудовищное посягательство на его законные авторские права...»

В тот вечер я уходил с «Мараканы» усталый и счастливый. Как может быть счастлив человек, сделавший очень трудную и важную

работу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Лузитания» счастливая и несчастная



— Каждому человеку предназначено судьбой совершить что-то такое, чтобы люди потом вспоминали... — философствует изрядно подвыпивший мулат Зека, худой и костлявый старик, отличный плотник, обычно молчаливый и сосредоточенный и, наверное, именно потому — такой говорливый после обязательного вечернего стаканчика.

— О тебе-то, может быть, и вспомнят, — говорит его собеседник, молодой, крепко сбитый негр. — Вся Санта-Марта на твоих табуретках сидит. И пока табуретки не переломаются, мы тебя не забудем. А что люди вспомнят об мне? Скажи: что? Если утром я подмел улицу, так к вечеру она уже снова грязная... А что я могу еще?

Зека внимательно смотрит на негра и, собрав с усилием морщины на лбу, ищет какой-то убедительный аргумент. А негр не хочет ждать, он требует ответа немедленно.

— Нет, ты скажи: что я могу? Прямо сейчас и скажи...

Философский спор этот повторяется каждый вечер под нестройный аккомпанемент разных споров и разговоров, под мерное журчание голосов за другими столиками, под добродушное

позевывание старого пса Арлекина, лежащего под стойкой, под разрывающие душу романсы Вандерлея Кардозо, истекающие из подвешенного на стену транзисторного приемника «Филипс», под уютное шипение сковородки за грязной занавеской и звон игральные костей, бросаемых в тарелку, под пронзительный скрежет тормозов и раздраженные автомобильные гудки на ближнем углу, где светофор давно уже не работает, а поставленный вместо светофора регулировщиком движения полицейский сержант Союза предпочитает не торчать среди машин, а отдохнуть здесь, в задымленной и уютной «Лузитании».

Вообще-то на вывеске над входом поначалу значилось: «Фелис Лузитания», то есть «Счастливая Лузитания». Но когда-то давно щит со словом «Фелис» отвалился. Остался только второй — с «Лузитанией». Старый Педро увидел в этом перст судьбы и не стал тратиться на ремонт. И уже бог знает сколько лет некогда «Счастливая Лузитания» так и оставалась просто «Лузитанией». Без всякого там «Фелис». И в этом была своя горькая сермяжная правда: о каком «счастье» может идти речь применительно к такому заведению, как ботекин?

Поясню, что «ботекин» — это маленький бар, народное кафе, кабачок, словом, заведение, которое мы, русские люди, называли кратким и точным словом «забегаловка». Но «ботекин» — это типично бразильское заведение, я бы даже сказал «явление». О нем написаны сотни статей и даже социологических исследований. Бессмысленно искать аналогии между бразильским «ботекином», парижским «бистро», лондонским «пабом» или московским «пивным залом». Потому что ботекин — это ботекин... Это, пожалуй, самое типичное прибежище простого бразильского люда, огонек в холодной ночи для маленького человека, который приходит сюда не столько для того, чтобы выпить пива или кофе, сколько ради человеческого тепла, общения, ради иллюзии своей нужности кому-то другому, пускай случайному собеседнику, оказавшемуся в этот вечер за твоим столиком или рядом с тобой у стойки. Ботекинов в Рио — тысячи. Или десятки тысяч. Они буквально на каждой улице, еще чаще — в переулках, глухих тупиках. И различаются не столько названиями и размерами (в большинстве своем это тесные щели), не столько ассортиментом напитков или закусок (они всюду одинаковы), сколько атмосферой, стихийно возникающей в каждом из них, неписаными, но свято

почитаемыми традициями, индивидуальностью хозяина заведения и, конечно же, составом, характером и уровнем постоянной клиентуры.

Находящаяся в нескольких кварталах от нашего «Сан-Жорже» «Лузитания» могла быть отнесена к категории самых заурядных ботекинов Рио. Вот уже три десятка лет ее основатель и хозяин португалец Старый Педро поддерживал свое заведение ценой героических усилий и полной самоотреченности. Задолго до начала второй мировой войны, покидая отчужденную землю, он поклялся сколотить капитал и преуспевающим героем возвратиться домой.

Но эти планы рухнули, когда еще не началась война. Старый Педро понял, что ни разбогатеть, ни возвратиться домой не удастся. Он женился на бразильянке, прожил с ней десять лет. Потом она вместе с сыном уехала от него. С годами житейские планы Старого Педро стали куда более скромными и соотношенными с суровой действительностью: дожить остаток дней, раз уж не суждено в достатке, то хотя бы не в крайней нищете.

Все мы, кто посещал «Лузитанию», знали историю нашего доброго, молчаливого хозяина, хотя никто никогда не расспрашивал старика о его жизни, ни высказывал ему вслух сочувствия. Во-первых, потому, что у каждого клиента «Лузитании» были свои проблемы, свои несчастья и свои головные боли. А в ботекин люди ходят не для того, чтобы говорить о них, а для того, чтобы о них забыть. А во-вторых, никто не говорил о несчастной жизни Старого Педро, потому что стоит ли вообще об этом говорить? Ведь нет в Рио ни одного ботекина, хозяин которого был бы не то чтобы счастлив, а хотя бы доволен своей судьбой.

Находилась «Лузитания», как я уже сказал, в нескольких кварталах от «Сан-Жорже», в одном из переулков, идущих от улицы Сан-Клементе к подножию невысокой горы Санта-Марта. Если смотреть из окон нашей квартиры на одиннадцатом этаже «Сан-Жорже», Санта-Марта видна, как говорят фотографы, на переднем плане. Холм этот слегка напоминает первую, ближайшую к заливу Ботафого, волну горной гряды, опоясывающей все центральные и южные районы города и увенчанной 700-метровым Корковадо с фигурой Христа. Все эти геотопографические подробности привожу не случайно: на склонах Санта-Марты размещалась тогда одна из самых больших в Рио фавел. И большая часть ее обитателей избрала именно «Лузитанию» Старого

Педро местом своего вечернего отдыха и традиционного «батепано», так называется у кариок задушевный разговор, которым лучше всего наслаждаться именно в таком месте, как «Лузитания».

И тут пришло время рассказать, как выглядит этот ботекин. По сути дела, он представляет собой длинную узкую щель в стене дома, без окон и дверей. На ночь она задергивается сверху вниз железной шторой, а днем, когда жалюзи поднимаются, проходим, чтобы попасть в «Лузитанию», не нужно отворять дверь, не нужно опасаться споткнуться о порог. Шаг в сторону с тротуара — и ты уже в ботекине, где слева по стене — высокая стойка, а вдоль правой стены — полдюжины крохотных столиков с пластиковым (легче смахивать остатки трапезы и пролитые напитки) покрытием и тремя грубо сколоченными стульями вокруг каждого стола. Именно тремя стульями, ибо четвертой своей стороной каждый стол прислонен к стене. На высокой черной доске, стоящей у входа, мелом начертан нехитрый ассортимент закусок, которые стряпает за деревянной перегородкой старая нега (так зовут в Рио негритянок) Лурдес, выполняющая в «Лузитании» обязанности кухарки, официантки, уборщицы и экономки Старого Педро. А сам он всегда за стойкой с тряпкой в руке принимает заказы, варит кофе, смахивает пивную пену со стойки на усеянный окурками пол, покрикивает на Лурдес, получает деньги, отсчитывает сдачу, подкручивает регулятор громкости висящего на стене транзистора, чтобы убавить (когда передают выпуск международных новостей) или прибавить (когда начинается футбольный репортаж) звук. За спиной Старого Педро на полках — галерея бутылок, в основном тростниковой водки кашасы: «Прайанинья», «Агуа Велья» и «Агуарденте», и пива: «Брама» с традиционными красно-черными этикетками, «Скол» — с золотистыми, «Антарктика» — с голубыми. Несколько бутылок красного столового вина «Санге де Бой», что означает «Кровь быка», с темно-красными этикетками, запечатлевшими улыбающегося джентльмена в парике и старинном камзоле, стоят на самых верхних полках: вино посетители «Лузитании» почти никогда не просят. Там же, наверху, — бутылка жинжи — португальской вишневой наливки «Эспинейра», напоминающей Старому Педро о далекой родине.

На одном краю стойки установлен кособокий и засиженный мухами стеклянный шкафчик, в котором виднеются крохотные

бутерброды с сыром и ветчиной, палочки поджаренной трески и пирожки с мясом. На друбельности: во многих ботекинах кофе либо варится вручную, либо вообще не подается. Старый Педро установил кофеварку не случайно. Точно рассчитав стратегически важную позицию «Лузитании» между фавелой Санта-Марта и набережной Ботафого, неподалеку от универмага «Сиерс», стадиона «Флуминенсе», аргентинского посольства и капеллы «Носса сеньора Пьедаде», он надеялся иметь более разнообразную, чем в большинстве ботекинов, клиентуру. Так оно и вышло: «Лузитания» не только стала прибежищем нищих обитателей Санта-Марты, но и привлекла более солидную публику. Презрев незримые социальные перегородки, за стойкой Старого Педро встречались лифтер из отеля «Плаза-Копакабана» Флавио и сеу Жоакин из ДОПСа, плотник Зека, спускавшийся в «Лузитанию» из Санта-Марты, и капитан Америко Гимараес, который, возвращаясь домой из военной академии «Агульяс Неграс», тоже не прочь был заглянуть к Старому Педро. Туда частенько наведывались и мы с Ариэлом. И именно там познакомился я с еще одним, пожалуй, самым известным завсегдаем «Лузитании» — знаменитым фельетонистом и хроникером, репортером и писателем Сержио Порто, который не раз вылавливал в беседах завсегдаев этого симпатичного кабачка идеи и сюжеты своих репортажей, анекдотов, рассказов и хроник.

Иногда туда заглядывал даже сеньор Карвальяэс, наш сосед по «Сан-Жорже», торговавший недвижимостью. Его влек в «Лузитанию» профессиональный интерес: в губернаторской канцелярии высиживался тогда план так называемой «урбанизации» Санта-Марты. Это означало, что обитателей фавелы переселят куда-нибудь за город, подальше. А бараки и лачуги фавелы, намозолившие глаза обитателям «чистых» кварталов Ботафого, снесут и освободившуюся территорию застроят либо многоквартирными домами для более платежеспособной публики, либо виллами для миллионеров. Осведомленный об этих проектах сеньор Карвальяэс кружил над Санта-Мартой как предвкушающий поживу стервятник урубу: «Лузитания» была для него местом сбора информации о положении дел в Санта-Марте и настроениях ее обитателей накануне предполагавшихся операций.

А вот сеньора Перейру, владельца туристской конторы «Рио-Мар», я в «Лузитании» не видел ни разу. Видимо, где-то на уровне

Карвальяэса и Перейры проходила граница между теми, кто еще мог позволить себе выпить чашку кофе в заурядном ботекине, и теми, кто уже никак не мог опуститься до уровня клиентов Старого Педро. Впрочем, бог с ним, с этим снобом сеньором Перейрой! Не хочет он наведываться в ботекин, тем хуже для него. Тем меньше радостей будет в его жизни. Для большинства же демократически настроенных обитателей «Сан-Жорже» и окрестных кварталов Ботафого такие заведения, как «Лузитания», служили желанным местом частых, чуть ли ни ежедневных встреч. И в задымленной, пропитанной пряным ароматом кофе, кислым духом пива и пронзительным запахом кашасы «Лузитания» царила атмосфера взаимного уважения и доверительности. Алкоголиков в «Лузитании» не было: их не терпели и избавлялись от них быстро и безболезненно, подвергая единодушному и сплоченному остракизму. И мне казалось, что, если не учитывать содержимого кошелеков, то единственное заметное там, в «Лузитании», различие между теми, кто спустился к Старому Педро со склонов Санта-Марты, и теми, кто пришел в ботекин из «Сан-Жорже», заключалось в том, что Флавио, Зека да и сам Старый Педро называли друг друга словами «приятель», «амиго», «компаньеро», «кумпатре», а к остальным посетителям они обращались с почтительным «сеньор» или «доктор», с ударением на последнем слоге: «доктór». Такое обращение не имеет ничего общего с медициной. Никто из клиентов Старого Педро не предполагал, что сеньор Карвальяэс, Ариэл или я являемся врачами. Просто-напросто слово «доктор» употребляется в Бразилии при обращении к людям образованным и грамотным, к чиновникам и вообще всем, кто стоит на социальной лестнице ступенькой выше своего собеседника. А полностью забыть о существовании этой социальной лестницы все-таки невозможно даже в доверительной и сердечной беседе у Старого Педро.

Если торговец недвижимостью доктор Карвальяэс или штурман дальнего плавания Томас Роша находились на верхней ступеньке социальной лестницы «Лузитании», то в самом ее низу можно было бы поместить постоянно дежурившего со своими нехитрыми принадлежностями у входа в ботекин чистильщика башмаков Эскуриньо: темнокожего мальчишку лет двенадцати. С особым удовольствием расскажу об этом удивительном, всеми любимом существе.

Мы сидим с Сержио Порто за столиком, который Старый Педро выставил на тротуар, потягиваем «Браму» и наблюдаем, как Эскуриньо обрабатывает очередного клиента, изнемогающего от жары толстяка в голубом костюме с зеленым чемоданчиком-кейсом модели «Самсонайт», остановившегося в нерешительности поблизости и, видимо, размышляющего про себя: «А не выпить ли, черт возьми, и мне холодного пивка?»

— Почистим башмаки, сеньор доктор?

— Ну, давай!

— Хотите с песней или без песни?

— А какая, собственно говоря, разница?

— С песней, конечно, будет немного подороже.

— Это почему же?

— Дополнительная плата: за музыкальное обслуживание.

«Сеньор доктор» оглушительно хохочет. Смех у него судорожный и истеричный, похожий на рыдание. Отсмеявшись, он присаживается за соседний столик, приветствует меня и Сержио учтивым кивком головы и показывает Старому Педро на пальцах, что ему требуется стакан пива. Эскуриньо усаживается перед ним на корточках, бережно водружает правую ногу клиента на свой ящик, откидывает крышку, достает щетки, гуталин, бархотку. Одновременно он налаживает с клиентом контакт и делает это с почтительностью без подобострастия и с дружеской фамильярностью без панибратства:

— Как там ситуация на Ближнем Востоке, сеньор доктор?

— Что?!

— Не слышали: Израиль не собирается снова напасть на арабов?

— А тебе-то что до этого за дело?

— А как же: если опять там начнется война, цены на нефть подскочат.

— Ну и что?

— Как что? Мой гуталин подорожает. Он же делается из нефти.

Сеньор доктор снова раздражается хохотом-плачем, взмахивая руками, словно цапля, приготовившаяся к взлету. Отсмеявшись, он поворачивается к нам и показывает взглядом: «Ну и грамотей же мне попался!»

Мы улыбаемся, мы давно уже знаем Эскуриньо, балагура и весельчака, эрудита и философа, с детских лет усвоившего нехитрую

премудрость: веселый клиент — это добрый клиент. А добрый клиент — это щедрый клиент. Конечно, бывают и исключения, но в большинстве случаев теория срабатывает, и в ящик Эскуриньо падает чуть больше монет, чем перепадает его конкурентам, которых не так уж мало по соседству.

— Ну а как же песня? — спрашивает, пригубив пиво, толстяк. — Ты же обещал мне музыкальное обслуживание.

— Будьте спокойны, сеньор доктор, — говорит Эскуриньо, намазывая башмак клиента гуталином. — У нас обслуживание не только музыкальное, но и отличное. Нужно, однако, решить вопрос с репертуаром.

— В каком смысле?

— Вы должны сказать мне, что именно хотите услышать: самбу или американскую песню?

— Какая разница: пой, что хочешь.

— Я просто предупреждаю, сеньор доктор, чтобы потом вы не были в претензии, не обиделись на меня.

— А за что я на тебя должен обижаться?

— Ну а как же: американская песня будет подороже. Я же пою ее на американском языке.

...Пока сеньор доктор рыдает в очередной раз, Старый Педро, руководствуясь принципом «куй железо, пока горячо», подсовывает ему еще один стакан пива. Мы любуемся Эскуриньо: он умеет не только балагурить, он и работает артистично и весело. Под ритмичную песню щетки так и порхают в его руках, и в башмаках клиента уже отражается клонящееся к вершине Санта-Марты солнце.

Сержио Порто рассказывает мне, что недавно Эскуриньо пригласили на телевидение: один из режиссеров, почистив у парня башмаки и познакомившись с «музыкальным обслуживанием» Эскуриньо, решил, что его можно попытаться включить в вечернее музыкальное шоу, ведущим которого, кстати сказать, был сам Сержио Порто и которое было посвящено в основном бразильской народной музыке. Разве это и в самом деле не трогательно: бразильский Робертино Лоретти в живописных лохмотьях с ящиком для чистки обуви в руках поет карнавальную самбу?

— В назначенный день, — рассказывает Сержио, — Эскуриньо появился в студии: никакого ящика, никаких лохмотьев. Белая рубаха,

костюм, галстук.

— Да ты что, Эскуриньо? Зачем ты вырядился?

— А что? Сегодня я не на службе, поэтому решил прийти без спецодежды. В штатском.

— А галстук зачем?

— Вы думаете, что я не знаю правил этикета?

— Ну ладно, решили мы с режиссером, — говорит Сержио, — одеть, как положено чистильщику обуви, мы его оденем, ящик со щетками найдем...

— А какой тебе нужен аккомпанемент; куики с тамбурином будет достаточно?

— Нет, мне нужен оркестр.

— Какой еще оркестр?

— Как положено: барабан, трубы, саксофоны, скрипки и рояль.

— Какие скрипки? Какой рояль? Ты что собираешься петь?

— «Ай лав ю», стало быть: «Я тебя люблю!» Моего собственного сочинения.

— Это что: самба?

— Нет, это рок-баллада, — снисходительно пояснил Эскуриньо. — В стиле «кантри». По мотивам Фрэнка Синатры...

Эскуриньо с треском выставили за дверь студии, и на следующий день он конфиденциально сообщал очередному клиенту:

— Жизнь артиста очень трудна. Из-за этого никак не решусь перейти на телевидение. Уж больно там зверская конкуренция, много зависти и интриг. Настоящему таланту негде развернуться и показать себя.

Я слушаю рассказ Сержио Порто и наблюдаю, как ловко завершает чистку башмаков поклонник Фрэнка Синатры. Толстяк доволен, он треплет Эскуриньо по голове и бросает ему монету.

— Простите, сеньор доктор, но нужно еще столько же.

— Почему? Ты же, черт возьми, пел самбу, а не американскую песню, которая дороже?

— Нет, дело не в музыке. Разве вы не читали сегодня в газетах о девальвации крузейро на два с половиной процента?

— Ну и что?

— Инфляция, сеньор доктор, экономический кризис... И я как представитель свободного предпринимательства вынужден защищаться

от обесценивания нашей валюты.

Толстяк уходит. Его место занимает Паула. По пути на работу она всегда заглядывает к Старому Педро, чтобы пропустить рюмочку кайпериньи и кафезиньо. Багровое громадное солнце медленно, словно не желая расставаться с Рио в такой чудесный тихий день, заползает за спину Христа на Корковадо. Его раскинутые руки защищают утомленное светило.

Вечер как-то сразу, вдруг падает на Ботафого, погружая в густую тень раскидистые мангейры в садах особняков на улице Дона Мариана и редкие отравленные автомобильным газом пальмы на автостраде, огибающей залив. Вечер... Время страстей и желаний. И самых душевных бесед. И самых глубокомысленных философских дискуссий за столиками и за стойками бесчисленных баров, кафе и ботекинов Рио.

Главными темами бесед в «Лузитании» были футбол, погода и карнавал. Футбол — потому что это вообще главная национальная тема, о которой с одинаково бурной страстью спорят и в министерских кабинетах, и в бараках Санта-Марты. Что касается погоды, то эта тема в Бразилии уже не столь общепринята. Жильцов здания «Шопен» капризы погоды волнуют только с точки зрения перспектив отдыха в субботу и воскресенье: будет погода, можно отправляться на пляж. Обещаны дожди — в этом случае планируется дружеское застолье где-нибудь в «Антониос» или «Фиорентине». Совсем иное дело — обитатели Санта-Марты, которой повторяющиеся каждую зиму в январе — феврале немилосердные тропические ливни наносят тяжелый урон. В шестьдесят седьмом году, помнится, ливни были особенно жестокими. В соседнем с Ботафого квартале Ларанжейрас потоки воды повлекли гигантский оползень, похоронивший несколько особняков и пятиэтажное здание на улице Белисарио Тавора. Из нескольких десятков жителей спаслись пятеро. А тела большинства даже не смогли откопать. Поэтому в «Лузитании» о погоде говорили много, но в основном летом, когда Санта-Марта засыпала по вечерам с мыслью о том: «А все ли из нас проснутся утром в добром здравии и на своих постелях?»

А карнавал был в ботекине «Лузитания» столь же популярной темой, как и футбол. Потому, во-первых, что в Бразилии в любом месте, где собираются больше трех человек, разговор рано или поздно зайдет

о карнавале. И потому, во-вторых, что почти все обитатели Санта-Марты участвовали в одной из самых известных в Рио школ самбы, которая вот уже два с лишним десятилетия существовала в этой фавеле и называлась «Академикос де Санта-Марта», то есть «Академики из Санта-Марты». Естественно, для большинства «академиков» «Лузитания» была любимым местом встречи, и за стойкой Старого Педро собирались по вечерам многие самые известные фигуры этого странного и романтического мира, именуемого «школа самбы». Каждый из них достоин не только упоминаний в этих моих записках-воспоминаниях, но и подробного рассказа. Даже отдельной книги. Но, увы, такое предприятие мне не по силам, поэтому ограничусь лишь беглым перечислением некоторых наиболее ярких звезд Санта-Марты и завсегдатаев «Лузитании», с которыми удалось познакомиться, а иногда даже и подружиться, чем я особенно горжусь. И эта гордость понятна и оправданна, если учесть, что для них я был чужак, иностранец, «сеньор доктор». Тем приятнее сознавать, что этот «чужак» смог в какой-то степени завоевать их доверие и даже дружбу, что при появлении русского журналиста в «Лузитании» никогда не смолкали споры и никогда не отворачивались лица. И именно с помощью этих людей мне удалось войти в мир карнавала, постичь его законы, проникнуться его атмосферой и даже заболеть обычной для каждого бразильца, но неведомой для «сеньоров докторов» предкарнавальной лихорадкой и жадным ожиданием победы. Потому что нет в жизни бразильца (я имею в виду подавляющее большинство простых сынов этой земли) большей радости, чем победа на карнавале, и нет большего горя, чем неудача их школы самбы.

...Чувствую, что читатель уже начинает постепенно раздражаться: из-за обилия не совсем понятных терминов, необъясненных названий и имен. И предвижу раздраженные, но вполне закономерные вопросы. Что означает, например, «победа на карнавале»? Разве карнавал — это спортивное состязание? Или, к примеру, что такое «школа самбы»? Вуз или учебное заведение низшего звена?

Да, читатель, вы правы: прежде чем представить вам «академиков» из Санта-Марты и рассказать о трагедии, которая потрясла их и раскрыла всю сложность, драматизм и полифонию человеческих отношений в мире бразильской фавелы, необходимо сделать некоторые пояснения. Они помогут войти в курс дела, освоить и понять

специальную терминологию, без которой просто невозможно продолжать рассказ. Словом, предлагаю вам небольшой информационный экскурс в историю и теорию бразильского карнавала. «Истории», впрочем, будет не очень много. А теории — и того меньше.

Опустим описание карнавала столетней давности, участники которого развлекались в основном обрызгиванием друг друга водой, случалось, не слишком чистой. Не будем вдаваться в детали карнаваловых шествий начала XX века, чинно двигавшихся под мелодичные звуки вальсов и полек по узенькой улочке Оувидор в центре Рио. Пускай седовласые поэты и восторженные почитатели старины, с умилением смахивая слезу, вспоминают увитые белыми лентами экипажи, с барышнями в кринолинах и кружевах, осыпающими серпантинном и конфетти напوماженных гимназистов. Нас интересует лишь последний этап многовековой истории карнавала, начинающийся в середине 20-х годов нашего века после возникновения печально знаменитых фавел и рождения школ самбы.

Что такое «фавела» — знают все. Эти скопища убогих лачуг и грязных бараков появились в Рио уже в начале XX века, когда тысячи бедняков, в основном негров и мулатов, хлынули в столицу из пораженных засухой северо-восточных штатов страны, спасаясь от голодной смерти. На склонах гор и холмов, рассекавших город на отдельные районы, иммигранты облюбовывали для своих бараков места, достаточно близкие от богатых кварталов Рио (где обитатели фавел искали себе работу в качестве дворников, прачек, сторожей, служанок, мойщиков машин) и достаточно мало интересующие городские власти. Расползавшийся по берегу океана город в то время еще жил по принципу «умный в гору не пойдет» и не обращал внимания на холмы, где трудно было строить дома и заниматься урбанизацией, где не было воды и невозможно было наладить канализационную систему. Поэтому-то их безнадзорные склоны и становились приютом бедняков. Именно там и родилась бразильская самба — зажигательный ритм, впитавший в себя страстность ритуальных танцев Африки — колыбели негритянской культуры. Именно там, в фавелах, возникли первые школы самбы — народные клубы, объединявшие любителей петь и танцевать самбу.

И тут возникает вопрос: откуда появилось это парадоксальное (если учесть, что участники этих клубов в большинстве своем

неграмотны) название «школы самбы»? На этот счет существует несколько версий. Одну из них рассказал мне Жоан Салданья, знаток не только футбола, но и карнавальных традиций.

— В то время, когда самба только-только появлялась, она считалась чем-то предосудительным. А содружества ее любителей рассматривались чуть ли не как сборища хулиганов. Поэтому любители самбы, возвращаясь с таких ежевечерних «сходок», в ответ на вопросы «где был?», «что делал?» отшучивались: «Мы были в школе, понял? Почему вечером? Потому что бедняк днем работает и только вечером может учиться».

Так и привилось название «школа» к этим шумным, безалаберным сборищам, сумевшим преобразить добропорядочный чиновничий карнавал вальсов и полек в яростное состязание и непримиримый спор, возобновляющийся с новой силой каждый год. В «праздник инстинктов, когда все социальные и прочие различия отброшены прочь и растоптаны веселящимся народом», как сказал о нем шведский писатель Артур Лундквист. В «ежегодно празднуемое бракосочетание Бразилии и Африки, культ смешения черной крови невольников, белой крови европейских эмигрантов и фиолетовой крови индейцев. Реванш черной крови, навязывающей другим свой ритм и свой жар уже самим фактом своего присутствия» — так писал француз Пьер Рондьер. В «один из величайших спектаклей народного искусства», как его назвал американский журнал «Лайф». Или в «коллективную истерию, размах и накал которой не имеют ничего подобного в целом мире», как его охарактеризовал французский журнал «Пари-матч».

Впрочем, бразильский врач-психиатр Давид Акштейн придерживается несколько иной точки зрения. Если «Пари-матч» сравнивает карнавал с разгулом истерии, то Акштейн, выступая на конгрессе психосоматической медицины в Париже, наоборот, отнес его к числу весьма действенных средств лечения нервного истощения и неврозов. Своему несколько необычному методу «лечения самбой» профессор Акштейн придумал даже специальное наименование, которое уже одним своим размером отменяет всякие сомнения в эффективности этой лечебной процедуры: «Терпсихоретрасотерапия»... Открытие доктора Акштейна произвело на меня такое впечатление, что, рискуя показаться назойливым, я

рассказываю о нем в каждой своей статье и книжке, если речь в ней заходит о бразильском карнавале.

Но если оставить в стороне теорию и обратиться к практике, то как можно ответить на вопрос: что же это все-таки такое — бразильский карнавал?

Карнавал в Бразилии — это не просто праздник. И даже не «любимая традиция»: традицию чтут, потому что так полагается, потому что так поступали отцы и деды, потому что к этому привыкли. А карнавал — это нечто такое, без чего просто невозможно жить.

Карнавал — это неотъемлемая особенность самой природы человека, который считает себя бразильцем. В жизни многих из них карнавал занимает даже более важное место, чем футбол. Финальный матч на первенство Рио-де-Жанейро может перевернуть город вверх тормашками, но на «Маракану» отправятся 100–150 тысяч из 5 миллионов кариок. Не стану утверждать, что на карнавал выходят все пять миллионов, но, наблюдая пять карнавалов, я каждый раз убеждался, что в городе в эти сумасшедшие дни не остается ни одного человека, которого карнавал так или иначе не коснулся бы. Даже те немногие представители «чистой публики», которые демонстративно отрицают эту «вакханалию черни», благословляют карнавал, ибо он дает им четыре выходных дня и благодатную возможность сбежать на это время за город.

Карнавал проходит в неделю, которая предшествует «великому посту» по католическому церковному календарю. Длится он почти четверо суток подряд, начинаясь во второй половине дня в субботу и заканчиваясь в пять утра в ночь со вторника на среду. На эти четыре дня нормальная жизнь в Рио, да и во всей стране останавливается: запираются банки, газетные киоски и публичные дома, останавливаются типографские машины и розыгрыши футбольных чемпионатов, гаснут огни светофоров и зажигаются вдохновением сердца музыкантов. Чиновники, весь год изнемогавшие в пиджаках, галстуках и накрахмаленных сорочках, надевают старые шорты и обувают стоптанные шлепанцы. А обитатели фавел, весь год расхаживающие в шортах и шлепанцах, наряжаются в сверкающие галунами дворянские камзолы и напудренные парики и заполняют центральный проспект Рио-авениду Президента Варгаса, которая, впрочем, зовется в народе фамильярно и ласково: «Авенида». (Позднее

центр карнавала переместился с авениды Варгаса на авениду Маркес де Сапукаи, где в 1984 году по проекту Оскара Нимейера был выстроен роскошный «самбадром» с бетонными трибунами, но от перемены мест слагаемых сумма карнавального действия не изменилась.)

В эти дни белые дети остаются без своих черных нянек, никто не метет улицы, не молится богу, не рассуждает о политике и не чистит башмаки. Радостно подсчитывают выручку продавцы мороженого и грустно считают убытки владельцы кинотеатров. Солдаты убегают в самоволки, автобусы меняют свои маршруты, под грохот барабанов со звоном разбиваются пивные бокалы и со слезами — девичьи сердца, реки шампанского пенятся, как прибой на Кобакабане, а ее опустевший пляж становится тихим и чистым, как обитель монахов-францисканцев на горе Святого Антония.

Массу сладостных хлопот и волнений доставляет карнавал моим соседям по «Сан-Жорже». Сеньор Перейра еще за полгода до первых карнавальных балов развивает лихорадочную деятельность: его контора «Рио-Мар» ведет переговоры сразу с несколькими туристскими фирмами США и Западной Европы, организуя туры, сколачивая группы, утверждая программы, резервируя места в отелях и согласовывая расписание авиарейсов. Марилене с подругами забрасывают учебники и целиком погружаются в сладостные заботы по изготовлению карнавальных костюмов. Портнихе Марии-Фернанде глубоко чужды предкарнавальная суета и лихорадка, она ни разу не участвовала в карнавальных балах или шествиях, но и она с удовлетворением втягивается в предкарнавальный водоворот, принимая заказы на костюмы и платья и с удовлетворением констатируя, что ее заработки накануне карнавала заметно растут. Еще более лихорадочную деятельность развивают в предкарнавальные недели и карнавальные дни Марчело и его волосатые сподвижники из «Рокс-э-Бокс». Музыкантам в это время года раздолье, они нарасхват, и те из них, кто, как Марчело, энергичнее и оборотистее своих соперников и конкурентов, умудряются очень неплохо заработать.

Но будем объективны и признаем, что для подавляющего большинства бразильцев вообще и обитателей «Сан-Жорже», в частности, карнавал — это просто праздник, разрывающий фейерверком восторга монотонность их повседневной жизни. Они не связывают с ним никаких хитроумных финансовых комбинаций или

планов повышения материального благосостояния. Еще месяца за два до заветной субботы Ариэл Палма взволнованно предвкушает ночные вылазки в карнавальные клубы, где всегда может подвернуться «шанс» в виде темпераментной мулатки, спрятавшейся под черной маской. «Балерина» Паула тоже будет одной из самых активных участниц карнавальных балов. Три дня и четыре ночи непрерывных танцев, плясок и беготни — это очень важный и необходимый этап в ее непрекращающейся героической борьбе за сохранение фигуры, что для нее является вопросом особой важности, учитывая ее профессию «балерины» стриптиза. Уборщик Жоан в это время года заметно ослабляет свое служебное рвение, пропадая по вечерам на репетиционной площадке «академиков». По этой причине полы в «Сан-Жорже» перестают блестеть, окна покрываются пылью, портейро Браз рвет и мечет, грозит выгнать Жоана, но в конце концов смиряется, узнав, что Жоану в предстоящем карнавальном шествии поручена ответственная роль знаменитого гангстера Лампиана. Но едва ли не больше всех радуется карнавалу продавец газет Лоретти: в карнавальные дни он получит единственный в году двухдневный отпуск, закрыв свой киоск на понедельник и вторник.

А сеньор Жоакин — вы помните его: полицейский из ДОПСа? — является, вероятно, единственным из моих соседей, кому карнавал не доставляет радости и не приносит отдыха: маскируясь под веселящегося обывателя, он вместе со своими соратниками-однополчанами будет наблюдать за тем, чтобы праздник удерживался в строго утвержденных начальством параметрах благонадежности и порядка. Нет, он не будет разнимать драчунов: для этого имеется менее квалифицированный персонал. Сеньор Жоакин будет прислушиваться к песням, дабы не проскочила в карнавальном шуме какая-либо подрывная мелодия, и присматриваться к маскам, чтобы воспрепятствовать непочтительному изображению и высмеиванию властей.

Ну а для негров и мулатов «Санта-Марты» приближение карнавала означает нечто неизмеримо более важное, чем для нас, «сеньоров» и «докторов» из «Сан-Жорже». И это хорошо заметно по тому, как преобразается в эти недели «Лузитания». Даже Эскуриньо изгоняет из своего репертуара иноземные мотивы и мелодии, и его щетки работают исключительно в ритме самбы. Карнавал становится главной, а затем и

единственной темой жарких споров и доверительных бесед за стойкой или столиками ботекина, и каждый, кто забегает к Старому Педро, чтобы выпить «кафезиньо» или купить сигарет, сразу же оказывается в курсе всех проблем и забот «Санта-Марты».

Даже сейчас, когда я вспоминаю все это с высоты моего уже солидного «карнавального опыта», после того, как выслушал многочасовые рассказы о карнавале Сержио Порто, Албино Пинеиро, Сержио Кабрала и других знатоков и хранителей карнавальных традиций, да и сам не раз окунался в водовороты карнавальной самбы, меня при слове «карнавал» все еще охватывает нервный трепет и азартная дрожь. А представьте себе, каково было знакомиться с этим впервые! С каким изумлением узнавал я, например, что молчаливый Флавио, скромный лифтер из отеля «Плаза-Копакабана», которому я сам когда-то, в первый день моего пребывания в Рио, вручал чаевые, оказался всемогущим и всеми уважаемым казначеем «академиков», контролером и распорядителем многотысячного бюджета школы самбы, слагающегося из бесчисленных ручейков доброхотных даяний десятков тысяч жителей фавелы и всех ее поклонников и болельщиков. А молчаливый и сосредоточенный плотник Зека, который буквально за какие-то два дня смастерил детскую площадку во дворе «Сан-Жорже» с качелями, песочницами, скамейками и горками, был, оказывается, руководителем оркестра «академиков». Или, как объяснил мне Сержио Порто, «шефом батареи». «Шеф» — означает и по-португальски «начальник», а что касается «батарей», то читатель, видимо, уже понял, что применительно к карнавальному оркестру этот артиллерийский термин является наиболее точным.

Президентом «академиков» был знаменитый на весь город — его имя упоминалось в газетах не реже, чем фамилия губернатора Неграо де Лима — Натан, старый негр, громадный, как Поль Робсон, и веселый, как Луи Армстронг, был президентом школы самбы «Академикос де Санта-Марта», то есть руководителем, отцом и наставником практически всех обитателей Санта-Марты, всех «академиков» и их болельщиков, пассистов (так зовутся мужчины, танцующие самбу) и каброшас (так называют женщин-самбисток) от самой юной каброши Терезиньи до седовласого патриарха пассистов Дамиана, который хранил на своей спине рубцы от плеток хозяина-рабовладельца еще до отмены рабства в восемьдесят девятом году

прошлого века, но до сих пор продолжал каждый год выходить на Авениду.

Вспоминаю, с каким интересом всматривался я в этих людей, слушая их споры, волновался вместе с ними по мере приближения открывающей карнавал субботы.

С каждым днем страсти накалялись все больше и больше, «Лузитания» буквально кипела новостями, и за вынесенными на тротуар столиками все реже слышались анекдоты и все чаще бурлили трагедии и разыгрывались драмы. Ибо каждый карнавал — это не только и не столько веселье, сколько драма. Хотя бы потому, что никогда не удается подготовиться в срок, никогда не хватает средств на костюмы и наряды, на маски и декорации, которые, кстати, называются «аллегориями».

И в этом ежегодно повторяющемся водовороте страстей, больших и маленьких трагедий, обид, разочарований, неудач случаются иногда потрясения, которые навсегда входят в карнавальный эпос и о которых десятилетия спустя будут с трепетом и со слезами на глазах вспоминать и рассказывать потомки Флавио, Натана и Зеки. Об одной из таких драматических историй и пойдет речь в следующей главе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Эти четыре дня



Очень хорошо помню, как все это началось. И как Сержио Порто сказал, что такое могло случаться только в этот день: пятница да еще 13-е число! Поскольку с утра все с тревогой ждали каких-то бед, понимая, что пятница в 13-й день месяца обязательно сулит неприятности, никто в первое мгновение даже не ужаснулся, когда в сизом от табачного дыма воздухе «Лузитании» повисла фраза, разом обрубившая все споры, разговоры, звон кассового аппарата за стойкой и даже шипение сковородок с пиццами на кухне у Лурдес:

— Дудуку разбил паралич, и он не выйдет на Авениду.

Это сказал, облизнув сухие губы, Зека, только что вернувшийся в ботекин Старого Педро с заседания президенсии, обсуждавшей последние детали предстоящего «дефиле» — шествия школ самбы.

Гробовая тишина, воцарившаяся в кабачке после этой фразы, лишь подчеркнула трагизм ситуации. Она продолжалась несколько секунд, потом раздался смятенный голос Силвии: «Нет, этого не может быть!»...

И только тут до сознания каждого из тех, кто сидел за столиками, стоял у стойки, читал газету, потягивал пиво, кто минуту назад спорил о вчерашнем матче «Фламенго» и «Васко», заполнял талоны футбольной лотереи или ругал городские власти за плохую работу водопровода, дошел страшный смысл известия, принесенного Зекой.

Если Дудука не будет послезавтра участвовать в карнавальном дефиле школ самбы, то это означает, что «Академикос де Санта-Марта» обречена на неминуемое поражение. А может быть, об этом невозможно было подумать хотя бы на секунду — и на переход в будущем году во вторую группу!..

Сорокадевятилетний Дудука — знаменитый на весь Рио местре-зала — в глазах обитателей «Санта-Марты» и клиентов «Лузитании» был такой же легендарной фигурой, как король футбола Пеле, королева самбы Элза Соарес или знаменитый сержант службы спасателей Манозл Боржес, навечно вошедший в историю за спасение утопавшего в коварных водах Копакабаны в 1920 году бельгийского короля Альберта. Потому что если за последние два десятка карнавалов «Лузитания» четырежды праздновала победу «академиков», то львиная доля заслуги принадлежала тут, конечно же, Дудуке. Вот уже 23 года подряд его участие в карнавальных дефиле гарантировало в бюллетенях судьи, оценивающего выступление местре-зала, верную «десятку». О Дудуке писали не только в газетах и туристских путеводителях, но и во всех научных работах по истории карнавала. Посмотреть на его предкарнавальные репетиции приезжали солистки Муниципального театра и гостившие в Рио звезды московского «Большого балета».

Этот самый выдающийся из церемонийместеров школ обладал удивительно отточенной техникой. Его эволюции отличались такой неповторимой элегантностью, столь утонченным благородством поз, совершенной грацией прыжков и стремительной скоростью вращений, что какой-то убеленный сединой французский теоретик балета, посетивший однажды репетиционную площадку «Санта-Марты», захлебываясь от восторга, сравнивал его на страницах «Фигаро» с молодым Нижинским и зрелым Фокиным.

Вот кто такой был этот Дудука, седой, сухой, невзрачный мулат, которого все мы привыкли видеть за стойкой Старого Педро с неизменно робкой, извиняющейся улыбкой на губах и стаканом пива в никогда не отмывающейся добела руке. По своей основной профессии Дудука был мусорщиком. И именно на загородной свалке, во время разгрузки грузовика с утилем, собранным на улице Сен-Клементе, Дудуку хватил паралич в этот — будь он четырежды неладен! — день:

за сутки до начала карнавала и за двое суток до старта главной карнавальской схватки — дефиле школ самбы.

— Доктор сказал, что если Дудука и встанет на ноги, то не раньше, чем через полгода. Но будет ходить на костылях...

Ботекин молчал, слушая падающие в тишину слова Зеки. Эскуриньо растерянно выронил сапожную щетку. Плакала Силвия, теребя на груди заветный амулет: коричневую фигу на серебряной цепочке, которая, по убеждению бразильцев, должна приносить счастье, но вот, поди ж ты... Угрюмо сопел у стойки Старого Педро полицейский сержант Соуза. Дряхлый пес Арлекин, забравшийся под умывальник, равнодушно искал блох в свалывшейся пегой шерсти. Он был спокоен, ибо не понимал, что отсутствие Дудуки на параде школ самбы неумолимо влекло за собой поражение «Академиков Санта-Марты», поскольку Дудука был лучшим местре-зала Рио, и его эволюции всегда считались главным украшением дефиле «академиков».

Тут нужно, видимо, пояснить, что, ведя порта-бандейру — девушку, несущую знамя школы, местре-зала задает ритм, темп и настроение остальным участникам шествия. Эта задача под силу только опытному мастеру. Такому, как Дудука. Репетировавшему весь год с батареей, с порта-бандейрой, с отдельными звеньями школы, с пассистами и каброшами.

И теперь все пошло прахом...

Во всяком случае, именно так казалось в ту минуту всем, кто слушал сбивчивый рассказ Зеки, который сам никак не мог до конца поверить в то, что говорил.

Слезы, горе и причитания, жалобы на судьбу и проклятья еще долго потрясали бы стены «Лузитании», если бы Флавио не ударил кулаком по стойке и не сказал: «Хватит!..»

Флавио уважали и побаивались. Побоялись потому, что знали: он имеет самый меткий в «Санта-Марте» револьвер, хотя никто не помнил, чтобы Флавио пускал его в дело. Уважали за преданность футбольному клубу «Фламенго» и «Санта-Марте» и за то, что добрую половину чаевых, зарабатываемых в «Плазе», он вкладывал в тощую кассу «Санта-Марты», как, впрочем, и Натан, и все три вице-президента, и остальные члены президенсии, все директора департаментов, композиторы и художники школы, пассисты и каброши, словом, все болельщики «Санта-Марты», все, кто выходит на Авениду и кто

остается в рядах зрителей, болея за свою школу с такой же страстью и болью, с какой страдает и ликует торсида «Фламенго» на трибунах «Мараканы». Флавио уважали за все это и еще за умение хладнокровно и быстро разобраться в самой сложной ситуации. Вот и сейчас, ударив кулаком по стойке, он сказал именно то, чего все ждали, что все хотели услышать:

— Мы все равно должны победить! И посвятить эту победу Дудуке.

Он сказал это, как отрубил. И в «Лузитании» воцарилась тишина. Во взглядах людей этих, в глазах, где еще блестели слезы, я увидел сначала недоверие и сомнение, которые быстро сменились надеждой, уверенностью и восторгом.

О Флавио! Что с нами было бы, если бы тебя не было! В конце концов в мире нет ничего невозможного. Флавио прав: о болезни Дудуки завтра узнает весь Рио. «Мангейра», «Портела», «Империио Серрано» и остальные школы сразу же сбросят «Санта-Марту» со счетов. Перестанут считать достойным противником. Будут бороться друг с другом, не обращая внимания на «академиков». И если поднапрячься? Если постараться? Это будет самая сенсационная победа в истории карнавалов, которую «Санта-Марта» посвятит своему великому местре-зала, лежащему сейчас на койке, одинокому, страдающему.

...Всю ночь заседала президенсия школы. Всю ночь не гасли огоньки в окнах бараков, расползшихся по зеленому склону горы Санта-Марта. Женщины гладили карнавальные платья. Музыканты в который раз перетягивали кожу на больших барабанах — сурдос, и до блеска чистили тарелки — пратос — и колокольчики аго-го.

Вышедшие на рассвете газеты с сожалением писали о болезни Дудуки, утверждая в один голос, что «Санта-Марта», конечно, не поднимется теперь выше пятого места и что основной спор за первенство развернется между «Мангейрой» и «Портелой».

Когда солнце уже поднялось над заливом Гуанабара и в переулках Синеландии раздались мерные удары барабана «Бола-Прета» — клуба, который по неписаной, но свято соблюдаемой традиции открывает карнавал своим шествием в субботу утром, президенсия «Санта-Марты» решила, что вместо Дудуки на авениду выйдет Жулиньо, один из его учеников, которого прочили на роль местре-зала лет так через

пять-шесть. Спустя еще полчаса Жулиньо вместе с членами президенсии подымался по скользкой крутой тропе на самый верх Санта-Марты к лачуге Дудуки.

Наследник традиций Фокина и Нижинского лежал, повернувшись лицом к стене, если можно, конечно, назвать стеной кусок жести, защищающий его ложе от сырых северных ветров. Дудуке не хотелось видеть солнце и слышать человеческий голос. Строгий лик покровителя Рио — святого Себастьяна, вырезанный из журнала «Крузейро» и прилепленный пластырем над его лежанкой, равнодушно глядел сквозь открытую дверь на далекую желтую полосу пляжа, на котором Дудука ни разу не был и теперь, видно, так и не побывает.

— Слушай, Дудука, — сказал хриплым голосом Натан, теребя в руках старую фетровую шляпу. — Завтра вместо тебя пойдет Жулиньо. Мы привели его, чтобы ты благословил парня.

...И тут я должен честно признаться, что для описания последующей сцены, для рассказа о том, что чувствовал в эти минуты Дудука и что творилось в душе Жулиньо, у меня просто-напросто не хватает слов. Я не берусь за это дело, ибо чувствую, что не смогу передать весь драматизм ситуации, тем более что сам я не присутствовал при этом благословении нового местре-зала «Санта-Марты», я знаю обо всем этом только по рассказу Рауля. Того самого Рауля, который посвящал меня полгода назад в секреты конкурса «Мисс Бразилия», а теперь, в ожидании следующего конкурса, он «делал», выражаясь его языком, очередной карнавал. Болезнь Дудуки была, как я уже сказал, главной сенсацией, а Рауль как один из самых глубоких знатоков и толкователей карнавальных традиций оказался одним из немногих репортеров, убежденных, что «Санта-Марта» без боя оружия не сложит. Поэтому Рауль и оказался в тот драматический миг у постели Дудуки. Поэтому он посвятил Дудуке и его подвигам на Авениде громадную статью. Поэтому и я, предупрежденный Раулем, с таким нетерпением и волнением ожидал в воскресенье вечером начала дефиле.

Вот его, это дефиле, я опишу действительно со знанием дела, ибо я там был, я все это видел, пережил и прочувствовал. А в нашем журналистском деле следует писать только о том, что видел, что хорошо знаешь, что сам, как говорится, пощупал собственными руками.

Авенида Президента Варгаса замерла в ожидании дефиле школ самбы. Весь день она бурлила ажиотажем. С раннего утра сотни больших и маленьких карнавальных блоков уже прошагали по ней свой традиционный маршрут: от храма Канделария до здания военного министерства. Около шести вечера полиция перекрыла доступ на Авениду, и опустевшая широкая полоса раскаленного бетона, вздохнув, казалось, с облегчением, приготовилась к самому тяжкому испытанию. Вокруг Канделарии глухо рокотали барабаны. Там уже выстраивалась школа «Унидос де Падре Мигель», открывающая дефиле, однако растянувшиеся на километр деревянные архибанкады, выстроенные специально для карнавала по обеим сторонам Авениды, не были еще заполнены даже наполовину. Лишь на самой дорожке, крытой трибуне против кабин телевидения и губернаторской ложи, беспокойно ерзали несколько тысяч туристов: американцев, французов, испанцев. Эти грингос не знали, что начало дефиле всегда неизбежно запаздывает часа на полтора или на два и что открывают его две самые слабые школы, переведенные по итогам прошлогоднего карнавала из второй группы в первую. И что поэтому главные события развернутся лишь после полуночи. Точнее говоря, на рассвете, когда пойдут «Мангейра», «Портела» и другие фавориты. Ничего этого грингос не знали, и ровно в назначенный для начала дефиле час — в шесть вечера — они уже галдели на своей самой дорожке архибанкаде, с удивлением разглядывая пустую авениду, с прохаживающимися по бетонной мостовой полицейскими, редкими еще в этот час фоторепортерами и бесчисленными чиновниками из «Секретарии де туризмо».

Даже ложа прессы практически пуста. Рауль, вновь взявший над собой шефство, убеждал меня не появляться раньше девяти часов вечера. Но я хотел увидеть не только кульминацию, не только дефиле лучших школ, но и приготовление и вообще — все от начала до конца, и поэтому, зная, на что иду, запасся терпением и бутербродами.

Лишь где-то около половины восьмого, когда багрянец заката упал на серый купол Канделарии и густая тень зданий перечеркнула пустую Авениду, истомившиеся туристы заметили, что она начинает оживать. Вспыхнули и погасли прожекторы: это телевизионщики ставили свет. Из репродукторов заструилась музыка. Взревели и пронеслись полицейские мотоциклы. Засверкали вспышки репортерских блицев, высвечивая губернаторскую ложу, в которой появился невысокий

сидящий сеньор, воплощение спокойствия, величия и уверенности в собственной непогрешимости. Поклонившись приветствовавшим его зрителям и передав, не глядя, шляпу стоявшему за его спиной адъютанту, губернатор опустился в обшитое красным бархатом кресло, словно на пьедестал мраморного памятника самому себе. В соседнем кресле столь же величаво утвердился гость губернатора — долговязый, напоминающий французского комика Фернанделя американский посол в Бразилии Чарльз Элбрик.

Снова взревели полицейские мотоциклы, очищая Авениду от просочившихся сквозь полицейские цепи зевак, из репродукторов грянул гимн Рио — «Сидаде маравильоза», и в начале проспекта — у подножия Канделарии показалась небольшая колонна автомашин.

На переднем открытом «джипе» красовалась плотненькая веселая мулаточка в красном «бикини» с лентой «Королева карнавала» через плечо. Рядом с ней — два веселых толстяка в расшитых блестками и галунами мундирах с коронами на головах, опоясанные зелеными лентами, на которых белой и золотой вязью вышиты слова: «Гражданин Самба» и «Король Момо».

Кланяясь, улыбаясь и помахивая руками, они проехали, сопровождаемые колонной флагов и транспарантов, после чего Авенида вновь затихла. Прошло еще полчаса, и когда кое-кто из притомившихся грингос уже собрался покидать архибанкаду, браня себя за опрометчивое решение приехать на этот беспорядочный и непонятный карнавал, из репродукторов, словно прорвав плотину, хлынул, затопив Авениду, грохот батареи «Унидос де Падре Мигель». Дефиле началось!..

«Сайта-Марта», которой по жеребьевке достался предпоследний — девятый номер, обязана была выйти на исходный рубеж у Канделарии к трем часам ночи, построиться для начала шествия в пять и начать дефиле в шесть часов утра. Исходя из этого, президенсия разработала свое расписание, по которому школа собиралась в районе «Лузитании» в девять вечера, в полночь проводилась проверка готовности и начиналась погрузка декораций — «аллегорий» на грузовики, арендованные у находящейся неподалеку мебельной фабрики «Санта-Витория», где работал Зека и добрая четверть мужского состава школы. В половине второго ночи погрузка была закончена, и школа двинулась к месту сбора у Канделарии.

Разумеется, как всегда, график дефиле не выдерживался. Зелено-белая колонна «Империи Серрано», которая должна была начать шествие в девять вечера, вышла на Авениду в половине двенадцатого. Один из главных фаворитов — бело-голубая «Портела» со своими тремя тысячами пассистов и каброшас вместо половины одиннадцатого вечера двинулась в три часа, когда на посветлевшем заднике неба начали все четче прорисовываться округленные купол и башенки пока еще черной Канделарии.

«Портела», кстати сказать, избрала темой своего дефиле-представления защиту Амазонии от посягательств со стороны США. Все то, о чем в последние месяцы писали на эту болезную тему газеты, сообщали телевизионные и радиопрограммы, можно было увидеть в костюмах, в «аллегориях», в самбе «Портелы». По Авениде шли рыбаки, добытчики каучука — серингейрос, охотники за алмазами и золотом — гаримпейрос. Были в рядах «Портелы» и несколько Фуллеров и Селигов, символизировавших хищников-янки, проникающих в Амазонию, грабящих ее несметные богатства.

Одна за другой с интервалом в два-три часа уходили школы с линии старта. Пятитысячная розово-зеленая «Мангейра» двинулась, когда было уже совсем светло.

Я сказал «розово-зеленая» «Мангейра», «зелено-белая» «Империя Серрано», «бело-голубая» «Портела»... Дело в том, что по традиции каждая школа самбы, подобно футбольному клубу, всегда использует в своих костюмах и декорациях в качестве доминирующих, преобладающих два цвета, по которым ее и различают болельщики.

Каждая школа выходила на Авениду, словно на поле битвы. Борьба эта началась не сегодня и не вчера. Как это повторяется ежегодно, она вспыхнула на другой день после объявления результатов прошлогоднего дефиле, когда ликовала «Портела», закатив макаронаду на пять тысяч тарелок и выставив бесплатно всем желающим пять бочек пива «Брама», когда бился в истерике президент «Мангейры» Жувенал Лопес, крича, что его школу засудили проходимцы-судьи, подкупленные «Портелой», когда занявшая необычно низкое, восьмое место «Вила Изабел» разожгла в знак траура костры, побросала в них остатки декораций и костюмов, а затем с позором прогнала всю свою президентскую.

Но уже на следующий день после этих восторгов и слез школы начали новый раунд вечной, никогда не утихающей войны. Войны, в которой отсутствуют правила и уставы, нет запрещенного оружия и все средства для достижения победы хороши.

Какие именно средства? Любые!.. Рауль рассказал мне о некоторых из этих хитроумных, иногда даже коварных, а случилось, и болевых приемах. Взять, например, прошлогоднего чемпиона «Портелу»: стремясь закрепить успех и завоевать звание «би-чемпиона», то есть двукратного чемпиона карнавала, она решила на дефиле нынешнего года оснастить руководителей отдельных звеньев и подразделений своей колонны... транзисторными радиопередатчиками, чтобы они могли командовать шествием, поддерживая между собой постоянную связь. «Вила Изабел», горя желанием реабилитировать себя за прошлогоднюю неудачу, решила переманить у «Мангейры» ее знаменитую порта-бандейру. Мулатка Неиде отклонила это заманчивое предложение, несмотря на жгущую сердце обиду на директорию «Мангейры», которая отказалась помочь ей деньгами на обновление карнавального платья после того, как Неиде пришлось все собственные сбережения израсходовать на восстановление своей лачуги, разрушенной жестоким январским наводнением.

«Мангейра» тоже готовилась встретить своих соперников во всеоружии: во-первых, она отпечатала листовки, которые будут сброшены в разгар ее дефиле с крыш небоскребов Авениды. В листовках большими буквами напечатано: «Половина этот! Авениды заполнено торсидой „Мангейры“. Спасибо вам, друзья!» Купив таким образом симпатии зрителей, «Мангейра» не забыла и о настроении судей: она решила в ходе шествия вручить каждому из них по восемнадцатитомному комплекту сочинений писателя Монтейро Лобато, творчеству которого посвящалась самба «розово-зеленых».

Листовки «Мангейры» усыпали Авениду, уже залитую солнцем. А очередь «Санта-Марты» еще не наступила. Почти всю ночь и все утро, ожидая своей очереди на отведенном ей позади Канделярии небольшом пятачке площади Пия Десятого, разминались пассисты и каброшас «Санта-Марты». Разминались около семи часов подряд! Нормального человека после такой «разминки» в лучшем случае неудержимо потянет в постель. А многих придется отправлять в больницу. Но в данном случае речь у нас идет не об обычных людях, а о рвущихся в бой за

звание чемпиона бразильского карнавала «академиках» «Санта-Марта». Видимо, это одна из тех экстремальных ситуаций, когда человеческий организм обнаруживает самые немислимые и невероятные резервы и возможности.



В десять утра, когда тронулась восьмая школа — черно-золотая «Сан-Клементе», усиленный мегафоном голос распорядителя: «„Санта-Марта“ — к построению!», словно искра, упавшая в гигантское бензохранилище, зажег школу предстартовой лихорадкой. Толкаясь и теснясь, она начала выстраиваться рядом с Канделарией. В воздухе повисли крики, шум, ругательства. У доны Марии, наряженной принцессой Изабель, лопнул корсет. Кто-то потерял пряжку от башмака. Отлетело колесо у повозки с аллегорией, изображавшей дворец императора Педро Примейро. Вечные неурядицы, без которых не обходится ни один дефиле. Они всегда обнаруживаются в ту самую минуту, когда дана команда строиться, когда нет уже ни секунды на то, чтобы исправить их, когда кажется, что все пошло прахом, все пропало, и людьми овладевает тупое отчаяние. Но в этот миг звучит

пронзительный свисток Зеки, и в следующее мгновение, повинувшись ему, над буйной, спорящей, негодующей, плачущей и смеющейся колонной вдруг грохотом взрывается оркестр-батарея. Пошла! «Санта-Марта» пошла!.. Пронзительно вскрикнули куики, рассыпались треском реко-реко, озабоченно зачастили тамбурины, ухнули большие барабаны и зашелестели пандейро. Длинная желто-красная колонна школы дрогнула, замерла на секунду, прислушиваясь к ритму, и потекла, заполняя собой серую полосу бетона между трибунами.

«Леди и джентльмены! Мадам и месье! Уважаемые сеньоры, дамы и господа! — звучат из репродукторов на разных языках охрипшие голоса дикторов. — На Авениду выходит школа самбы „Академикос де Санта-Марта“».

Тупо вперяясь в розданные гидами буклеты, немногочисленные обалдевшие после бессонной ночи грингос безуспешно пытаются понять, в чем отличие «Санта-Марты» от восьми уже прошедших школ. А закаленные в карнавальных марафонах кариоки на заполненных до отказа дешевых трибунах, подкрепляющие свои силы ларанжадой, жареными орешками и сушеным картофелем, встречают «академиков» шквалом подбадривающих оваций.

Впереди колонны ползет сколоченный из толстой фанеры, раскрашенный и установленный на самодельной тележке с двумя велосипедными колесами герб школы — громадная золотая арфа с надписью: «Школа самбы „Академикос де Санта-Марта“ приветствует представителей гражданских, военных и религиозных властей, прессу печатную, телевизионную и радио, а также весь народ и просит уступить ей дорогу».

За этой тележкой тяжело ступает президент школы Натан, величественный и гордый, как застывший в бронзе на площади Тирадентиса памятник первому императору Бразилии дону Педро де Алькантара Франсиско Антонио Жоао Карлос Шавьер де Пауло Мигель Рафаэль Жоакин Жозе Гонзага Паскоал Сиприано Серафим де Браганса и Бурбону.

Натан приветствует публику спокойным, уверенным движением поднятой над головой руки. Он действительно велик в эти минуты, старый Натан. В жилах у него, может быть, и не такая голубая кровь, как у Бурбонов, но чувства собственного достоинства наверняка не меньше.

За ним идет шеренга директоров в черных сюртуках и блестящих цилиндрах, равняясь на правофлангового — Флавио, до блеска выбритого, подтянутого, быстрыми движениями снимающего с крахмального манжета сорочки невидимые глазу пылинки.

За величавыми, строгими директорами на Авениду втягиваются шеренги ассистов и каброшас. Как армия делится на дивизии, полки и батальоны, так и многотысячная колонна школы самбы, чтобы быть управляемой в этом бою, делится на «алы» — несколько десятков подразделений со своими экзотическими названиями, со своими руководителями, костюмами, собственной манерой танцевать самбу в рамках общего для всей школы сюжета. Дефиле «Санта-Марты» воплощало в танцах, костюмах и декорациях тему: «Бразилия от Кабрала до наших дней». И шествие каждой алы иллюстрировало определенную главу истории страны. Ала «Золотые крылья» изображала индейцев, приветствующих первооткрывателя этой земли португальца Педро Алвареса Кабрала. Среди них я увидел Старого Педро. Старик, видимо, соблазнился самым дешевым и легким для изготовления костюмом индейца: полотенце вокруг бедер, красная краска на лице и гусиное перо в волосах. Ала «Драгуны Независимости» нарядилась в первых землепроходцев, обследовавших территорию будущей Бразилии. Ала «Дамы и кавалеры из казино „Флуминенсе“» инсценировала историю отмены рабства в стране. Потом шла традиционная для каждой школы большая ала байанок — мулаток и негритянок, наряженных в белоснежные пышные юбки с кринолинами и накрахмаленные кофты. Где-то среди них — пышногрудая Силвия. Взяв из пансионата тринадцатилетнюю дочь Терезинью, Силвия на три дня и четыре ночи карнавала отрешилась от своей тяжелой древнейшей женской профессии и с головой погрузилась в карнавальную водоворот, отдаваясь привычному, но всегда пьянящему чувству восторга и страха. Восторга — понятно от чего. А страха — от сознания того, что «Санта-Марта» может проиграть.

Солнце уже поднялось в зенит, заливая Авениду нарастающей волной зноя. Скоро полдень. Шеренга директоров, равняясь на Флавио, уже дошла до губернаторской ложи, а хвост колонны еще извивается где-то в километре отсюда у подножия Канделарии. Блестят бинокли и объективы кинокамер грингос. Словно орудийные стволы, ощерились телекамеры, крупным планом транслирующие на Европу и Северную

Америку надменную физиономию Флавио со струйками пота, текущими за мокрый воротник сорочки из-под серого от пыли цилиндра. На тротуарах плавится асфальт. Радиокомментаторы с восторгом сообщают, что к двенадцати часам дня уже побиты два рекорда: продолжительности шествия школ и температуры воздуха в полдень карнавального понедельника. Никогда еще за последние сто лет градусник не отмечал к двенадцати часам дня 42 градуса в тени. В тени! Но ведь «Санта-Марта» идет по солнцу...

Уже несколько человек с архибанкад доставлено в близлежащие госпитали и больницы. Гринго попрятали бинокли с запотевшими линзами и прикладывают к вискам мороженое. Где-то в середине колонны падает на горячий бетон дона Мария, исполняющая роль принцессы Изабел. Ее тут же оттаскивают в тень под одно из немногих уцелевших на Авениде деревьев. Визгливый свисток Зеки подстегивает батарею и задает ритм самбе «Санта-Марты». Все горячее, все жарче становится дефиле.

Рауль толкает меня в бок и показывает глазами: «Не прозевай!» Я поворачиваюсь и вижу, как в сопровождении четырех ритмистов — пандейро, тамборина, аго-го и куики — стремительно проходит мимо центральной архибанкады мулатка Араси. Вздвигают от восторга грингос, исторгая поощрительный свист. Телекамеры, словно замороженные невиданным ритмом, ведут свои носы-объективы за почти неразличимым фейерверком ее мелькающих ног. Но никто в тот момент: ни мы с Раулем, ни грингос на трибунах, ни фоторепортеры, нацелившиеся на Араси, ни жадно припавшие к экранам телезрители — не подозревает о том, что босые ноги этой мулатки были сожжены раскаленным бетоном мостовой еще полчаса назад, когда, потеряв в самом начале дефиле одну туфельку, она сбросила, чтобы не терять равновесия, и вторую. Все смотрят на ее ноги. И никто не видит закушенные от страшной боли губы. И тем более никто на трибунах не заметит, как спустя полчаса в конце Авениды Араси со стоном рухнет на траву у памятника герцогу Кашиасу и приложит к кровоточащим черным ступням протянутую кем-то порцию мороженого.

Вновь взвизгивает над Авенидой пронзительный свист Зеки. И еще громче подхватывают «академики» горячий ритм батареи. С неба посыпались листовки. Это сюрприз «Санта-Марты»: она отпечатала текст своей самбы, наняла вертолет, который разбрасывает листовки по

всему городу. И вот уже вся Авенида, весь Рио превращается в миллионный хор, повергающий в экстаз и ужас уцелевших на своей архибанкаде грингос. Весь город подхватывает слова самбы, которую поют Силвия с Терезиньей, и Зека, дирижирующий батареей, и маленький философ Эскуриньо, выписывающий своими черными ногами какие-то немислимые вензеля, и Дамиан, толкающий тележку с изображением императорского дворца в саду Боа-Виста (на что еще может пригодиться этот дряхлый старик, которого все-таки жалко оставить дома!), и дона Мария, уже очнувшаяся в тени и со слезами на глазах следящая, как самая великая, любимая, родная школа впервые за тридцать шесть последних лет проходит по Авениде без доны Марии...

Эту самбу мы сложили
для тебя, моя Бразилия...

Все они — и плачущая дона Мария, и забывшаяся в вихре самбы Силвия, и маленькая Терезинья, и окаменевший против губернаторской ложи Флавио, и неутомимый Эскуриньо, и Старый Педро, придерживающий предательски сползающее полотенце, и свирепо грозящий кулаком какому-то сбившемуся с ритма тамборину Зека, и Дамиан, цепляющийся, чтобы не упасть, за тележку, и все остальные «академики» и болельщики «Санта-Марты» весь год ждали этого часа, как полумертвый от вечного голода батрак всегда засушливого штата Пиауи ждет редкого и скудного дождя. Да что там ждали! Они жили мечтой о победе. Они готовились к ней, как девушка готовится к свадьбе, как футболист готовится к финальному матчу на Кубок мира, музыкант — к премьере, рыбак Сеары — к приходу рыбы. Они по сентаво откладывали свои скудные монеты в сундуки и копилки, чтобы в этот день их карнавальные костюмы — «фантазии» не уступали нарядам других школ. Трижды в неделю после тяжелого трудового дня, после гор выстиранного белья, после километров выметенных улиц и вымытых полов, после тонн грузов, перенесенных на изломанных усталостью спинах, они приходили на репетиционную куадру — площадку у подножия своей фавелы, и репетировали, пели, танцевали до рассвета, когда, наскоро выпив кофе, нужно было снова уходить: женщинам — к новым горам белья, мужчинам — к вновь грязным мостовым и тротуарам, в портовые склады, на бензоколонки, в гаражи,

мастерские и заводские цеха. Год страданий и надежд, которые перечеркнула неожиданная болезнь Дудуки.

Да! А как же новый местре-зала — Жулиньо? Где он?.. На трибунах уже знали о трагедии «Санта-Марты» и нетерпеливо вытягивали шеи туда, в середину колонны, все еще находящейся неподалеку от Канделярии, где в руках порта-бандейры Вильмы колыхалось, наклонялось, описывало круги расшитое золотом знамя «Санта-Марты». Никто не хотел бы сейчас оказаться на месте Жулиньо — так непомерен был лежащий на его плечах груз ответственности. И каждый втайне завидовал ему и хотел бы оказаться на его месте — потому что ни одного местре-зала не ожидала Авенида с таким нетерпением, ни на одного участника дефиле не смотрела она с таким напряженным вниманием, как на Жулиньо. Кто только не прошел за эту долгую ночь и жаркое утро по горячему бетону Авениды, купаясь в благодарных овациях архибанкад: вечная королева самбы певица Элза Соарес и не менее знаменитая самбистка Жижизини из «Мангейры», высекающая, казалось, каблуками искры из мостовой. Трио «Золотой пандейро», выделяющееся со своими инструментами головокружительные трюки. Француженка Аник Малвиль, присоединившаяся к шествию «Салгейро», и поразивший весь город и всю страну своей последней самбой любимец Рио — композитор из «Вила Изабел» Мартиньо да Вила, и трехкратный чемпион мира по футболу, защитник сборной команды страны Брито, лихо работавший с тамборином в батарее «Мангейры». Все они сорвали свою долю оваций, все они заработали свои баллы в судейских бюллетенях, но никого из них не ждали с таким нетерпением и интересом, как долговязого Жулиньо — преемника великого Дудуки... Местре-зала и порта-бандейра идут в середине колонны. И поэтому только тогда, когда вся полуторакилометровая полоса Авениды была заполнена желто-красным потоком «Санта-Марты» и голова колонны уже пересекла линию финиша против здания военного министерства, в самом начале Авениды показались, наконец, Жулиньо и Вильма. Как и каждому участнику дефиле, им предстояло пройти мимо судейских кабин и трибун, мимо полицейских и фоторепортеров, мимо телекамер и губернаторской ложи около полутора километров. Где-то на середине этой дистанции — прямо против серой кабинки с табличкой: «Судья, оценивающий выступление местре-зала и порта-бандейры» — Жулиньо

и Вильма должны выполнить положенные эволюции. Свою обязательную и произвольную программы.

«Не спеши, береги силы!» — строго сказала Вильма, когда они пересекли белую линию старта. «Жу-ли-ньо! Жу-ли-ньо!» — раздалось в тот же миг сквозь грохот сурдо, треск реко-реко и всхлипывание куик на восточном крыле архибанкады: торсида «Санта-Марты» подбадривала новичка. «Спокойно, — снова повторила сквозь зубы Вильма, рассыпая по трибуне воздушные поцелуи. — Спокойно, вспомни, что говорил Дудука».

Да, да! Дудука... Жулиньо вновь услышал его голос, писклявый, словно звучащий с магнитофонной ленты, пущенной с большей, чем положено, скоростью. Повернувшись лицом к стене, словно стесняясь своей немощи, своего предательства, Дудука скрипел хриплым дискантом: «Другие местре-залы начинают дефиле быстро и самбируют без передышки. С самого начала Авениды. И когда подходят к кабине судьи, они уже — без ног. Но так делать ни к чему. Нужно начинать не спеша. Когда выходишь от Канделарии, нужно больше работать руками, а ноги беречь. Поклончик туда, улыбочка сюда. Чтобы не свистели, приходится, конечно, изобразить шажочек, другой. Но не слишком утомляясь. Потом, уже на подходе к судье, маневрируешь больше и больше. Входишь окончательно в ритм. И перед кабиной включаешь мотор, давишь на педаль и выдаешь все сразу: поешь самбу и ногами, и руками, и головой...».

Ах, Дудука, Дудука! Тебе легко было выдавать эти советы, лежа в постели. Когда никто на тебя не смотрит, не гремит батарея, не горят прожектора Авениды. А во время дефиле чего только не случается? Неиде — лучшая порта-бандейра Рио — на ее счету 25 карнавалов в рядах «Мангейры» рассказывала как-то о своем местре-зала Делегадо, который всегда соперничал с Дудукой: «Однажды он умудрился выйти на Авениду, забыв завязать шнурки башмаков. Каждую минуту он мог упасть. И я пошла вокруг него мелким шагом, наклонилась, укрыла знаменем, чтобы он успел незаметно завязать свои шнурки».

Когда газеты напечатали интервью Неиды, Делегадо обиделся и сказал, что она тоже не без греха: «Почему она не рассказала, как однажды во время поклона у нее свалился парик? Если бы мы растерялись, не избежать срама на всю Бразилию, Но я придумал выход: балансируя корпусом, отклонился назад, перегнулся, как

„девочка-каучук“ в цирке, и, почти достав головой мостовую, поднял зубами этот проклятый парик. И все кричали и били в ладоши, решив, что это — наш новый трюк».

Да, от местре-зала и порта-бандейры зависит многое. Вдвоем они дают школе столько же баллов, сколько, например, вся батарея из 300 человек! Сколько все, кто сколачивал и красил аллегии, кто шил фантазии, кто сочинял музыку самбы и придумывал ее слова, кто предложил и разработал сюжет, кто репетировал эволюции, кто добивался гармонии и слаженности всего дефиле.

Вон она: кабина судьи! Жулиньо остороженько, словно невзначай, косит глазом и видит там, внутри, седого сеньора с трубкой в зубах. Раз с трубкой, значит — из господ! Простые люди трубку не курят. Хуже некуда. Жулиньо чувствует дурноту в голове и слабость в ногах. А тут еще этот металлический голос:

«Леди и джентльмены! Мадам и месье! Уважаемые сеньоры, дамы и господа!.. К центральной трибуне приближается местре-зала — церемониймейстер, ведущий порта-бандейру со знаменем школы. Вместо указанного в розданных вам буклетах и программах знаменитого ветерана Дудуки роль местре-зала „Санта-Марты“ исполняет Жулиньо — самый молодой местре-зала Рио-де-Жанейро».

Объективы телекамер послушно поворачиваются, нацеливаясь на Жулиньо и Вильму.словно расстреливая в упор, «Первая — крупный план на ноги Жулиньо! — пищит голос режиссера в наушниках операторов. — Теперь первая камера панорамирует на лицо Жулиньо, вторая — ведет Вильму!» И на экранах телевизоров перед миллионами телезрителей — заинтересованных или равнодушных, улыбающихся, зевающих после бессонной ночи, дремлющих с газетой в руках или затаивших дыхание — возникает крупным планом вымученная улыбка Жулиньо, пытающегося замаскировать панический ужас перед холодными глазами восседающего в кабине судьи.

«Главное — не потерять ритм», — вертится в голове у Жулиньо наставление Дудуки.

«Руку дай, руку!.. — шепчет Вильма сквозь зубы, заканчивая стремительное вращение. — Улыбнись еще раз этому дьяволу с трубкой!»

Жулиньо подхватывает ее, помогая сохранить равновесие, падает на левое колено и плавно ведет вокруг себя. Затем прыжком

подымается на ноги и начинает, сначала не торопясь, а потом все быстрее и быстрее каскад эволюций, которым его вот уже три года обучал Дудука. На архибанкаде раздаются поощрительные аплодисменты. Судья сосет свою трубку с такой кислой физиономией, словно она набита лимонными корками. Или словно ему не нравится Жулиньо.

А позади судейской будки столпились парни и девчонки: родные лица, все из «Санта-Марты». Они шли впереди, и уже закончили дефиле, и теперь вернулись сюда, чтобы подбодрить Жулиньо. И он постепенно успокаивается. Он чувствует, что все идет хорошо. Прыжки и вращения удаются даже лучше, чем на последней репетиции.

«Леди и джентльмены! — вещают репродукторы. — Обратите внимание на хореографию местре-зала. Этот участник дефиле должен обладать выносливостью атлета, ловкостью танцовщика классического балета и утонченностью манер, свойственной дипломатам. Он не имеет права сбиться с ритма, он должен все время изобретать новые па, не теряя при этом контакта со своей партнершей — порта-бандейрой».

...Поворот, еще поворот, прыжок с двойным щелчком башмаков друг о друга, затем стремительное вращение, после которого нужно замереть, не покачнувшись, и через секунду еще раз упасть на колено, после чего Вильма вновь пойдет описывать плавные круги со знаменем, опираясь на его руку, а Жулиньо сможет отдышаться, маскируя отдых помахиванием веера.

Отлично! Он замер, не сдвинувшись ни на миллиметр, как это всегда удавалось Дудуке, упал на колено, смиренно склонив голову перед судьей, все так же равнодушно посасывавшим погасшую трубку. И трибуны взорвались бурей восторгов.

Потом еще около получаса шли последние шеренги «Санта-Марты». Описывала, повинувшись свистку Зеки, свои строгие эволюции батарея. Медленно плыла ала байанок с Сильвией и Терезиньей. Везли последние тележки с аллегориями. Но в редакциях газет, не дожидаясь конца дефиле, уже набирались «шапки» на первые полосы: «Жулиньо потряс Авениду!», «Талантливый преемник Дудуки повергает Рио в экстаз».

После окончания дефиле школ самбы — где-то около полудня в понедельник — карнавал, пройдя экватор, начинает медленно угасать.

Нет, веселья на улицах Рио не убавляется. Наоборот, словно стремясь в оставшиеся сутки насытиться пьянящим карнавальным восторгом, миллионы кариок с какой-то истеричной решимостью вновь бросаются в этот водоворот. Карнавал еще будет жить двое суток, но все же с каждым часом начинает все острее ощущаться приближение рокового рубежа — пяти часов утра в ночь со вторника на среду. Может быть, именно поэтому с такой одержимостью вскипают самбой центральные улицы города: Рио-Бранко, Антонио Карлос и Граса Аранья. На всех перекрестках гремят карнавальные батареи и духовые оркестры. По Авениде, еще не остывшей от жаркого дефиле школ, еще хранящей на бетоне своей мостовой обрывки нарядов, затоптанные в пыль листовки «Мангейры» и «Санта-Марты», вновь идут блоки. Среди них самый знаменитый «Бафо да Онса», что означает «Дыхание ягуара». Это тоже весьма любопытное зрелище: десять тысяч парней и девчонок, одетых в желто-черные пятнистые наряды «ягуаров», треск тысяч деревянных босоножек по бетону мостовой, грохот полутора тысяч барабанов. И во главе «Бафо да Онса» — грузовик, в кузове которого — гигантская фигура вскинувшегося на задние лапы разъяренного ягуара ростом с двухэтажный дом. Там же, в кузове, — и десяток молодых темпераментных «ягуарих», которые ни на секунду не перестают самбировать. Двигатель грузовика молчит: несколько сот энтузиастов из «Бафо», впрягшись в канаты, тащат его вместе с ягуаром и «ягуарихами». И тащат так, что сидящий в кабине водитель Мигель вынужден время от времени притормаживать.

Это тоже надо было бы показать грингос, но они ничего этого не видят, ибо отсыпаются после дефиле школ, набирая силы для предстоящего сегодня вечером бала в Муниципальном театре, который, если верить путеводителям, считается главным событием карнавального понедельника. Об этом бале тоже ходят легенды, у него есть свои традиции и история, на скрижалях которой выбиты имена великих личностей, почтивших в былые времена его своим присутствием и участием: Джини Лоллобриджиды, Ким Новак, экс-супруги иранского шаха Сореи, наследника династии Круппов и многих иных голливудских, европейских или азиатских знаменитостей.

Бал этот глубоко демократичен: попасть на него может любой желающий, если он, конечно, способен купить входной билет, цена которого в полтора раза превышает среднемесячный заработок

плотника Зеки и вдвое — зарплату разносчика телеграмм Жулиньо. Ну и если быть до конца откровенным, моя корреспондентская зарплата тоже никак не вписывалась в предполагаемую смету расходов, связанных с посещением Муниципального театра. Но мне повезло: Рауль достал бесплатное приглашение. Сам он был аккредитован на балу как спецкор газеты «О журнал». И, обрядившись во взятые напрокат смокинги, мы отправились туда. Не буду подробно описывать это буйство роскоши, показухи и дурного вкуса. После парада школ самбы парад вечерних туалетов и драгоценностей производил впечатление жалкой толкучки. Но несколько беглых штрихов могут дать представление о том, что это такое.

Бал начинается в понедельник в одиннадцать вечера и заканчивается уже во вторник — где-то около шести утра. Всю ночь радио и телевидение ведут репортажи с этого «выдающегося, неповторимого, самого шумного, лучшего в мире, грандиозного и сказочного» карнавального действия. Захлебываясь в океане метафор, запутавшись в джунглях восклицательных знаков, оглушенные собственным красноречием репортеры вываливают в безответный эфир тысячи подробностей, деталей и курьезов этого празднества. Они сообщают о прибывающих на бал разодетых и раздетых кинозвездах, о затянутых в смокинги послах и министрах, о закутанных в сари и увенчанных тюрбанами настоящих и ряженных индусских магараджах и арабских шейхах. О конкурсе карнавальных костюмов, стоимость которых иной раз превышает цену «фольксвагена» или даже «шевроле». С нахальным французским прононсом они оповещают о меню в буфете, которое, конечно же, составлено как в лучших домах Парижа: «Аргентинская дыня с сырокопченой ветчиной», «Индейка по-калифорнийски», «Строгановф-а-ля-рюсс», «Шоколадный мусс с ликером»...

А потом радиокомментаторы прерывают плавное течение репортажа «экстра-сенсацией» о том, что группа весьма почтенных особ, «имена которых мы позволим себе пока не называть», попыталась улизнуть из буфета, не заплатив по счету.

В переполненном зале «Муниисипаля» негде упасть не только яблоку, но даже вишневой косточке: вместо запланированных шести тысяч гостей тут безумствуют десять тысяч. В плотную массу скачущих, орущих, размахивающих руками тел даже вклиниться

невозможно. Поэтому, когда почетный гость губернатора американский посол Чарльз Элбрик соизволил пожелать принять участие в танце, агентам его личной охраны и офицерам бразильской полиции пришлось приложить героические усилия: взявшись за руки, они с трудом очищают в зале небольшой пятак. Спустившийся из ложи чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки входит в центр этого полицейского хора и, робко перебирая негнушимися ногами, пытается изобразить нечто подобное тому, что он видел утром на Авениде в исполнении Жулиньо. Со всех сторон раздаются поощрительные овации кариок, получивших единственное бесплатное удовольствие на этом сверхдорогом балу.

После того как заканчивается бал в Муниципальном театре, карнавал выходит на финишную прямую. Последний день — вторник — проходит быстро. Еще быстрее тает последняя карнавальная ночь. Медленно, нехотя, словно сопротивляясь и борясь, карнавал начинает умирать. Еще трещат реко-реко на горе Мангейра и сиплые голоса в ботекинах горланят самбы, но черное небо над Канделарией уже блекнет, и тяжелое удушье ночи постепенно сменяется теплым утренним бризом.

Еще сверкают салоны клубов, еще гремят оркестры на балах в Ботафого и Ипанеме, на Лебоне и Фламенго. Но с каждой минутой город все явственней погружается в тишину. Уже опустела Авенида, и принялись за работу оранжевые грузовики департамента по очистке улиц. Уже затихает Рио-Бранко, и бессмысленно улыбающиеся физиономии картонных Арлекинов таращат глаза на сотни мулатов и негров, спящих глубоким сном на траве, на скамейках скверов и парков, на ступеньках подъездов, под серыми стенами небоскребов и гранитными пьедесталами памятников, под монументальными, запертыми на самые хитроумные замки дверями страховых контор, правительственных департаментов и банков.

И вот смолкают последние батареи. Где-то у площади Республики еще взвизгивает, словно взывая о помощи, словно умоляя продлить карнавал хотя бы на час, одинокая куика. Потом замолкает и она, и наступает тишина. Впервые за много месяцев вдруг можно услышать щебетание птиц, методичный стук капель, падающих из высохших кранов фонтана на площади Париж, и шелест старой газеты, влекомой ветром по мозаичному тротуару Кобакабаны.

На авениде Рио-Бранко из подвалов старинного здания, украшенного лепными карнизами, слышится глухой стук ротационных машин: там печатается «Журнал до Бразил» — крупнейшая газета Рио, дающая самую подробную информацию о карнавале. В шесть утра в среду в киосках уже лежат высокие пачки газет: «Погибших в эти четыре дня по разным причинам — 107, в том числе преднамеренных убийств — 17. Украденных автомашин — 20, вызовов пожарной команды — 103, вызовов полицейских патрулей — 746, потеряно детей родителями — 17, задержано беспризорников — 74, попыток самоубийства — 22, вызовов „скорой помощи“ — 855, арестовано полицией только в центральной части города 1726 человек». Мнение обозревателя газеты: карнавал был на редкость спокойным.

Да, а самое главное: кто победил в параде школ самбы?!

Результаты карнавальных шествий должны объявить через три дня после окончания карнавала — в пятницу. Вторник, среда, четверг и первая половина пятницы заполнены слухами и прогнозами. Слухи возникают, множатся, расползаются по городу, рождая догадки, споры, сомнения и надежды. В газетах публикуются интервью со специалистами, историками карнавала и ревнителями карнавальными традиций, которые каждый год дружно сокрушаются, что «карнавал нынче не тот», пассисты не те, самбы не те, батареи не те, дефиле не тот... «Вот в наше время это был действительно карнавал». Самые мрачные пессимисты безапелляционно, как это делалось десять, тридцать и сто лет назад, предрекают карнавалу верную, скорую и неминуемую гибель. Всюду — в «Мангейре» и «Санта-Марте», в «Вила-Изабел» и «Портеле» — зачитанные до дыр газеты с репортажами и отчетами о дефиле школ кочуют из рук в руки, из барака в барак. Немногочисленные грамотен читают, водя по строчкам черными мозолистыми пальцами: «„Мангейра“ слишком растянулась во время дефиле и дважды вообще разорвала колонну...»; «„Тижукá“ показала самбу, самую красивую по мелодии, но пела ее не очень синхронно: хвост колонны чуть не на полкуплета отстал от батареи...»; «„Империио Серрано“ вышла на Авеннду не в полном составе: сломались два грузовика, доставлявшие ее батарею к Канделарии...»; «В колонне „Портелы“ было слишком много „чистой публики“». „Ортодоксальные школы считают, что слишком быстрый рост

количества артистов, интеллектуалов и прочих аристократов из богатых кварталов города, принимающих в последнее время участие в дефиле школ, грозит самбе утратой своей подлинности...“. Все без исключения газеты отмечают достоинства дефиле „Санта-Марты“ и приходят к выводу, что Жулиньо с неожиданным успехом заменил заболевшего Дудуку.

Трое суток „Лузитания“ живет только разговорами о предстоящем подсчете голосов. Трое суток толчется народ в старом бараке Дудуки. Силвия лечит его микстурой из коровьей мочи, настоянной на лепестках фламбоянта и сушеных пауках. Ей помогает дона Мария, окуривающая хибару от сглаза и нечистой силы. Каждый из живущих по соседству „академиков“ заглядывает, хотя бы раз в день, в задымленный барак, сообщая радостные слухи о почти неизбежной победе „Санта-Марты“.

— А вдруг нас все-таки засудят? — недоверчиво кряхтит Дамиан. От старика отмахиваются: он мешает слушать, как Эскуриньо читает Дудуке очередное сообщение „Глобо“: „...В кругах, близких к губернаторской канцелярии, победа „Санта-Марты“ рассматривается как почти неизбежная: „академики“ намерены посвятить ее своему заболевшему ветерану — всемирно известному Дудуке“.

Дудука слушает это, отвернувшись к трухлявой стене („все никак не собрался починить, а теперь уже не успею“), чтобы никто не заметил слезу, застывающую в жесткой щетине небритых щек.

В пятницу после полудня сотни негров и мулатов собираются на Авениде перед зданием, где в эти часы должно начаться вскрытие судейских конвертов, подсчет очков и оглашение результатов карнавальных дефиле. Как всегда бывает в таких случаях, церемония затягивается до позднего вечера. Сначала подсчитывают результаты выступлений блоков. Потом, где-то около восьми вечера, чиновники „Секретарии де туризмо“ начинают вскрывать конверты судей школ самбы.

Первым вскрывают конверт, в котором хранились оценки мелодии самб. Он приносит успех „Портеле“ и „Санта-Марте“, получившим по десять баллов. „Мангейра“ заработала девять, „Салгейро“ и „Вила Изабел“ — но восемь. Крики радости и горестные вопли, аплодисменты и негодующий свист сопровождают вскрытие каждого следующего конверта. Истерично рыдает директор батареи „Империи

да Тижука“, услышав, что его музыканты заработали только шесть баллов. Президент „Мангейры“ Жувенал Лопес, хватив кулаком по столу, гордо покидает зал в знак протеста против оскорбительных семи баллов, данных его школе за качество аллегорий.

— Никогда еще „Мангейра“ не испытывала подобного провала, аллегии у них были лучше всех, — возбужденно шепчет Рауль, откручивая пуговицу на моей рубашке.

С каждым новым конвертом страсти накаляются все больше и больше. За окном слышатся цоканье копыт, крики и свист: полиция очищает улицу от сотен болельщиков, пришедших узнать результаты дефиле и организовавших импровизированный карнавал прямо на мостовой. Они мешают автомобильному движению, и поэтому пришла команда разогнать их. Во исполнение приказа усердно работают дубинки. Глухо хлопают гранаты со слезоточивым газом. Какая-то старуха, обмерев от страха, опустилась без сил на асфальт.

Явившаяся на подсчет голосов официальная делегация „Санта-Марты“ наблюдает за побоищем из окна салона, в котором работает „Секретарил де туризмо“.

— Жулиньо! Смотрите — Жулиньо! — кричит Вильма, подтащив к окну Флавио. Они видят, как там, внизу, на улице, усатый сержант ударил Жулиньо, опоздавшего к вскрытию конвертов, дубинкой по голове. Шатаясь, мальчик бежит к ближайшему подъезду, надеясь найти там спасение.

— Спокойно, — говорит Флавио. И отходит от окна. Сейчас нет времени разглядывать уличные баталии. Тем более, что помочь Жулиньо невозможно. Остается последний конверт, в котором лежат оценки за выступление местре-зала и порта-бандейры. Перед его вскрытием „Портела“ и „Санта-Марта“ набрали по 118 очков, „Мангейра“ — 117 и „Салгейро“ — 115. Последний конверт решает все...

Сжав руками голову, словно стремясь выдавить из черепной коробки ноющую боль, Жулиньо сидит на скамейке, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Из-за — будь она проклятой — полиции он так и не добрался до здания, где вскрывались конверты. Он так и не слышал окончательный результат. Но он уже знает, чем это кончилось: по всей Авениде развеваются бело-голубые флаги „Портелы“, под мерный

рокот барабанов текущая по тротуарам толпа с восторгом скандирует: „Пор-те-ла“! „Пор-те-ла“!»

Жулиньо плотно сжал веки: глаза все еще режет от газа, хотя ветер давно уже очистил воздух над Авенидой.

«Пор-те-ла»! «Пор-те-ла»!

«Что сказать Дудуке? Как посмотреть старику в глаза?»

«Пор-те-ла»! «Пор-те-ла»!

Кто-то трогает Жулиньо за плечо. Мальчик поднял голову. Это Вильма. В глазах — слезы. Сзади горбится, сунув руки в карманы, Зека. Рядом с ним — суровый Флавио.

— Этот дьявол с трубкой дал нам с тобой девять баллов, — говорит Вильма, шмыгнув красным от слез носом.

«Пор-те-ла»! «Пор-те-ла»!

Никуда не хочется идти. Ничего не хочется делать.

Не хочется и света белого видеть...

— Мы с Натаном решили попробовать в будущем году новый сюжет, — говорит Флавио, закуривая сигарету. — Будет называться «Легенды и тайны Амазонии». В понедельник собираем президенцию. Будем обсуждать.

Флавио. Никогда не унывающий Флавио. Ты думаешь, что можешь этим утешить? И все-таки, если бы не ты, Флавио, жизнь была бы невыносимой.

Жулиньо встал, обнял Вильму за плечи. Она спрятала лицо у него на груди.

«Пор-те-ла»! «Пор-те-ла»!

— Тебя, Жулиньо, нарядим касиком, — говорит Вильма, пробуя улыбнуться. — А я буду Королевой амазонок.

— Ну вот еще! — сердится Жулиньо. — Это значит, что из меня так и не получился местре-зала? Нет уж, теперь не успокоюсь, пока не получу на следующем дефиле десятку. Вместе с тобой, Вильма. И никаких разговоров о касиках и королевах!

Первые капли дождя упали на горячий асфальт. Прибили пыль.

«Пор-те-ла»! «Пор-те-ла»! — все так же непереносимо гремят барабаны.

— Пошли, — вздохнув, сказал Жулиньо. И, глядя на ликующую торсиду «Портелы», добавил: — Может быть, хоть дождь разгонит их по домам, а?..

Проходит год, и приходит следующий карнавал. Потом другой, третий. Каждый карнавал — это год жизни. Для Бразилии. Для «Санта-Марты». Для «Сан-Жоржи». И, между прочим, для тебя. Где-то на третьем или на четвертом году приходит счастливый момент, когда ты чувствуешь, что освоился наконец в этой стране. Бразильцы начинают принимать тебя за своего, ибо даже акцент в твоей речи пропадает: ты говоришь, совсем как они. И иногда начинает казаться, что ты даже умеешь думать и смотреть на мир их глазами. Если понадобится, конечно...

Идет пятый год. Ты объехал уже почти всю эту землю, экзотическую, ни на что не похожую. Проплыл тысячу миль по Амазонке. Побывал в верховьях реки Шингу, в самом труднодоступном районе сельвы, где обитают индейцы. И по уже хорошо известному закону, чем больше ты узнаешь об этой стране, тем, кажется, меньше ты ее знаешь и тем больше хочется ее познать.

Однако всему приходит конец. И в один прекрасный день из Москвы сообщают, что готовящийся тебе на замену журналист уже получил бразильскую визу и в ближайший вторник прилетит сменять тебя.

Начинается торопливое прощание с Рио. Укладываются чемоданы, наносятся прощальные визиты. Коллеги из клуба иностранной прессы устраивают в твою честь торжественный обед. А остающиеся в «стране пребывания» соотечественники, презирая категорические таможенные правила, спешат вручить тебе пачки писем и посылки для передачи в Москве своим родным и друзьям.

Настает последний день. Торопливо обходишь ты с утра соседей по «Сан-Жоржи». Оставляешь сувениры для Жени и Ариэла. Вручаешь чаевые Бразу и Жоану. Производишь последний расчет с капитаном Америко Гимарашаем. Последний раз заглядываешь в «Лузитанию», где, к твоему жестокому разочарованию, известие о твоем отъезде не вызывает слишком уж бурных эмоций. Его встречают философски. С тобой прощаются, похлопывают по плечу, но чувствуется, что для этих людей ты все-таки так и остался «гринго». Хотя и симпатичным, но чужаком. Тебе были рады, тебя привечали, но оплакивать тебя здесь не будут. У этих людей есть более серьезные заботы.

По дороге в аэропорт жизнь убыстряется, как в старинной чаплинской ленте. Слева — Корковадо, справа — залив Гуанабара. Потом — небоскребы на авениде Рио-Бранко и недолгая лента шоссе до острова Говернадор. Пограничный контроль обрывает последнюю ниточку, связывающую тебя с Бразилией. Фиолетовый штамп в паспорте. Автобус на летном поле. И трап самолета.

Устроившись в кресле, ты уже думаешь о встрече с родиной через двое суток. Прямого рейса до Москвы пока нет. Приходится добираться с пересадкой и с ночевкой в пути.

Самолет набирает высоту, и ты пытаешься представить себе, как тебя встретит Москва. И как друзья станут расспрашивать: «Так что же это за люди — бразильцы? И как они к тебе относились?»

И всякий раз ты будешь отвечать на эти вопросы одним и тем же словом: «Прекрасно!» И будешь говорить, что, по твоему глубочайшему убеждению, трудно найти на земле людей гостеприимнее, общительнее и приветливее бразильцев. И в доказательство этой мысли расскажешь такую историю:

...Я с приятелем потягиваю пиво в случайном баре, куда мы завернули, спасаясь от февральского зноя. Входит какой-то его друг, с которым приятель тут же меня скороговоркой знакомит. Потом приятель куда-то исчезает, и я остаюсь допивать пиво с моим новым знакомым, пытаюсь поддержать ленивую беседу на традиционные для Бразилии темы: о погоде, красивых девушках или вчерашнем футбольном матче. Мой новый друг, имени которого я, кстати сказать, не расслышал, заказывает для меня кофе, через пять минут кофе заказываю я, через десять минут, узнав, что я «болею» за его любимый клуб «Ботафого», он уже берет с меня клятву, что в субботу я с женой приеду к нему на дачу, а еще через двадцать минут, хватая меня за пуговицу и размахивая руками, строит планы совместного путешествия на автомобиле от Рио до реки Арагуая (это около трех тысяч километров), где мы будем ловить каких-то диковинных рыб:

— Я беру отпуск, «джип»-вездеход мне даст дядя. Он живет в Гоянии, до которой мы доберемся либо на самолете, либо на твоей машине. Да! — Он хлопает себя по лбу и вытаскивает записную книжку. — Нужно не забыть гамаки, а то в машине очень неудобно спать. Купи побольше «репелекса» от москитов и не забудь оружие. Что? У тебя нет пистолета?! — Он смотрит на меня с сожалением, но

тут же успокаивающе машет рукой: — Ничего, это не беда. Пистолеты продаются в любой лавке, а разрешение я тебе достану. Это будет стоить двадцатку, которую сунем в полицейском участке...

Я делаю вид, что лезу в карман за кошельком, но он отскакивает от меня, как ужаленный, и, хватаясь за голову, кричит:

— Ни в коем случае! Ты меня оскорбляешь! Это будет мой подарок. Ты только скажи, какой калибр тебе больше по душе, а остальное я беру на себя.

...Через полчаса мы расстаемся закадычными друзьями, обнимаем и похлопываем друг друга по плечам с такой нежностью, как будто уже проделали наше долгое путешествие, отстреливались от хищников и спасали друг друга от объятий питонов и укусов ядовитых «сукури». Или как если бы наш любимый «Ботафого» уже стал чемпионом Рио-де-Жанейро.

Но я знаю, что эти щедрые посулы, вылившиеся с разрывающей душу искренностью из его сердца, будут немедленно забыты. И, встретив меня через неделю где-нибудь на «Маракане» или на пляже Копакабаны, он долго будет морщить лоб, мучительно вспоминая, где он меня видел и кто я такой. А вспомнив, бросится обнимать меня, расспрашивать о здоровье супруги и об очередных полетах советских космонавтов и будет с горечью журить за то, что я не звонил ему все эти дни и не показывался в «нашем» баре, где нас познакомил... Но позвольте, а кто нас, собственно говоря, познакомил? И тут выясняется, что и познакомивший нас его друг никогда не был его другом, а был таким же случайным, как и я, соседом по столику, с которым они однажды разговорились о футболе, а потом встретились где-то еще, а где именно, он уже не помнит...

— Так что же это все-таки за люди — бразильцы?..

Когда пытаюсь ответить на этот вопрос, в памяти возникают десятки и сотни знакомых и дружеских лиц. Оскар Нимейер и Жулиньо из «Санта-Марты», Анизия Фонсека и дона Терезинья, Старый Педро и Пеле, Флавио и Жоржи Амаду... Полюбив эту страну, я очень хочу, чтобы и бразильцы относились к моей стране с такой же симпатией и любовью. И тут же вспоминаю застенчивую, тихую женщину Америк Машадо Силвейра, с которой познакомился однажды в Порту-Алегре. Много лет подряд посылала она в Москву в апреле месяце розы из

своего сада с просьбой положить их в день рождения Владимира Ильича Ленина у его Мавзолея.

— Я была еще маленькой, когда отец впервые рассказал мне о В. И. Ленине и о вашей стране, — рассказывала она. — Я заинтересовалась, начала читать о великом вожде все, что смогла достать. Но у нас, в Бразилии, очень трудно найти книжки о Ленине. И я написала письмо в Москву, на Московское радио. Мне ответили. А когда к столетию со дня рождения В. И. Ленина ваше радио устроило всемирный конкурс радиослушателей, пригласив их рассказать о великом вожде все, что они о нем думают и знают, я решила ответить. Конечно, я не могла прислать научный трактат, я простая женщина и ответила то, что чувствовала всем сердцем: мы любим Ленина и благодарим его за все, что он сделал для нас.

И в дополнение к этому ответу я стала каждый год посылать в Москву по одной розе из моего сада...

— Итак, что же это за люди — бразильцы?

Вновь задумываюсь, размышляю... В памяти послушно всплывает привычный набор полемизирующих друг с другом штампов, которыми пестрят страницы путевых заметок визитеров, побывавших в этой стране.

Бразильцы веселы. Они легко плачут без видимого повода и причин. Бразильцы беззаботны. Эти люди вечно чем-то озабочены. Они умеют хорошо делать свое дело. Они — лодыри, которые живут по формуле: «Никогда не делай сегодня то, что может быть сделано завтра. Или еще лучше, послезавтра. И совсем хорошо — никогда». Эти люди экспансивны. Нет, они равнодушны, им на все наплевать. Они подозрительны и недоверчивы. Это люди, у которых душа нараспашку...

Невероятно, но факт: каждая из взаимоисключающих оценок по своему верна. И ты сотни раз убеждаешься в этом, когда видишь, что бразильцы могут с удивительным энтузиазмом и в рекордно короткие сроки строить самые большие на земле стадионы и спокойно мириться с архаической водопроводной системой в своих городах, периодически оставляющей без воды целые кварталы Рио или Сан-Пауло. Когда замечаешь, что они способны истерически рыдать и рвать на себе волосы после проигрыша любимой команды и со стоической верой в милосердие всевышнего умирать от голода в засушливые годы.

В одном я убежден непоколебимо: бразильцы — это великие жизнелюбы и оптимисты. В самом высоком смысле этого слова. Ибо вряд ли найдется иная нация, сыны которой обладали бы столь неистощимой способностью казаться веселыми в трудную минуту, сытыми — на пустой желудок, захмелевшими — от стакана пива и беззаботными — с пустым кошельком в кармане. И если бы меня все же попросили ответить на вопрос, кто же они такие, эти бразильцы, я сказал бы, что это люди, которые даже в самую тяжкую минуту умеют не терять веры в то, что трудная полоса пройдет и завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний.

...К такому выводу прихожу я в самолете авиакомпании «Эр-Франс», летящем над Атлантикой на высоте одиннадцать километров по маршруту Рио — Париж. Стюардессы уже накормили нас ужином. На небольшом экране гремят выстрелы и визжат автомобильные шины: «Эр-Франс» угощает своих пассажиров подвигами Бельмондо в фильме «Человек из Рио». Я лечу домой, взволнованный предстоящей встречей с Москвой. И не думаю о том, что впереди у меня еще долгие, долгие годы журналистской работы, тысячи встреч и десятки тысяч километров дальних дорог по разным городам и странам по обе стороны экватора.

2 часть

Другие города и страны

«Путешествовать — да, путешествовать, но не только для того, чтобы рассказывать об этом после и, расположившись удобно у очага, говорить друзьям и детям: „И я там был“, — ведь это в большинстве случаев не более чем тщеславие, тщеславие американского парвеню, нью-йоркского бакалейщика или чикагского колбасника; но и затем — и это прежде всего, — чтобы вспоминать и, смакуя наедине с собой воспоминания о чужих краях, пробуждать в себе теплую, согревающую привязанность к уголку, где родился или живешь своим домом».

Мигель де Унамуно, испанский писатель

«Память своевольна, как поэзия. Ей нет дела до одних подробностей, зато другие проступают особенно выпукло. Все зависит от того, какой эмоциональный отзвук вызывает событие или предмет, которого „коснется память: прошлое хранится в сердце“».

Тенниси Уильямс, американский писатель



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
«Спасибо, сеньор Президент!»



Пожалуйста, проходите, — сказал адъютант Президента, открывая дверь в приемную. — Но еще раз напоминаю, что в вашем распоряжении не более пятнадцати минут.

Я поблагодарил адъютанта и проследовал в кабинет. Президента еще не было. У маленького журнального столика, на котором стоял телефон и серая ваза с изящным, подобранным по строгим законам икебаны букетом сухих цветов, сидел на корточках, устанавливая микрофон, техник-связист. Провод уходил в соседнюю комнату к магнитофону, на котором будет фиксироваться интервью. Обитые серой тканью стены и массивные кожаные кресла создавали атмосферу достоинства и спокойствия, какая и должна царить в приемной главы государства. И как бы подчеркивали серьезность проблем, которые здесь обсуждаются.

Я осторожно сел в кресло и снял с плеча портативный диктофон «Филипс».

Буду откровенен: я волновался. Все-таки не каждый день глава государства дает тебе интервью. В данном случае это вообще было первое в моей жизни интервью с Президентом. Честно говоря, я и не надеялся его получить. Прилетев две недели назад из Рио-де-Жанейро в столицу Колумбии Боготу, я, как и положено, явился в правительственный орган, ведающий прессой, — генеральный секретариат министерства коммуникаций, получил там голубенькую

аккредитационную книжечку. После этого направился в президентский дворец и запросил интервью у главы колумбийского государства. Меня приняли с той подчеркнуто нейтральной учтивостью, с которой принято общаться в присутственных местах с представителями зарубежной прессы. Заверили, что просьба моя будет доложена куда следует. Но, разумеется, ничего не обещали. Принимавший меня чиновник, озабоченно поджав губы, сообщил, что расписание рабочего времени сеньора Президента на ближайшие две недели уже весьма уплотнено и поэтому обольщаться не стоит. И все же «на всякий случай» он предложил оставить в письменном виде вопросы, с которыми мне хотелось бы обратиться к «Экселенсии», и приложить к ним свои координаты в Боготе.

Я тут же продиктовал машинистке три вопроса. И сообщил, что найти меня можно в отеле «Текендама». После этого распрощался и покинул президентский дворец с сознанием исполненного долга и с убежденностью, что интервью не состоится. И две недели после этого делал обычную в такого рода поездках журналистскую работу: встречался с чиновниками разных рангов, с местными журналистами, ездил по стране, наносил визиты, знакомился с достопримечательностями, посещал музеи, словом, накапливал материал для будущих репортажей и очерков, которые собирался написать уже в более спокойной обстановке, вернувшись в Рио. Хотя и предчувствовал, что найти время для этой работы будет трудновато, ибо там, в Рио, меня ожидала большая недописанная статья (спасибо Виталию Боровскому за идею!) о «тихой интервенции» США в Амазонии, о массовых скупках американцами земель в штатах Гояс и Мараньяо, о рекордсмене этих закупок Генри Фуллере из Хьюстона, которого бразильская юстиция в конце концов упрятала за решетку, и о не менее наглом дельце Стэнли Амосе Селиге из Индианаполиса, который направил оскорбительное «открытое письмо» бразильским конгрессменам, потребовавшим и его тоже отправить в тюрьму за спекуляцию амазонской землей.

Иногда в этой лихорадочной суете всплывало воспоминание о вопросах, оставленных в президентском дворце, но всякий раз оно быстро исчезало, заливаемое потоком сиюминутных забот. И когда до отлета из Боготы оставалось два дня, вернувшись вечером в «Текендаму», я получил вместе с ключом от номера записку на

фирменном бланке отеля: «Уважаемый сеньор! Вам звонили из дворца Президента и сообщили, что запрошенное Вами интервью назначено на двенадцать часов тридцать минут завтрашнего дня».

подавая мне эту записку, клерк согнулся в куда более низком, чем обычно, поклоне. Еще бы! Не каждый день приходится ему вручать послания из президентского дворца.

И вот теперь я сижу в кабинете Президента, слегка оглушенный этой феноменальной и такой неожиданной удачей, и лихорадочно поправляю галстук. Ибо на смену связисту, установившему микрофон, появился фотограф, сопровождаемый все тем же президентским помощником.

Фотограф подходит ко мне и вполголоса интересуется, куда прислать фотографии. Я называю ему номер своей комнаты в «Текендаме» и добавляю, что уже послезавтра улетаю в Рио, и если это будет возможно, то...

— Не беспокойтесь, — говорит фотограф, — фирма «Фото-Сади» гарантирует отличный сервис: завтра фотографии будут у вас. — Он говорит это и быстренько протягивает визитную карточку с телефоном фирмы «Сади»: 42-2743. — Это на случай, если у вас возникнет необходимость в услугах фотографа.

— Итак, еще раз напоминаю, что в вашем распоряжении — пятнадцать минут, — строго прерывает наш диалог адъютант. — После вас Экселенсия примет в 12.45 президента национальной федерации футбола, тоже на пятнадцать минут, а затем сеньор Президент встречается в 13 часов с американским послом.

Он говорит это и делает шаг назад. Дверь медленно отворяется, и, мягко ступая по толстому ковру, в кабинет входит Президент. Невысокий. Неторопливый. С благородно-высоким лбом и усталым взглядом человека, на плечах которого лежат заботы о судьбах нации. Я встаю и делаю несколько шагов навстречу. Президент достаивает меня слабым пожатием пухлой ладони и садится в свое кресло с высоченной мягкой спинкой. Произнеся заранее заготовленную формулу благодарности, я осторожно опускаюсь в кресло напротив. Вспыхнул «блиц» фотографа. Раз, другой, третий. После этого фотографа в комнате не стало. Вместо него появилась девушка в белом переднике. Она катит перед собой столик, уставленный прохладительными напитками и кофейным сервизом.

Президент предлагает мне кофе и сам берет чашечку, аккуратно размешивая сахар.

— Наш колумбийский кофе, по-моему, не хуже того, к которому вы привыкли там, в Бразилии, — улыбается он. Я не думаю спорить. Я помню, что в моем распоряжении только пятнадцать минут, и умоляюще гляжу на застывшего у дверей адъютанта. Поняв мой взгляд, он поворачивается к девушке, хлопчущей у столика, девушка в то же мгновение исчезает, адъютант выходит, закрыв за собой дверь. Президент достает из коробки сигару, угощает меня, закуривает сам. Потом вздыхает, воззрившись устало на заранее положенный перед ним на столик листок с моими вопросами. Теми самыми, что я оставил для него две недели назад. Я нажимаю кнопку диктофона.

— Итак, если ваша Экселенсия позволит, я напомню, что в первую очередь мне хотелось бы узнать, как вы, сеньор Президент, оцениваете перспективы дальнейшего расширения торговых, экономических и культурных связей между СССР и Колумбией.

Президент кивнул головой. То ли в знак того, что он понял мой вопрос, то ли выражая удовлетворение, что этот вопрос в точности соответствует тому, что зафиксирован на лежащей перед ним бумажке. После паузы Президент заговорил. Он сказал, что его правительство, совсем недавно восстановившее дипломатические отношения с Москвой, преисполнено решимости расширять всесторонние связи, проявляя особый интерес к сфере торговых взаимоотношений. Советский Союз — аккуратный и очень активный партнер. И поскольку колумбийские внешнеторговые связи до сих пор ориентировались в основном на США, некоторая диверсификация в этой области была бы вполне уместной.

...Президент говорил четко, формулировал свои мысли ясно. Это был опытейший политический деятель, экономист, не чуждый писательству. Он писал статьи и книги. Обладал замечательным ораторским даром. Точнее говоря, не «ораторским»: он был не трибуном, который глаголом жжет сердца людей, а собеседником, проникающим в их души.

Дважды видел я его выступающим перед соотечественниками с экрана телевизора. Это были не обычные для главы государства торжественные речи или обращения к стране по коренным вопросам ее бытия. Президент хорошо понимал значение того, что именуется

английским словом «имидж»: он не хотел, чтобы соотечественники относились к нему как к парящему в заоблачных высотах верховному судье, который добру и злу внимает равнодушно. Нет, Президент тщательно лепил образ доброго и мудрого отца нации. Он появлялся на экране в самое выгодное с точки зрения зрительской «аудиенции» время: в восемь пятнадцать вечера. Сразу по обоим каналам: седьмому и девятому. Улыбнувшись душевно телезрителям сквозь толстые роговые очки, он тепло здоровался с ними: «Добрый вечер, дорогие мои друзья...» И потом говорил спокойно и неторопливо о том, что больше всего волновало в те дни его сограждан. О жите-бытье простого человека, о ценах на мясо и арендной плате за квартиру. О видах на урожай кофе и сложностях в работе городского транспорта. Очки Президента светились успокаивающе, голос, как у доброго доктора Айболита, сулил гарантированное избавление от всех страданий и горестей при условии, «если мы с вами, друзья мои, все вместе засучим рукава и будем добросовестно и прилежно трудиться на благо нашей любимой и великой Колумбии».

...Об этом вспомнилось мне, пока Президент отвечал на второй вопрос: о проблемах взаимоотношений латиноамериканских стран вообще и Колумбии в частности с Соединенными Штатами Америки. И о «Союзе ради прогресса» — разработанной администрацией Джона Кеннеди программе экономического сотрудничества США со своими южными соседями.

Формулируя этот вопрос, я в глубине души надеялся услышать из уст моего собеседника хотя бы несколько фраз, которые позволили бы мне телеграфировать в «Последние известия»: «Президент Колумбии выступил с критикой эгоистического внешнеполитического курса Белого дома». Увы, ответ Президента был дипломатичен и сух: отношения его страны с Соединенными Штатами развиваются вполне успешно, а некоторые возникающие в этой области проблемы могут быть успешно решены и уже решаются путем двусторонних консультаций.

Он сказал это, прикоснулся мягкими губами к сигаре и выпустил густое облако дыма, словно отгораживаясь от меня за мою бестактность или, по крайней мере, недостаток хорошего дипломатического воспитания: если уж вам, молодой человек, дают интервью по

вопросам двусторонних отношений, то зачем вы так бесцеремонно устремляетесь в сферу взаимоотношений с третьими странами?

Я почувствовал его неодобрение, покосился на часы, увидел, что до конца отведенного мне времени осталось всего пять с половиной минут, и поспешил задать третий вопрос. Насчет отношения Президента к идеям разрядки и мирного сосуществования государств с различными социально-политическими и экономическими системами. Президент опять посмотрел на бумажку и ответил довольно лаконично: его страна эти идеи разделяет. И лучшим подтверждением тому могут служить успешно развивающиеся советско-колумбийские отношения.

Вот и все... Президент глянул на часы, проглотил остаток кофе, откинулся в кресле и обратил на меня свой усталый, вежливо вопрошающий взгляд. У меня оставались три минуты, даже три с половиной. А на языке вертелся еще один, незапланированный вопрос, который больше всего хотелось бы задать Президенту. Но времени на него уже не было.

Я выключил магнитофон. Пришло время встать, поблагодарить и раскланяться. И, закругляя рандеву, Президент сам задал мне вопрос, который всегда предлагается иностранным гостям:

— Ну как вам понравилась наша Колумбия?..

Что я должен был делать в этой ситуации? Ответить так, как принято отвечать на такие ни к чему не обязывающие фразы: сказать, что, мол, ваша замечательная страна очень понравилась? И в первую очередь вызывает восхищение ее трудолюбивый народ.

...Не знаю, в добрый или не в добрый час, но что-то толкнуло меня под ребро. И я решил дерзнуть. Воспользоваться президентской учтивостью. Я сказал, что страна мне, в общем-то, понравилась. Собираюсь написать о ней большой очерк. Но, понимаете, сеньор Президент, тут возникло одно препятствие чисто психологического характера.

Я заметил, что Президент, уже выключивший молодого советского журналиста из своего сознания, посмотрел на меня с некоторой заинтересованностью.

— Дело в том, — продолжал я, — что мне не удалось найти ответ на главный волновавший меня вопрос, на который лучше Вас, Экселенсия, никто не сможет ответить.

— Я слушаю вас, — сказал Президент.

— Видите ли, — вздохнул я и развел руками, — за те несколько минут, что остались от отведенной мне четверти часа, Ваша Экселенсия, увы, не сможет разъяснить мне то, без чего мой очерк о Колумбии рискует оказаться сугубо поверхностным.

— А в чем, собственно говоря, проблема?.. — спросил Президент и потянулся к пепельнице за сигарой.

И тут — была не была! — я задал моему высокопоставленному собеседнику тот самый главный вопрос, который висел у меня на языке:

— Это сложная проблема, Экселенсия. Я общался с колумбийцами из самых разных социальных слоев: от главы государства (я почтительно склонил голову) до лифтера в отеле, от директора национальной федерации кофепромышленников до крестьянина — сборщика кофе. Но, говоря откровенно, ощущаю, что так и не смог уловить что-то типическое, общее во всех этих людях... Что-то такое, что можно было бы назвать «колумбийским национальным характером». Не знаю, достаточно ли понятно выражаю свою мысль?..

Президент утвердительно покачал головой. Понятно, мол, говори дальше.

— Я более или менее уверенно ориентируюсь в политической ситуации Боготы. Хотя и поверхностно, но успел познакомиться с основными социально-экономическими проблемами Вашей страны, Экселенсия. Падение цен на кофе на мировых рынках и вызванное этим снижение валютных поступлений от экспорта. Проблема иностранного капитала и вывоза прибылей... Аграрная реформа, которую так трудно превратить из лозунга в реальность. Обо всем этом я уже достаточно наслышан. Но, изучая все эти аспекты колумбийской жизни, так и не смог понять главное: что же это такое — «колумбийская нация»? Каковы ее основные черты и приметы? Попросту говоря, чем колумбиец отличается от венесуэльца, эквадорца, перуанца или мексиканца?.. Не зная этого, согласитесь, Экселенсия, очень трудно писать о стране!

Президент внимательно посмотрел на меня. Я прочитал в его глазах нечто большее, чем простое удивление настырностью репортера. Он поднял голову и устремил взгляд в потолок, как это делают шахматисты, просчитывая вперед возможные ходы противника.

За спиной Президента тихо скрипнула дверь. Показался адъютант. Он вопросительно посмотрел на меня. Я отвел глаза в сторону и с повышенным вниманием воззрился на Президента, который ушел в себя, окутавшись клубами дыма, и стал похож на доброго и хлопотливого бога, сотворяющего Адама и Еву на уютной сцене театра Сергея Образцова.

— Интересный вопрос, — сказал Президент. — Интересный вопрос, который не предполагает легкого и однозначного ответа.

Адъютант у дверей продолжал глядеть на меня в упор, а я усиленно делал вид, что не замечаю этого укоризненно вопрошающего взгляда.

— И в самом деле: что такое колумбийцы? — задумчиво произнес Президент. — Мы ведь очень интересная и своеобразная нация. Да, да... Со своим лицом, характером, своим нравом и судьбой.

Президент бережно потрогал кончиком пальца засохшие веточки икебаны, откинулся на спинку кресла, мечтательно воззрился на люстру. И вдруг заговорил. Это уже было не интервью государственного деятеля. Это уже был не монолог политика, пытающегося если не убедить собеседника, то, на худой конец, разъяснить ему свою точку зрения. Это было нечто совсем иное. Президент начал издалека. Он вдруг окунулся в далекую древность. Он говорил о том, что Колумбия прошла долгий и трудный путь. Что в отличие от Мексики, Эквадора или Перу предки этой нации — индейцы чибча-муиски не смогли отстоять от испанских конкистадоров свою этническую цельность, растворились, точнее говоря, были практически поглощены, раздавлены колонизаторами, духовно выродились. Он говорил, что впоследствии сложные демографические процессы привели к этнической чересполосице в современной Колумбии, к формированию в различных районах весьма отличающихся друг от друга пластов населения: андского, антиохийского, прибрежного. И поэтому даже крупнейший этнограф Колумбии Орландо Фалс Борда отказался говорить о колумбийской нации или о «типичном колумбийце» как о чем-то определенном и ярко выраженном.

...Только тут я заметил, что адъютант исчез и дверь кабинета по-прежнему плотно закрыта. Я подлил кока-колы в стакан и осторожно подвинул его Президенту. Он поблагодарил меня быстрым кивком головы, не прерывая своего вдохновенного речитатива. Точнее говоря,

возвышенной импровизации. Я любовался им, и это восхищение даже мешало мне воспринимать суть того, о чем говорил Президент.

А говорил он об интереснейших вещах. О космополитизме креольской элиты и трогательном патриотизме обитателей крошечных селений «пуэблос», затерянных в долине Магдалены или предгорьях Кордильер. О традициях и обычаях крестьян. Об удивительном противоречии, свойственном, может быть, только Колумбии: при всей глубочайшей религиозности этой нации в сельских районах широко, оказывается, распространен институт так называемого «аманьо» — «пробного брака». Когда молодые жених и невеста вступают в свободный союз и несколько лет живут невенчанные, пытаясь скопить деньги на свадьбу. И что самое поразительное: церковь не только не препятствует «аманьос», но даже поощряет их! Хотя случается нередко, что эти «матримониальные экзерсисы», — губы Президента тронула ироническая улыбка, — завершаются плачевно, и матери-одиночки остаются с целым выводком детишек на руках.

...Я украдкой взглянул на часы и с сочувствием подумал о президенте национальной федерации футбола, ожидающем randevu где-то за стеной: рассказ об «аманьос» пришелся как раз на пятнадцатую минуту отведенного ему для встречи с Президентом времени. В этот момент дверь снова тихо отворилась. Возникший в дверном проеме, как статуя Командора, адъютант Его Превосходительства смотрел на меня с нескрываемой яростью. Начиная гореть синим пламенем уже и следующий пункт сегодняшней президентской программы — встреча с американским послом. Поймав возмущенный взгляд президентского помощника, я вздохнул и, чуть заметно пожав плечами, кивнул на Президента, давая понять, что я тут совсем ни при чем. Не могу же я в самом деле прервать главу государства! Он сам знает, что делает, и сам решает, когда закончить встречу.

Дверь снова тихо закрылась. Адъютант исчез. Президент продолжал говорить. Он говорил о крепости родственных связей в колумбийской семье. Об интереснейшем институте кумовства в деревне, где чуть ли не каждый друг другу «компадре», где есть «компадре» — крестный отец, или «компадре первой стрижки волос», или «компадре — сват», или «компадре первой стрижки ногтей».

Потом Президент начал подыматься до высоких социальных обобщений. Он сказал, что одной из характернейших черт колумбийского национального характера является терпимость, вера в незыблемость закона, уважение к власти.

— Наш народ отвергает насильственные решения. По натуре своей мы, колумбийцы, склонны к эволюции, а не к революции. Мы предпочитаем идти к цели не торопясь, как бы приспособиваясь к обстоятельствам, а не ломая их.

...В это мне было крайне трудно поверить. Я уже немного знал и колумбийскую историю с ее постоянными междоусобицами, вспышками насилия, гражданскими войнами, и тем более был знаком с ситуацией, которая складывалась именно в то время, во второй половине 60-х годов: крестьянская республика Маркеталия, партизанские отряды, легендарный священник Камило Торрес, примкнувший к партизанам и павший в схватке с правительственными войсками. Я мог бы напомнить Президенту о том, что спустя всего полтора месяца после своего вступления на пост главы государства он был яростно освистан студентами столичного университета, когда появился там в сопровождении американского мультимиллионера Рокфеллера. Торжественный прием был сорван, и через несколько часов после этого не оправившийся от вспышки ярости Президент издал целую серию декретов, карающих своих соотечественников. Была запрещена деятельность высшего студенческого совета. Национальной службе безопасности поручалось ужесточить надзор за лицами, занимающимися «подрывной деятельностью». Вводились жестокие санкции против организаторов и участников демонстраций и митингов.

...Да, какая уж тут терпимость, вера в незыблемость закона! Но я не стал полемизировать с Президентом: мне было важно не спорить с ним, а выслушать его. И, кроме того, я боялся неосторожной репликой прервать этот полет вдохновения, благодаря которому Президент говорил о том, о чем ни при каких иных обстоятельствах не стал бы рассказывать. А говорил он теперь о кулинарных традициях, литературных привязанностях колумбийцев, народных приметах и многом ином...

Короче говоря, вместо пятнадцати минут аудиенция моя продолжалась более часа. Истинное значение этого события стало понятно в ту минуту, когда, распрощавшись с Президентом и

проследовав мимо молчаливо негодующего адъютанта, я оказался в плотном кольце колумбийских репортеров, аккредитованных при президентском дворце. Коллеги накинулись на меня, пытаясь разорвать на части. Они были заинтригованы до последней степени и жаждали узнать, почему стандартная пятнадцатиминутная президентская беседа с никому не известным журналистом вдруг превратилась в почти полуторачасовое рандеву, из-за которого были отменены и перенесены сразу несколько запрограммированных приемов и встреч, в том числе с американским послом?!

А я, как альбатрос, рассекающий стаю воробьев, двигался неторопливо к выходу, отвечая им, что беседа с Президентом носила сугубо доверительный характер, и поэтому, к глубочайшему своему сожалению, я не считаю себя вправе разглашать ее содержание. При этом физиономия моя хранила выражение многозначительного спокойствия и безмятежности. Прежде чем сесть в машину, я обернулся и нанес коллегам последний удар:

— Сеньоры, вы ведь хорошо знаете самую распространенную поговорку вашей страны: «В Колумбии может случиться все, что угодно, кроме того, что, по всеобщему мнению, должно случиться». Так вот она вполне может быть приложима к характеру и содержанию моей встречи с Президентом: на этой беседе обсуждались абсолютно все вопросы, кроме тех, которые, по вашему мнению, она должна была бы затронуть.

...На следующий день местная пресса была полна догадок относительно загадочного рандеву Президента с русским журналистом. Высказывались самые различные предположения и строились самые смелые гипотезы: о возможности кардинальных корректировок внешнеполитического курса, о заключении торгового соглашения с Москвой. Кто-то из колумбийских коллег задавался вопросом: не скрывается ли за беспрецедентной аудиенцией подготовка межгосударственных контактов на весьма высоких уровнях? Обладающие еще более смелой фантазией комментаторы спрашивали: не привез ли этот таинственный русский секретного послания Президенту из Москвы?

Улетая на следующий день из Боготы в Кито, я тщательно собрал вырезки с этими комментариями и вместе с фотографией: я и Президент, которую прислал-таки в «Текендаму» президентский

фотограф из фирмы «Фото-Сади», положил в чемодан. На память. Я еще не знал тогда, какую помощь эти вырезки и фотографии окажут мне в Эквадоре.

На экваторе в Эквадоре

«Сеньору журналисту Игорю из России с искренним уважением...» Учтиво поклонившись, профессор Умберто Вера вручил мне свою отпечатанную на листке мелованной бумаги поэму, украсив ее изящно выведенным автографом. В этом факте не было ничего необычного. Необычно было то, что, вручая мне поэму, профессор находился в южном полушарии, в то время как я, пожимая ему в знак благодарности руку, стоял в северном. На полу между нами была обозначена черная линия. Она убегала из-под ног, опускалась по ступенькам на улицу, пересекала дорогу под колесами припаркованного у двери «шевроле», а затем взбиралась на бурый обелиск, увенчанный глобусом. Обелиск и глобус тоже были разрезаны этой линией. Не воображаемой, а четко прочерченной линией экватора, рассекающей Анды в 25 километрах от эквадорской столицы Кито.

Экватор... Таинственная линия, делящая земной шар пополам. Пересекающая океаны и континенты. Нет, что ни говорите, оказавшись здесь, трудно оставаться невозмутимым. Кем бы вы ни были — мечтательным романтиком, черствым сухарем или язвительным скептиком, прибыв сюда, вы все равно проделаете обязательный ритуал: поставите одну ногу слева от черты, другую — справа и, фотографируясь в горделивой позе по обе стороны экватора, не без пижонства пофилософствуете о том, как безжалостно разрушает цивилизация романтическую прелесть преодоления океанских просторов и горных хребтов: каких-нибудь двести лет назад экспедиция французского географа Шарля-Мари де ла Кондамина, снаряженная для уточнения действительного местонахождения линии экватора, добиралась сюда несколько месяцев. А сейчас европеец оказывается в этих местах через несколько часов не очень утомительного полета.

Здесь, в этой таинственной и странной точке планеты, на какое-то мгновение теряют свою значимость привычные общечеловеческие понятия и представления. Откуда бы ни занесла вас судьба сюда, в

сердце Анд, вы стряхиваете с сердца паутину равнодушия, забываете о сопутствующих путешествию заботах, о билете на обратный рейс, скудных суточных и испорченном замке чемодана. Вам хочется говорить стихами и обнять весь мир. Вам хочется верить в чудеса.

Линия экватора... Ступая по ней, вы делаете первый из сорока миллионов шагов, которые понадобились бы, если бы вы пожелали обойти земной шар кругом. Вы вдыхаете полной грудью прохладный воздух и жадно оглядываетесь по сторонам, стремясь навсегда и до мельчайших деталей зафиксировать в памяти окружающее: облака, вкрадчиво ползущие по склонам двух дремлющих вулканов Марка и Синчолагуа, — на севере. Три коровы, неторопливо пощипывающие травку среди острых колючих агав — на юге. Приземистые, крытые красной черепицей белые домики, один из них с вывеской «Кафе „Эквадор“», — на востоке, где чуть дальше лежит единственное в мире, как утверждают эквадорцы, селение, разрезанное линией экватора пополам: Сан-Антонио-де-Пичинча. Там на пыльной улице стоит другой обелиск. Чуть пониже и без глобуса на макушке. Он воздвигнут на том месте, где отметили линию экватора аборигены этих мест — индейцы племени киту. Деля пополам земной шар объемом в 1,083 миллиарда кубических километров, они ошиблись всего лишь на триста метров!

Ну а на западе ваш взгляд спотыкается о два ярко-красных слова: «Кока-кола» — рекламный плакат, от которого никуда не денешься даже здесь, на экваторе, украшает уже знакомую нам сувенирную лавку. Она же по совместительству служит и почтовой конторой, где вы сталкиваетесь с первым из чудес и загадок, поджидающих вас в этой стране: продавцом в лавке работает историк, писатель и поэт Умберто Вера. Он предал свои музы не ради большого бизнеса, а ради маленького куска хлеба: Клио и Эвтерпа не могут прокормить человека в Эквадоре. Даже если у него в кармане — диплом профессора.

Впрочем, насчет «загадок» я допустил неточность: с первой из них пришлось столкнуться еще до прибытия в эту страну.

Ожидая в Рио-де-Жанейро визы в Колумбию и Эквадор и прилежно штудировав научные монографии, путевые очерки коллег и туристические путеводители по этим странам, я вдруг обнаружил, что не могу найти вразумительного ответа на самый, казалось бы, первый, простой и естественный вопрос: какова территория Эквадора?

Издававшаяся в Бразилии в виде еженедельных иллюстрированных журналов географическая энциклопедия «Жеорама» сообщила в своем 30-м выпуске, что площадь Эквадора равняется 270 670 квадратным километрам. Аннотация на карте, приложенной к этому же выпуску, определила территорию страны в 263 779 квадратных километров. Изданная в 1966 году в Эквадоре брошюра профессора Нельсона Понса «Статистические данные об экономическом развитии Эквадора» увеличила эти цифры более чем в полтора раза: 445 235 квадратных километров...

Заинтересовавшись этой статистической чересполосицей, я продолжаю изучать ее вот уже добрых два десятка лет после той первой поездки в Эквадор, и ясности за это время не прибавилось. Судите сами:

«Британская энциклопедия» 1929 года — 432 084 кв. км.

«Британская энциклопедия» 1976 года — 283 561 кв. км.

«Латинская Америка». Справочник. Политиздат. 1976 год — 284 тыс. кв. км.

«Страны мира». Справочник. Политиздат. 1980 год — 270,7 тыс. кв. км.

«Страны мира». Справочник. Политиздат. 1984 год — 275,34 тыс. кв. км.

«Советский энциклопедический словарь». 1985 год — 283,6 тыс. кв. км.

...В моем списке, прошу поверить мне на слово, есть еще десятка полтора столь же разноречивых ссылок. Желаящие продолжить эту увлекательную географическую игру могут обратиться к справочникам и энциклопедиям иных стран и эпох, картина наверняка будет столь же загадочной. И возникает вопрос: в чем дело? Почему издатели справочника «Страны мира» за четыре года увеличили площадь Эквадора на пять тысяч квадратных километров? А знаменитая своей скрупулезностью «Британика» за полвека ужала ее почти на 40 процентов? Дело тут не столько в оплошностях редакторов, сколько в запутанных, продолжающихся вот уже полтора века взаимных территориальных претензиях между Эквадором и Перу, периодически даже вызывающих вооруженные конфликты. Спор этот идет за обладание довольно большим участком амазонской сельвы. А открытие

в спорном районе перспективных месторождений нефти подлило масла в огонь.

...Вот так, постепенно, еще до приезда в Эквадор, вживался я в эту чужую, пока совершенно незнакомую мне страну, пытаюсь ощутить ее атмосферу, изучить историю, понять современные проблемы. Собирал и накапливал цифры, факты, имена в ожидании того часа, когда придет время сесть за стол перед чистым листом бумаги, на котором будет выведено название будущего очерка: «На экваторе в Эквадоре».

Ну а теперь, прибыв в Кито, подсознательно подчиняю этому листу бумаги каждый свой шаг, каждую встречу, поездку, беседу или просто прогулку по городу. Живя будущим репортажем, я складываю его постепенно, по кирпичику, шаг за шагом.

Знаю, что начало моего будущего эквадорского опуса уже найдено: экватор, профессор Умберто Вера, он же поэт, почтальон и продавец. Затем расскажу о неразберихе с площадью страны, которую, конечно же, надо будет обыграть. Она даст мне возможность не только заинтриговать читателя, но и с первых же страниц погрузить его в противоречивый, кипящий конфликтами мир современной Латинской Америки. А дальше?.. А дальше все будет зависеть от моей наблюдательности и проворства, от того, с какими людьми сумею встретиться, где смогу побывать, что увижу и что услышу. И что пойму из увиденного и услышанного. И еще от одного будет зависеть успех или провал работы: от удачи. Без удачи в нашем деле трудно.

...Размышляя обо всем этом в первый вечер после прилета в Кито в номере отеля «Интерконтиненталь», гляжу, как через клумбы и выложенную каменными плитками дорожку, что ведет к бассейну, неторопливо движется прямо к моему окну небольшое облако. Это еще одно из чудес эквадорской столицы: облака тут, случается, бродят прямо по земле, заглядывают в окна и отдыхают на газонах скверов. Это никого не удивляет: город лежит на высоте двух тысяч восьмисот метров, в самом сердце «Сьерры». «Сьерра» означает «Горы». Есть еще в Эквадоре «Коста», то есть «Побережье», и «Ориенте» — восточные территории, по другую от океана сторону Анд. Именно там, в Ориенте, и находится спорный участок амазонской сельвы, который эквадорцы и перуанцы никак не могут поделить.

Первый день командировки почти всегда бывает самым трудным. Не знаешь, с чего начать, к кому обратиться за советом. Тем более что

ни советчиков, ни помощников у меня не было, ибо в тот первый мой приезд в Эквадор не существовало еще в Кито советского посольства или консульства, и поэтому у меня были все основания считать себя единственным советским человеком, оказавшимся в тот момент в этой стране. Ощущение для первого раза не из самых приятных. Неуютно как-то. Мысли всякие лезут в голову. Случись что-нибудь, так и заступиться некому...

Гляжу в окно на ползущее по газону облако и пытаюсь спланировать свою жизнь и работу на ближайшие дни и часы. У меня есть телефон местных комсомольцев из «Коммунистической молодежи Эквадора». С ними встречу завтра, а сегодня, в первый день, попробую совершить самостоятельное плавание.

Пожалуй, это самое интересное в зарубежных командировках: первая вылазка, первые шаги по незнакомому городу. Завтра тебя будут возить либо друзья, либо профессиональные гиды туристических агентств. Твое внимание обратят на исторические достопримечательности, монументы и памятники великим соотечественникам, тебе будут говорить о социальных контрастах и географических курьезах. Прочитают лекции по истории города и ответят на все возникшие вопросы. И твоя записная книжка пополнится десятками интересных, полезных и ценных фактов, имен, адресов, которые пригодятся, а может быть, и не пригодятся в работе. Это будет завтра. А сегодня попытаюсь сделать свое собственное открытие Кито: беру такси, еду в центральные кварталы, выхожу и иду, куда глаза глядят. Не изучаю город, а окунаюсь в его атмосферу, стараюсь проникнуться его настроением, дышу его воздухом и прислушиваюсь к его голосу.

Вот она, лежащая в самом центре Кито «пласа де Индепенденсия» — площадь Независимости. Строгая белая колоннада президентского дворца. Президент занимает два верхних этажа длинного, протянувшегося через всю площадь здания. А в нижнем — цокольном этаже — бесчисленное множество лавочек кустарей, ремесленников, ювелиров. Здесь продаются сувениры и сигареты, неизменная кока-кола и пиво «Пильзнер», яркие пончо и шарфы, пепельницы из меди и резные фигурки из дерева, подделанные под старину «археологические» черепки и подлинные индейские изделия из джута и пальмовых листьев.

Площадь живет своей обычной жизнью. На каждом ее углу, на каждом «пяточке» разыгрываются десятки маленьких жанровых сценок, которые неведомый режиссер поставил словно специально для того, чтобы побыстрее окунуть тебя в местную экзотику.

Неизменные в любой точке Латинской Америки мальчишки — чистильщики башмаков как ястребы накидываются на беззаботного «гринго», ловящего в видеоискатель «найкона» величественный портал кафедрального собора. Под белым тентом на высокой полосатой тумбе на пересечении улиц, как усталый одинокий аист в старом гнезде, дремлет полицейский — регулировщик уличного движения. Он ничего не регулирует, ни на кого не обращает внимания. Ни на водителей, едущих по одним им понятным правилам, ни на пешеходов, переходящих улицу, где и когда им вздумается. Если убрать с перекрестка эту тумбу, уличное движение лишь упростилось бы, а водители вздохнули бы с облегчением.

На широкой каменной скамье сидя уснул старик в белой шляпе с черной лентой. Пенсне его чудом держится на самом кончике носа. Рядом развернута старая газета. Она подрагивает под легким дыханием ветерка как живое существо, как кошка, примостившаяся около хозяина. На странице, которую читал старик перед тем, как вздремнуть, рекламное объявление: «Незабываемые! Да, именно незабываемые двенадцать мелодий вашей давней молодости! Двенадцать лучших мелодий двадцатых годов в исполнении легендарного саксофона Ольмадо Торреса! В том числе: „Ненависть и любовь“, „Неблагодарность“, „Забвение“. Диск моно стоит всего лишь 50 сукре. Стерео — 60».

...И тут во мне просыпается автор будущего очерка, перед глазами опять возникает чистый лист бумаги с названием «На экваторе в Эквадоре», и начинается жестокая борьба с самим собой. Вроде бы нужно немедленно хватать записную книжку и фиксировать все это. Или, еще лучше, снимать фотоаппаратом. И в то же время чертовски не хочется этого делать: ведь записная книжка и фотоаппарат вырвут меня из анонимата, привлекут внимание окружающих. На меня начнут оглядываться. Мальчишки побегут следом, выклянчивая монетку. Старая индианка, завидев объектив, закроет лицо рукой. Девушки-студентки разбегутся в разные стороны... Нет, уж лучше по-прежнему неприметно бродить по улицам, растворившись в пестром потоке

людей. И запоминать, что видишь, чтобы, вернувшись в гостиницу, набросать в блокнот обрывки впечатлений и ощущений. Дремлющего над газетой старика. И вот этого пожилого индейца в пестром пончо с вполне современным портфелем в руках, осторожно переходящего улицу и скрывающегося в подъезде с табличкой: «Адвокатская контора братьев Коста». И двух старых усталых индианок. В черных пончо, черных фетровых шляпах, босые, они сидят на каменных ступеньках прямо под вывеской: «Салон красоты. Прически, стрижка и окраска волос, перманент, маникюр». Черные, никогда не знавшие не только маникюра, но и мыла руки бессильно брошены на колени. Потухший, обращенный внутрь себя взгляд.

Неожиданно рано и как-то стремительно на город упала ночь, и не без сожаления я возвращаюсь в отель. Пора ужинать. Иду в ресторан и в ожидании заказанного бифштекса набрасываю в записную книжку несколько фраз будущего очерка:

«Отель „Интерконтиненталь-Кито“ строили американцы и строили для самих себя. Поэтому нет, вероятно, такого места в Эквадоре, где все эквадорское вытравливалось бы с большей настойчивостью, чем в этом отеле. Телефонистка отвечает вам по-английски, в киоске продаются американские газеты и журналы. На стенах висят шедевры абстрактной живописи, авторы которых вдохновлялись экспонатами нью-йоркского Музея современного искусства. Меню в ресторане, отпечатанное, разумеется, по-английски, подает метр, одетый в безукоризненный смокинг. Впрочем, для экзотики в зале работают несколько девушек явно индейского происхождения, одетые в национальные наряды. Их функции просты: сначала они приносят вам хлеб и с тщательно отработанной улыбкой говорят „йэс, сэр“. Потом, когда вы поужинали, девушки говорят вам „сэнкью“ и убирают грязную посуду».

Поужинав, заглядываю в открывшееся около десяти вечера казино при отеле. Смуглые крупье с изяществом жонглеров тасуют карты, запускают шарики в желоб рулетки, манипулируют жетонами, костями и фишками.

Игра поначалу идет по маленькой: проигрываются и выигрываются сотни долларов. Большая игра — на тысячи и десятки тысяч — пойдет после полуночи, когда проиграется и уйдет восвояси мелкая плотва.

Почти все игроки здесь — американцы. Небрежно швыряя на зеленое сукно разноцветные жетоны, они снисходительно смотрят на затесавшихся среди них трех молодых эквадорских парней. Парни играют самозабвенно, с мольбой во взоре, с надеждой на чудо, на выигрыш. Первые два проигрываются за двадцать минут, третий сражается больше часа. Потом терпит крах и он: встает из-за стола с красными ушами и лихорадочным блеском в глазах. Денег нет, но в кармане завалялась мелочь. Он подходит к выстроившимся вдоль стен игральным автоматам и с ожесточением швыряет в щель последние сукре. Машина урчит и пережевывает их металлическими челюстями. Вот упала последняя монета. Все. Чуда не свершилось и сегодня.

А в баре по соседству два янки, приятно пощекотав нервы проигрышем пары сотен долларов, потягивают виски. Один из них смеется и тычет пальцем в громадную фотографию на первой полосе «Телеграфо». Фото изображает траурную процессию: хоронят жертву столкновения на предвыборном митинге в местечке Мачала. Второй американец снисходительно улыбается, разводит руками. Дескать, чему уж тут удивляться? Страна дикарей!

Это было ровно за две недели до убийства Роберта Кеннеди в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе.

В ладони Кордильер

На следующее утро прихожу к выводу, что хотя первое знакомство с городом и состоялось, но оно оказалось куда более поверхностным, чем хотелось бы. Все эти первые впечатления, конечно, полезны, они пригодятся в работе, создадут настроение. Но строить серьезный журналистский материал на таких сугубо внешних приметах невозможно. Нужно идти вглубь. И прежде всего следует определить, что делать: писать проблемный очерк о стране или ограничиться выполнением задания радиостанции «Юность» — несколькими интервью о жизни молодежи Эквадора и ее борьбе против вмешательства США в дела Латинской Америки? Первый путь труднее, но интереснее. Не уверен, правда, что это мне окажется по плечу: ведь очерк о стране — это высший пилотаж журналистики. Чтобы сделать его, нужно собрать богатый и разнообразный материал, а для этого —

поездить, встретиться и побеседовать с теми, кто трудится: со сборщиками бананов, рыбаками, крестьянами и с теми, кто им противостоит: с крупным землевладельцем, хозяином фирмы, экспортирующей бананы, с банкиром, предпринимателем. Неплохо иметь интервью ученого-экономиста, который проанализировал бы хозяйственное положение страны. И желательно встретиться хотя бы с одним из членов правительства. Но, увы, за те несколько дней, что отвело мне на работу в Эквадоре московское начальство, всего этого можно не успеть. Поэтому решаю пока ограничиться выполнением редакционного задания, но, делая эту работу, смотреть во все глаза и не упускать ничего интересного.

...Эквадорские комсомольцы ждут меня в помещении городского комитета Компартии Эквадора — в старинном доме, где на первом этаже разместился магазин обуви, а на второй нужно подниматься по скрипучей деревянной лестнице.

— Патрисио, Гидо, Фабиано, Энрике... — Мы крепко жмем друг другу руки, обнимаемся. И сразу же чувствую себя среди своих. Ко мне тянутся десять пачек сигарет. Отвечаю традиционным «Беломором». Начинается жаркий и поначалу беспорядочный разговор, в котором смешиваются все: Гагарин, урожай бананов. Московский метрополитен, нефтепровод, который строит «Галф», банкротство «Португезы Сантисты» и финансовый крах Пеле, забастовка учителей в Куэнке, похищение американского посла в Рио-де-Жанейро, уличные демонстрации леваков в Париже, итоги кинофестиваля в Картахене и недавний расстрел студентов в Панаме. Потом расчехляю магнитофон, чтобы записать интервью для «Юности». Прошу Гидо Риваденейро говорить конкретно, не ограничиваться общими фразами о том, что, мол, США — враг Латинской Америки, а дать по возможности примеры из местной жизни. «Пожалуйста! Хоть сотню...» — улыбается Гидо и рассказывает о том, как в городке Санто Доминго де лос Колорадос мелкие промышленники решили организовать кооператив по обеспечению электричеством города и прилегающих сельских районов. Увы, этому воспротивилась «Эмпреса электрика» — дочерняя компания американской монополии «Дженерал электрик», контролирующая распределение электроэнергии в районе «Косты». И инициатива мелких эквадорских предприятий рухнула. Они и впредь будут вынуждены выплачивать американцам бешеные деньги за

пользование электроэнергией по монопольным расценкам, установленным филиалом «Дженерал электрик».

— А вот вам другой пример, — говорит Фабиано, — в 1910 году к нам, в Эквадор, приехал из США некий мистер Нортон. Для начала он занялся пивоварением, затем организовал производство стройматериалов, построил цементный завод, купил несколько каменоломен. Разбогател, начал вкладывать капитал в недвижимость, после окончания второй мировой войны соорудил здесь фабрику, которая собирала телевизоры из деталей, поставлявшихся из США, а заодно купил и телестанцию в Кито.

— Минуточку! Какой же смысл строить фабрику, которая работает на деталях, доставляющихся сюда из северного полушария? Ведь это же очень удорожает производство!

— Ты забываешь, что у нас здесь дешевые рабочие руки, — говорит Фабиано. — Эквадорский рабочий получает раз в десять меньше, чем американский. Поэтому-то Нортон умудрился к 1962 году вывезти из нашей страны 600 миллионов сукре прибылей. На эти деньги он построил в США громадную фабрику электронного оборудования, в том числе и военного, которое сейчас поставляется во Вьетнам по заказам Пентагона. Таким образом, его фирма в конце концов превратилась в типично империалистического хищника, иллюстрирующего ленинское учение об основных экономических признаках империализма: производство и капитал концентрируются, образуя монополии, банковский капитал сливается с промышленным, начинается массивный вывоз капитала за рубеж.

...Вот это да! Я поражен умением Фабиано грамотно и четко излагать свою мысль. Меня восхищает эрудиция этого совсем еще молодого парня.

— А как же иначе, — улыбается, словно угадав мою мысль, Патрисио. — Это для вас, советских людей, «Империализм, как высшая стадия капитализма» — теоретический труд. Для нас она — как правила дорожного движения для водителей. Поэтому-то мы и изучаем ее самым внимательным образом.

Беседую с ребятами долго. Парни рассказывают о своих делах и заботах. О том, как стремятся расширить влияние среди крестьян и рабочих, как завоевывают позиции в студенческом движении, как участвуют в забастовках и уличных демонстрациях, как расклеивают на

стенах домов листовки и пишут лозунги: «Янки, убирайтесь домой!» Дел у них по горло, ибо в университетах и школах страны идет яростная борьба: преподаватели и студенты требуют отставки министра просвещения — реакционера и мракобеса. Прогрессивные профсоюзы поддерживают студентов. Чуть ли не каждый день происходят схватки с полицией и войсками. Для расправы с молодежью было даже создано недавно специальное репрессивное армейское подразделение — батальон парашютистов.

— Знаешь, сколько предусматривает сейчас наш национальный бюджет на нужды образования? — спрашивает Гидо. И отвечает: — В среднем 37 сукре в год на одного эквадорца. А на содержание одной лошади армия расходует за год тысячу сукре.

Вернувшись вечером в «Интерконтиненталь», узнаю из сообщения радио, что сегодня днем парашютисты совершили налет на школу «Симон Боливар» и даже стреляли в участников проходившего там митинга.

Если бы удалось своевременно узнать об этом, можно было бы попытаться подскочить туда. Чтобы глянуть на это побоище. В нашем деле это очень важно: иметь право сказать, что событие, о котором пишешь, ты видел своими глазами. В Рио-де-Жанейро мне уже несколько раз удавалось видеть и снимать такие схватки. Впервые, помнится, это было в марте шестьдесят восьмого. Военная полиция атаковала студенческую столовую Калабоусо в самом центре города. Парни забросали атакующих камнями, те открыли огонь. Несколько студентов были ранены. А шестнадцатилетний Эдсон Луис погиб. На следующий день его хоронил чуть ли не весь город. И испугавшись нового кровопролития, губернатор Неграо де Лима запретил полиции вмешиваться. Похоронная процессия растянулась на несколько километров.

А потом, спустя несколько дней, были новые стычки с пальбой, с гранатами, источающими слезоточивый газ. Но там, в Рио, работать было сравнительно легко: город тебе хорошо знаком. Знаешь, какими переулками уйти от опасности, с какого балкона или холма можно сфотографировать схватку, не опасаясь, что полицейская дубинка расколотит твою камеру.

Сегодня мне не повезло. Вместо того чтобы увидеть и зафиксировать в блокноте, на пленке или хотя бы в памяти главное

событие дня, я занимался безмятежными беседами. А теперь сижу и переписываю из телефонного справочника эквадорскую статистику. На всякий случай. Может быть, она когда-нибудь пригодится, а возможно, истлеет в моих архивах без употребления:

«Эквадор. Численность населения в 1965 году 5 миллионов. Четыреста тысяч — живут в Кито. Шестьсот — в крупнейшем промышленном и торговом центре страны Гуаякиле, находящемся на тихоокеанском побережье в четырехстах с лишним километрах от столицы. Эти два города связаны друг с другом железнодорожной веткой, идущей почти на всем своем протяжении по горам, автомобильной дорогой, которая пролегла в основном через Косту».

...Кстати, пора бы решить, каким из этих двух маршрутов отправиться в Гуаякиль? Судя по предназначенным для туристов буклетам, железная дорога обещает более яркие впечатления: укутанный облаками вулкан Чимборасо, бездонные пропасти, таинственные горные ущелья, где, возможно, сохранились древние города индейцев. И, наконец, знаменитый «Нос Дьявола» — самый крутой на континенте, а может быть, и во всем мире спуск железной дороги с гор на равнину! Зато шоссе, идущее через Косту, позволит увидеть вблизи плантации эквадорских бананов. Есть о чем подумать и посоветоваться завтра с друзьями-комсомольцами.

На следующий день Энрико и Фабиано приглашают меня на экскурсию по Кито. Едем не туда, куда возят «грингос» туристические автобусы. У ребят свои «достопримечательности», не отмеченные в официальных справочниках и путеводителях: «В этой тюрьме сидели наши товарищи в годы диктатуры. Вон там, справа — швейная фабрика, она бастует уже сорок дней... Здесь состоялась самая мощная антиамериканская демонстрация за последние годы... На том углу один из наших погиб от полицейской пули».

С особой гордостью Фабиано показывает места, где он вместе с друзьями организовывал достойную встречу личному представителю президента Никсона губернатору Нельсону Рокфеллеру, совершавшему недавно пропагандистскую поездку по странам Латинской Америки:

— На этой улице мы расставили пикеты, отсюда летели камни. Полиция закидывала нас газовыми гранатами, но мы сумели заблокировать весь центр города. Рокфеллеру пришлось добираться в

президентский дворец боковыми улочками под прикрытием мощного полицейского эскорта.

Выезжаем за город. Вдоль шоссе справа и слева — серые от пыли мечи агав. Жаркое солнце бьет из зенита в макушку прямой наводкой. Вновь вспоминаю о белом листе бумаги с надписью «На экваторе в Эквадоре» и прошу Фабиано рассказать о себе. Он пожимает плечами: он убежден, что нет в его жизни ничего интересного... Родился и рос в семье бедняков. С десяти лет начал работать, чтобы помочь родителям сводить концы с концами. Сначала — во время школьных каникул, потом, с тринадцати лет — постоянно. Кем работал? Уличным торговцем, «мальчиком» в доме моделей: открывал двери сеньорам, проплывавшим в благоухающие салоны в поисках последних новинок из Парижа, Рима и Рио-де-Жанейро. Потом был таким же мальчиком на побегушках в булочной, затем — посыльным в маленькой книжной лавке. Однажды осенила идея: с тремя братьями купили в складчину фотоаппарат, решив попытаться счастья на поприще фотографии. Братья вскоре отказались от этой затеи, а он так и остался фотографом. Повезло, попалась хорошая камера: советский «Зенит».

Лет шестнадцати вступил в «Коммунистическую молодежь Эквадора» и отправился в одну из самых глухих провинций организовывать там крестьянское движение. Было трудно. Очень мешали «леваки», пытавшиеся, следуя модным тогда у некоторой части молодежи заветам «великого кормчего», спровоцировать крестьянские бунты без подготовки, без проведения разъяснительной работы. Однажды один такой «агитатор» явился в деревню и чуть ли не с пеной у рта потребовал, чтобы «революционные массы» немедленно отправились «на штурм» усадьбы богача-землевладельца. Усадьба, надо сказать, охранялась наемными бандитами, вооруженными до зубов, а у «масс» — нескольких десятков индейцев — не было ничего, кроме мотыг, которыми они обрабатывали господскую землю.

— Почему вы не хотите атаковать гнездо эксплуатации? — кричал «агитатор».

— Но ведь там же солдаты, охрана, — почесывали затылки индейцы. — У них пулеметы.

— А, так, значит, вы — трусы?

— Нет, мы не трусы. Мы просто ждем, — спокойно сказал пожилой индеец.

— Чего ждете?

— Чтобы ты пошел впереди и научил нас, как это можно взять эту усадьбу голыми руками.

— «Революционер» ретировался, а спустя несколько месяцев, — вспоминает Фабиано, — коммунисты и комсомольцы подняли этих же крестьян. Но не на самоубийственную авантюру, а на мощную забастовку. Индейцы откликнулись. По всей провинции работы на полях и плантациях прекратились. Крестьяне потребовали повесить минимальную заработную плату с 6 до 15 сукре в день и ввести социальное страхование. Было трудно: владельцы поместий вызвали войска, дело чуть не дошло до кровопролития, но индейцы держались стойко и победили!

— Так мы еще раз убедились в правоте ленинского учения о том, что революционная теория становится материальной силой тогда, когда она овладевает массами, — завершает рассказ Энрике. И оглушительно чихает. Слишком уж пыльно: по узкой каменистой дороге наша машина преодолевает последние метры до одной из двух вершин горы Пичинча, к месту битвы между освободительной армией маршала Антонио Сукре и испанскими колонизаторами. Эта самая, как говорят, «высокая» битва в истории войн состоялась в мае 1822 года и положила конец испанскому владычеству в Эквадоре.

У воздвигнутого на небольшой площадке пирамидального обелиска мы помолчали. Внизу, прикорнув в могучей ладони Кордильер, съезжился крохотный Кито: россыпь светлых кубиков-домиков на оливково-бурой земле. Словно хрупкие елочные игрушки, переложенные ватой облаков.

Под сенью дождевого колпака
Мечтает Кито, что плывет к удаче,
Что он — ковчег, а море — облака... —

тихо сказал Фабиано. Со всех сторон, насколько хватало горизонта, громоздились вулканы: Панесильо, Руминяви, Синчолагуа. И двуглавая Пичинча, на которую мы забрались.

Глядя на пестрые, словно в заплатках, склоны, на кратеры, пока тихие, но способные грозно пробудиться в любую минуту, я подумал, что в будущем очерке мне, по всей видимости, не избежать

традиционного журналистского штампа: сопоставления кипящих в этой стране политических страстей с вулканическими процессами в недрах гор, окружающих ее столицу.

Бананы до самого океана

В Гуаякиль меня неторопливо везет синий автобус фирмы «Виатур». По совету Фабиано я выбрал все-таки маршрут через побережье. Сначала автобус петляет, забираясь все выше и выше по серпантину Анд. То справа, то слева возникают под ярким, но не греющим здесь, в горах, солнцем снежные вершины. Внизу под обрывами сереют проплешины: следы обвалов и осыпей. Через каждую сотню метров наплывают желтые ромбы предупредительных знаков, сообщающие о крутом повороте, сужении полотна, опасности юза, и на обочине дороги у самого обрыва мелькают одинокие кресты над могилами водителей, презревших эти знаки.

Через каждые три-пять минут под колеса автобуса ныряют начертанные на асфальте яркой краской имена трех основных кандидатов, оспаривающих в яростной борьбе друг с другом пост президента на выборах, которые должны состояться через несколько недель: «Голосуйте за Веласко Ибарру!» Через сотню метров: «Наш кандидат — Андрес Кордоба!» За поворотом шоссе: «Камило Понсе ждет твоего голоса!»

Обязательно надо запомнить, как равнодушно утюжит эти три имени наш широкий и неповоротливый, как бабушкин шкаф, экипаж, сработанный, если мне не изменяет память, мастерами «Бритиш лейланд» еще чуть ли не до второй мировой войны. На крыше его, как у старинных дилижансов, громоздится багаж, расшифровывающий разноплеменную пестроту пассажиров этого Ноева ковчега: расплзающиеся по швам и потому перевязанные ремнями и веревками чемоданы всех мастей и размеров, тяжелые сундуки с висячими замками, которые сгодились бы даже к воротам Букингемского дворца, корзины с испуганно квохчущими курами, рюкзаки, мешки, сумки, пластмассовые тазы и цинковые ведра, ящики с морскими свинками. Не успел узнать, почему это так, но факт остается фактом: после собаки самое любимое и самое распространенное домашнее животное у

индейцев горного Эквадора — морские свинки, чье мясо считается здесь самым изысканным лакомством.

Внутри автобуса картина не менее пестрая: сзади, на самых тряских местах, несколько молчаливых индейцев. На средних сиденьях и впереди — разночинный местный люд: провинциальный коммивояжер с пухлым портфелем, прилежно читающий «Эль Комерсио», три девушки-гимназистки, многодетная мамаша с разнокалиберными детишками, две монашки, похожие друг на друга, как близняшки, почтенный седой старик, еще до старта углубившийся в зачитанный до дыр «Тропик Козерога» Генри Миллера и завершивший чтение лишь на финише в Гуаякиле, солдат, то ли едущий в отпуск, то ли возвращающийся в часть, юная чета американских студентов, из тех, кто путешествует по миру с рюкзаками за спиной.

Атмосфера в «ковчеге» настороженно-доброжелательная. На первых километрах царит тишина, потом начинается процесс знакомства, возникает необходимость в мелких взаимных услугах: «Нет ли случайно у сеньора спичек?», «Не знает ли „мадама“, когда мы прибудем в Санто Доминго?» Чей-то ребенок захотел пить. К его мамаше тянутся сразу несколько термосов, фляг и бутылок кока-колы. Одна из гимназисток включает транзистор, и «ковчег» заполняется властным басом эквадорского Шаляпина. Под аккомпанемент джаза, исполняющего марш из фильма «Мост через реку Квай», он энергично убеждает нас отдать свои голоса за Веласко Ибарру, который, став президентом, принесет стране процветание и прогресс, даст работу — безработным, хлеб — голодным, школы — детям, больницы — больным. Гимназистка, поморщившись, меняет нажатием кнопки волну. На смену «Радио Насиональ» из Кито приходит гуаякильская радиостанция «Ондас дель Пасифико» — «Волны Тихого океана». Проникновенным меццо тамошня Людмила Зыкина призывает голосовать за Камило Понсе, который принесет любимой родине прогресс и процветание, даст больницы — больным, школы — детям, хлеб — голодным, работу — безработным. Девушка нажимает еще одну кнопку и попадает на радиостанцию Куэнки, которая пронзительным голосом местного Шарля Азнавура настойчиво требует, чтобы эквадорцы дружно проголосовали за Андреса Кордобу, который принесет своей родине прогресс и... трах! Гимназистка в сердцах выключает приемник, возвращая нам благословенную тишину и покой.

Перевалив где-то у Чиллогалло хребет Западных Кордильер, ковчег «Виатур» начинает спуск к Санто Доминго де лос Колорадос. Каменистая и безжизненная бурая земля покрывается сначала травой, затем кустарником, а потом за каким-то очередным поворотом мы ныряем в буйное море тропической зелени и захлебываемся запахами бананов, ананасов, цветов. Они столь сильны, что мгновенно вытесняют чад дизельного горючего, терзавший нас на перевале. Это означает, что, покинув «Сьерру», мы въезжаем в «Косту» — занимающую всю прибрежную часть страны от Кордильер до океана гигантскую плантацию бананов. Уроки Виталия Боровского не пропали даром: я уже обзавелся досье — «Эквадор — бананы», и прямо здесь, в автобусе, перечитываю первые записи, дающие представление о том, что означает для Эквадора этот тропический плод: «Первое место в мире по экспорту. Из десяти поступающих на мировой рынок бананов три — эквадорские... Бананы дают стране 60 процентов национального дохода...^[1] Основной покупатель — американская компания „Юнайтед фрут“. За одну „расимо“ — гроздь весом в 30–40 килограммов, — она платит не более одного доллара, а в США эквадорские бананы продаются в тридцать, а то и в сорок раз дороже!»

...В «ковчеге» нашем духота. Стекла на окнах опущены, лица покрылись серой пылью. Гимназистка снова включает транзистор, и мы слушаем «радиопочту»: передаваемые местными радиостанциями объявления, извещения, сообщения, которыми обмениваются друг с другом эквадорцы.

Сеньора Норма Пенья из «асьенды» Санта Эсмеральда велит своему управляющему приступить к резке бананов. В первый день срезать полтысячи «расимос». А затем — каждый день по столько же.

В «асьенде» Лоха-Буэна требуется ветеринар. Зачем требуется — не говорят. Видать, какой-то мор косит домашнюю скотину.

Хорхе Очоа из Хипихапы взывает о помощи: у него сбежали четыре коровы. А может быть, не сами сбежали, а были уведены злоумышленниками. Тому, кто найдет их или подскажет, где они находятся, озабоченный владелец обязуется немедленно выплатить две тысячи сукре. Две тысячи — сумма не маленькая: почти сто долларов. Столько зарабатывает за целый год сборщик бананов.

Вон они, сборщики, резчики, подносчики «зеленого золота»: то справа, то слева видны между банановыми пальмами серые фигурки

людей. Выглядят они одинаково: серые брюки, серая рубашка, в руках — мачете, на голове — широкополая шляпа. Остановиться бы, побеседовать... Увы, «Виатур» хотя и медленно, но неудержимо ползет на юг. И весь день слева и справа плывут назад банановые джунгли: припорошенные пылью, склонившиеся под тяжелыми зелеными гроздьями пальмы. Это не те красавицы, стройные и одинокие, которые вдохновили поэта на бессмертный шедевр: «В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли». Эквадорские пальмы невысоки и тем более не одиноки. И стройности нет в них никакой, и гордости не чувствуется. Это пальмы-работяги. Они кормят страну и вместе с ней еще десятки государств, больших и малых, лучшими в мире бананами.

Нет, не Лермонтова вспоминаешь, глядя на это бескрайнее банановое царство. «В бананово-лимонном Сингапуре», — лезет в голову песенка Вертинского. Интересно, там, в Сингапуре, такие же пальмы? И если не в Сингапуре, то где-нибудь еще на земле можно увидеть столь же невообразимое умом и неохватываемое глазом буйство бананов?

...А мы все едем и едем. Едем весь день. И через каждые двадцать-тридцать километров — остановка. То у какой-то одинокой хижины, то у тропы, уходящей от дороги в глубь бананового леса, то у крохотного поселка, прильнувшего с двух сторон к дороге, как к спасительной путеводной ниточке, которая выведет из этого зеленого буйства в привычный и спокойный мир. И на каждой остановке наш автобус подвергается дружной и яростной атаке полчищ голодных босоногих детишек. Одни просто выклянчивают монетку, другие пытаются что-то продать: густой, прокисший сок ананасов или банановый джем, вареные яйца или черствые лепешки из кукурузной муки. Вслед за мальчишками вторым эшелонем «Виатур» осаждают старики с кипами гигантских шляп, которые называются почему-то «панамскими», а продаются в Эквадоре, и старушки, протягивающие жареных куриц, смазанных для большей презентабельности желтым жиром. Со всех сторон слышатся монотонные призывы: «Ун доллар, сеньор! Ун доллар!» Это говорится с такой безысходностью, что сразу ясно: никто здесь ничего не продаст и никто ничего не купит. Одна из торговок в цветастом пончо, пестром и грязном, особенно настойчиво сует свою курицу молодой американке, та отворачивается. Старуха забегает с

другой стороны. Белобрысая «гринга» подымается обратно в автобус. Старуха молча глядит ей вслед и остается стоять с курицей на вытянутой руке.

Минут через десять «Виатур» гудит и трогается. Мальчишки бегут следом, все еще протягивая к окнам свои пряники и бананы. «Ун доллар!.. Сеньор, ун доллар!» Потом отстают, окутанные пылью.

Несколько раз нас останавливает полиция. Солдаты поднимаются в автобус, внимательно рассматривают всех. Потом у двух-трех пассажиров проверяют документы, роются в баулах, сумках и мешках. Остальных не трогают. После досмотра мы продолжаем путешествие.

Смуглый паренек Карлос, сочетающий в себе функции кондуктора, контролера, стюарда и механика, поясняет, что уважаемые сеньоры пассажиры не должны волноваться: полиция ищет контрабанду.

— И оружие, — добавляет со своего места водитель Нельсон. И в ту же секунду быстрым движением приподнимает над вспотевшим затылком синюю форменную фуражку с эмблемой «Виатура»: у обочины стоит седой старик с крохотным белым гробиком на плече. Несколько мгновений все молчат, старик с гробиком исчезает позади в клубах пыли и дыма. Потом кто-то спрашивает, чего ради ведутся эти поиски оружия.

— Так ведь выборы! — поясняет Карлос, постукивая пальцами по деревянной кассе с выручкой и билетами. — Выборы. А коммунисты могут устроить «голпе»: государственный переворот.

«Голпе» — вещь серьезная. При упоминании о «голпе» все сосредоточенно затихают. Монашки-близняшки осеняют себя крестным знаменем. Солдат кладет руку на вещмешок, словно услышав команду: «Приготовиться к десантированию!»

— В Эквадоре чуть ли не каждый год голпе, — говорит, ни к кому не обращаясь, старик с романом Миллера, — но я что-то не припомню, когда их устраивали коммунисты.

— То-то и оно, что еще не устраивали, — назидательно отвечает Карлос. — И слава богу, что не устраивали. А если бы устроили, хотя бы раз, так мы не сидели бы тут и не беседовали бы мирно с вашей милостью.

— Это почему же?

— Да потому, что все мы были бы уже... — Он проводит черным ногтем по жилистой шее и многозначительно глядит на старика,

который, пожав плечами, вновь погружается в тропические страсти Генри Миллера.

Монашки-близняшки снова дружно крестятся, достают откуда-то из-под черной спецодежды четки и с неподражаемой синхронностью начинают перебирать их. А я размышляю о всесии этих неандертальских убеждений: «Если придут коммунисты, жди второго пришествия и конца света». Месяц назад в самолете из Рио на Боготу моим соседом оказался адвокат. Он имел два университетских диплома: Рио-де-Жанейрского университета и парижской Сорбонны. Разговорившись с ним, я с изумлением выяснил: он убежден, что в СССР не существует права наследования. «Поэтому, — считал он, — когда там, в Советской России, человек умирает, все его имущество, вплоть до носовых платков, переходит в собственность государства. А вдова и дети должны начинать новую жизнь „от нуля“. Так думал человек с двумя университетскими дипломами! Стоит ли удивляться, что билетер-кондуктор-стюард-механик „Виатур“ Карлос опасается коммунистического „голпе“ и неизбежно последующего за ним „апокалипсиса“?»

Кстати, о «голпе». С тех пор как в 1830 году Эквадор завоевал независимость, режимы сменялись здесь в среднем раз в два года. Однако случались и более бурные периоды. С 1925 по 1948 год, то есть за 23 года, сменилось 22 правительства... Но старик, читающий Генри Миллера, прав: ни один из этих «голпе» не был «коммунистическим».

Я размышляю об этом, перелистывая свою записную книжку. И думаю о том, что весьма наглядным воплощением национальной эквадорской нестабильности может служить биография Хосе Веласко Ибарры, того самого, за которого призывают голосовать надписи на асфальте дороги, плакаты на заборах и музыкальные рекламы, исторгаемые транзистором попутчицы-гимназистки. Веласко уже в пятый раз стремится к президентскому креслу. (Забегая сейчас вперед, могу сказать, что и та попытка оказалась успешной.) За сорок лет — с начала 30-х до начала 70-х годов — этот хитрый политикан и ловкий демагог пять раз занимал президентский дворец. Но лишь один раз сумел благополучно завершить предусмотренный конституцией срок правления. В остальных четырех случаях его изгоняли политические противники, которых у него было очень много, что не так уж

удивительно, учитывая феноменальную беспринципность, непоследовательность и карьеризм Ибарры.

...Вот о чем напомнили мне опасения Карлоса насчет коммунистического «голпе». И пока я размышлял об этом, наш стенающий рессорами чадающий сизым дымом ковчег «Виатур» подползал к Гуаякилю. Теперь, к концу дня и к финишу путешествия, банановые джунгли вдруг исчезли, и дорога вела нас сквозь пожухлые от засухи плантации кукурузы. Справа по курсу уставшее испепелять землю громадное медное солнце спешило окунуться в спасительную прохладу невидимого отсюда, но близкого Тихого океана.

Улыбка, скрывающая печаль

В Гуаякиле меня ждет Хосе Солис Кастро, или, как ласково называют его друзья, «Пепе». Он — коммунист. По приглашению ТАСС работает корреспондентом агентства в этом городе [2].

Еще из окна «Виатура» бросилась в глаза любопытная особенность гуаякильской архитектуры: почти каждый дом имеет аркаду. Очень удобно для тропиков: всегда ты — в тени, а в сезон дождей — с декабря по май — аркады защищают прохожих от регулярных ежедневных ливней. Когда я сообщил об этом своем глубокомысленном наблюдении Пепе, он рассмеялся.

— Главное назначение аркад совсем иное: они помогают спрятаться от пуль.

Он сказал это, любовно поглаживая деревянный столб, поддерживающий нависший над тротуаром второй этаж. И мне показалось, что царапины и шрамы на изъеденном временем и сыростью куске мангра под его ладонью и впрямь оставлены пулями. А может быть, это так и есть? Ведь в таких городах, как Гуаякиль, на каждом шагу сталкиваешься с совершенно неожиданными и непривычными вещами и понятиями.

Возьмем, например, такой элементарно простой вопрос, как выбор помещения, в котором ты будешь работать или жить. Казалось бы, в любой стране, на любом меридиане следует искать то, что удобнее и дешевле. В Гуаякиле к этим универсальным критериям добавляются и некоторые иные, продиктованные местной спецификой...

Когда мы поднимались в корпункт ТАСС, на четвертый этаж без лифта, Пепе скакал через две ступеньки, как горный козел. Ему — ничего, он привык, не первый год бегаёт по этой лестнице, а я, естественно, старался не отстать, но чтобы оправдать свою одышку, с шутливым раздражением спросил: почему он не подыскал себе восьмой этаж без лифта? И услышал в ответ, что таких домов в Гуаякиле нет. А если бы были, то офис для корпункта был бы снят именно там. И именно без лифта.

Пепе сказал это и вышел в соседнюю комнату, чтобы распорядиться насчет кофе. А его помощник, совсем молодой парнишка, видимо, сообразив, что я не понимаю, о чем идет речь, объяснил:

— Понимаешь, компаньеро, в нашей работе чем выше без лифта, тем лучше: во-первых, меньше будет шастать сюда случайных зевак. А во-вторых, когда мы ощущаем повышенный интерес со стороны полиции, — вон, кстати, видишь, внизу серый «шевроле»? — вполне возможно, что это «они» и есть... Так вот, если мы ожидаем налета, то достаточно посадить внизу верного человека, чтобы он просигналил нам. И пока «они» будут шлепать без лифта вверх по лестницам на четвертый этаж, мы успеем уйти через окна по крышам и чердакам в соседний переулок. А там лови нас!

Появляется Пепе с подносом, на котором благоухает кофе и стоят рюмки с ликером. Мы чокаемся за дружбу и солидарность коммунистов всей земли, потом прихлебываем кофе. Гляжу в окно. Перед домом — довольно большой сквер. Желтые листья упали на крышу стоящего внизу «шевроле». Кроны деревьев должны служить приютом мошкаре, об этом говорит опыт моей бразильской жизни. И поэтому спрашиваю Пепе: не лучше ли было бы найти помещение, где поблизости не было бы столько зелени? Он подходит к окну, обводит рукой открывающийся отсюда вид:

— Именно потому мы и выбрали этот дом, что он стоит перед сквером. Обрати внимание: перед нами нет других строений. Ни банков, ни отелей, ни жилых домов. Это означает, что за нами нельзя подсматривать и в наше окно неоткуда выстрелить или бросить гранату.

— Ну а дома как у тебя в этом смысле? — спросил я.

— Дома?.. Дома, к сожалению, неважно: дом у меня одноэтажный. И окна выходят прямо на улицу.

...Об этом нашем разговоре я вспомнил, когда полгода спустя прочитал в одной из рию-де-жанейрских газет краткую заметку: «В эквадорском городе Гуаякиле в окно дома, принадлежащего корреспонденту советского агентства ТАСС, вчера вечером была брошена самодельная бомба „коктейль молотофф“. В момент взрыва в доме никого не оказалось, поэтому происшествие обошлось без жертв. Однако недвижимости гуаякильского коммуниста причинен значительный материальный ущерб».

Потом Пепе приглашает меня на экскурсию по городу. И история повторяется: точно так же, как в Кито это делали Фабиано, Гидо и другие парни, здесь, в Гуаякиле, Пепе и поэт Рафаэль Диас Икаса возят меня по местам своей боевой славы. И, хватая друг друга за руки, возбужденно рассказывают, как сражались с полицией, бежали из тюрем, разбрасывали листовки, как поднимали народ на борьбу против хунты, захватившей власть в шестьдесят третьем году.

— Здесь, в университете, — показывает Рафаэль, — мы дали хунте самый горячий бой: объявили забастовку, забаррикадировались, завалили все входы и выходы мебелью. Полиция пошла на приступ. Мы отбивались несколько дней и ночей.

— У вас было оружие?

— Еще бы! Ракетное!

— Что?!

— А как же! — торжествует Рафаэль. — Гуаякильские студенты стали первыми в истории человечества революционерами, поставившими себе на службу ракетную технику: мы стреляли по жандармерии ракетами, которые используются для фейерверков. Лошади в панике бросались врассыпную, и конная полиция ничего не могла с нами поделать.

...Вернувшись в гостиницу, наскоро набрасываю в записную книжку все, что увидел и что услышал от Пепе и Рафаэля. Потом пробую подытожить первые впечатления этого дня. Пытаюсь писать так, чтобы записи эти помогли бы впоследствии создать нечто вроде изобразительного фона будущего репортажа или очерка. Сейчас они кажутся чрезмерно восторженными, наивными и поверхностными, что неизбежно, ибо это первые впечатления. Но именно потому, что они самые первые и самые свежие, позволю себе процитировать их именно так, как они отложились в моей эквадорской записной книжке:

«Гуаякиль... Город, где окончательно рассеиваются романтические миражи тропической экзотики.

Где вы, буйные кактусы и острые лучи агав? Где вы, тающие в звенящей синеве неба белые вершины Анд?

В Гуаякиле нет вулканов и кратеров. И облака здесь не шастают по улицам и не заглядывают в окна. После патриархального Кито Гуаякиль оглушает вас истеричными криками уличных торговцев, визгом тормозов на перекрестках под неработающими светофорами, хриплыми гудками баркасов, тянущих плоты из легчайшей в мире древесины бальсы по грязно-желтому Гуаясу.

Афиши зовут не на бой быков, а на матч кубка Дэвиса по теннису. За стеклом витрин — шеренги японских транзисторов, белые смокинги официантов и несмываемые улыбки стюардесс на рекламных плакатах „Панамерикэн“ и „Эр-Франс“. Гуаякиль — это зловонные лачуги над рекой, отравленной экскрементами, и девушки с 18-й улицы, торопливо продающие себя в распахнутых настезь каморках. Гуаякиль — это снобы, приезжающие после полночных оргий на центральный рынок, чтобы опохмелиться арбузом или ананасом, и тысячи мальчишек, устраивающих остервенелые драки за право поднести чемодан туриста от парома на набережной Гуаяса до такси или отеля.

Гуаякиль — это импозантные соборы и крошечные книжные лавки, где вы найдете монографии о Париже, Риме или Токио, но не встретите хотя бы брошюрки о самом Гуаякиле.

Гуаякиль — это банки, универмаги, нищие, лежащие на улицах, туристские конторы и анонимные общества по продаже недвижимости. Гуаякиль — это добрая четверть национального дохода страны. Это офисы „Галф“, „Юнион Карбайд“, „Джорджиа пасифик корпорейшн“, „Тексако“.

„Дженерал электрик“ здесь греет руки не только на электричестве, но и на рыбной ловле: купив громадную флотилию, она таскает из окрестных вод золотых, весьма жирных рыбок. Джентльмены делают бизнес везде, где что-то плохо лежит. Семейство Рокфеллеров купило неподалеку от Гуаяса скотоводческие фермы и громадную кофейную плантацию, которая забрасывает рынок дешевым кофе, удушая мелких эквадорских производителей кофе.

Гуаякиль — это текстильные и цементные фабрики, это океанский порт, связывающий страну с „Юнайтед фрут“, а также с остальным

миром»).

...Откладываю ручку со вздохом облегчения. Чуть ли не самое трудное в командировке найти вечером каждого дня время и силы для записной книжки. Если не сделаешь этого — считай, что день ты потерял. Все, что видел, слышал, о чем узнал сегодня, все это через несколько дней, а может быть, уже и завтра, уйдет, как в прорубь под лед, вытесненное новыми событиями, впечатлениями, людьми. Сегодняшний день я не потерял и уже не потеряю. Записи сделаны. Но все то, что так аккуратно улеглось в блокноте, никак не может улечься в голове. Мешают заснуть усталость и нервное возбуждение. Пытаюсь отвлечься и рассеяться транзисторным приемником.

Любопытное это занятие: оказавшись где-то близ экватора, путешествовать по коротким и средним волнам. «Голос Анд» на английском языке смешивается с «Голосом Америки» — на испанском. Рвущие душу танго Карлоса Гарделя из Буэнос-Айреса прерываются пулеметным репортажем с бейсбольного матча из Филадельфии. Сквозь писк морзянок и треск атмосферных помех с трудом пробивается бразильское «Радио Национал». Остаюсь на этой волне. Слушать трудно: передатчик у бразильцев довольно слабенький, но кое-что понять можно. В Белу-Оризонте Пеле забил очередной мяч и уверенно идет к тысячному голу. Крузейро вновь девальвирован. «Фольксваген» представил прессе новую модель, которая начнет выпускаться с 1 января будущего года!

Ого! Главная сенсация дня: «Трибунал юстиции штата Гояс отменил вчера приговор, который был вынесен американцу Генри Фуллеру, осужденному за спекуляцию земельными участками в Амазонии, за насилие над местным населением и незаконный захват земли. Фуллер освобожден из тюрьмы и выехал в Соединенные Штаты».

Итак, мошенник, оказывается, отделался легким испугом. Отсидел чуть больше года и оказался на свободе! Представляю себе, что творится сейчас в Бразилии! Какой там разгорелся скандал! Запросы в конгрессе, гневные комментарии газет, телетайпы дымятся от телеграмм моих коллег — аккредитованных в Бразилии иностранных корреспондентов. А я сижу в этом тихом Гуаякиле!..

Следующий день провожу с Энрике Хиль Хильбертом... Написал фамилию и имя и ощутил, насколько трудно определить одной фразой этого человека. Выдающийся, может быть, самый большой эквадорский писатель XX века. Несгибаемый революционер, прошедший через пытки и тюрьмы и никогда не дрогнувший, не опустивший перед палачами головы. Коммунист, секретарь Центрального Комитета партии. Верный друг нашей страны: в сорок первом году, бросая вызов равнодушию гуаякильских интеллектуалов и злорадству («Ну, уж теперь-то с коммунизмом будет покончено раз и навсегда!») мещан, он выступил со страстным призывом к солидарности с далекой Советской страной. Забегая вперед, могу сейчас вспомнить и о том, что три десятилетия спустя, в конце семьдесят второго, в своем последнем публичном выступлении уже неизлечимо больной «товарищ Энрике» говорил о солидарности с народом Вьетнама.

Встретиться с Энрике Хиль Хильбертом в Гуаякиле в те годы было равнозначно тому, что побывать у Жоржи Амаду в Баие или у Луи Арагона в Париже. И до сих пор я благодарен Пепе за «протекцию», благодаря которой Энрике уделил мне так много времени. Почти целый день! И не просто побеседовал с молодым советским журналистом, а даже взял меня с собой в поездку на банановые плантации.

Получилось все это как-то стремительно: Пепе позвонил Хильберту, попросил найти полчаса для встречи с компаньеро из Москвы. И Энрике сказал, что у него завтра кое-какие дела в Дуране, на том берегу Гуаяса, и если компаньеро не возражает, он готов захватить меня с собой. В дороге побеседуем. Еще бы я возражал!

В восемь утра мы уже на пароме: переправляемся вместе с нашим «фольксвагеном» на другой берег. Энрике сравнительно быстро улаживает свои дела в Дуране, потом везет меня дальше на юго-восток, куда-то в сторону Куэнки. Едем по ухабистому, вдребезги разбитому шоссе километров тридцать или сорок. Жара и пыль. Движения на дороге почти никакого. Лишь где-то далеко позади трясется, то исчезая за поворотом, то появляясь вновь в клубах пыли, серый «шевроле». Не та ли это машина, что стояла вчера у корпункта ТАСС?.. Изредка обгоняем повозки, влекомые неторопливыми мулами, и еще реже прижмет нас к обочине, вскрикнув угрожающе сиреной, встречный громадный банановоз.

Свернув с шоссе на земляную проселочную то ли дорогу, то ли тропу, въезжаем в густой банановый лес. Гигантские листья ложатся на ветровое стекло, мягко поглаживают крышу машины, шелестят, словно увещывая не забираться слишком глубоко: если пойдет дождь, нам отсюда не выбраться. Сопровождаемые этим шуршанием, словно шепотом, еще с километр примерно, ныряем мы по ухабам. «Шевроле» отстал, его уже нет.

Неожиданно оказываемся на плантации, где резка плодов идет полным ходом. Вот они: грозди — «расимос». Доллар за штуку здесь. Сорок долларов — в Штатах. А вся разница — в сейфах «Юнайтед фрут». Все прочитанные книги и статьи о банановом деле, о тяжести этого труда словно обретают плоть, когда ты видишь это вблизи, а не из окна автобуса.

Нет в Эквадоре более тяжелой работы: каждую «расимо», а они ведь могут весить более сорока килограммов, нужно очень аккуратно срезать иногда на пяти-, а то и семиметровой высоте. Потом спустить ее на плечи и бережно, чтобы не помять ни один плод, отнести на несколько километров, к дороге. И это — при убийственном зное и влажности, когда и без ноши идти под солнцем — пытка...

На месте погрузки, куда подходят грузовики — «Бананерос», грозди аккуратно поднимаются в кузов, прокладываются мягкой пальмовой щепой. Отсюда их везут прямо в гуаякильский порт. А там приемщики, прежде чем разрешить упаковку «товара» в картонные коробки, придирчиво проверяют его, выкидывая «расимос», которые им кажутся «перезрелыми» или «помятыми». Тридцать процентов, а то и всю половину. Это так называемое «речасо» — «брак». Его можно сбросить в реку или оставить гнить на берегу: другого покупателя на этот товар нет.

Пройдя сотню метров, останавливаемся у крохотных лачуг. Кажется, что от пронзительных, словно лазер, лучей солнца такая хижина может вспыхнуть в любую минуту. И если она не загорается, то только потому, что слишком уж влажен воздух. Полуголые детишки, усталые беременные женщины в мокрых от пота платьях смотрят на нас с недоверчивой подозрительностью. Потом кто-то узнает Энрике, и недоверие проходит. Можно поговорить, осмотреться. Хотя осматривать тут вроде бы нечего: в хижине, куда мы входим, нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего мебель. Одежда висит

прямо на стене, посуда стоит на полу. Под полом сквозь щели видна зарывшаяся в пыль свинья, тоже изнывающая от зноя. В углу против входа — обрамленная бумажными цветами открытка с изображением святой девы. Под ней на полу — транзистор. Наклоняюсь, поднимаю. Аппарат дешевый, но оснащен коротковолновыми диапазонами: 19, 25, 31 метр. Энрике утвердительно кивает головой: да, такой приемник может принимать передачи из Москвы.

— Но ты посмотри внимательно на этих людей, — говорит он. — Не кажется ли тебе, что ваши программы звучат для них — как бы это выразиться поделикатнее?.. — слишком помпезно, что ли?

— Что имеется в виду? — спрашиваю я в безличной форме. Мне немножко неловко: Энрике обращается ко мне на «ты». Для него это совершенно естественная и само собой разумеющаяся форма общения с «компаньеро». А у меня язык не поворачивается ответить ему тем же: он на двадцать лет старше меня.

— Ну, вспомни, как вы там вещаете, — продолжает он. — «Внимание! Говорит Москва!»

— Ну и что?

— Как это «ну и что»? — Энрике морщится: — Понимаешь, вы должны общаться с этими людьми от сердца к сердцу. Не так пышно, не так торжественно. Вместо: «Внимание! Говорит Москва!» — ваш диктор должен был бы говорить: «Здравствуйте, дорогие эквадорские друзья! С вами говорит Виктор Иванов из Москвы». Чтобы они, — он показал рукой на обступивших нас мальчишек, на женщин, занимающихся стряпней, на старика, устало дымящего сигаретой, на паренька, побежавшего в заросли, — почувствовали, что не город с ними говорит, не страна, а живой человек.

Пробыв на плантации около часа, мы отправляемся обратно в Дуран. И всю дорогу глотает за нами пыль вновь вынырнувший неизвестно откуда все тот же серый «шевроле».

На пароме между Дураном и Гуаякилем задаю Энрике вопрос, который становится «фирменным» в моих интервью. Года полтора назад я расспрашивал Жоржи Амаду о «баианской душе». Две недели назад в президентском дворце Боготы интересовался «колумбийской душой», а теперь прошу Хиль Хильберта рассказать о том, что такое «эквадорский национальный характер».

Он подымает густые, сросшиеся на переносице брови, встряхивает седеющей, но очень пышной копной волос и на несколько мгновений задумывается. Под нашими ногами в щелях между досками парома пузырится и убегает назад буро-желтая вода Гуаяса.

— Эквадорский характер? — Он ломает спички, бросает их в воду. Сморщив лоб, напряженно думает. — Попробуй подскажи мне, как определить характер и душу нации? Сколько людей на Земле, и все они не похожи друг на друга. Как определить, что перед тобой за человек? Во-первых, надо посмотреть, как он работает. Как говорит. Душа человека проявляется в его поведении, в жестах, в словах и в манере, с которой он их произносит. И даже в таком простом, казалось бы, проявлении своего естества, как походка.

Но это все — чисто внешние приметы. А если попытаться определить суть дела, то душу нашего народа нужно искать на плантациях, вроде той, где мы только что были, в шахтах, на фабриках. Может быть, я ошибаюсь или преувеличиваю, но мне кажется, что душа эквадорца обычно печальна. Послушай нашу музыку!.. И ты почувствуешь, что это печальная музыка. Это не огненная бразильская самба. Она не может привести человека в радостное возбуждение, в экстаз. Но она согревает душу и сердце.

Между прочим, в шестьдесят третьем году после очередного переворота, когда власть в стране захватила военная хунта, у нас, в Гуаякиле, гимном сопротивления стал не революционный марш, а лирическая песенка «Гуаякиль де мне аморес» — «Гуаякиль — город моей любви». Сам я, правда, узнал об этом гораздо позже, так как оказался за решеткой в первые же часы после «голпе».

...Я сказал, что душа эквадорца печальна. Это верно. Но это еще не все. Душа эквадорца богата и щедра. И это, кстати сказать, тоже отражается в нашей музыке.

Мы любим шутку. Но это не безудержное веселье бразильцев, а привычка иронизировать над трагедией, в которую превратилась наша жизнь. Трагедия, продолжающаяся уже много веков. Мы охотно подшучиваем над неприятностями и посмеиваемся, когда полагалось бы плакать. Именно «посмеиваемся», а не смеемся. Ведь мы не любим сильных эмоций, как бразильцы или мексиканцы. Мы — маленькая нация, рожденная и живущая в горе. И наша улыбка всегда или почти всегда скрывает глубокую печаль, в которой мы не хотим признаваться

самим себе, и поэтому не любим, когда ее замечают другие люди. Разгадай эту психологическую головоломку, и ты получишь ключ к пониманию души эквадорца.

«Честь и родина» полковника Манчено

...Энрике подвез меня к отелю «Континенталь» на улице Чили, я долго благодарил его, крепко жал ему руку. Стемнело почти так же быстро, как в Кито. С набережной в трех кварталах отсюда доносились истеричный визг автомобильных тормозов и деловитое тарыхтение судовых двигателей. Позади нашего «фольксвагена» припарковался зеленый «форд». Лицо сидящего рядом с водителем человека показалось мне знакомым. А может быть, не лицо, а газета, в которую это лицо уткнулось. Но мне не хотелось копаться в памяти. Слишком уж я был взволнован и преисполнен чувства благодарности к Энрике: этот день стал, пожалуй, самым богатым впечатлениями за всю командировку. Я вдруг поверил, что уж теперь-то после такой обстоятельной беседы с этим интереснейшим человеком, имею право написать об Эквадоре что-то более весомое, чем традиционные путевые заметки, которые наш брат журналист с такой легкостью печет с помощью туристических путеводителей и подшивки местных газет.

В холле отеля мальчик в синей форменной курточке с блестящими буквами «Континенталь» на уголке воротника, подавая мне ключ от комнаты, сказал:

— А у нас тут еще один «руссо» появился. Сеньор не хочет узнать, в каком он номере?

Да, разумеется, я хочу узнать, в каком номере поселился мой соотечественник, второй, кроме меня самого, советский человек в этой стране. Надо же, какая встреча! И через две ступеньки я помчался вверх.

Еще один «руссо» оказался коллегой, журналистом, прилетевшим в Эквадор из Лимы. Коллега совершал большой вояж по Латинской Америке, который начался в столице Чили Сантьяго, а должен был завершиться в Мехико. Мы радостно похлопали друг друга по плечам, мгновенно установили массу общих знакомых и друзей, как это всегда бывает у людей, занимающихся одной работой, одной темой, в данном

случае — Латинской Америкой. У коллеги — по сравнению со мной он совсем недавно, всего каких-то полгода, как выехал из Москвы, — оказалось полбатона полтавской колбасы и кое-что еще, что позволило нам славно провести остаток вечера, совсем как у Симонова:

И хлопая друг друга по коленям,
Припомнят Разгуляй, Коровий брод,
Две комнаты — одну в Кривоколенном,
Другую у Кропоткинских ворот.

Когда я вдохновенно продекламировал эти строки, коллега заметил, что теперь командированные обычно вспоминают не Разгуляй и не Кропоткинские ворота, а Химки или Новые Черемушки. Что же касается Коровьего брода, то сейчас вообще никто не знает, что это такое.

Но я ответил, что живу в Потаповском, а это, как известно, практически то же самое, что Кривоколенный, Мой Потаповский, не без гордости сказал я, является продолжением Кривоколенного от Телеграфного до Маросейки.

Я нарочно сказал «Маросейки», как говорят старожилы этого района, упрямо игнорирующие переименования и привыкшие оперировать традиционными и более дорогими их сердцу «Маросейка», «Покровка», «Лубянка». Правда, название улицы Кирова прижилось окончательно, и я не встречал москвича, который пытался бы именовать ее «Мясницкой».

С помощью походных кипяtilьников мы выпили по чашке чая, потом по второй и третьей. Единодушно осудили перегибы в переименовании московских улиц, вспомнили, что примером москвичам может служить Ленинград, где тоже поначалу переименовали Невский, а потом спохватились и вернулись к традиционному и святому для всех русских людей имени. И пришли к выводу, что вдаль от родины гораздо приятнее вспомнить такие названия, как «Арбат» или «Таганка», чем «2-я улица Строителей» или «10-й проспект», что находится между Левоокружным проспектом и улицей Металлургов.

Рассказываю об этом так подробно только для того, чтобы вы, уважаемый читатель, имели представление, какой может быть ночная

беседа охваченных приступом ностальгии, выражаясь языком того же Симонова, «двух очень стосковавшихся мужчин», случайно встретившихся в 20 тысячах километров от Москвы, в 480 километрах от экватора и в трех кварталах от реки Гуаяс под доносящийся в окна шелест шин на мокром ночном асфальте: в Гуаякиле опять шел дождь.

Прощаясь, чтобы успеть подремать хотя бы пару предутренних часов, мы единодушно решили объединить усилия и работать отныне вместе. И все последующие пять или, не помню уже, шесть дней, проведенных вместе в Гуаякиле, мы были неразлучны: вместе ездили по городу, встречались с разными людьми. Вместе обедали у Пепе, вместе говорили комплименты его молодой красавице жене и вместе смеялись, когда он рассказывал историю своей женитьбы:

— Мы познакомились на конкурсе красоты, где будущая моя супруга была официальной «подружкой» победительницы. Хотя, на мой взгляд, — улыбнулся Пепе, — все должно было бы произойти наоборот: моя будущая супруга достойна была стать «королевой», а та, что стала «королевой», вполне могла бы удовольствоваться ролью подружки. Когда мы объявили о помолвке, ее отец рассердился: «Вот угораздило, черт возьми, найти себе коммуниста!» Однако спустя два-три года он уже говорил ей: «Ты знаешь, дочь моя, он хоть и коммунист, но парень вроде бы не такой уж и плохой...» А теперь, когда мы приходим к ним в гости, чуть не на всю улицу кричит: «Ты молодец, парень! Если все коммунисты такие, как ты, запиши и меня в свою партию».

...И где-то на второй или на третий день совместной беготни мы заметили, что во всех наших передвижениях по Гуаякилю мы, оказывается, не одиноки: куда бы ни шли и ни ехали, за нами по пятам обязательно следовали двое сеньоров в темных костюмах. Поначалу они держались где-то в отдалении, потом — все ближе и ближе. Если мы обедали в кафе, они усаживались за столик, стоящий у выхода, пили пиво, читали газеты. Когда мы садились в такси, то через некоторое время мы видели наших «попутчиков» в держащемся неподалеку сером «шевроле» или зеленом «форде». Если мы поднимались, допустим, в контору к Пепе, молчаливые спутники поджидали нас в небольшом баре напротив, откуда им хорошо был виден подъезд. Как только мы выходили, они тут же становились на нашу лыжню. И так весь день сопровождая нас, они вечером следом за нами приезжали в

«Континенталь» и оставались внизу, в холле, расположившись со вздохом облегчения в креслах под фикусами прямо против стойки администратора.

Когда на следующий день мы спускались к завтраку, они уже поджидали нас в баре отеля, подремывая и покуривая над чашечками кофе. Меня интересовало: неужели они сидят в холле всю ночь? И как-то раз, проснувшись под утро, я решил проверить их бдительность, спустился вниз. Круглые часы над стойкой администратора показывали половину четвертого. Ночной портье сладко всхрапывал, растянувшись на диване. Больше в холле никого не было. То ли наши караульные, преступно оставив свой пост, ушли в самоволку, понадеявшись, что ночью мы никуда не выйдем, то ли инструкция диктовала им «вести» нас лишь с утра до полуночи. Как бы то ни было, я получил возможность выскользнуть из отеля и побродить по прохладному ночному городу в полном одиночестве, наслаждаясь ощущением свободы и безнаказанности. Почти как школьник, который отважился прогулять урок ненавистной ему химии или алгебры.

А утром они снова были на месте. И еще через день мы с коллегой, привыкнув к этому почетному караулу, начали здороваться с ними утром, прощаться и желать друг другу «доброй ночи» по вечерам. Мы угощали их сигаретами, а если колебались в выборе маршрута, спрашивали у них дорогу, и они всегда учтиво объясняли нам, как лучше проехать к агентству БОАК, что на улице Икаса Кампос, и каким образом быстрее добраться к знаменитому кладбищу, которое является чуть ли не самой главной достопримечательностью Гуаякиля. Нам казалось, что этим дело и ограничится, но однажды утром, когда мы спустились к утреннему кофе и поприветствовали «попутчиков» традиционным «Буэнос диас!» — это было за сутки до отъезда коллеги и за два дня до моего возвращения в Рио — они, учтиво улыбнувшись, ответили, что очень сожалеют, но «уважаемые сеньоры» (то есть мы с коллегой) должны совершить вместе с ними небольшую прогулку.

Мы поинтересовались, не соблаговолят ли они подождать, пока мы выпьем по чашечке кофе, и получили в ответ заверения, что, разумеется, они охотно подождут нас, что мы можем не спешить, по все же не позднее девяти тридцати мы должны быть в назначенном месте.

Мы спросили, где именно надлежит нам быть к этому часу и надолго ли мы задержимся там, но наши спутники развели руками,

пожали плечами и заверили нас, что они абсолютно не в курсе. Они просто выполняют приказ своего начальства.

Допив кофе, мы поблагодарили официантку, которая смотрела на нас с участием, с каким глядят деревенские молодухи вслед парням, уходящим на призывной пункт. А когда вышли из отеля на улицу, сразу стало ясно, что ситуация заметно изменилась. «Караул» уже следовал не за нами, а рядом с нами: попутчики шагали один — справа, другой — слева. И тем самым как-то само собой стало понятно, что из «сопровождаемых» мы превратились в «конвоируемых».

Тут же, у отеля, мы были вежливо усажены в уже хорошо знакомый нам серый «шевроле» и двинулись по маршруту, который и предвидели: направо за угол, пересекая улицы Педро Карбо, Пичинчу и Боливара, выехали на Малекон и покатали налево к уже хорошо знакомому зданию муниципалитета. Мы были знакомы с ним, так сказать, снаружи, по рассказам Пепе, Энрике, Рафаэля Икасы. А теперь, судя по всему, нам предстояло познакомиться с ним и внутри...

Все правильно: мы подкатили к этому тяжеловесному, неуклюже пародирующему барокко серому дому с его широкими колоннами, обрамляющими высокую — на три этажа — арку, над которой в глубине треугольного фронтона виднелись, если отойти подальше, на другую сторону Малекона, гордые слова «Онор и Патрия»: «Честь и Родина»...

В этом дворце размещался не только муниципалитет. Там находилось и Управление политической безопасности Гуаякиля, в следственных камерах которого обычно держали политических заключенных. Пепе рассказывал нам, что после военного переворота 1963 года именно сюда свезли схваченных по всему городу коммунистов, профсоюзных руководителей, работников редакции коммунистической газеты «Пуэбло». Здесь их пытали током, вгоняли иголки под ногти, рубили пальцы, выкалывали глаза, душили и просто били, примитивно и грубо: дубинками и ногами. В те времена — в начале 60-х — пытки политических заключенных в Эквадоре, да и в других южноамериканских странах еще не отличались изощренностью и сноровкой. Сноровка появилась несколько лет спустя, когда в древнее, как мир, ремесло истязателей и палачей вдохнули новую жизнь прибывшие по эту сторону экватора Дэн Митрионе и другие

специалисты из вашингтонского Управления общественной безопасности.

А тогда, в начале 60-х, в Гуаякиле обходились еще старыми дедовскими методами: тушили окурки о кожу заключенных, били их носками ботинок под ребра. И уж конечно, если бы в те времена тут работали эксперты из Вашингтона, местные кадры не осрамились бы так, как это случилось 24 февраля 1964 года, когда после многочасового сеанса пыток они выбросили из окна камеры (пятнадцать метров высоты над тротуаром) члена ЦК компартии Эквадора Луиса Вальдивьесо Морана. Они думали, что он уже мертв, и хотели замести следы убийства. «Ла Пренса» — есть такая газета в Гуаякиле — сообщила об этом «инциденте» фразой, цинизм которой не поддается определению: «Упав на тротуар, Вальдивьесо Моран, к сожалению, не скончался, а лишь переломал себе ноги»... Да, Луис оказался жив. И к нему бросились прохожие, и в городе разразился скандал, и об этом узнали газетчики, и на следующий день по городу разлетелись листовки, а еще через несколько дней об этом узнал весь мир.

...Вспоминаю об этом не для того, чтобы накачать в повествование побольше драматизма. У меня и в мыслях нет зажигать над нашими головами сияющие нимбы мученичества: когда нас с коллегой конвоировали по гуаякильскому Малекону к муниципальному дворцу, мы прекрасно понимали, что направляемся не в тюрьму. Время было другое. Ситуация в стране иная. С самого начала нам было ясно, что речь идет лишь о допросе, о выяснении наших связей и контактов, и самое «страшное», что нам «угрожает», если местные власти нами недовольны, это высылка из страны.

Мы не обманулись: начальник службы политической безопасности Гуаякиля полковник Гало Гомес Манчено предстал перед нами воплощением любезности и олицетворением самых утонченных светских манер. Он сердечно приветствовал нас, предложил сесть, угостил сигаретами, рассыпался в извинениях за причиненное беспокойство и с таким горячим интересом принялся расспрашивать о самочувствии, что, оказись свидетелем этой беседы непосвященный человек, он мог бы предположить, что мы находимся на приеме у врача. Потом полковник пустился в долгие рассуждения о местном климате, о дождях, наконец-то появившихся после недавней засухи.

Мы старались демонстрировать сдержанность, но не торопились «качать права». Сначала нужно было понять, чего он от нас хочет и чем намеревается увенчать эту беседу: «дружеским предупреждением» или просьбой о незамедлительном выезде из страны. Мы прекрасно понимали, что с точки зрения местных законов и порядков, а также правил работы иностранной прессы никаких прегрешений за нами нет. Но мы знали также и то, что в случае необходимости толкование инструкций может оказаться очень своеобразным. И для любого закона можно найти исключения и «особые случаи». Поэтому, лишь когда полковник в третий раз поинтересовался нашим самочувствием, мой коллега, изобразив светскую улыбку, позволил первый ответный выпад. Он сказал, что мы чувствуем себя прекрасно, ни разу за время пребывания в Гуаякиле не обращались к врачам и не заходили в аптеки, и господину полковнику это должно быть хорошо известно, ибо он — господин полковник — достаточно хорошо осведомлен о всех наших передвижениях в городе Гуаякиле и его окрестностях.

Полковник ответил, что просьба посетить вверенное его руководству учреждение была продиктована одним лишь только желанием познакомиться со столь интересными и видными гостями «нашего города», выяснить, не нуждаются ли уважаемые сеньоры в содействии со стороны местных властей.

Мы поблагодарили нашего собеседника и, в свою очередь, заверили его в том, что никакого содействия со стороны властей нам пока не требовалось. Тем более что, как ему, должно быть, хорошо известно, в своих профессиональных контактах представители прессы предпочитают иметь дело с правительственными властями или муниципальными органами, а не с теми специфическими службами, которые здесь, в Гуаякиле, с таким блеском возглавляет господин полковник.

Полковник улыбнулся и выпустил ответную пулю, заметив, что в профессиональных контактах, которые мы имели во вверенном его попечениям городе, он с огорчением констатирует почти полное отсутствие интереса к представителям официальных властей и в то же время весьма горячую заинтересованность в общении с политической оппозицией режиму.

— В этом может быть усмотрено какое-нибудь нарушение местных законов? — интересуюсь я.

— Ни в коем случае! — отвечает полковник. — В этом может лишь просматриваться определенная политическая тенденция. И я поэтому позволю себе дать вам дружеский совет: старайтесь избегать в ваших будущих статьях и репортажах об Эквадоре односторонности и предвзятости.

Мы благодарим полковника. Я хочу добавить, что мы, в общем-то, имеем обыкновение пользоваться только теми советами, о которых сами спрашиваем. Но коллега толкает меня в бок и шепчет, что, во-первых, не надо дразнить гусей, во-вторых, у нас до отъезда остается слишком мало времени и тратить его на обмен любезностями с этим солдафоном — по меньшей мере бесхозяйственно.

Свидание завершается в атмосфере почти дружелюбия. Полковник заверяет нас в своих самых искренних симпатиях, мы рассыпаемся в ответных любезностях. Нас провожают до выхода, выводят из-под арки, над которой красуются безмолвные «Честь и Родина», усаживают в серый «шевроле» и доставляют в «Континенталь». Администратор смотрит на нас с неподдельным сочувствием и в то же время с некоторой демонстративной отстраненностью, словно декларируя на всякий случай полную непричастность отеля к делам и заботам своих клиентов.

Мы поднимаемся наверх — коллега отправляется укладывать свои чемоданы. Ему завтра улетать. А я привожу в порядок записи и фиксирую в блокноте беседу с полковником Манчено.

Потом мы с коллегой снова встречаемся, обедаем и, выходя из ресторана, видим в газетном киоске в висящей для всеобщего обозрения только что вышедшей вечерней газете «Ла Пренса» — той самой, что так своеобразно прокомментировала «падение» из тюремного окна Вальдивьесо Морана — в центре первой полосы на самом видном месте крупно набранный заголовок: «Накануне выборов два руководителя советской коммунистической партии прибыли в Эквадор».

Ниже — заметка, в которой говорится, что два советских агента, являющихся руководителями коммунистической партии этой страны (полностью даны наши фамилии и имена), прибыли несколько дней назад в Гуаякиль и, маскируясь под журналистов, осуществляют здесь целую серию контактов с руководителями Коммунистической партии

Эквадора. Не исключено, что эти контакты носят сугубо политический характер с учетом приближающихся президентских выборов.

Далее «Ла Пренса» сообщала, что по имеющимся у нее данным в правительственных сферах уже обсуждается вопрос о высылке упомянутых «элементов» с территории страны, ибо их пребывание здесь, носящее характер «политического шпионажа», представляет угрозу политической стабильности, учитывая повышенную активность «известных представителей коммунистических тенденций», стремящихся к изменению существующего правопорядка.

...Итак, все ясно: распрощавшись с нами несколько часов назад, полковник тут же вызвал репортера «Ла Пренса» и выдал ему эту версию. Бульварная газетка с радостью ухватилась за сенсацию и гневно заклемила «агентов международного коммунизма».

Мы купили по газете и поднялись к себе. Нам предстояло решить, как действовать в этой ситуации.

Самым простым решением было бы сделать вид, что ничего не произошло: дожить коллеге до завтра, мне — до послезавтра и спокойно разъехаться по намеченным маршрутам, оставив провокацию на совести полковника и «Ла Пренсы». Но если «тихо уехать», та же «Ла Пренса» зашумит, что мы испугались, сбежали, и это лишь подтверждает ее предположение о «политическом шпионаже»... А тогда, глядишь, и другие газеты подхватят утку. Мы размышляем, взвешиваем альтернативы, и у нас созревает решение, оказавшееся, как покажут дальнейшие события, самым разумным и безошибочным.

Мы отправляемся с «визитами вежливости» в редакции трех остальных гуаякильских газет: в «Эль Телеграфо», «Эль Универсо» и затем — в вечернюю «Ла Расой». В каждой редакции мы встречаемся с главным редактором или с тем, кто его замещает. И в каждой редакции мы отнюдь не жалуемся на клевету «Ла Пренсы» и вообще первыми не упоминаем о ее заметке. Мы говорим, что пришли «навестить коллег», «познакомиться с интересным опытом работы вашей уважаемой редакции». Мы пьем кофе, которым нас угощают, и рассказываем о наших журналистских делах. И в каждой из этих трех редакций, естественно, заходит речь о заметке «Ла Пренсы».

И тут я достаю из чемоданчика-кейса вырезки из колумбийских газет, рассказывающие о грандиозном интервью, которое мне дал Президент этой страны, кладу их на стол и, изобразив на своей

физиономии выражение крайнего удивления, переходящего в сдержанное негодование, кротким голосом говорю, что вот, мол, уважаемые сеньоры, какие на нашем с вами профессиональном пути могут приключиться занятные парадоксы: в Колумбии, проработав две недели, я собрал богатый журналистский материал и увенчал свое пребывание в этой стране полуторачасовым — обратите внимание, сеньоры, это не я вам говорю, это пишет выходящая в Боготе «Эль Эспектадор»... — полуторачасовым интервью с Президентом, который пользуется заслуженным уважением и доверием во всем мире. И никто в Колумбии не обвинял меня в шпионаже и в иных злонамеренных делах. Вот вырезки из выходящих в Боготе газет, вот опубликованные в них фотографии моей встречи с сеньором Президентом. Вот, посмотрите, здесь пишут: «С главой нашего государства имел вчера продолжительную беседу видный советский журналист...» «Крупный специалист по проблемам Латинской Америки был принят нашим Президентом». Я, разумеется, не настаиваю на точности эпитетов «видный» или «крупный специалист»! Возможно, здесь допущено известное преувеличение. Но, обратите внимание, уважаемые сеньоры: никто в Боготе, включая самого сеньора Президента, не подвергал сомнению мою принадлежность к цеху журналистов! Никто не говорил о «политическом шпионаже» и не пытался подвергнуть меня остракизму за то, что я представляю советскую прессу. Так чем же объясняется странная, мягко выражаясь, позиция ваших коллег из «Ла Пренсы»?

...На следующий день все три газеты вышли с сообщениями о наших визитах. «Эль Телеграфо» и «Ла Расой» даже поместили наши фотографии. Заголовки этих заметок были весьма недвусмысленными: «Два советских журналиста находятся в нашей стране и готовят о ней репортажи» («Эль Телеграфо»), «Два русских журналиста нанесли сердечный визит в нашу редакцию» («Эль Универсо»). А более склонная к патетике «Ла Расой» выразилась категорично и безапелляционно: «Я не шпион, а журналист», — заявил нам русский корреспондент, приехавший в Гуаякиль.

Собрав эти номера, я направил свои стопы в «Ла Пренсу». Меня сопровождал Пепе. Коллеги уже не было: он улетел рано утром.

В «Ла Пренсе» мы с Пепе потребовали начальство.

После некоторой заминки нас принял кто-то из редсовета. Девушка в белом фартучке принесла кофе и минеральную воду. Мы гордо отказались от угощения. Мы были сдержанны и молчаливы. Мы разложили на столе газеты из Боготы, рядом с ними положили утренние выпуски гуаякильской прессы, увенчали этот натюрморт фотографией моего рандеву с Президентом Колумбии. И рядом положили вчерашний номер «Ла Пренсы».

После этого я сказал, что очень недоволен недружественным и бездоказательным выпадом «вашей газеты», что был бы крайне разочарован приемом, оказанным мне в Гуаякиле, если бы не солидарность коллег из «Эль Телеграфо», «Эль Универсо» и «Ла Расой». И что мне совсем не хотелось бы прибегать к услугам местной юриспруденции, но если «Ла Пренса» не опубликует опровержения на свою вчерашнюю статью...

— Опубликуем, — сказал директор. — С глубочайшей радостью опубликуем.

Он прекрасно понимал, что я не стану «прибегать к услугам юриспруденции». Для этого у меня, во-первых, не было денег: юриспруденция в Эквадоре, как и во всем остальном «свободном мире», стоит недешево. Да и времени у меня для этого не оставалось, ибо в кармане уже лежал билет на завтрашний рейс «Варига» в Рио-де-Жанейро. Но выглядеть белой вороной, ослом и тупицей директору «Ла Пренсы» тоже не хотелось. И поэтому в тот же вечер, последний мой вечер в Гуаякиле, с громадным удовлетворением я увидел в «Ла Пренсе» фотографию, запечатлевшую меня с Президентом Колумбии. Ту самую, работы фирмы «Фото-Сади». Над снимком была набрана надпись: «Очень жалко, что мы еще так мало знаем друг о друге». И ниже фотографии была напечатана заметка, в которой сообщалось, что редакцию газеты посетил видный советский интеллектуал и журналист сеньор Игорь Фесуненко, который работает в Рио-де-Жанейро, но в данный момент совершает большую поездку по ряду латиноамериканских стран. Он не шпион, не коммунистический агитатор, он — журналист, выполняющий свою профессиональную миссию. О чем, в частности, свидетельствует продолжительная беседа, которой его удостоил, как это видно по публикуемой фотографии, Президент соседней с нами страны.

«Спасибо, сеньор Президент!» — подумал я, взял ножницы и с особым удовольствием отправил в свое эквадорское досье вырезку из этого номера гуаякильской газеты «Ла Пренса». А спустя полгода рядом с ней я подшил и копию очерка «На экваторе в Эквадоре», который был все-таки написан и напечатан в «Комсомольской правде».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Самые крупные планы



* * *

До сих пор речь в этой книге шла о сравнительно простой корреспондентской работе. О работе, которая выполняется в одиночку. Живет журналист в зарубежной стране, выезжает в командировки, собирает информацию, накапливает впечатления, ведет досье, пишет короткие заметки или пространные очерки. И все это он делает сам. «Творит свой подвиг одиноко», как сказал Александр Трифонович Твардовский. Творит без помощников, ассистентов, секретарей и переводчиков. Сам выбирает тему, сам подбирает материал, звонит по

телефону, договаривается об интервью, записывает его на магнитофон, потом сам же переводит запись на родной язык, садится за стол и, этакий кустарь-одиночка, стуча по клавишам машинки, «готовит людям свой подарок», рождает в более или менее острых творческих муках очередной шедевр.

Но с 1973 года, когда начальство решило откомандировать меня в Гавану, начался новый, куда более сложный этап моей корреспондентской биографии: отныне предстояло работать не для радио, а для телевидения.

Первое и главное отличие телевидения от обычной прессы заключается в том, что телевидение должно не рассказывать о событии или человеке, как это делает газета, а показывать его. Поэтому в корреспондентских пунктах телевидения работает обычно не один корреспондент, а два: журналист и кинооператор. Журналист ищет темы и пишет текст будущего телесюжета, а оператор — снимает его.

В очерке об одной из корреспондентских командировок по Кубе, который вы сейчас читаете, рассказывается о ситуации, далеко не стандартной. Чтобы снять несколько сюжетов для «Международной панорамы», в поездку по центральным и южным провинциям Кубы мы отправились не вдвоем с оператором, как это бывает обычно, а целой бригадой, включая трех кубинских журналистов. О некоторых эпизодах этого путешествия сейчас и пойдет речь, но сначала еще одно замечание, поясняющее название этой главы.

Возьмите в руки кинокамеру или фотоаппарат. Посмотрите в видоискатель: камера бесстрастно фиксирует все, что находится перед объективом. И девочку, прыгающую через скакалку в двух шагах от вас, и почти неразличимый поселок на самом горизонте. Оператор скажет, что эта девочка находится «на крупном плане», а поселок — на «общем». Не нужно быть специалистом, чтобы понять нехитрую истину: хорошо изучить какое-то явление или событие, познакомиться с человеком, ощутить и понять его внутренний мир можно только тогда, когда мы снимаем его крупным планом.

Лас-Вильяс: последняя битва революции

О нашем приезде Мирабал был предупрежден телеграммой и тремя телефонными звонками из Гаваны. И все же я испытал угрызения совести, когда, толкнув дверь с табличкой «Делегат Кубинского института радиовещания в провинции Лас-Вильяс товарищ Модесто Мирабал Арена», мы ввалились шумной гурьбой в его кабинет, и я увидел, как этот человек, с трудом оторвавшись от кипы бумаг на письменном столе, устало поднял голову и воззрился куда-то сквозь нас. Через несколько мгновений он встряхнул головой, сбросил с себя оцепенение и с кроткой улыбкой объяснил: «Масса работы... Сижу, понимаете ли, над отчетом для Гаваны, который нужно через два дня отослать. Да тут еще партконференция через неделю. Велели приготовить доклад об идеологической работе». У него был вид смертельно усталого человека, хотя рабочий день только-только начинался: когда мы въезжали в столицу провинции Лас-Вильяс город Санта-Клару, завершая 300-километровую автомобильную гонку из Гаваны, часы показывали начало девятого и солнце лишь слегка выглядывало из-за холмов Капиро.

Мы энергично пожимаем друг другу руки, после чего Мирабал лезет в ящик письменного стола и достает бумагу, на которой четким шрифтом — видимо, машинистка, садясь печатать этот документ, сменила ленту, — зафиксирован «План работы творческой группы Советского телевидения в провинции Лас-Вильяс».

— Не знаю, правильно ли я понял пожелания товарищей, — виновато улыбаясь, говорит Мирабал, — но мы постарались учесть все ваши просьбы.

Да, все правильно. Неделю назад мы обратились в Гаване к руководству Кубинского радио с просьбой помочь нам в организации этой поездки в Лас-Вильяс. Мы назвали несколько тем будущих репортажей, которые хотелось бы снять в провинции. И теперь я с удовольствием вижу, что все наши просьбы зафиксированы в этом педантично разработанном плане: «Битва за Санта-Клару — последняя битва кубинской революции», «Завод имени Норьега», «Морской порт Сьенфуэгоса», «Революция приходит в Топес-де-Кольянтес», «Вчера и сегодня Тринидада, интервью с художником Бенито Ортис». Чуть ниже — названия отелей, где нам надлежит ночевать. Еще ниже список группы: корреспондент Игорь Фесуненко, оператор Виталий Долина, осветитель Александр Бескаравайный, переводчик Евгений Бойцов.

Сопровождают нас кубинцы Габриэль Аренал, Феликс Морехон и Диосдадо Рамирес.

На запланированную в этой командировке работу отведено всего три дня. За три дня мы должны снять пять или шесть сюжетов в четырех городах. Нельзя терять ни минуты, и, прихлебывая дымящийся кофе, без которого на Кубе, как и в Бразилии, просто невозможно ни начать, ни кончить какое бы то ни было дело, я тут же обращаюсь к Мирабалу с просьбой: для сюжета о битве за Санта-Клару нам обязательно нужно разыскать хотя бы одного ее участника, который расскажет советским телезрителям об этом последнем сражении кубинской революции.

Мирабал заметно мрачнеет и со вздохом глядит на черновик своего годового отчета.

— Вам это обязательно нужно?

— Конечно!

— Я, знаете ли, уже предвидел, что вы можете об этом попросить, — говорит он с виноватой улыбкой, — и пытался найти ветерана. Но это оказалось не так-то просто. Один из тех, кого я знаю, находится на сафре, другой уехал в командировку в Гавану, третий — отправился в отпуск в Варадеро.

— Но нам это действительно нужно! — настаиваю я, хотя мне очень неловко отрывать его от собственных дел и забот.

— Хорошо, мы постараемся что-нибудь сделать, — Мирабал улыбается, перекладывая листки своего доклада с одного края стола на другой.

Мы встаем. Протокольная часть визита закончена. Нужно немедленно отправить чемоданы в мотель «Лос Канеес», где Мирабал зарезервировал для нас места, перекусить и отправляться на съемку. Мирабал, грустно глядя в наши неумолимые глаза, обещает разыскать ветерана сегодня к вечеру или завтра к утру.

Когда плачут «самоубийцы»

— Отряды Че Гевары выступали на город оттуда, со стороны Капиро, — говорит Диосдадо, показывая на виднеющийся неподалеку невысокий холм, поросший редким лесом и кустарником.

На притихший, разомлевший от зноя город мы глядим с крыши отеля «Санта-Клара», на которую забрались, чтобы обеспечить Долине высокую точку для съемки панорамы города. Тихо стрекочет «арифлекс», переваривая первую кассету. В объективе отражаются белые стены отеля, на них чернеют царапины и шрамы пятнадцатилетней давности: следы пуль и осколков гранат. Камера наклоняется, снимая застывшее красно-белое море черепичных крыш, серые ленты улиц, большой сквер на площади у отеля.

— Здесь, внизу, в этом сквере, шел особенно ожесточенный бой.

В душной кабине старенького лифта мы спускаемся вниз, оказываемся в холле «Санта-Клары», выходим на улицу, пересекаем мостовую и останавливаемся в сквере, носящем имя «Парк Видал».

Небольшая площадь, круглая беседка в центре, несколько скамеек. Деревья, придавленные солнцем к земле, в изнеможении обронули серую паутину тени на плавящийся асфальт. С одной стороны сквера — белые стены «Санта-Клары», испещренные черными оспинами — отметками вонзавшихся пуль. С другой — окна невысокого серого особняка с выложенной кирпичами надписью на фронтоне: «Говерно провинсиал» — «Правительство провинции».

— Там, в здании правительства, стояли пулеметы Че, — рассказывает Диосдадо. — Они обстреляли «Санта-Клару», где тогда засели агенты батистовской полиции.

Виталий прищуривается, примериваясь к кадру, вертит головой слева направо, потом справа налево. Озабоченно почесывает затылок, затем припадает глазом к видоискателю и нажимает спусковую кнопку «арифлекса». Медленно поворачиваясь, он снимает панораму, повторявшую трассы пулеметных очередей. Тех самых, что навечно отметили белые стены отеля.

Мальчишки, резвящиеся в сквере, бросают свои мячи и самокаты. Вокруг Виталия вскипает дружная, галдящая толпа. Каждый хочет попасть в кадр, каждый лезет под объектив.

Кончив снимать панораму, Долина опускает камеру и задумчивым взглядом окидывает «Парк Видал». Его глаза озаряются вдохновением. Тем самым, которое предвещает рождение шедевра. Я могу предположить, что нечто подобное вспыхнуло в глазах Пушкина за пару секунд до того, как он взял в руки свое гусиное перо и вышил бисером строчки про дядю самых честных правил, который не в шутку

занемог. И, наверное, именно так загорелся взор Микеланджело в тот миг, когда он увидел у каменотесов Сеттиньяно заветную, столь долго разыскиваемую мраморную глыбу для будущей мадонны с младенцем.

Мы уважительно помалкиваем. Габриэль даже затаил дыхание. А Долина, припав к видеоискателю, строчит короткими точными очередями.

...Очередь, и увековечен для потомков дряхлый старичок, вздремнувший на скамейке с газетой в бессильно повисшей руке. Еще очередь: смуглая мамаша, совсем девочка, поправляет пеленку у младенца, шевелящего розовыми ножками в коляске. Очередь: три офицера разговаривают около беседки, жестикулируя и размахивая руками. Несколько воркующих парочек. Стройная мулатка с хозяйственной сумкой в руках. Негр, сосредоточенно раскуривающий толстенную сигару. Быстрыми точными движениями Долина наводит на резкость, поправляет диафрагму, меняет объективы. А я стою в отдалении и пытаюсь представить себе, где они были, что они делали, все эти люди — этот негр, и этот старик, и эта мулатка — в предновогодний декабрьский день пятьдесят восьмого года, когда здесь гремел тот бой? Когда революционеры из «Движения 26 июля» штурмовали крепостные стены казарм «31-го эскадрона». Когда из разместившегося в университетском городке штаба осаждавшей «Санта-Клару» колонны Че неслись связные с приказами команданте. Когда дымились окутанные пороховым дымом пологие склоны Капиро. Когда гремели пулеметные очереди у стен городской тюрьмы, у полицейских казарм, у крепости «Леонсио Видал». Когда вползал, громяхая на стрелках, бронепоезд, посланный сюда Батистой в тщетной надежде спасти Санта-Клару.

Потом мы садимся в машину и едем на место, где погиб знаменитый Вакерито — «Пастушок», как прозвали Роберто Родригеса, командира «Батальона самоубийц». Столь устрашающее имя этот отряд носил не случайно: он выполнял самые трудные задания Че, и о нем в Повстанческой армии ходили легенды.

Сам Че впоследствии в «Эпизодах революционной войны» вспоминал: «„Батальон самоубийц“ был образцом революционной морали. В него назначались лишь избранные из добровольцев. И, однако, каждый раз, когда кто-нибудь из них погибал — а это случалось в каждом бою — и на его место выбирался новый солдат — один из

множества добровольцев, все остальные страдали буквально до слез. И было странно видеть эти слезы у опытных героев, страдавших от того, что их не удостоили чести занять место на переднем краю битвы и, возможно, гибели».

Здесь, в Санта-Кларе, Че поручил Вакерито взять штурмом здание полиции. Сказано — сделано! «Самоубийцы» обложили батистовцев, укрывшихся в серой полицейской казарме. Началась яростная перестрелка.

— С этой крыши и вел огонь Вакерито, — говорит Диосдадо, показывая нам маленький особнячок, метрах в ста от казарм. На нем тоже сохранились следы пуль. И кажется, что в воздухе все еще стоит запах пороха.

— Его помощник Леонардо Тамайо кричал Вакерито: «Пригнись, тебя же убьют!» Но Вакерито смеялся над врагами. И стрелял, стоя во весь рост, — тихо рассказывает Диосдадо. — Пуля попала ему в голову. Всего лишь тридцать минут билось после этого сердце Вакерито. Тридцать минут. Их хватило для того, чтобы привезти героя в госпиталь, где врач Орландо Фернандес Адан смог только одно: грустно покачать головой. Вакерито умер, не приходя в сознание. И Че, примчавшийся в госпиталь через десять минут, сказал: «Погиб не Вакерито. Погибла сотня моих лучших бойцов».

Диосдадо замолкает. И правильно делает. Хочется помолчать. Даже неугомный Долина перестает суетиться со своим «арифлексом». Все мы — Феликс Морехон, Габриэль, Диосдадо, Виталий — глядим на темный барельеф мемориальной доски, укрепленной на стене, у которой погиб Вакерито.

Он был совсем мальчик, этот Роберто Родригес. Не по-кубински белокурый, с зелеными глазами и редкой бородкой, которую отпустил, подражая Фиделю и Че. Незадолго до гибели ему исполнилось 23 года, в горы Сьерра Маэстра он пришел месяца через три после высадки Фиделя, Рауля, Че и их соратников с «Гранмы». Сначала был посыльным, потом — солдатом. Вскоре стал капитаном. А вы знаете, что такое «капитан» в Повстанческой армии? Ведь сам Фидель был «команданте» — майором. И выше «команданте» воинских званий в Повстанческой армии не было.

Когда его хоронили, «самоубийцы» плакали, не стесняясь слез. И стреляли в воздух, салютуя своему командиру, который не дожил до

победы революции всего лишь несколько часов.

Сага о бронепоезде

К обеду мы отсняли все, что наметили. И даже немножко больше. Для шестиминутного сюжета о битве за Санта-Клару «картинки», как говорят операторы, было у нас более чем достаточно. Не было лишь самого главного: интервью с участником битвы.

Закончив обед, решительно направляемся к машинам. «К Мирабалу?» — упавшим голосом спрашивает Габриэль, которому, видимо, хотелось бы без спешки выкурить послеобеденную сигару. Да, к Мирабалу! Без ветерана нам уезжать отсюда нельзя!

Мирабал встречает нас без энтузиазма: бедняга уже извелся за эти полдня, названивая во все концы города.

Увы, ветерана разыскать не удастся. И доклад горит. А мы садимся в жесткие кресла и смотрим на него жалобными глазами.

— Солнце, солнце уходит, — вздыхает Долина, глядя в окно.

Мирабал снова берется за телефонную трубку.

Мы сидим полчаса, час. Секретарша в третий раз тащит поднос с «кофе», от которого уже першит в горле.

— На худой конец, — говорит Феликс Морехон, закуривая сигару, — у нас есть еще в запасе Мойзес.

Мойзес? Это не совсем то, что нам нужно. И Феликс это хорошо понимает. Мойзес, водитель одной из наших машин, — тоже ветеран революции, это верно. Но он сражался не в Санта-Кларе. Он воевал на севере Лас-Вильяс. А нам обязательно нужен человек, который брал Санта-Клару. И желательно, чтобы это был участник атаки на «трен блиндадо» — бронепоезд, который герои Че захватили в последний день пятьдесят восьмого года.

Четыре вагона этого бронепоезда мы уже сняли утром. Они как памятник поставлены на вечное хранение рядом с тем местом, где шел бой. Четыре вагона, к сожалению, подремонтированные, аккуратненькие, словно экспонаты только что открывшейся сельскохозяйственной выставки. Долина извелся, выискивая на них следы боя. Кое-где старательные реставраторы проглядели пулевые пробоины, и Виталий снял их крупным планом. Колеса одного из

вагонов сошли с рельсов, и это, пожалуй, единственное, что помогло нам воссоздать атмосферу боя. Увязшие в щебенке колеса были сняты крупным планом со всех возможных точек, с наездами и отъездами. При умелом монтаже можно будет создать впечатление, будто эти вагоны попали в наш репортаж буквально через несколько мгновений после того, как поезд сошел с рельсов. Я качнул висящий шланг тормозной системы, и Виталий снял его покачивающимся, словно вагон замер здесь всего лишь секунду назад.

И вот теперь, имея в кассете все эти беспроегранные кадры, мы сидим в кабинете Мирабала, тоскливо слушаем, как он говорит с кем-то по телефону, печально смотрим, как уходит солнце. И с грустью сознаем, что ветерана все нет и нет. А завтра утром нам надлежит отправиться в Сьенфуэгос.

Когда мы уже близки к отчаянию, Мирабал радостно кричит: «Поймал!!» Мы вскакиваем со стульев и хватаем сумки. Еще через минуту наши «альфы» летят, повизгивая шинами, по улочкам Санта-Клары. Скорчившийся на заднем сиденье Мирабал кричит мне в ухо, что мы едем к тому самому доктору, на руках которого погиб Вакерито! К участнику захвата бронепоезда. К личному другу Че, которого этот врач оперировал после тяжелого ранения.

Прекрасно! Более подходящего человека нам в Санта-Кларе, вероятно, не сыскать. Этот доктор не просто украсит сюжет, он станет его главным героем. Сцементирует в единое целое все отснятые сегодня кадры: мемориальные доски, пулевые пробоины, сошедшие с рельсов вагоны, воображаемые трассы пулеметных очередей над «Парком Видал», улицы и перекрестки, на которых шли бои.

Меня охватывает редко испытываемая радость победы, предвкушение удачи. Подымаясь по какой-то лестнице вслед за Мирабалом и Диосдадо, отключаюсь от всего окружающего и лихорадочно обдумываю вопросы, которые надо будет задать доктору, сочиняю фразу, которой представлю его телезрителям.

Прихожу в себя тогда, когда слышу спокойный голос:

— Вы знаете, мне совсем не хочется делать это.

То есть как это: «Не хочется»?! Я растерянно пожимаю руку человека, который стоит передо мной. Он похож на кого угодно, но только не на ветерана революции. Ни седины в висках, ни бороды, ни пышных усов. Нам приветливо улыбается молодой мужчина, стройный,

с высоким открытым лбом, прямым носом, курчавыми волосами, умными глазами. «Удивительно фотогеничен», — мелькает в голове, и в этот момент осознаю смысл сказанной доктором фразы. С изумлением вперяюсь в этот сократовский лоб, в эти спокойные глаза и отказываюсь верить тому, что услышал.

— Да, мне не хочется давать это интервью, — повторяет он с подкупающей откровенностью. — Но я сделаю это. Так и быть.

— Но почему же не хочется? — изумляюсь я, когда мы уже идем по пыльному тротуару, торопясь к коричневым вагонам бронепоезда, освещенным слабеющим отблеском заката.

Доктор качает головой и ничего не говорит. Диосдадо шепотом объясняет, что Орlando не любит рассказывать о Че. Для него все это свято. Репортерская суета его раздражает, он не выносит банальных расспросов: «А что ты чувствовал в тот момент, когда...»

Ладно, пускай Орlando простит нас. А если не может простить, пускай хотя бы попытается понять. Если не хочет он вспоминать о святом для него Че, пускай не вспоминает. Пускай вообще не говорит о том, о чем не хочет говорить. Но о штурме бронепоезда он не может не рассказать нам. Точнее говоря, не нам, а миллионам советских телезрителей! Если он не сделает этого... Да это просто невозможно! Этот рассказ нужен для истории. Молодое поколение должно знать имена героев, услышать о жертвах, которые принесли отцы и старшие братья на алтарь революции.

Все это я излагаю ему сбивчиво и путано, а Орlando грустно улыбается и покорно идет следом за мной. Идет — я чувствую это, — повинувшись долгу, а отнюдь не по внутреннему убеждению. Идет потому, что его попросили помочь нам, а не потому, что он сам хочет этого. И меня это очень беспокоит, потому что я знаю, как тяжелы бывают такие «подневольные», вынужденные интервью. И я начинаю всерьез опасаться за судьбу репортажа.

А у четырех вагонов, на фоне которых мы намереваемся записать это интервью, уже кипит работа. Виталий насаживает камеру на треногу. При этом ежесекундно поглядывает на солнце, которое вот-вот опустится за кроны деревьев. Александр суетится у магнитофона. Разумеется, запутался кабель. Разумеется, штекер кабеля не лезет в гнездо. Разумеется, куда-то запропастилась кассета с магнитной пленкой. Виталий шепотом говорит Саше все, что он думает в связи с

этими непорядками. Почему шепотом? Разве кубинцы понимают по-русски?

Мы с Орландо встаем на указанное нам место. Виталий кричит, чтобы я сделал шаг влево. Я делаю шаг вправо. Виталий просит передвинуть Орландо на полметра назад: на лице доктора лежит тень. Доктор не понимает просьбы и двигается вперед. Магнитная пленка нашлась, но Виталий забыл перезарядить кинокассету. Теперь остальные члены съемочной группы сообщают ему все, что мы думаем по этому поводу. На нашу суету с отеческими улыбками взирают Мирабал, Габриэль, Феликс и Диосдадо. Они купаются в лучах собственной славы. Они достали советским коллегам столь необходимого ветерана, наглядно продемонстрировав незыблемость и прочность профессиональных уз, объединяющих кубинских и советских журналистов в единую дружную семью.

Все готово? Да, все готово. Виталий в наушниках припадает к видеоискателю. Внимание! Мотор! Я пытаюсь изобразить на лице подобающее ситуации торжественное выражение и, взяв микрофон, как древко победного стяга, задаю Орландо первый и единственный вопрос: «Итак, двадцать девятого декабря Че Гевара узнал о том, что на помощь осажденным в Санта-Кларе правительственным войскам из Гаваны идет бронепоезд... Каково было решение Че?»

— Этот бронепоезд, — отвечает доктор, — прибыл в Санта-Клару накануне Нового года. Сначала он поблуждал немного по железным дорогам провинции, пытаясь наладить связи между отдельными гарнизонами правительственных войск. Но после того, как командование поезда поняло, что в ближайшие часы Санта-Клара может оказаться в руках Повстанческой армии, оно приняло решение ворваться в город, чтобы спасти его гарнизон от разгрома. Надеяться на успех батистовцы могли только в том случае, если бронепоезд войдет в Санта-Клару по ветке Камахуани. Мы это предвидели, и здесь, вон видите, в ста метрах отсюда, на перегонном пути, бульдозером взломали путь. Мы надеялись, что поезд сойдет с рельсов, только в этом случае у нас появился бы шанс атаковать и захватить его: ведь мы были вооружены только винтовками и пистолетами. А бронепоезд имел минометы, пулеметы, массу боеприпасов.

Все получилось, как мы и предвидели: машинист не успел затормозить, локомотив и несколько первых вагонов попали в ловушку.

Они не просто сошли с рельсов, а рухнули в кювет. Вот здесь, на этом самом переезде, там, где сейчас проехал грузовик, оказался тендер локомотива. А оттуда, где — видите? — стоят те два школьных автобуса, мы начали атаку: сначала пустили в ход гранаты. Затем подтащили несколько зарядов динамита. Впрочем, мы не стали взрывать бронепоезд. Ведь нам было нужно захватить оружие! Повстанческая армия всегда обеспечивала себя боеприпасами, захваченными у противника.

...По мере того как развивается наш разговор, точнее сказать — монолог моего собеседника, ибо мое участие в нем сводится лишь к прилежно-утвердительному покачиванию головой, Орландо, как сказали бы спортсмены, «обретает форму». Вспоминая тот самый, главный день своей жизни, он постепенно оживляется, зажигается. Он не повышает голоса, но его речь словно загорается внутренним огнем. Он уже не вспоминает, а заново переживает то, о чем идет речь.

— Уже через полчаса мы добились первого успеха: захватили два вагона. В этот момент кто-то крикнул: «Они сдаются!» И мы увидели, что из одного вагона вышел офицер с белым флагом в руках. Переговоры? Пожалуйста, мы готовы. Несколько наших пошли навстречу этому офицеру.

Он сообщил нам, что командир бронепоезда предлагает начать мирные переговоры, но ставит условие: переговоры должны вестись в нейтральной пятидесятиметровой полосе. Хитрецы! Мы уже захватили два вагона, а они нам предлагают «отвести войска» на полсотни метров!

Тогда Че подошел к одной из платформ бронепоезда и на глазах у всех оставил товарищам свой пистолет. Потом пригласил меня и доктора Родригеса де ла Вега сопровождать его. Мы пошли вдоль замершего состава к одному из последних вагонов, где находилось их командование. Шли не торопясь и смотрели в лица батистовских солдат. Вокруг была тишина, и многие из солдат шепотом просили нас уговорить командира бронепоезда сдаться.

Мы подошли к блиндированному вагону, где находилось командование, и вошли туда. Начались переговоры о сдаче.

Че сразу же предложил им немедленную и безоговорочную капитуляцию. Командир бронепоезда сказал, что он должен подумать.

Мы поняли, что они тянут время, надеясь как-то выкарабкаться из этой истории. Ведь их было целых триста человек. С пулеметами, минометами и даже тридцатисемимиллиметровой пушкой! Стыдно сдаваться, когда ты так хорошо вооружен!

И все же Че проявил великодушие. Он сказал, что у него достаточно времени. Хотят обдумывать свое положение — пускай думают. Мы подождем. Мы можем ждать, — Че засмеялся, — хоть до будущего года. Ведь было уже шесть часов вечера 31 декабря.

И мы вышли из вагона и отправились. Куда? Ну куда еще может пойти кубинец, когда у него есть несколько минут свободного времени? Пить кофе, разумеется.

Не успели мы выкурить по сигарете, как нам сообщили, что командование бронепоезда предлагает продолжить переговоры.

Пожалуйста! Че снова сдал свое оружие и прошел через весь фронт вражеских солдат к командирскому вагону. Командир сказал, что он требует отпустить их в Гавану. В конце концов они — офицеры, служат правительству, и сдача в плен явилась бы оскорблением чести мундира. Че улыбнулся и ответил, что о чести мундира они должны были бы позаботиться до того, как попались так глупо в нашу ловушку.

Тогда кто-то из офицеров начал даже угрожать нам: «Если вы не отпустите нас подобру-поздорову, то мы покинем бронепоезд и атакуем вас. И в этом случае легко предугадать, кто победит: ведь нас в бронепоезде — триста солдат, а вас — только около ста».

Че спокойно ответил: «Я приму этот бой, даже если буду уверен, что проиграю его».

Короче говоря, деваться им было некуда: на уступки мы не шли, бронепоезд был окружен, локомотив валялся на боку, да и раненых у них было много. И они капитулировали.

Вот и все. Нужно только добавить, что Че сдержал свое слово: мы сохранили жизнь солдатам и офицерам, оказали медицинскую помощь раненым, их было около двадцати человек. И никто в ту минуту еще не знал, что, услышав о падении Санта-Клары, Батиста в ту же самую новогоднюю ночь в панике бежал с Кубы. Бежал, бросив личные вещи, документы, одним словом, все свое имущество. Но не забыв прихватить кругленькую сумму из государственной казны. Да, никто еще не знал, что революция в ту ночь победила окончательно.

Куда пошлет революция

Вечером мы с Орландо ужинаем в ресторане «Канеес». Это уже не интервью, а дружеская беседа. Неторопливо потягивая прохладный «хайбол», он охотно рассказывает о себе, вспоминает революцию, потом работу в Гаване, борьбу с малярией, в которой он участвовал столь же активно, как и в революции. Обо всем этом можно было бы писать отдельную книгу.

...Я слушаю его и вновь мысленно удивляюсь, как все-таки трудно сочетается понятие «ветеран революции» с обликом этого энергичного человека, скорее молодого, чем даже средних лет. Впрочем, чего же тут странного: с момента победы кубинской революции прошло всего пятнадцать лет... Я размышляю об этом и не знаю, что спустя еще десяток лет буду интервьюировать в Манагуа совсем юных двадцати — и тридцатилетних «ветеранов» никарагуанской революции.

Может быть, есть какая-то закономерность в том, что «революция» и «молодость» — понятия, почти тождественные?..

...А Орландо продолжает свою исповедь. Воевал он мало, хотя имел звание капитана: ему было поручено организовать вывоз раненых из Ориенте и других районов действий Повстанческой армии и доставку их в Гавану.

— Но зачем нужно было перевозить раненых через весь остров? Не проще ли было лечить их где-нибудь там, в Ориенте?

— Нет, не проще. В столице их легче было прятать по частным клиникам преданных революции врачей: Гавана — большой город. Человек там исчезает, растворяется, его можно искать десятилетиями и не найти. А в Ориенте всюду, по всем поселкам и селениям свирепствовала полиция Батисты. Кстати, весьма усердно помогал нам, хотя это покажется парадоксальным, посол Бразилии при правительстве Батисты — Васко Лейтао да Кунья. Вы, может быть, знаете его, раз работали в Бразилии? Но потом, после победы революции, этот Васко стал одним из самых заклятых врагов нашей родины...

Да, я знал этого бразильского дипломата. И рассказал Орландо, что впоследствии, через несколько лет, он был назначен послом в Москву, и я помню, как в 1963 году он подписывал в Кремле от имени своей страны Договор о прекращении ядерных испытаний на земле, в воздухе

и в море. Потом он был послом в США, затем — руководил министерством иностранных дел. Однажды наш клуб иностранных корреспондентов, аккредитованных в Бразилии, пригласил его на завтрак. И этот немощный, полупарализованный старик с трясущимися руками долго распинался об угрозе безопасности западного полушария, проистекающей от «коммунистического режима» на Кубе, и о вытекающей отсюда необходимости для Бразилии крепить свою «оборонную мощь».

Спустя некоторое время он ушел в отставку, и в последний раз его имя попало на страницы печати, когда в газетах появились слухи о том, что, будучи послом в Вашингтоне, он без ведома и разрешения своего правительства передал американцам секретные данные о месторождениях стратегического сырья в Амазонии. Об этом стало известно в ходе расследования грандиозного скандала, о котором я впервые услышал в тот день, когда мы с Виталием Боровским летели в Баию на встречу с Жоржи Амаду и стюардесса дала нам газеты, сообщавшие о побеге контрабандистов из тюрьмы, точнее сказать — пожарной команды бразильской столицы.

...Упоминание об Амазонии вновь направило нашу беседу в русло медицины. Я поинтересовался у Орландо, каким образом умудрились кубинские врачи искоренить малярию в своей стране, где так много москитов. Вопрос казался мне весьма актуальным, ибо в мотеле «Канеес», куда нас определил на ночлег Мирабал, москитов этих было видимо-невидимо. И я уже предвкушал ужасы приближающейся ночи, когда нам придется укладываться на ночлег.

— Видишь ли, москиты сами по себе не заразны. Они являются только переносчиками инфекции от больного человека к здоровому. Поэтому мы решили не уничтожать москитов, а бороться с болезнью. Мы вылечили всех больных малярией, и москитам теперь нечего переносить. Они стали безвредны.

Где-то уже за кофе Орландо обмолвился о том, что он молодожен. Всего пять месяцев, как женился. Но жена пока в Гаване. Тоже врач. Скоро, вероятно, приедет сюда.

— Ждете с нетерпением? — улыбаюсь я.

— Ого, еще с каким!

Сам Орландо родом тоже из Гаваны. Всю сознательную жизнь прожил в Ведадо. Ну а сейчас осел пока здесь, в Санта-Кларе. С

нескрываемым удовольствием старожилы рассказывал он об этом городе, о переменах в Лас-Вильяс за полтора десятилетия революции. О новых дорогах, связавших Санта-Клару с самыми глухими уголками провинции. Об отмечающем свое десятилетие механическом заводе имени Норьега, который мы должны снимать завтра. О новой фабрике электронных товаров, о школах, построенных в селе, о плантациях цитрусовых культур, раскинувшихся на бывших пустошах. Орландо говорил об этом с таким увлечением, как будто он сам, своими руками прокладывал эти дороги, воздвигал плотины, возводил заводские корпуса.

Уже далеко за полночь мы выкурили по последней сигаре.

— Наверное, тянет обратно в Гавану? — спросил я.

— Немножко тянет, — улыбнулся он.

— Скажите честно: вам не скучно здесь?

— Скучно? Почему? У нас, врачей, работа везде одна и та же: больные. И болезни всюду одни и те же. Что тут, в Лас-Вильяс, что там, в Гаване. Разницы никакой. Вот и работаю здесь. Пока. А потом? Потом, куда пошлет революция...

Мельба — переводчица или певица!

Бронепоезд, героические бои на подступах Санта-Клары — это, конечно, интересно, ибо это героика революции, но разве можно вернуться в Гавану без материала, отражающего героизм труда? И поэтому во второй половине дня Мирабал организует нам съемку репортажа на литейно-механическом заводе имени Агилар Норьега в Санта-Кларе. Это как раз то, что нужно: передовое предприятие, неоднократно побеждавшее в социалистическом соревновании, боевой пролетариат, сотрудничество с советскими братьями по классу. Наскоро пообедав, мчимся на завод, начиная изнуряющую погоню за уходящим солнцем и временем.

До окончания рабочего дня нам необходимо снять хотя бы два-три синхронных интервью и несколько, как мы говорим, «планов» в цехах, которые уже начинают пустеть, ибо смена заканчивается. До наступления темноты нужно успеть снять и хотя бы один общий план фабрики. Поэтому слово «галоп» лишь в малой степени характеризует

обстановку, сложившуюся в тот бурный день в нашей маленькой съемочной группе.

Первым делом встречаемся в красном уголке с руководителем заводского профсоюза и с одним из советских специалистов. Кубинец вдохновенно и стремительно рассказывает о братских связях завода имени Норвега с советскими фабриками аналогичного профиля, о социалистическом соревновании с заводом имени Ухтомского в городе Люберцы, который выпускает комбайны для уборки сахарного тростника на плантациях Кубы, выражает уверенность в дальнейшем упрочении этих братских связей. Затем мы приглашаем к микрофону советского инженера, который, увы, нервничает и, видимо, не имея навыка излагать свои мысли без спасительной шпаргалки, умудряется в четырех фразах пять раз сказать слово «работа». Он говорит, что за время работы группы советских специалистов на предприятии была проделана большая работа по организации капитального ремонта оборудования и оказанию помощи кубинским товарищам, в их работе по подготовке технической документации в связи с переходом завода на работу по изготовлению машин для работы в сахарной промышленности. Я тяжело вздыхаю, представив себе, как трудно будет нашим монтажницам убрать хотя бы половину «работ».

После этого устанавливаем аппаратуру у входа в заводоуправление и снимаем «синхрон» с главным инженером завода Луисом Фонсека, который рассказывает о том, что завод был открыт Эрнесто Че Гевара в 1964 году и с тех пор выпускает запчасти для сахарной промышленности. Луис говорит коротко, ясно, толково и заканчивает интервью выражением благодарности советским специалистам за братскую помощь.

Теперь мы почти бегом устремляемся в цех, где нас ждут специально задержанные после окончания смены несколько бригад. По дороге, используя последние лучи солнца, Долина умудряется снять круговую панораму заводских цехов, грузовики с готовой продукцией, утопающие в зелени аллеи между заводскими корпусами и рабочими, идущими после смены к проходной. А Александр вместе с Женей, Габриэлем, Феликсом и Диосдадо устанавливают тем временем лампы в цеху (впрочем, на профессиональном языке они называются не «лампами», а «осветительными приборами»), готовясь к съемке интервью с инженером, который учился в Минске и смог даже

вспомнить несколько фраз по-русски. Со светом дела обстоят неважно: наши лампы слишком слабы, чтобы хорошо высветить громадные станки, создать хотя бы небольшую иллюзию перспективы, подчеркнуть размеры цеха. Пока ребята возятся с аппаратурой, я репетирую с инженером, предупреждая его, какие задам вопросы.

Далее следует обычное: «мотор», «микрофон». Инженер с благодарностью вспоминает годы, проведенные в Минске, благодарит своих минских преподавателей и говорит о том, как помогают ему в работе знания, полученные в Советском Союзе.

Итак, у нас есть уже четыре интервью, но они никак не склеиваются в репортаж: все наши интервьюируемые говорят хорошо и правильно, но об одном и том же. И это моя вина. Нужно было лучше готовить их к съемке, задавать им вопросы так, чтобы ответы на них не повторялись, не дублировали друг друга. Но попробуй сообрази все это в лихорадочной спешке, когда солнце уходит, а в голове жужжит мысль, что десятки рабочих, уставших и голодных, остались после смены у своих станков только ради нас.

Нужно срочно искать какой-то ход, придумать что-нибудь, иначе репортаж погибнет. Это понимаю не только я. Долина и другие ребята вопросительно смотрят на меня. У меня опускаются руки, я ничего не могу придумать и готов провалиться сквозь землю.

И вдруг — как часто нас выручает это спасительное «и вдруг»! — в конструкторском бюро завода нас знакомят с обаятельной мулаткой Мельбой — переводчицей, работающей с русскими инженерами и занимающейся в свободное от работы время пением. Песня — это как раз то, что нам нужно, чтобы спасти сюжет. Она снимет у телезрителя напряжение и ощущение скуки, которое может возникнуть после серии однотипных в общем-то интервью.

Мы разыгрываем такую сцену: Мельба пишет что-то на машинке под диктовку одного из наших инженеров, затем в кадре появляюсь я. Завязывается беседа, в ходе которой Мельба рассказывает, что, помимо работы, она увлекается самодеятельностью — поет русские и кубинские песни.

Тут я, как это предписано старыми добрыми законами жанра, изображаю (или, говоря самокритично, пытаюсь изобразить) на своем лице радостное изумление. Как если бы узнал об этом именно сейчас вместе с телезрителями. Да простят мне они этот убогий штамп!

Уверяю Мельбу, что мне очень хочется послушать, как она поет. Девушка улыбается и наклоняет голову в знак согласия. Положа руку на сердце должен признать: инсценировка получается у нее гораздо естественнее, чем у меня. Может быть, потому, что она волнуется? Или потому, что принимает эту игру всерьез?

Короче говоря, мы заканчиваем съемки на заводе мягкой и приветливой улыбкой Мельбы. Она послужит отличным лирическим мостиком к заключительному куску репортажа — к песням Мельбы. Поскольку в заводском цехе рояля нет, пение Мельбы решаем снять вечером в маленьком «кабаре» нашего мотеля.

«Кабаре» это представляет собой не слишком просторную хижину с крохотной эстрадой. Администрация «Канеес» по просьбе Габриэля предоставляет ее на пару вечерних часов в наше распоряжение. В дверях толпятся любопытные, наблюдая за тем, как, задыхаясь от жары, мы устанавливаем свет, ругаемся, опрокидываем пюпитры на сцене и не знаем, куда повесить или как установить микрофон: стойку для него мы забыли в Гаване, а повесить к потолку его очень трудно, так как потолок хижины высок, лестницы у нас нет, да если бы и была, разве захочется лезть на нее после такого суматошного дня? Феликс, Габриэль и Диосдадо сбиваются с ног, помогая нам, и я благодарю судьбу за то, что она послала нам таких энергичных и заботливых помощников.

Каждый, кто хотя бы раз в жизни имел дело со звукозаписью, хорошо знает, как трудно записать на один микрофон и певицу и рояль так, чтобы они не заглушали друг друга. Этот старый, рассохшийся инструмент долго и безуспешно пытается настроить пианистка, принарядившаяся по случаю киносъемки, но, увы, так и не попавшая в кадр. В зале скрипят стулья, летают миллиарды mosquitos. Мельба начинает петь. Я в восторге: голос у нее просто чудесный: сочный, сильный, красивого тембра. Слух у девушки — безукоризненный. Но она волнуется и ошибается. Приходится делать несколько дублей. Когда же она наконец успокоилась и, собравшись с силами, запела по-настоящему хорошо, кто-то из толпящихся вокруг кубинцев оглушительно чихает... Короче говоря, мы сняли этот злополучный кусок лишь после множества дублей, когда пленка в кассете кончилась, наши силы тоже были на исходе, когда Мельба потеряла голос, а Долина — терпение.

Но все хорошо, что хорошо кончается. Добираемся до ресторана уже совсем обессиленные. Отдышавшись, выпив ледяной минеральной воды, приходим в себя. Поставив на стол крошечный транзистор, Долина старательно вылавливает из него мексиканские и американские джазы, Габриэль с Феликсом затевают жаркий спор о преимуществе светлого пива перед черным. А я беседую с Мельбой. Она оказалась на редкость обаятельной собеседницей, остроумной и веселой. С изумлением узнаю, что русскому языку учил ее один из моих товарищей, Анатолий Трусов, который когда-то преподавал в школе имени Максима Горького в Гаване, а сейчас работает в Москве на радио. Мы с удовольствием констатируем далеко не оригинальную, но всегда удивляющую мысль о том, что этот бескрайний и необъятный мир чертовски все-таки тесен!

Спрашиваю, не пыталась ли она стать профессиональной артисткой.

— Нет, не пыталась и не хочу.

— Почему?

— Мне нравится моя работа, и я не хочу ничего менять.

— А ведь из тебя, вероятно, получилась бы хорошая певица!

— Возможно. Меня однажды услышала Елена Бурке. И сразу же пригласила в Гавану. Пообещала устроить в какое-нибудь музыкальное ревю.

— И ты отказалась?

— Да. Мне больше нравится здесь, в Санта-Кларе.

Она молчит немного и, видимо, поняв, что этот аргумент кажется мне не слишком убедительным, говорит:

— Ну а кроме того, у меня ведь семья. Двое детей. Муж. Верчусь с утра до вечера. Тут уж не запоешь.

— А где работает муж?

— Здесь же, на нашем заводе. Техником. А по вечерам учится. Хочет получить диплом инженера. Так что, видно, опоздала я стать певицей.

Деликатно отставив в сторону мизинчик, она помешивает кофе крохотной ложечкой. Ее смуглые пальцы и значительно более светлые ладошки покрыты заусеницами и мозолями: безошибочные следы стирки белья, мытья посуды и прочих извечных женских трудов и хлопот.

На прощание она передает привет Анатолию Трусову, и мы выражаем традиционную в таких случаях, но редко сбывающуюся надежду свидеться когда-нибудь еще раз.

* * *

После ужина перед сном читаю старый номер газеты «Гранма», забытый кем-то из прежних постояльцев в «кабанье» — хижине, которую я сейчас занимаю. Со ссылкой на бразильский журнал «Фатос и фотос» «Гранма» сообщает, что в американском городе Индианаполисе некий Чарльз Джонс застрелил в упор Стэнли Амоса Селига, только что вернувшегося из Бразилии агента по продаже земельных участков. В полиции Чарльз Джонс объяснил, что он был обманут рекламными объявлениями, которые Селиг публиковал в США, расписывая плодородные амазонские земли, способные приносить сказочные урожаи и к тому же богатые полезными ископаемыми. Чарльз Джонс купил у Селига несколько десятков гектаров в штате Гояс, убедился, что это безжизненная каменистая земля, на которой не растут даже кактусы, и свел с мошенником счеты традиционным для предприимчивых американцев способом.

Впрочем, пишет далее «Гранма», Селиг был лишь мелкой рыбешкой в стае хищников, которые накинудись сейчас на бразильскую Амазонию. Самый матерый из них — знаменитый миллиардер Дэниэл Кейт Людвиг, которого журнал «Форбс мэгэзин» считает самым богатым человеком на земле, оценивая его состояние в пять миллиардов долларов. Людвиг, оказывается, купил по левому берегу Амазонки громадную территорию, превышающую по площади иные государства. И намерен всерьез заняться там переработкой древесины. «Жари» — так называется грандиозное по объему капиталовложений предприятие, заложенное американцем близ поселка Алмейрим.

О, Алмейрим! Я же был там в семидесятом году! Совсем вроде бы недавно. Я хорошо помню этот патриархальный, тихий, зажатый между сельвой и рекой поселок. Уже тогда по Бразилии ползли слухи о том, что пронырливые агенты какой-то крупной американской фирмы шарят по амазонской сельве в поисках «наиболее удачного вложения капитала», так это называется на языке деловых людей. Имя Людвиг

тогда не всплывало, а жители Алмейрима в ответ на мои расспросы скептически покачивали головами: неужели найдется сумасшедший, который согласится вложить свои деньги в этот «зеленый ад», где не то что богатым стать, а просто свести концы с концами невозможно.

Итак, Даниэл Кэйт Людвиг, проект «Жари», Амазония. Жалко, что я уже не в Бразилии. Очень интересно было бы проследить судьбу этого предприятия, ради успеха которого Людвиг, как сообщает «Гранма», собирается даже закупить в Японии и доставить на Амазонку — пока не совсем ясно, каким способом, — гигантскую фабрику по переработке древесины в целлюлозу.

Снимать в Эскамбрае

Из Санта-Клары в Эскамбрай мы выезжаем рано утром. Залитое розовым, но уже жарким светом восходящего солнца шоссе ведет нас сначала по равнине, но вскоре рельеф начинает меняться. Дорога взбирается на пологие отроги холмов Агабама, потом спускается в долину речки Сагуа-ла-Гранде.

Слева и справа уплывают назад ослепительно зеленые табачные плантации. За поселком Маникарагуа шоссе устремляется вверх, поднимаясь по северным склонам Эскамбрая — горного района, который до революции был одним из самых глухих и заброшенных уголков Кубы. Поэтому именно здесь в начале 60-х годов контрреволюция попыталась свить свое гнездо и создать плацдарм для готовившегося наступления на молодую республику.

Дорога становится круче, серпантин асфальта извилистее. Водитель Мойзес переходит на третью передачу, затем на вторую. За каждым поворотом — все более глубокие долины и глухие, заросшие лесами ущелья. Да, здесь можно было спокойно собирать силы, накапливать оружие, закладывать военные лагеря, даже проводить учения и стрельбы, не опасаясь, что кто-нибудь услышит или узнает об этом.

Ни шоссе, по которому взбираются наши машины, ни иных мало-мальски проезжих дорог не было проложено еще тогда на этих горных склонах. Поэтому-то и надеялись гусанос — «червяки» — так кубинцы

прозвали контрреволюционеров, — что здесь до них не доберутся ни народная милиция, ни армия республики.

— Люди жили здесь в полном отрыве от цивилизации, — рассказывает Диосдадо. — Десятилетиями не спускались с гор. Не представляли, что существует электричество, радио, автомобили. Если кто-нибудь заболел, неудачника сажали на мула и тащили к «ближайшему» врачу по глухим горным тропам. Путешествие обычно продолжалось несколько дней, и чаще всего бывало так, что больной умирал в пути. Его хоронили там, где достигала смерть. Никто не знает, сколько полусгнивших крестов стоит в этих ущельях, сколько безымянных могил заросло папоротником и травой.

Еще круче ввинчивается ввысь узкая полоска асфальта. Тревожно стонет мотор. Через каждые полсотни метров Долина требует остановиться, торопливо выскакивает из машины, бросается к багажнику, вытаскивает гигантскую, словно Эйфелева башня, треногу штатива, водружает на нее «арифлекс» и припадает к видоискателю с жадной дрожью путника, добравшегося в центре Сахары до последнего родника. Нацелившись длинноствольным, как базука, объективом в очередную пропасть или стоящую на другой стороне обрыва раскидистую сейбу, расщепленную ударом молнии, он восторженно шепчет: «Какой план! Снять и умереть в этом Эскамбрае!..»

Кубинские коллеги с великодушной улыбкой покачивают головами, словно эти чудеса природы слеплены и преподнесены нам в подарок их собственными руками, и говорят, что умирать здесь не надо. Надо ехать вперед, ибо сотней метров выше мы найдем еще более впечатляющие красоты. «Остановимся и там», — бормочет Долина, не прекращая яростно поливать длинными очередями все, что попадает в поле зрения объектива. Сейчас он похож на японского камикадзе — смертника, которого привязали к скале и приказали отстреливаться до последнего патрона.

Диосдадо с кроткой улыбкой высказывает предположение, что если мы будем с такой тщательностью фиксировать на пленку каждое встречающееся на нашем пути дерево, то вряд ли сумеем вернуться в Гавану раньше января будущего года. А деньги, отпущенные нам на поездку, завтра к вечеру должны подойти к концу.

Этот аргумент действует на Долину укрощающе. Он нехотя отрывается от видоискателя, снимает камеру, вздыхает, великодушно

позволяет своим помощникам зачехлить и водрузить в багажник штатив, и пока они возятся с гигантской треногой, объясняет мне: «Вот ты сейчас нервничаешь, торопишь, а через два дня, когда мы с тобой в Гаване просмотрим проявленный материал и начнем монтировать этот сюжет, вот тогда-то ты мне скажешь: „Спасибо, друг! Выручил!“ И хочешь знать, почему? Да потому, что представь себе: станешь ты делать тему „Контрреволюция“. Одна „говорящая голова“ рассказывает о бандитах, другая говорит то же самое, потом третья... Слепим мы эти „головы“, одна к другой, и все это будет действовать как сильное снотворное. Потому что нельзя делать репортаж только на интервью. Ты не знаешь, как быть, и тут-то я показываю тебе сегодняшние планы! Смотри: глухое ущелье, камень, нависший над пропастью, одинокий коршун сел на высохший ствол с черными голыми ветками. Сплошная тревога, смятение, беспокойство. Чувствуешь, как эти планы работают на нашу тему?..»

Мы втискиваемся в маленькие машины. Водители жмут на педали. Мотор «Альфы» взывает особенно яростно, словно стремясь выпрыгнуть из-под раскаленного капота на свежий воздух. Потом успокаивается и переходит на чуть слышный рокот: мы миновали перевал. Вскоре прямо по курсу на вершине ближайшей горы возникает высокое белое здание. Такое же неожиданное для этого дикого ландшафта, как плантация тюльпанов на Чукотке. Это и есть цель нашего сегодняшнего маршрута — поселок Топес де Кольянтес: административный центр Эскамбрая, приютившийся у вершины почти километровой горы Потретильо.

Диосдадо, с удовольствием вошедший в роль гида, говорит, что до революции в том здании, к которому мы держим путь, размещалась лечебница для местных богачей. В годы борьбы с бандитизмом революционная власть организовала там временную тюрьму для отлавливаемых бандитов. Потом контрреволюционеров вывезли в Гавану, здание отремонтировали и устроили в нем первую в республике школу преподавателей младших классов. А сейчас, когда страна взялась за развитие туризма, здесь предполагается организовать первоклассный отель.

Объезжаем эту светлую, похожую на океанский лайнер восьмизэтажную громаду, шоссе извивается по небольшой седловине, соединяющей два холма, и выходит к двухэтажному серому особняку, в

котором разместился районный комитет партии. В прохладном холле нас приветствует Рафаэль Гонсалес Родригес, заведующий отделом революционной ориентации. Разумеется, тут же появляются кофе и сигареты, Рафаэль предлагает отдохнуть с дороги, но Виталий озабоченно поглядывает на солнце, которое вот-вот скроется за облаками, и шепчет, что отдыхать будем в Гаване, а сейчас нужно работать. И работать быстро, пока есть погода, пока хорош свет.

Прошу Рафаэля организовать несколько интервью, которые могли бы дать достаточно полное представление и об истории края, и о его сегодняшнем дне. Первое — с ветераном революции и участником борьбы с бандитизмом, второе — с местным руководителем, который сможет рассказать, как менялась жизнь Эскамбрая после революции. «Это можешь сделать ты сам, Рафаэль, не правда ли?..» Кроме того, хотелось бы снять представителя местной интеллигенции и крестьянина, который вспомнит о жизни бедняков Эскамбрая в старые времена. Рафаэль внимательно слушает, записывает пожелания в блокнот и выходит.

Нет, мы не имеем права жаловаться на кубинских друзей! Через каких-нибудь пятнадцать минут нас знакомят с невысоким, застенчиво улыбающимся Мигелем Пухоль Вальдивия, бывшим работником райкома, а ныне — начальником дорожной сети Эскамбрая.

— Вот вам первое из запрошенных интервью — ветеран революции, — говорит Рафаэль, обнимая за плечи Мигеля.

Ветеран? Опять не вяжется это слово с обликом совсем еще молодого кубинца, спокойно раскуривающего черную, необъятных размеров сигару.

— О чем, собственно, говорить-то? — спрашивает он, наблюдая, как Виталий, установив на треногу кинокамеру, озабоченно прикидывает к видеоискателю, подыскивая фон для съемки, ибо фон в таком интервью — чрезвычайно важное дело.

— О себе, о своей жизни, — отвечаю, — и в первую очередь о борьбе с бандитизмом.

— Вероятно, вам лучше было бы найти кого-нибудь из руководителей этой операции, — говорит Мигель. — Я ведь всего-навсего рядовой боец.

— Вот и прекрасно! Нам как раз и нужен рассказ человека, непосредственно участвовавшего в боях. Мы хотим, чтобы советский

телезритель ощутил всю сложность операции, почувствовал запах пороха.

— Так о чем он будет рассказывать? — спрашивает Виталий.

— О борьбе с бандитизмом.

— Прекрасно! Тогда, друзья, развернитесь правее! Еще шага на три. Правильно! Теперь вы у меня попадаете на фон вот этого мрачного ущелья.

Подойдя к камере, заглядываю в видоискатель. Долина знает свое дело: мощный телеобъектив сдвинул перспективу, приблизил противоположный откос ущелья, подчеркнул его крутизну. Такая, как говорят операторы, «картинка» должна хорошо гармонировать с предполагаемым драматизмом рассказа.

Снова становлюсь рядом с Мигелем и замуриваюсь от ярких бликов: Виталий притащил из буфета райкома партии два блестящих металлических подноса, отдал их Саше и Евгению и велел подсвечивать наши лица солнечными зайчиками.

— Ну и молодец же этот Долина! — восклицает Долина, припав к видоискателю. — Ну прямо-таки «Мосфильм» устроил в горах Эскамбрая! Жалко, не на цвет снимаем, получилась бы настоящая «Война и мир».

Откашливаюсь, подтягиваю микрофонный кабель и после сигнала Виталия «Мотор идет!» сообщаю телезрителям, что «мы находимся в горах Эскамбрая, где в середине 1960 года вспыхнуло пламя гражданской войны: контрреволюция попыталась поднять восстание против молодой республики, свергнувшей прогнивший проамериканский режим. Сейчас один из участников тех далеких событий коммунист, Мигель Пухоль Вальдивия, поделится с нами воспоминаниями о тех незабываемых днях».

...Очень даже возможно, что это мое вступление пойдет впоследствии в корзину для мусора, но сейчас оно необходимо и мне самому, чтобы войти в роль интервьюера, и прежде всего Мигелю, чтобы успеть освоиться с необычной обстановкой, привыкнуть к легкому, почти неслышному журчанию мотора кинокамеры, к блеску подносов, которыми нас старательно ослепляют помощники.

Закончив прелюдию, протягиваю микрофон Мигелю, и он начинает рассказ:

— Да, действительно, здесь у нас, в Эскамбрае, через полтора года после победы революции началась самая настоящая война. Несколько месяцев подряд в этот глухой район стекались все, кто надеялся на восстановление старых порядков, кто ненавидел революцию. В тайниках и пещерах создавались запасы оружия и продовольствия, тренировались отряды бандитов, или как мы называем их «гусанос» — «червяки», разрабатывались планы предстоящих боев.

...«А ведь здорово говорит!» — думаю я про себя, не забывая внимательно слушать и согласно кивать головой. Уже не первый раз замечаю у кубинцев эту удивительную раскрепощенность.

— Большую помощь заговорщикам оказали американцы, — продолжает Мигель, глядя в черный глаз кинокамеры с такой невозмутимостью, словно интервью для Советского телевидения являются для него столь же привычным делом, как бритье перед завтраком или прогулка с дочкой перед сном. — Они сбрасывали с самолетов оружие и боеприпасы, портативные радиостанции и листовки, которые должны были убедить местное население в неминуемом поражении революции.

Для борьбы с бандитами в Эскамбрае создаются так называемые ЛКБ — специальные части по борьбе с бандитизмом, в которые идут наши лучшие люди: коммунисты, рабочие, ветераны Сьерра Маэстры.

Я тоже пошел добровольцем в ЛКБ, — продолжает Мигель. — И не один, а с четырьмя братьями. Борьба была трудной. Этим «гусанос» оказывали помощь не только американцы: сама природа, непроходимые леса, горы, ущелья затрудняли наши действия и помогали противнику уходить от решающих боев, скрываться в тайниках и внезапно атаковать нас из засад. И все же мы вылавливали бандитов в пещерах, в лесных логовах. Понимая, что пощады не будет, они отчаянно сопротивлялись, всеми силами стремились оттянуть свой последний час. Один из моих братьев погиб, натолкнувшись на засаду, другой был ранен. Что поделаешь, без жертв не бывает победы.

И в конце концов мы победили. Около двух с половиной тысяч «гусанос» было уничтожено и взято в плен. И около трехсот наших товарищей пали смертью героев в этой жестокой войне. Среди них и командующий ЛКБ, знаменитый герой Сьерра Маэстры, команданте Мануэль Фахардо.

— А как сложилась ваша жизнь, Мигель, после этого?

— После разгрома бандитов я вернулся к мирной жизни и был назначен заведующим продовольственным магазином здесь, в Топес де Кольянтес. Проработал в магазине недолго: меня выдвинули на должность координатора комитетов защиты революции в Тринидадском районе. Потом направили на двухмесячные курсы партийной учебы, после чего работал в районном партийном комитете, был секретарем городского комитета в Топес де Кольянтес. Как раз в то время начали строить шоссе, которое должно было соединить наш поселок с Санта-Кларой. То самое шоссе, по которому вы сюда приехали. Ну а когда оно было открыто, я остался на должности ответственного за транспорт в Эскамбрае.

Благодарю Мигеля и приглашаю к микрофону стоящего рядом Рафаэля. Поскольку ему предстоит познакомить советских телезрителей с успехами социалистического строительства в Эскамбрае, Долина, не мудрствуя лукаво, просит нас сделать три шага влево, сам перетаскивает свою треногу в другую сторону, и после этой нехитрой махинации мы с Рафаэлем оказываемся на фоне того самого жизнерадостного и светлого здания санатория-тюрьмы-школы-гостиницы, мимо которого въезжали в Топес де Кольянтес.

— После разгрома контрреволюционных банд, — начинает свой рассказ Рафаэль, — мы начали прокладывать дороги, расширять плантации. Пожалуй, самым памятным днем в послереволюционной истории Эскамбрая стало 23 июня 1969 года, когда к нам в гости приехал Фидель и выступил перед жителями Топес де Кольянтес и окрестных поселков. «Придет день, — сказал он, — когда даже вы сами не узнаете Эскамбрай, потому что он превратится в центр прогресса и цивилизации».

В 1970 году были заложены семь новых поселков, школы, больницы, животноводческие фермы. Но занимаемся мы не только животноводством: выращиваем табак, сахарный тростник и цитрусовые.

Он говорит долго, и все по делу. Обидно, что многие из сообщаемых им цифр и фактов нельзя будет сохранить в будущем очерке. Ничего не поделаешь: законы телевосприятия неумолимы: перегружать экран длинными монологами и статистикой нельзя!

Камера Долины издает легкий треск: пленка в кассете кончилась. Поблагодарив Рафаэля, по-братски обнимаю его. Мы долго хлопаем

друг друга по плечам. Чувствуя прилив энергии, Рафаэль порывается рассказать и об иных сферах жизни Эскамбрая. Стараясь быть деликатным, напоминаю ему, что нас ждут и другие интервьюируемые.

Долина, перезаряжая кассету, вопросительно поглядывает на меня. Я без слов понимаю, что его беспокоит: у нас уже есть для будущего очерка два «синхрона» и запланировано еще два. Пора бы подумать и о том, чем иллюстрировать их. Мигель и Рафаэль рассказали телезрителям о переменах в Эскамбрае. А как показать эти перемены?.. Для этого нужно снять несколько планов животноводческих ферм, новых жилых домов, школ. Весьма к месту пришелся бы в таком репортаже план дорожного указателя с названиями новых строящихся поселков. Или весело играющая детвора, школьники с ранцами и портфелями, молодая мать с малышом на руках.

Созываю военный совет. Делюсь с кубинскими коллегами нашими думами. Мигель и Диосдадо говорят, что насчет детишек и мамаш никаких проблем нет. Сейчас нам их приведут в любую точку, которую мы укажем. А еще лучше будет, если мы сами отправимся в детский сад или в школу. Что касается животноводческих ферм, дорожных указателей и строек, то их можно будет спять по пути из Топеса в Тринидад, где мы должны сегодня заночевать.

— Но ведь вы хотели, — напоминает Рафаэль, — побеседовать с представителем местной интеллигенции?

— Да, да, конечно.

— Тогда прошу вас: нас уже ждут в книжном магазине Топеса. Он сегодня закрыт специально для того, чтобы никто не помешал съемке.

В маленьком, сверкающем аптекарской чистотой книжном магазинчике мы должны молниеносно снять несколько планов, иллюстрирующих могучие шаги культурной революции в медвежьих углах Эскамбрая. Кроткая, робко улыбающаяся девочка лет восемнадцати Ада-Ирис Карденас, выполняющая в этом очаге культуры обязанности директора, продавца, главбуха, кассира и уборщицы, навела в своем крохотном хозяйстве ослепительный порядок. Книжки расставлены на полках таким образом, что на самых видных местах оказались труды классиков марксизма-ленинизма, томики Максима Горького, Константина Симонова и других советских писателей. Но Долина недовольно ворчит, припав к своему «арифлексу». Долине не

хватает «правды жизни»: слишком уж все ненатурально чисто и слишком пусто в этом закрытом для покупателей магазине.

Чтобы создать видимость покупательского ажиотажа, прибегаю к традиционной уловке телевизионщиков, организующих «массовку»: прошу Габриэля, Феликса и Диосдадо потолкаться в кадре, полистать книги, побеседовать с Адой-Ирис. Моя просьба вызывает у кубинских друзей всплеск энтузиазма: они чрезвычайно рады, что их увидят советские телезрители. Долина продолжает ворчать. Он не чувствует, не ощущает «воздуха» в этом нашем сюжете. Нет у этого репортажа динамики, развития действия...

Он прав, нужно что-то придумать. И тут, каюсь, мы делаем то, что никак не рекомендуется ни учебниками телевидения, ни теоретиками кино: мы, увы, устраиваем инсценировку.

Объяснив почти по системе Станиславского задачу участникам этой маленькой провокации против доверчивого телезрителя, мы разыгрываем небольшую сценку: по команде Долины Ада-Ирис предлагает «покупателям» советскую литературу, Габриэль, Феликс и Диосдадо прилежно и вполне достоверно, словно их учили этому в школе-студии МХАТа, перелистывают книги, затем в кадре появляюсь я, беседую с Адой-Ирис, интересуюсь спросом на советскую литературу и, естественно, желаю моим кубинским друзьям всего самого доброго.

Съемка проходит гладко, без сучка и задоринки. Классик документального кино и яростный противник киноинсценировок, неустанно призывавший снимать «жизнь врасплох» Дзига Вертов, без сомнения, перевернулся в гробу, но те из наших коллег, кто ни разу в своей профессиональной жизни не шел на такие трюки, могут кинуть в меня первым же камнем, который подвернется им под руку. Бросаю этот вызов спокойно, ибо уверен: дождь камней в мою сторону не полетит.

Долина доволен. Он вновь повторяет, что даже на «Мосфильме» не сняли бы эту волнующую драму лучше, чем это сделал он, скромный труженик советского телевидения. Аккуратно сняв камеру со штатива, он укладывает ее в кофр бережно, как мать кладет в колыбель пресыщенное дитя, оторвав его от груди. И сразу же мы отправляемся обедать, пригласив, естественно, и Аду-Ирис.

Обед превращается в испытание нервной системы Долины. Он надеялся проглотить свою порцию в две минуты, чтобы выскочить из-за стола и продолжать съемку. Он нервничает: солнце то скрывается за тучами, то вновь сияет во всю свою тропическую мощь. Если оно уйдет окончательно, пейзажные съемки, считай, пропали.

А кубинцы относятся к обеду, как к священнодействию. Тем более, когда трапеза проходит вместе с дорогими советскими друзьями, когда хочется поговорить о жите-бытье, расспросить о Москве и рассказать об Эскамбрае. Учитывая эту особенность национального характера, официанты на Кубе — самые неторопливые официанты в мире. Поэтому застольная пытка вместо получаса, как мы надеялись, продолжается около двух часов и наконец завершается монументальными порциями мороженого и неизбежным «кафесито». Проглотив его, Долина вскакивает и первым мчится к машине.

Я напоминаю Рафаэлю, что для полного успеха нашего репортажа об Эскамбрае необходим крестьянин с рассказом о тяжелой доле в предреволюционные времена. Рафаэль отвечает, что крестьянин уже ждет. И прямо из столовой нас везут на самую дальнюю окраину Топеса в небольшой уютный домик престарелого Бартоломео Наранхо Гонсалеса, потомственного земледельца.

Мы устанавливаем камеру в маленьком саду перед домом. Приглашаю Бартоломео присесть рядом со мной на скамейку, он с готовностью садится, берет микрофон, откашливается, и тут выясняется, что он так добросовестно «заинструментирован» местными товарищами и столь тщательно «подготовлен» к выступлению по Советскому телевидению, что интервью у нас с ним никак не получается: Бартоломео неудержимо стремится к глобальным обобщениям, он вдохновенно говорит о нерушимости кубино-советской дружбы, о величии братского советского народа. Все это правильно, все это очень хорошо. Но мне-то хочется, чтобы с экрана прозвучал рассказ крестьянина о себе самом, о своей семье, о своей доле. Бартоломео говорит о революции и Фиделе, а я, покачивая согласно головой, переспрашиваю: «Ну а сам-то ты, Бартоломео, что ты получил от революции?..» Он внимательно слушает меня, кивает головой и все тем же хорошо поставленным голосом отвечает, что в крае была проведена аграрная реформа, построено несколько десятков животноводческих

ферм, созданы школы, ликвидирована неграмотность, страна успешно строит новую жизнь...

Где-то с четвертой или пятой попытки, когда Долина уже близок к истерике и кричит, что он так работать не может, пленка кончается, и нельзя на каждую «говорящую голову» расходовать по километру ленты, мне наконец удается «приземлить» Бартоломео: вместо «мы» он говорит «я».

Вот ведь в чем иногда оказывается секрет успеха! Кажется, ерунда, кажется, мелочь, но в этом-то все и дело: суметь заставить человека вместо «мы» сказать «я».

Спущенный с трибуны на землю и переставший ощущать на своих плечах ответственность за правильное изложение революционного пути всего своего народа, старый крестьянин успокаивается и начинает говорить тихим и спокойным, нормальным человеческим голосом.

Он говорит, а у меня перехватывает дыхание и в горле вдруг появляется комок: я чувствую, что его бесхитростный рассказ становится самым интересным из всех, какие я снимал до сих пор на Кубе. Тут не нужно будет придумывать «оживляж», изобретать дополнительные иллюстративные планы. Чувствую, что это тот редкий случай, когда вопреки всем традициям и учебникам долгое интервью будет воспринято телезрителями так же, как его воспринимаю сейчас я: не переводя дыхания и с комком в горле.

Всю свою жизнь влачил Бартоломео жалкое существование. Перебивался кое-как. Рубил тростник, работал на табачных плантациях, делал все, что подвернется под руку, никогда не имел постоянной работы и не ощущал уверенности в завтрашнем дне. Шил, никогда не наедаясь досыта, никогда не высыпаясь и никогда не чувствуя себя спокойным и беззаботным. «Ты понимаешь, сынок, что это за жизнь, когда год, другой и десять лет подряд ты ни разу не можешь поесть досыта?.. Ну сам-то ты — это еще не так страшно. Но ведь ты видишь, что и дети твои тоже год, другой и третий ни разу не ложатся спать сытыми...» Поэтому Бартоломео воспринял революцию очень просто и ясно: как избавление от каторги. И ушел добровольцем в колонну Повстанческой армии, которой командовал Че Гевара, а после победы вернулся сюда же, в Топес де Кольянтес.

Чем занимается сейчас? Да все тем же: плантации, огород. Ведь он понимает толк в сельском хозяйстве, вот и служит революции, как

умеет.

В чем разница его жизни сейчас по сравнению с тем, что было раньше?.. Разница простая: раньше он работал на хозяйев-латифундистов, которые платили ему ровно столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду. А сейчас он работает на приусадебном участке педагогической школы, получает гарантированный заработок. Революция дала ему новый дом. С холодильником. Не говоря уже о приемнике и электропатефоне. «Ты можешь себе представить, сынок, крестьянина на Кубе до революции с электропатефоном?.. То-то и оно». Нет, сейчас совсем другое дело! Он, Бартоломео, стал человеком не только сытым, но и уважаемым. Он знает, что его труд нужен революции, и он работает, не жалея сил, работает для себя, для своих детей, для учащихся школы, которые ему — как дети, потому что все они — дети крестьян и рабочих.

Спрашиваю, сколько у него у самого детей.

— Семеро. Да, семеро. Раньше прокормить столько ртов было невозможно. Сейчас — другое дело. Правда, почти все дети стали взрослыми и сами кормятся. Кем они стали? Пожалуйста, — и он перечисляет, загибая черные, заскорузлые пальцы с навечно вьевшейся в кожу землей: старший сын — офицер, военный переводчик. Переводчик с русского, между прочим. Другой сын — инженер-гидравлик, работает здесь, в Эскамбрае. Третий сын — механик, учится на инженера. Четвертый — токарь, работает на фабрике, построенной после революции. Есть еще взрослая дочь. Она заведует промтоварным магазином в Топес де Кольянтес. Двое младших ходят еще в школу.

— А если бы не революция, кем были бы ваши дети?

Бартоломео машет рукой и смеется:

— Рубили бы тростник, помирали бы с голоду вместе со мной. И уж наверняка не ходили бы в школу. У нас тут, в Эскамбрае, никогда никаких школ не было. Не то, что теперь.

Бартоломео вздыхает, вытирает мокрый лоб тыльной стороной руки. Вопросительно смотрит на меня. Чувствую, что в кассете у Долины пленка уже на самом конце, и потому прекращаю интервью. «Спасибо, отец, — говорю. — Все получилось хорошо». Виталий снимает камеру со штатива, тоже вытирает лоб усталым движением руки и шепчет мне, что еще одно такое интервью — и у нас не

останется пленки. Отвечаю ему, что даже если мы больше ничего не снимем в этой поездке, рассказ Бартоломео полностью оправдал ее.

Старик приглашает нас в дом и с гордостью показывает телевизор, холодильник, приемник. Потом достает семейные альбомы, рассказывает о каждом из детей. Кто болел коклюшем, кто — дизентерией. Этого, непослушного, частенько приходилось наказывать. А вот — надежда и опора семьи. С десяти лет — это было еще до революции — пошел работать. Приносил в дом какие-то, хотя и скудные, но нужные песо.

Жена Бартоломео, молчаливая старушка, приносит кофе. Пьем, вдыхая его терпкий аромат. Толстая черная кошка разлеглась на стопке грампластинок, недоверчиво поглядывая на заполнивших маленькую «залу» гостей. А со стены глядят на нас фамильные портреты всей династии Бартоломео Наранхо Гонсалес: дедушки, бабушки, тетушки, племянники и племянницы.

Уютно и прохладно в этом чистеньком доме, и совсем не хочется покидать его. Посидеть бы часок-другой, отдохнуть от суматохи. Но Виталий озабоченно шепчет, что солнце уже почти ушло, а у него еще нет перебивок, чтобы положить их на интервью со стариком. Нужно доснять внешний вид дома и окрестный антураж: огороды, шоссе, по которому бредут задумчивые ослики и урчат, поднимаясь в гору, грузовики, наполненные бананами и сахарным тростником.

Прощаемся и выходим. Машины наши стоят перед домом в тени. Виталий просит отогнать их подальше, чтобы не лезли в кадр, и принимается жужжать «арифлексом», снимая детишек, огороды, грузовики, горы, дорогу.

Не проходит, впрочем, и десяти минут, как он подходит ко мне и со вздохом говорит:

— Все. Больше сегодня не снимаю ни кадра: руки дрожат, и ошибся сейчас сразу на две диафрагмы. Видать, пришел конец моим силам.

Влезаем в машины и отправляемся в Тринидад, где нам надлежит заночевать.

Тишина. Рокот моторов. Серым серпантинном спускается к океану дорога. Хорошая дорога... Лишь изредка вздрогнет «альфа-ромео» на чуть заметной выбоине асфальта. И снова размеренный шелест шин и

тение ветра в открытых окнах машины. Мы молчим. Каждый думает о своем.

Странное дело: после окончания работы, которая кажется тебе удавшейся, после интересной съемки или хорошего интервью, особенно такого, каким получился разговор с Бартоломео, настроение обычно бывает приподнятым, чувствуешь удовлетворение. А тут ловлю вдруг себя на странном и необъяснимом ощущении опустошенности и недовольства.

Может быть, устал? Третьи сутки не вылезаем из машины, колесим по жаре, гонимся за солнцем, за временем, за погодой. Может быть, именно поэтому в голову лезут всякие черные мысли и сомнения. Появляется неуверенность и раздражение: разве можно вот так, на лету, в лихорадочной спешке сделать что-нибудь интересное и глубокое? В конце концов, что человек может успеть сказать в коротком интервью, которое делается чуть ли не на бегу? Виталий крикнет: «Мотор!» Зажужжит устрашающе камера, в глаза ударит свет ламп или этих дурацких подносов, человек выпалит заранее отрепетированные фразы и вздохнет с облегчением. Разве это работа?..

Остаться бы здесь на недельку, побродить по улочкам этого Топес де Кольянтес, посидеть в его сквериках, прислушиваясь к негромкому говору старичков, вышедших перед сном подышать воздухом, понаблюдать за воркованием парочек, за щебетанием детишек.

Чтобы толково писать о людях, нужно сначала присмотреться к ним, суметь понять их. А что узнал я о жизни старика Бартоломео? Или этой девочки Ады-Ирис? Что я увидел, что понял об этом городке, кроме того, что раньше люди здесь жили плохо, а теперь живут хорошо? В конце концов вся Куба раньше жила плохо, а сейчас живет хорошо, а завтра будет жить еще лучше. Но чтобы узнать только это, достаточно было почитать газету там, в Гаване, и совсем не стоило приезжать сюда.

Чем отличается жизнь этих людей, затерянных в горах Эскамбрая, от жизни рыбаков Кохимара, табаководов Пинар дель Рио или мачетеро Матансаса? Есть же все-таки что-то такое, что отличает этих людей от соотечественников в других провинциях острова?

Вспоминаю, насколько проще было работать в Бразилии, где не висел надо мной как дамоклов меч такой жесткий график, никто не требовал от меня передавать материал в Москву не реже трех раз в

неделю, как это приходится делать сейчас в Гаване, где можно было уехать на неделю, а то и на месяц в какой-нибудь Манаус и спокойно понаблюдать там за людьми, за их жизнью. Беседовать, не думая о блокноте и магнитофоне, не пугая собеседников торжественной церемонией установки света и замерами экспозиции. Присматриваться и прислушиваться... Как это было однажды, когда я прожил около двух недель в амазонской сельве вместе с братьями Виллас-Боас среди индейцев. И эти две недели дали мне возможность написать книгу. По моему, лучшую из моих книг. Да, пожалуй, только в такой атмосфере и можно сделать что-то такое, что способно оставить след в памяти людей... Что может тронуть, взволновать или хотя бы заинтересовать их. Если поверить, что журналистика — это тоже творчество, то разве можно творить на бегу? «Служенье муз не терпит суеты». Не терпит погони за солнцем, не выносит графиков и расписаний, не укладывается в смету командировки, в предусмотренный инструкцией метраж пленки.

Но, с другой стороны, разве за тем посылают тебя за тридевять земель, чтобы ты терпеливо поджидал, когда тебя осенит вдохновение? Чтобы не торопясь погружался в «местную жизнь», «изучал материал», неделями и месяцами вынашивал свои гениальные опусы, которые должны будут «глаголом жечь» сердца твоих современников и потомков?..

Может быть, следует искать какую-то золотую середину? Или тебе просто не хватает опыта, профессионализма, и ты пытаешься замаскировать свою бездарность жалкими оправданиями и ссылками на несовместимость спешки и творчества?

— ...Ну а вот это вы не можете не снять, если хотите, чтобы ваш репортаж об Эскамбрае получился интересным, — прерывает мои размышления Габриэль. Машина останавливается у невысокой серой пирамиды над могилой, обнесенной оградой. Точно такие могилки разбросаны у нас вдоль подмосковных, белорусских и украинских дорог, точно такие же высятся над ними пирамидки с именами солдат, покоящихся там со времен войны.

Вылезает из машин. Подзываю Виталия, объясняю ему задачу, и он берет камеру, забыв о клятве не прикасаться к ней сегодня больше ни разу.

Это действительно нельзя не снять: мы стоим перед могилой того самого знаменитого команданте Мануэля Фахардо, погибшего здесь, в Эскамбрае, в борьбе с бандитами, о котором сегодня утром вспомнил Мигель Пухоль Вальдивия.

Я хорошо знаю историю его жизни, драматической, ставшей легендой. Слышал об этом человеке от многих кубинцев. Он был врачом-хирургом в городке Мансанильо на западе провинции Ориенте. Когда началась революция, Мануэль без колебаний примкнул к ней и занялся опаснейшим делом: лечением раненых бойцов Фиделя. Почему опаснейшим? Потому что, помещая партизан в госпиталь — обычный госпиталь, где на соседней койке может оказаться чиновник диктаторского режима или полицейский — приходилось выдавать их за больных, за крестьян, ставших жертвами несчастного случая или автомобильной катастрофы.

А ведь и в городе, и в самом госпитале среди медицинского персонала немало было соглядатаев. Попробуй объясни, что пациент с пулевым ранением в голову — всего-навсего неосторожный автомобилист! Короче говоря, батистовская полиция заинтересовалась Мануэлем и его пациентами, и ему пришлось уйти в горы к Фиделю.

После победы революции Фахардо остался в Ориенте и был назначен начальником военного госпиталя в Сантьяго, затем руководил сельским хозяйством в одной из зон Ориенте, потом возглавил строительство школьного городка имени Камило Сьенфуэгоса. Можно, конечно, удивляться тому, что квалифицированнейший врач стал вдруг командовать кооперативами и строить школы. Разве после революции не стало больных? И разве народу уже не нужны были руки хирурга? Видимо, дело было в том, что революции очень не хватало тогда руководящих кадров и нужно было уметь делать все. И Мануэль умел делать все, что требовала революция. В 60-м году она его послала в Эскамбрай и поставила руководителем ЛКБ.

А 30 ноября того же года вражеская пуля подстерегла его на одной из горных дорог Эскамбрая. В этот день ему исполнилось ровно тридцать лет.

Молча стоим мы у памятника. Молчит Диосдадо, молчат Феликс и Габриэль. Только Виталий не стоит рядом с нами: оператор никогда не имеет права на эмоции, не относящиеся к процессу съемки. Багровое солнце уже коснулось горизонта, нельзя терять ни минуты, и он

снимает обелиск и чуть увядшие цветы на сером граните. А фон у этого плана неожиданно получается жизнерадостный: детишки, беззаботно гоняющиеся друг за другом вдоль серой могильной ограды.

Долина вопрошающе смотрит на меня: не разогнать ли ребят, чтобы они не ломали само собой напрашивающуюся патетику этого кадра? Нет, не стоит, отвечаю я взглядом. Наоборот... Разве не ради счастья этих детей погиб Мануэль Фахардо? Поэтому «и пусть у гробового входа младая будет жизнь играть».

Ребята, еще не заметившие, что их снимают, прибежали из находящейся неподалеку, метрах в двухстах, школы. Маленький серый барак на один, максимум два класса, словно одинокий корабль, застыл посреди степного моря.

И как это делается на кораблях с заходом солнца, в школе этой тоже только что опустили с флагштока красно-бело-голубой кубинский стяг. Сверкнул и угас последний солнечный лучик. Ночная тень укрыла стоящий перед баракком бюст борца за независимость Кубы Хосе Марти. На западе небо еще светится багрянцем, а на востоке уже замигали первые звезды. День кончился. Съёмки тоже. На этот раз окончательно.

Мы снова забираемся в машины и едем в Тринидад, до которого отсюда рукой подать. С гор, оставшихся за спиной, сползают на ночлег в долину черные бархатные облака.

«...или солнечный луч»

Зовут его Бенито Ортис. Встречает он нас на пороге крошечного деревянного домика. Протягивает руку и улыбается широко и открыто, как улыбаются только дети или старики. У него черное морщинистое лицо, короткие курчавые волосы, которые когда-то очень давно тоже были черными, а теперь ослепительно белы. У него высокий огромный лоб. Лоб философа или поэта. Люди с таким лбом должны быть величаво-рассудительными. А Бенито возбужден, экспансивен и беспокоен. С поразительной для его возраста стремительностью мечется он по комнате, размахивает руками, восклицает, встает со стула, снова садится. Не дослушав вопроса, начинает говорить, не докурив одну сигарету, бросает ее и закуривает следующую. Потом

тянется к длинной черной сигаре и с каким-то веселым ожесточением принимается грызть и сосать ее, не замечая, что она давно потухла.

Я осторожно присаживаюсь на край топчана, заваленного листами рисунков и коробками акварельных красок. Магнитофон поставить некуда. Мы отправляем его под угрожающе скрипящий стол. Три ноги штатива шагнули от стены до стены, и теперь ни войти в каморку, ни выйти из нее невозможно.

Долина озабоченно качает головой, рассматривая гнилую проводку под плохо оштукатуренным потолком и пытаюсь представить себе, что произойдет, если в едва держащуюся розетку включить наши тысячеваттные лампы. Взлетит на воздух не только этот домик, но, по крайней мере, половина Тринидада. Наш осветитель выходит на улицу, расталкивает с помощью Габриэля и Феликса толпу мальчишек и женщин, сгрудившихся у дверей домика Бенито, и пытается подключиться прямо к уличной сети. Черная камера уставилась на нас равнодушным оком объектива. В комнатке плавает сизый дым сигар, Бенито испуганно смеется и зажмуривается, когда лампы вспыхивают, ослепляя его нестерпимым светом.

Бесполезно репетировать, бесполезно объяснять, чего мы хотим. Остается только одно: включить микрофон и погрузиться в этот странный и сбивчивый монолог, напоминающий непрерывный каскад восклицаний, междометий, сопровождаемый жестикуляцией и возгласами беспричинного изумления.

Сколько ему лет? Много, очень много. Он снова смеется, рассказывает о больной руке, перебирает крючковатыми, узловатыми пальцами, потом считает что-то про себя и сообщает, что родился, смешно сказать, в девяносто шестом году. Ого! Стало быть, сейчас, в семьдесят четвертом, ему же семьдесят восемь! Нет, мальчик, не семьдесят восемь, а семьдесят семь! Семьдесят восемь будет только в апреле. А сейчас у нас январь... Да, да! «Стало быть, я еще не старый, я еще поживу, вот увидишь, амиго».

Его отец был фельдшером, мать — повитухой. Принимала роды. Благодарили ее кто чем мог, чаще всего работала мать «за спасибо». Но жили они не так чтобы очень уж бедно. Бенито смог даже учиться в школе. До пятого класса. А что? Пятый класс — это по тем временам была академия, да, да! Правда, в эту академию он бегал босиком, но это не беда, зато научился читать и писать. Да и считать тоже! Что делал

потом? Все делал. Тростник рубил, как все тринидадцы. С двенадцати, кажется, лет. А может, и раньше. Сейчас он уже этого точно не помнит. Помнит, что в период между сафрами учился на сапожника. Что значит «учился»? Ну, бегал мастеру за пивом. Разносил по домам исполненную работу. Зарабатывал, между прочим, шесть песо в месяц. Не каждый мальчишка умел столько зарабатывать!

Немножко подрос и пошел на сентраль — так на Кубе зовутся сахарные фабрики — «Санта-Изабель», оттуда на сентраль «Тринидад». На этой сентрале его ошпарило кипятком. Сильно ошпарило. Кожа на всей спине слезла, а потом выросла заново.

Ну а с двадцать пятого года подался он в картейро — почтальоны. Хорошая работа! Ходишь по улицам, стучишь в двери. «Вам письмо! Из Гаваны. От сына. А вам — от отца, который уехал на заработки в Ориенте». Прекрасная работа — быть картейро! Все тебя знают, все уважают. Каждый рассказывает о новостях, что в письмах написаны. Многие, кто читать не умеет, просят почитать. Помнится, однажды случилась эпидемия, и все картейро в городе заболели. Четырнадцать дней подряд, смешно сказать, он был единственным почтальоном на весь Тринидад. Четырнадцать дней и ночей без отдыха ходил по всему городу. Стук-стук, вам письмо! — «Дона Амелия, как живете? Что пишет сын из Гаваны? Пишет, что устроился на железной дороге: путевым обходчиком». — «А у вас как дела, дона Хосефина? Как поживает ваша дочка? Вышла замуж? За лейтенанта? Значит, ей повезло! Поздравляю! К рождеству будут в гости? Ого, уже с внуком? Молодец девочка! Зайду навестить и выпить за ее здоровье».

...Я слушаю его, закрываю глаза и представляю себе, как это было. Как шел он по городу, молодой, стремительный негр, поигрывая тяжелой кожаной сумкой, стуча каблуками по отполированным булыжникам и постукивая палочкой по чугунным решеткам скверов. Как ловко огибал стоящие посреди тротуара фонарные столбы и оглядывался на коренастых мулаток с корзинами белья на голове и на бледнолицых барышень под кружевными зонтиками. Как уверенно открывал калитку каждой усадьбы и приветливо свистел собакам, которые сначала, не узнав, встречали его залившимся лаем, а потом замолкали и смущенно, в знак извинения помахивали хвостами и прыгали ему на грудь. И в каждом доме его ждали, в каждом доме ему были рады.

Так он работал 39 лет. Да, да, 39! Хотите — верьте, хотите — нет, но во всем Тринидаде не было почтальона, который бы так долго работал. Да что там в Тринидаде! Наверное, на всей Кубе второго такого почтальона не было. Тридцать девять лет, как один день, по улицам Тринидада. Даже сейчас, закрыв глаза, он — смешно сказать, но это так — назовет вам по порядку все номера домов на всех улицах города и скажет, кто живет в любом доме. Тридцать девять лет подряд — по улочкам, мощенным круглым булыжником, по земляным мостовым, по узким тротуарам. Ведь город — его друзья, за каждой дверью — чашечка кофе и ласковая улыбка.

— Какие новости, сеньор Бенито? — Да, да, его называли сеньором!..

— Вы спрашиваете, сеньора, какие новости? В Европе опять война...

— Это же прекрасно! — восклицает сеньора. — Значит, наш сахар опять подорожает, и мы заработаем хорошие деньги! Может быть, эта война продлится подольше?

— К несчастью, сеньора, это именно так может и случиться. Ведь война не только в Европе: воюют японцы с американцами, немцы напали на Россию.

— Ну и пускай себе воюют, главное, чтобы покупали наш сахар! — заключает сеньора, нетерпеливо разрывая конверт и одаривая Бенито монеткой.

А время идет. Идет и уходит под стук башмаков о гладкие булыжники мостовых.

— Что нового, сеньор Бенито? Говорят, американцы сбросили на Японию какую-то страшную бомбу? Уже заключили мир?.. Бенито, вы не слышали: скоро ли снова начнется там, в Европе, война? Цены на сахар падают так быстро, что если не будет войны, мы все обанкротимся.

— Послушайте, уважаемый Бенито! Что это за история там, в Ориенте? Говорят, война началась у нас, в Сьерра-Маэстре? Боже, чем все это кончится?..

Он носил письма и телеграммы, в которых появлялись новые слова, новые имена и названия: Фидель, Монкада, Сьерра-Маэстра. Мир менялся, страна менялась, и даже Тринидад начал меняться, хотя

поначалу отцы города надеялись, что горы Эскамбрая защитят их от бушующего в стране шторма.

Не защитили... Многие из «отцов города» — Бенито помнит и таких — оказались в Майами в надежде на то, что вскоре все утрясется.

Не утряслось... Вместо сбежавших чиновников и толстосумов в городе и округе появились студенты с зелеными лампами, обучавшие грамоте стариков, детей и всех, кто не умел читать и писать. Бенито и им носил письма от родителей из Гаваны и Сантьяго. И прислушивался к их рассказам о том, что происходит в стране. А потом рассказывал все это остальным тринидадцам.

Потом, в шестьдесят четвертом, ему вышла положенная пенсия! Ого, пенсия! А что, разве он ее не заслужил? Попробуй-ка отмахать без малого сорок лет по булыжнику!

Да, назначили ему пенсию. Сколько ему тогда было? Шестьдесят восемь. Разнес он в последний раз письма. Выпил чашечку кофе в каждом доме. Пожал тысячи рук. Вытер слезу. Все? А что теперь? Смешно сказать, но нечего делать. Только ждать перевода из банка.

Ждать, правда, пришлось поначалу довольно долго. Месяц, другой. Не наладилось еще тогда это дело с пенсиями.

Подождал он, подождал и пошел сам за деньгами. Почему бы и нет, раз все равно делать нечего? Пришел в банк, на Аламеду. Народу — видимо-невидимо. Вышел на улицу, решил подождать на скамейке. Сидел, сидел. День был солнечный, тихий. Девочки играют маленькие. Матери сидят с малышами на руках. Старички с газетами. Жизнь идет. А ему, Бенито, хотите — верьте, хотите — нет, нечего делать... И ведь действительно нечего!

Почему-то оказалось у него в тот день с собой старая тетрадка и карандаш. Раскрыл он ее, да и начал рисовать.

Рисовал, рисовал, да так увлекся, что забыл про деньги. Именно забыл: ушел домой без денег. Просто смешно сказать!

— А раньше, Бенито, ты рисовал когда-нибудь?

— Раньше? Конечно, нет! Как же это картейро может рисовать? А кто тогда будет письма носить, а?... То-то. Еще бы: целый день ведь с сумкой по городу. С утра до вечера. Нет, раньше не рисовал. И в голову такое не приходило. А тут вдруг понравилось. Да, да, очень понравилось: пришел домой, сел за стол, достал бумагу, стал рисовать дальше.

«Стал рисовать дальше...» Видно, что-то в нем проснулось: с того похода в банк, а было это, напоминаю, в шестьдесят четвертом, не прошло и дня, чтобы Бенито не рисовал. Каждый день, с утра до часу, двух, а то и трех ночи. Потом ложится спать, утром встает, читает газету и снова берется за краски.

Не было нужды спрашивать, что он рисует. Все стены его каморки увешаны акварелями. И на всех — Тринидад. Сказочный, похожий и непохожий на город, который мы только что видели. Город, утопающий в садах. Яркий, солнечный город, который может привидеться в радостных снах мальчишке, вернувшемуся с первого свидания. Город, о котором мечтаешь, когда уезжаешь на чужбину. Город — песня.

...Город, по улицам которого он ходил 39 лет, словно выплеснулся на его акварельках в буйстве красок, в причудливости композиций. Тридцать девять лет Бенито, сам того не ведая, копил день за днем в своей душе образы своего Тринидада. Черепичные крыши, красные, словно раскаленные солнцем. Строгие колонны кафедрального собора. Желтые стены дворца Брунет. Решетки. Фонари. Ослики, покорно несущие свою поклажу. Пересохшие фонтаны в скверах, где шумит детвора и судачат черные няньки в белых передниках.

— А почему ты, Бенито, рисуешь только Тринидад?

— Почему? А я не знаю почему. Рисую, что вижу. И что видел раньше. Мне это нравится.

Да, конечно, он прав; человек рисует то, что видит, то, что знает, то, что любит. Я ведь тоже пишу сейчас о Кубе, а не о Японии и не о Новой Зеландии.

Продолжая перебирать акварели, вдруг вижу на его шатком столе среди бесчисленных видов Тринидада что-то необычное.

— А это что такое?

— Где? А, это Фидель. В горах Сьерра Маэстры.

Горные вершины на этой акварели не впечатляют высотой: они примерно до пояса Фиделю. Но, видно, таким и должен быть, по мнению Бенито, Фидель: выше гор, головой — почти до солнца, подпирающий плечами небо.

— А вот еще Фидель: на суде после Монкады.

Этот Фидель уже не парит над горами. Он стоит на трибуне лицом к лицу с батистовскими судьями и произносит свою знаменитую речь «История меня оправдает». За портретным сходством Бенито, очевидно,

не гнался: без подписи было бы просто невозможно предположить в этом ораторе Фиделя. Хотя замах руки был, бесспорно, его: широкий, неудержимый, словно пригвождающий продажных прислужников диктатора. Пытаясь задержать этот порыв, на первом плане — охранник: тупая физиономия, черная винтовка, перечеркнувшая, как злая тень, фигуру Фиделя.

...Очень трудно рассказывать об акварелях Бенито. Удивление, недоверие, ирония — таковы чувства, которые охватывают тебя, когда видишь их впервые. Неумное буйство красок, полное попрание академических законов перспективы. Если присмотреться, можно обнаружить, что человек у него вдруг оказывается ростом с колокольню, три девицы в двухколесном китрине кажутся крошечными куколками. Кстати, о китрине. Таких колясок давно уже нет в Тринидаде. Почему же Бенито все еще рисует их? Почему бы не изобразить вместо них какой-нибудь «мерседес» или «Волгу»?

— Нет, автомобиль — это вещь новая, современная, а город наш старинный. Ему больше идет коляска.

Вот оно что: стало быть, Бенито — ревнитель традиций, охранитель святой старины? Ну а Фидель в Сьерра Маэстре? И на суде? А высадка с «Гранмы» на Плайя-де-лас-Колорадос?

— Это совсем другое дело, — лукаво улыбается Бенито. — Это не Тринидад. Это новая жизнь, революция. Да, да!.. И почему бы мне ее иногда не рисовать тоже? А Тринидад пускай останется Тринидадом: со своими фонарями, решетками, колясками и пальмами!

...Он опять прав, этот неугомонный и мудрый старик: именно так решило революционное правительство. Спустя некоторое время после нашей встречи с Бенито в Гаване был подписан декрет о превращении Тринидада в город-музей национальной архитектуры и культуры. И вместе с тем в один из главных туристских центров страны. Именно этим занимаются сейчас местные власти.

В городе запрещено воздвигать здания, ломающие архитектурный ансамбль, все реставрационные, восстановительные работы, не говоря уже о перестройках, могут выполняться только под контролем специалистов. Тщательно восстанавливаются памятники архитектуры.

С каждым годом обогащается коллекция «Романтического музея» во дворце Брунет. И вместе с предметами старого быта, мебелью,

украшениями, старинными гобеленами в нем собраны акварели Бенито Ортиса, трогательные и наивные в своей безыскусности и чистоте.

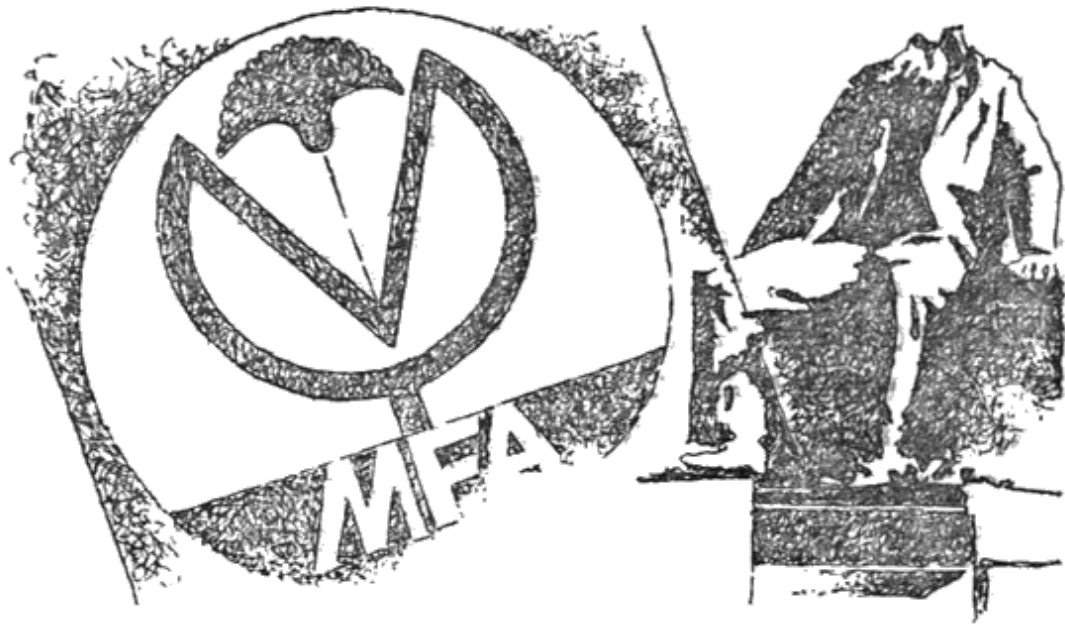
Именно для таких художников, как Бенито, искусствоведы придумали термин, звучащий, может быть, чуть обидно: «примитивист». Что-то детское угадывается в этих прямых, по линейке проложенных линиях, в любви к яркому, чистому цвету, без компромиссных полутонов и теней. Может быть, старик впал в детство? А может быть, вернулся к истокам? Очистил душу от ржавчины и скверны и сумел взглянуть на мир непредубежденными, чистыми глазами ребенка, свято верующего в неминуемое торжество добра и любви?

Как бы то ни было, мне трудно судить об этом компетентно. В конце концов я не искусствовед. И воспринимаю искусство не умом, а сердцем. В пасмурной зимней Москве я гляжу на подаренную мне Бенито акварель, изображающую дворец Брунет, и чувствую, как в пронизанную снежными сквозняками комнату вливается луч жаркого тринидадского солнца. И слышу пронзительный голос Бенито:

— Ты знаешь, амиго, нарисовать дворец, чтобы он был похож, — это ведь совсем нетрудно, да, да! Но в картину всегда нужно что-то добавить. Ты спрашиваешь что? Смешно сказать, но я не знаю. Знаю только одно: что-то добавить обязательно нужно. Может быть, птицу. Или цветок. Или солнечный луч. Что-то такое в картине обязательно должно быть. Обязательно. Иначе она будет мертвой...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Голова доктора Салазара



Командировку в Лас Вильяс и Эскамбрай, о которой было рассказано в предыдущей главе, можно было бы назвать «идеальной» с точки зрения условий нашей работы. Еще бы! Съемки производились большой бригадой, у оператора были даже ассистенты и помощники. Нас возили, заботливо опекали кубинские коллеги. Гостиницы были зарезервированы заранее, никаких бытовых или производственных трудностей перед нашей съемочной бригадой не возникало. Любой вопрос, любое пожелание, высказанное вслух либо даже лишь подразумеваемое, исполнялись кубинскими друзьями, что называется, «со всех ног».

И от этого обилия помощников, от этой атмосферы доброжелательства работа в Санта-Кларе, Топесе де Кольянтесе и Тринидаде была не работой, а праздником. Но ведь праздники случаются редко. И поэтому теперь пришло время поговорить о наших буднях. О том, как они, эти будни, выглядели в Португалии, куда меня перевели из Гаваны в самом начале семьдесят пятого года, вскоре после победы революции, свергнувшей полувековой фашистский режим.

В Лиссабоне нас было двое: я и оператор Алексей Бабаджан.

В разные годы и в разных странах я работал с десятками операторов. В основном это были хорошие парни, и всем им говорю в этой книге «спасибо». Но особую благодарность хочется выразить

Алексею. За хороший характер, за добрый нрав, за поразительную уживчивость, за деликатность в общении.

Но, помимо этих сугубо «общечеловеческих» достоинств, Леша Бабаджан обладает и еще одним чисто профессиональным: он самый быстрый в работе оператор из всех, с которыми я когда-либо имел дело.

В условиях работы за рубежом, когда у вас нет помощников и ассистентов, такой оператор, как Алексей Бабаджан, неоценим и незаменим. В напряженнейших условиях страны, охваченной революционной ситуацией, бывали случаи, когда, услышав по радио или получив предупреждение по телефону от верных друзей о каком-то только что происшедшем важном событии, я хватал телефонную трубку, набирал номер и кричал: «Леша! Надо срочно снимать!» И в ответ всегда слышал: «Я готов, подъезжай, спускаюсь и жду с аппаратурой у подъезда».

...Пишу эти строки и думаю о том, что мало кому в голову приходит, сколь нелегко труд работающих за рубежами нашей Родины корреспондентов телевидения! Телезрители, восхищающиеся репортажами наших собкоров в программах «Время» или «Международная панорама», просто представить себе не могут, каких трудов стоило, например, Борису Калягину оказаться в полицейской машине, патрулирующей по улицам Ольстера, и вести репортаж из ее открытого люка, или Леониду Рассадину — рассказывать о ситуации на «зеленой линии» Бейрута, или Александру Каверзневу — добиться встречи в Бангкоке с тайландским генералом Прапханом Кулапичитром, и, соответственно, как нелегко было делать свое дело и операторам, которые работали там с ними.

Говоря о трудностях и проблемах, имею в виду не только сложности с получением виз и преодолением пограничных застав и таможен с 200 килограммами «служебного груза»: именно столько весят наши камеры, магнитофоны, запас пленки и осветительная аппаратура. И не только определенный и, случается, весьма серьезный риск, на который идут иногда мои коллеги. Вспомним, что Леонид Золотаревский был ранен в голову на улице Кабула, что Аркадий Громов снимал в Ливане под бомбами и снарядами, и никто не мог поручиться за безопасность Александра Серикова и Николая Вахрамеева, когда они вели репортажи из зоны боев на границе Никарагуа и Гондураса.



Нет, сейчас не беру эти экстремальные ситуации в учет. Давайте посмотрим, как выглядит в зарубежном корпункте выезд на заурядную, вполне «спокойную» съемку. Скажем, на интервью с каким-нибудь профессором, видным общественным деятелем, комментирующим для программы «Время» миролюбивую инициативу Советского правительства. Возьмем идеальный случай: по телефону мы с ним заранее условились о дне и часе нашего визита. Собеседник любезно согласился принять нас в своем кабинете, дал точный адрес, согласовано и время съемки — допустим, три часа дня.

Даже если дом, где состоится съемка, находится в двадцати минутах езды на машине от корпункта, и в этом случае выехать следует

за час, если не полтора: наверняка очень много времени придется потратить на поиски стоянки, где можно будет припарковать машину. Решив эту первую проблему, мы вытаскиваем из багажника наши, как говорит Алексей, «железки» и загружаемся ими, как верблюды, которым надлежит пронести через Сахару имущество целого племени туарегов: одной рукой Алексей несет сумку с камерой «Эклер» и пленкой, другой — чемодан с осветительными лампами. Под мышкой у него — штатив для осветительных приборов. На шее — экспонометр «Лунастикс», которым он почти наверняка не воспользуется, но на всякий случай всегда берет с собой.

Следом ковыляю я: на правом плече магнитофон «Награ», килограммов на десять весом, в той же правой руке — запасная кассета, в левой — штатив для камеры. Штативом, как я говорил, Алексей пользуется редко, но в данном случае при съемке довольно продолжительного по времени интервью он все же необходим. На шее у меня висит фотоаппарат, чтобы увековечить нашего собеседника и на фотопленке: вдруг когда-нибудь соберусь написать о нем статью в газету и понадобится снимок.

Почему-то всегда получается так, что искомая квартира ожидающего нас общественного деятеля находится на шестом, если не на восьмом, этаже, а лифт не работает... Однако после того, как мы завершили восхождение в пункт назначения и отдышались, мучения наши только начинаются.

Приветливо встретивший нас в прихожей радушный хозяин приглашает в кабинет, садится в кресло и раскрывает рот, чтобы начать интервью. Он еще не осознал, что нам необходимо по крайней мере минут двадцать, чтобы подготовиться к работе: развернуться с аппаратурой, подключить свет, отладить и проверить магнитофон, расставить микрофоны, определить фон, на котором должен быть посажен интервьюируемый, и так далее и тому подобное... Я деликатно посвящаю профессора в таинства нашего ремесла, он с готовностью кивает головой, кричит служанке, чтобы принесла нам по чашечке кофе.

Алексей начинает решать вышеперечисленные проблемы, а я в это время пытаюсь занять нашего героя беседой. Желательно на какие-нибудь абстрактные темы, не имеющие отношения к содержанию будущего интервью. В противном случае он может «выговориться» до

того, как заработает камера, и интервью окажется скучным, скомканным, неинтересным.

Итак, мы потягиваем кофе, беседуем, а я с замиранием сердца ожидаю, когда возникнет какая-нибудь непредвиденная сложность... Так оно и есть: Алексей сообщает, что не может найти розетку с электропитанием. Извиняюсь, перевожу этот вопрос на португальский язык, наш друг профессор кличет служанку, служанка появляется и объясняет, что ближайшая розетка находится за шкафом. Алексей, я и служанка начинаем двигать шкаф. Седовласый профессор усердно делает вид, что тоже участвует в этой операции, на самом же деле нам приходится передвигать не только шкаф, но и беспомощно повисшего на нем профессора.

Порядок! Шкаф отодвинут, Алексей яростно вонзает в розетку штепсельную вилку осветительного прибора, щелкает выключателем... Лампа вспыхивает нестерпимо ярким светом и перегорает: мы не обратили внимания на то, что розетка подает напряжение не 220 вольт, а 380, ибо за шкафом оказалась не обычная электросеть, а линия питания аппаратов для кондиционирования воздуха, которые работают на повышенном вольтаже.

Слава богу, у нас есть запасная лампа, слава богу, на кухне мы находим розетку с искомым напряжением. До кухни протягиваем удлинительный шнур, подключаемся, теперь нам с профессором остается занять места, Алексею — установить микрофоны, прорепетировать наезд-отъезд и панорамы с профессора на меня и обратно. Можно начинать. Я включаю магнитофон, Алексей нажимает кнопку, кричит мне: «Мотор идет!» Я раскрываю рот, чтобы представить профессора советским телезрителям, и в этот момент за окном раздается оглушительный треск отбойного молотка: вернувшаяся с обеденного перерыва бригада ремонтников продолжила операцию по вскрытию мостовой в поисках аварийной утечки газа. Записывать интервью под этот аккомпанемент невозможно. Останавливаемся, выключаем свет, совещаемся. Профессор предлагает закрыть окно. Закрываем. Шум заметно уменьшается, но в комнате возникает нестерпимая жара из-за наших сверхмощных ламп. Профессор включает кондиционер воздуха. Аппарат работает исправно, гонит прохладу, но шум от него почти такой же непереносимый, как от ремонтников за окном.

Профессор предлагает отправиться на другую сторону квартиры, где окна выходят во двор. Там есть даже небольшая терраса, на которой можно снять интервью вообще без осветительных приборов, пользуясь естественным светом солнца, но... какое там солнце: как только мы вытаскиваем на веранду штатив с камерой, в ту же секунду начинается неудержимый тропический ливень, и нам приходится ретироваться. Располагаемся в спальне профессора. Но поскольку эта спальня принадлежит не только профессору, но и его жене, приходится изрядно повозиться, убирая из кадра неисчислимы баночки, тюбики, флаконы и прочую косметическую утварь. Согласитесь, что в интервью седовласого ученого о проблемах защиты человечества от угрозы термоядерного уничтожения вряд ли окажутся уместными в качестве фона щипцы для завивки волос или коллекция бигудей. Хорошо еще, профессорская жена отсутствует, и следы нашей творческой деятельности по организации интерьера она обнаружит лишь тогда, когда мы с Алексеем будем уже далеко от этого дома.

...Я не преувеличиваю и не сгущаю краски. Примерно так приходится работать почти всем зарубежным корреспондентам телевидения. Для завершения картины можно только добавить, что когда, распрощавшись с профессором, мы с Лешей бредем, нагруженные «железками» к нашему «форду-кортине», мы еще не знаем, что на ветровом стекле машины нас уже ждет полицейское извещение о крупном штрафе: торопясь на интервью, мы не заметили, что в полусотне метров от места парковки висит знак, запрещающий не только стоянку, но даже остановку автотранспорта.

Поблагодарив небо за то, что отделались всего лишь штрафом (случается, что машину увозят полицейские тягачи, после чего найти ее на сборном пункте будет очень нелегко, а высвобождение из лап блюстителей закона обойдется в весьма круглую сумму), мы возвращаемся в корпункт. Дело сделано, съемка совершена сравнительно малой кровью, и через пару дней, когда ближайший рейс «Аэрофлота» доставит этот опус в Москву, зрители программы «Время» увидят и услышат плоды нашего труда после традиционной вставки Ани Шатиловой или Дины Григорьевой: «Мировая общественность продолжает комментировать последние мирные инициативы Советского Союза. Наши корреспонденты ведут репортаж из Лиссабона...»

Да, о нашей работе в Португалии можно было бы рассказать массу интересных вещей, вспомнить десятки любопытных историй. И каждая из них могла бы послужить украшением операторской биографии Алексея. Он снимал народные манифестации и бесчинства фашистов, штурмующих здание, в котором проходил митинг коммунистов в поселке Алкобаса. Он был первым оператором, примчавшимся к взорванному террористами помещению кубинского посольства. Снимая одну из демонстраций, он попал в лапы леваков-маоистов, которые попытались избить советских корреспондентов, а камеру — расколотить вдребезги. Лишь в самое последнее мгновение оказавшиеся поблизости солдаты вызволили нас из кольца антисоветчиков.

Однажды, вернувшись домой, он обнаружил, что все четыре шины его «форда», припаркованного у подъезда, проколоты. Поднявшись на свой седьмой этаж, обнаружил, что дверной замок напрочь испорчен и дверь открыть невозможно. Спустившись вниз, он позвонил мне из автомата, я приехал, оценив ситуацию, вызвал пожарную команду. Бравые пожарники проникли в квартиру Бабаджана через балкон, открыли дверь изнутри. На полу мы обнаружили подсунутый под дверь конверт, в котором лежала записка: «Если ты не уберешься в свою красную Москву, то мы изловим твою дочь и утопим ее в реке Тежу. Да и тебе самому придется несладко. Даем тебе неделю срока».

Отдадим Алексею должное: хотя жена его слегка поддавалась панике, что в общем-то простительно женщине, которой угрожают похитить и утопить шестилетнюю дочь, сам он не дрогнул. Даже не заикнулся о возможности возвращения в Москву. Просто-напросто сменил квартиру и поселился в другом районе города, где благополучно проработал после этого «инцидента» еще пять лет.

Да, впрочем, что я расписываю его работу в Португалии! В профессиональной биографии Леши Бабаджана эта страна наверняка была далеко не самым трудным этапом. Ведь до Португалии Алексей снимал в Гвинее-Бисау, точнее говоря, в «португальской» Гвинее: это было еще до «революции гвоздик», до освобождения португальских колоний в Африке. И работал Алексей не в столице Гвинеи. Несколько недель вместе с «правдистом» Олегом Игнатьевым шел он партизанскими тропами через тропические джунгли, снимая боевые операции, будни и ратный труд партизан, сражавшихся под

руководством легендарного Амилкара Кабрала за освобождение своей родины от португальского колониального ига.

А после возвращения из Португалии Леша получил еще более ответственное и опасное задание: целый год проработал в Афганистане. И о том, как это у него получилось, могут судить миллионы телезрителей, видевших его репортажи в программе «Время». Представляю себе, как пригодилось ему там, в Афганистане, умение снимать быстро. Как это было необходимо, когда приходилось работать под огнем, высунувшись на мгновение из-за бруствера окопа или из бронированного транспортера — снять панораму боя, под грохот выстрелов и свист пуль, каждая из которых может стать твоей... Но и там, в Афганистане, он работал без брака и без страха.

...На этом можно, пожалуй, закончить еще один «крупный план» этой книжки, а говоря точнее, — лирическое отступление, посвященное моему старому... чуть было не сказал «боевому» другу. Для Алексея, учитывая его африканский и афганский опыт, слово «боевой» вполне уместно. Мы проработали с ним пять лет. И не только проработали, но и прожили, как говорится, «душа в душу». И вместе сняли фильм, который называется «Аванте, камарада! — Вперед, товарищи!». Лента эта посвящена истории Португальской компартии, и значительная часть рассказанных в ней событий происходила еще в годы фашистской диктатуры. Одним из главных героев фильма, именно «героев», в данном случае это слово совершенно точно определяет человека, был Жоаким Пирес Жоржи, о котором мне хотелось бы рассказать в этой книжке подробнее, чем это сделано в фильме.

Но сначала — несколько слов об иных встречах и размышлениях, рожденных той памятной командировкой в Коимбру, город, где летом семьдесят пятого года жил и работал Пирес Жоржи.

Роза на могильной плите

Итак, Португалия. Лето 1975 года. Очень жаркое лето. В разгаре — «революция гвоздик». Страна — на грани гражданской войны. Каждый день в городах и селениях проходят митинги и манифестации. Дым пожарищ окутывает землю. Всюду: от гор Траз оз Монтеш до оливковых рощ Алентежу горячий воздух пронизан горечью дыма —

по всей стране горят леса и посевы. Где-то они горят от случайно брошенного окурка. Где-то — от руки диверсанта. Этот дым смешивается с чадом пожарищ: в центральных провинциях и на севере банды правых громят комитеты компартии.

Мы с Алексеем едем по национальной автостраде номер два из Визеу в Коимбру. «Автострадой» эту дорогу можно назвать лишь при известном воображении: это обычная асфальтированная дорога, петляющая по долинам неглубоких речушек и по склонам холмов, сплошь оплетенных виноградными лозами. Перед въездом в поселок Санта Комбра Дао — маленькое кладбище. Я торможу. Алексей вопросительно глядит на меня: снимать здесь вроде бы нечего? Потом выходит вместе со мной и с наслаждением разминает затекшие ноги.

Ворота кладбища почему-то закрыты. Но, нажав плечом, можно легко раздвинуть их и войти.

Тишина. Безлюдье. Жужжат мухи и пчелы. Пахнет тленом и привядшими цветами. Серебрится паутина.

Совсем недалеко от входа — скромная серая мраморная плита с темной надписью: «САЛАЗАР». И ярко-красная роза. Совсем свежая. Видимо, положили ее на эту могильную плиту только что. Час назад, не больше...

* * *

«Салазар»... Семь темных букв на сером мраморе рожают калейдоскоп ассоциаций, размышлений, воспоминаний о целой эпохе в жизни маленькой страны, приютившейся на самом дальнем западе Европы.

«Салазар». Слово, вставшее в нашем сознании в один ряд с понятиями: «фашизм», «полиция», «тюрьмы», «пытки», «смерть». Семь букв на гладкой серой плите и свежая роза. Как пятно крови. И как свидетельство: тот, кто лежит под этой плитой, не забыт. Он по-прежнему почитаем. Его помнят. О нем скорбят.

«Салазар». Смотрю на это имя и чувствую, как во мне рождается желание пофилософствовать о бренности всего земного и о необратимости бега Истории, чьи даже самые темные страницы таят в себе поучительный для грядущих поколений опыт. А разве не так? Ведь

ненавидя фашизм, мы все же внимательно исследуем его, учимся находить его симптомы, распознавать опасность рецидива. Это очень нужно уметь еще и потому, что фашизм далеко не всегда и совсем не обязательно проявляется в таких хрестоматийных формах, как это было в Германии, Испании или Италии. Гитлер — это апофеоз, олицетворение и крайняя точка. Это наиболее наглядное воплощение фашизма. А Салазар может служить примером куда более изощренного приложения фашистской доктрины к конкретной исторической ситуации.

Давайте задумаемся, почему случилось так, что, если исторический диктаторский режим Гитлера просуществовал двенадцать лет, а Муссолини находился у власти двадцать три года, Салазар сумел удержать свою страну в кулаке целых четыре десятилетия. Разумеется, главной причиной этого долголетия фашизма за Пиренеями (кстати, в Испании диктатура Франко просуществовала лишь немногим менее — 36 лет) является специфичность политической ситуации и социально-экономических условий. Но в определенной степени оно было обусловлено и личными способностями Салазара.

Не буду подробно анализировать систему взглядов и концепций этого человека, который, если цитировать его почитателей, «навел в стране порядок», «вырвал Португалию из предреволюционного хаоса» и «обеспечил народу стабильность и процветание». Свою историческую миссию Салазар сформулировал в афористической фразе: «Если мы не сделаем революцию сверху вниз, то она поднимется против существующего порядка снизу вверх». Вот некоторые из его идей, высказанных в 1928 году в момент прихода к власти. Он следовал им всю жизнь: «Необходимо осуществить великую революцию в наших политических нравах и административном аппарате, пребывающем в состоянии кризиса. Эта революция, необходимая и неизбежная, либо будет осуществлена в рамках порядка, как мы того хотим, либо она произойдет в атмосфере хаоса...

Я являюсь сторонником — и это известно всем — строгой политики сбалансированного бюджета... Политика жертв — это наказание, ниспосланное стране за ее ошибки и проступки.

Политика, которую я исповедую, основана на страдании и служении».

(...Интересное и очень многозначительное совпадение: залив кровью страну, задушив с помощью своих друзей Гитлера и Муссолини республику, каудильо Франко обратился к нации 31 декабря 1939 года с патетическим призывом, который, если отбросить фразеологию и обнажить суть, весьма напоминает салазаровское кредо: «Нам нужна одна Испания, единая, сплоченная. Необходимо покончить с ненавистью и страстями, разбуженными недавней войной. Но покончить не либеральничаньем в виде чудовищных губительных амнистий — это обман, а не акт милосердия.

Надо соблюдать заповеди Христовы об *искуплении страданием*, нужно заставить виновных раскаяться. Кто думает иначе, тот глупец или предатель».)

Эти высокие, восхищавшие многих западных экономистов и политологов салазаровские формулы на практике сводились к весьма простому способу достижения «революционных» целей: надев ярмо жесточайшей эксплуатации на трудовой народ и под демагогическим предлогом «политики жертв» и «наказания за прежние ошибки» лишив его справедливой компенсации за свой труд, Салазар гарантировал промышленникам — их прибыли, банкирам — высокие проценты, латифундистам — чуть ли не самые дешевые в Европе крестьянские руки, обывателям из «средних слоев» — период относительного благополучия, которое выглядело тем более заманчивым на фоне охваченной огнем войны остальной Европы. А достигалось это казавшееся прочным и все же рухнувшее «благополучие» за счет не только высасывания соков из трудящихся, но и безжалостной эксплуатации Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау и других «заморских территорий».

Он был весьма своеобразным диктатором, этот «доктор Салазар». Во-первых, он совершенно не походил на традиционного «вождя», образ которого немислим без пламенных речей, нескончаемых военных парадов и факельных шествий. В отличие от «братьев по крови»: Гитлера, Франко, Муссолини, Пиночета или Сомосы, Салазара никто никогда не видел в военном мундире, он никогда не стремился взять в свои руки маршальский жезл. Мало того, он старался до минимума сократить свое участие в публичных церемониях и помпезных манифестациях. Для этого у него был марионеточный президент адмирал Америк Томаш, тупой и тщеславный любитель светской

жизни, которого португальцы прозвали «разрезателем ленточек». А Салазар мало говорил, редко появлялся на людях, был сдержан и сух, вел замкнутый образ жизни. Ему были чужды завывающие сиренами автомобильные кортежи, мотоциклетные эскорты, почетные караулы, высокие трибуны, развевающиеся штандарты и гремящие барабаны. Он был выше этих «маленьких слабостей» сильных мира сего. «Я полагаю, — сказал он однажды, — что у меня есть по крайней мере одно достоинство: я умею служить, когда я обязан служить».

И он действительно служил всю свою жизнь. Служил своей мечте: сделать Португалию сильной и независимой, упрочить ее авторитет, укрепить расползавшиеся «заморские территории», как назывались тогда в этой стране ее многочисленные колонии. Он служил тем, кто поставил его на этот пост и кто стоял за его спиной: нескольким десяткам семейств, превративших страну в свою латифундию. Всю свою жизнь, старательно избегая имиджа «вождя», он играл роль прилежного и добропорядочного служителя нации, верноподданного стража ее традиций. К тому же, отдадим ему должное еще раз, он не разворовывал государственную казну, не переводил казенные деньги на секретные счета в швейцарских банках, не строил себе дворцов на горных и приморских курортах. Посол Италии в Лиссабоне Бова Скоппа вспоминал в своих мемуарах: «Столь суровый образ жизни заставляет нас думать о том, что он правил страной из монастырской кельи». А один из самых пылких почитателей португальского диктатора французский писатель Анри Массис писал: «В этом респектабельном профессоре нет ничего от вождя или дуче, способного зажечь миллионы людей».

Но под этой маской скрывалась натура, столь же безжалостная и жестокая, как у ефрейтора из Браунау Шикльгрубера. «Революция в рамках порядка», — говорил Салазар, насаждая в стране тайную полицию и тюрьмы, пытки и перлюстрацию писем. По сути своей его «революция» ничем не отличалась от гитлеровского «нового порядка». Поэтому «доктор права» Салазар может считаться цивильным эквивалентом классического диктатора, облаченного в генеральский мундир.

У каждого режима есть свой символ. США с детства ассоциировались в моем сознании с кинокадрами биржевой лихорадки, орущих маклеров и выскакивающих на электронном табло курсов

акций. Япония когда-то представлялась в образе самурая, приготовившегося к харакири, а теперь кажется конвейером, по которому все быстрее и быстрее плывут видеомагнитофоны. Гитлеровский фашизм для меня — это костры из книг, дымящиеся трубы Освенцима и выползающие из сталинградских погребов с руками над головой солдаты, закутанные в женские шали. Столь же символичным олицетворением салазаровского государства может, на мой взгляд, служить история, которая вспомнилась мне там, у скромной могилы в Санта Комба Дао.

Два премьера у одной страны

А началась она в сентябре 1968 года, когда на четвертом десятилетии пребывания у власти Салазара поразил тяжелейший инсульт. У врачей не было двух мнений: отец нации обречен, летальный исход наступит с минуты на минуту. И поэтому 26 сентября президент Америко Томаш впервые в своей жизни вынужден был принять ответственное решение. Посоветовавшись с ближайшими сподвижниками умирающего диктатора, он обращается к нации с сообщением о том, что в связи с тяжелой болезнью доктора Салазара пост главы правительства передается его верному ученику и последователю доктору Марсело Каэтану, который — хочется выразить уверенность — сумеет обеспечить преемственность курса и поведет наш потрясенный трагедией корабль к тем же благородным целям, к каким неумоимо вел его наш гениальный, выдающийся и непревзойденный Его Высокопревосходительство, отдавший всю свою жизнь благородному делу служения нации.

Марсело Каэтану страна прекрасно знала. Это был один из выкормышей Салазара. Будучи тоже доктором права, он неоднократно занимал в салазаровском правительстве различные посты, в частности, долгое время был министром финансов, но за несколько лет до болезни Салазара между ним и Каэтану пробежала черная кошка, чего-то они там не поделили, и более молодому доктору пришлось удалиться от государственных дел и целиком посвятить себя преподавательской работе.

Узнав о назначении на пост премьера Каэтану, трудовой народ раздосадованно махнул рукой: «Хрен редьки не слаще». Каждому португальцу стало ясно, что салазаризм будет продолжаться под новой вывеской. Так оно все и было бы, если бы... Если бы капризная и непрогнозируемая История не заложила неожиданный вираж: вопреки всем врачебным прогнозам Салазар не умирает! Разбитый параличом, обреченный на неподвижность, он продолжает жить, сохраняя некоторую ясность ума. Более того, через некоторое время он даже выписывается из больницы и возвращается в официальную резиденцию премьер-министра дворец Сан-Бенту, искренне убежденный, что продолжает оставаться главой правительства.

В стране сложилась парадоксальная ситуация: два премьер-министра. Марсело Каэтану — законный, действительно занимающий этот пост, и немощный, прикованный к инвалидному креслу, способный шевелить только одной правой рукой, глядящий на мир одним только правым глазом и соображающий хотя и половиной своих извилин, хотя очень туго, медленно, сплошь и рядом невпопад, но, черт возьми, все-таки соображающий и живущий Салазар!.. Ни у кого из окружения этого старца-инвалида не хватило смелости объявить ему, что он, сердешный, уже в отставке. А сам он узнать об этом не мог, так как врачи и советники, посоветовавшись, решили поддерживать в нем иллюзию: «ничего не изменилось...» В конце концов, разве не прав был поэт, утверждавший, что тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман? И почему бы, решили друзья бывшего диктатора, не пойти на эту ложь во спасение, ради человека, который так «облагодетельствовал свой народ»? Чтобы задуманное стало возможным, врачи предельно ограничили контакты Салазара с внешним миром, запретили ему читать газеты и слушать радио. Телевидения старик терпеть не мог и никогда не имел в своей резиденции телевизора. Все люди, которые ухаживали за ним или попадали к нему, надлежащим образом инструктировались.

И целых два года в стране продолжалась эта фантасмагория, этот театр абсурда: Марсело Каэтану руководит работой правительства, проводит заседания кабинета, принимает ответственные решения, утверждает бюджеты, беседует с послами и направляет послания главам других правительств. А искренне убежденный в том, что он по-прежнему, несмотря на недуг, геройски держит в руках тяжкие бразды

правления, Салазар тоже пытается обозначать деятельность. Время от времени вызывает министров на доклад, в не столь уж частые минуты просветления отдает какие-то указания, которые вынужден корректировать, поправлять, притормаживать или — к черту церемонии! — напрочь отменять Марсело Каэтану.

Однажды, ко всеобщему изумлению, Салазар вдруг появился на людях. Можно представить себе, какой поднялся переполох, как побледнел Каэтану, как перепутались врачи и советники! Да, да, стоящий одной ногой в могиле старик взял, как говорится, поднатужился, выдернул эту ногу, взгромоздился в машину, до которой его, кряхтя, донесли верные слуги, и соизволил прибыть на избирательный участок: в тот день, 26 октября 1969 года, по всей стране разыгрывалась традиционная оперетка диктатуры — «выборы» в палату депутатов. Вот и решил отец нации собственной персоной засвидетельствовать свое уважение демократических институтов и подтвердить незыблемость национальных традиций.

Страхи были напрасны: ничего непоправимого не случилось. Не выходя из машины, старец опустил свой бюллетень в услужливо поднесенную урну, приподнял правую руку и слабеньким взмахом морщинистой ладошки поприветствовал обалдевших от этой неожиданности зевак.

Но самым памятным и даже символическим моментом этого трагикомического двоевластия в Португалии стало интервью, которое Салазар соизволил дать французскому журналисту Роланду Фору, корреспонденту правой газеты «Орор». Француз дал заранее салазаровским помощникам слово, что, беседуя с диктатором, не проболтается и даже не намекнет ему на истинное положение дел. И при этом условии был, так сказать, допущен к телу Салазара. Воспоминания француза об этой встрече представляются мне интереснейшим документом, характеризующим фашизм на его последнем этапе. На финальном витке. На гласседе снижения. В стадии появления трупных пятен.

Итак, ситуация ясна. Ее легко можно представить себе. Француз, естественно, вне себя от счастья. Скачет взад-вперед по парку в ожидании, когда старца вывезут на свет божий. Ага! Вон, везут... Слуга медленно катит инвалидное кресло, Салазар дремлет, подставив полуживое лицо теплему солнышку. Коляску ставят в тени на краю

бассейна. Слуга, почтительно поклонившись, удаляется. Салазар открывает свой единственный способный что-то видеть глаз, узнает Роланда Фора, который неоднократно интервьюировал его в доброе старое время (именно на правах «старого друга диктатора» Фор и был сейчас допущен в Сан-Бенту), и здоровается слабым кивком головы: «Как поживаете, месье Фор? Я с большим удовольствием побеседую с вами».

Первые несколько минут беседа идет вокруг французских проблем. Фору приходится наклоняться, чтобы услышать слова восхищения великим генералом де Голлем и его достойным преемником Помпиду.

Естественно, французскому репортеру не терпится поговорить о португальских делах. Он спрашивает, каковы сейчас основные направления политики Салазара в своей стране.

Старец шамкает, собирается с силами и говорит, что теперь никто уже не может отрицать, что он был в свое время прав, когда сказал, что нужно ждать, нужно уметь выжидать.

Француз согласно кивает головой. Он понимает, что речь идет о самой больной национальной проблеме, которую, как искренне и гордо убежден Салазар, он решил раз и навсегда. В то время, когда одно за другим рушились колониальные владения европейских капиталистических стран в Африке, Азии и других районах мира, лозунг Салазара был: «Подождем!» Этой формулой маскировался категорический отказ даже обсуждать возможность предоставления независимости Анголе, Мозамбику, Гвинее-Бисау и другим колониальным владениям Португалии, которые даже не именовались «колониями». Они по-прежнему считались «нашими заморскими территориями».

— Мы сохранили наши провинции «Ультрамар» в то время, как масса неразумных политиков отстаивала бездумное освобождение всей Африки. Даже сами американцы стремились изгнать европейские государства из Африки, подобно тому, как они в свое время решили изгнать французов из Индокитая. Хорошо известно, чем это для них кончилось и куда привело...

Старец тяжело дышит, теряет нить беседы и с трудом находит ее снова. Француз буквально трепещет от возбуждения. Того и гляди умрет вместо Салазара от разрыва сердца, вызванного этой неслыханной удачей: самое сенсационное интервью его жизни.

— Так вот, чтобы нас похвалила ООН, мы должны были бы покинуть Африканский континент, который совершенно не может сам собой управлять. Ведь для того, чтобы страна стала независимой, ей необходимы люди: опытные государственные деятели, административные и финансовые кадры. А у африканцев ничего такого нет, и поэтому они совершенно не способны к самоуправлению, — витийствовал немощный инвалид, давно уже потерявший способность управлять самим собой, своими собственными руками и ногами, но все еще преисполненный решимости осуществлять твердое руководство и своей нацией и еще добрым десятком стран и территорий, разбросанных по всему миру.

— И это умение Вашего Высокопревосходительства выждать сыграло свою роль в конце концов? Пошло на пользу нации?

— А как же. — Салазар даже закашлялся от возбуждения, и струйка слюны, бежавшая из левого уголка рта, оборвалась, а потом побежала снова. — А как же? Весь мир, в том числе и американцы, сегодня полностью согласны с нашим пребыванием в Африке, где мы поддерживаем полный порядок и даже добились некоторого процветания, что особенно заметно в сравнении с такими странами, как Конго, где царит анархия и хаос. И заметьте: наши союзники, которые еще совсем недавно подвергали сомнениям нашу решимость не уходить из Африки, сегодня ликуют из-за того, что мы остались на «Черном континенте». Почему? Да потому, что советский флот бросает вызов свободному миру и в Средиземноморье и в южных морях, и те, кто раньше не соглашался с нами, сегодня весьма довольны, что мы сохранили для них, для всего свободного мира Гвинею, Анголу и Мозамбик, и таким образом наши африканские порты стали чуть ли не единственными, где может теперь найти прибежище судно из свободного мира.

Он закашлялся, закрыл глаза и тяжело задышал. Нелегко даются государственному деятелю заботы о судьбах планеты. Да что там планеты! Провалившаяся в полный маразм и с трудом выныривающая оттуда скользкая медуза салазаровской мысли вдруг неожиданно воспарила к космическим высям:

— Что меня особенно сильно беспокоит в последнее время, так это полеты спутников Земли. Кто может дать гарантию, что, освоив космос,

русские не попробуют использовать его как базу агрессии против свободного мира?

Вот уж действительно: ирония судьбы. Вряд ли даже в горячечном бреду Салазар мог предположить, что спустя полтора десятилетия именно в Вашингтоне появится на свет стратегия «звездных войн», а ненавистная диктатору Москва будет выступать в защиту мирного космоса...

«Доктор Салазар, — пишет в своих воспоминаниях Роланд Фор, — говорил очень медленно, голос его был почти неразличим, но французский его был вполне понимаем вопреки тому, что говорили многие.

Его левая рука была полностью неподвижной, она лежала на одной из желтых подушечек. Но, формулируя свою точку зрения по международным проблемам, он изредка открывал правый глаз, и мы видели знаменитый „стальной взгляд“, всепроникающий, иногда иронический и покоряющий».

...Чувствуете, с каким благоговейным трепетом внимал откровениям своего собеседника французский репортер? Но он не был бы французским репортером, если бы удовольствовался только ролью слушателя. Если бы не попытался поинтриговать, понаслаждаться двусмысленностью ситуации и абсурдностью этой беседы. Именно этим неудержимым желанием был продиктован его следующий вопрос, в котором таилась незримая ловушка для интервьюируемого, ибо любой ответ, каким бы он ни был, наверняка давал благодатные возможности для будущих фельетонов, анекдотов или просто похвалы своей репортерской удачливостью и ловкостью. Фор спросил Салазара:

— А сейчас, во время этой тяжелой болезни, сколь активное участие принимает Ваше Высокопревосходительство в управлении делами государства?

Превосходительство покряхтело и чуть слышно прошамкало, что, мол, приходится пока смириться с тем, что силы еще до конца не восстановлены, поэтому «главной моей заботой сейчас остается стремление обрести прежнюю форму», чтобы полностью вернуться к несению государственной службы во всем ее объеме.

Француз был настырен и находчив. Он спросил:

— Вы принимаете министров прямо здесь?

— Да, здесь. Причем в саду я люблю беседовать с ними даже больше, чем в кабинете.

— Министры регулярно информируют Ваше Высокочество о проблемах своих министерств? — бил в одну и ту же точку неутомимый корреспондент.

— Да, они являются ко мне с докладами.

— И вы даете им свои директивы?

— Я не отдаю приказов. Решения, которые мы обсуждаем здесь, утверждаются на заседаниях совета министров, возглавляемого пока президентом республики.

— Но все министры нынешнего кабинета были выбраны вами и пользуются вашим безусловным и полным доверием?

— Конечно.

— А если кто-нибудь из них не станет выполнять ваши политические указания, вы отправите его в отставку и назначите на его место кого-либо другого?

— Естественно, — чуть слышно говорит старый диктатор. Глаза его закрыты, но для большей убедительности он делает правой рукой, бессильно лежащей на мягкой ручке кресла, легкое движение. Жест, означающий нечто вроде: «Прочь!»

«Теперь я окончательно убедился, — вспоминал впоследствии Роланд Фор, — что доктор Салазар ни на один момент не допускал и мысли о том, что власть давным-давно уже отобрана у него его другом Америко Томашем, который из деликатности так ничего ему об этом и не сказал».

В этот момент в саду появляется дона Мария — бессменная экономка, домоправительница, горничная, нянька и сиделка Салазара. Она озабоченно глядит на часы: вместо запланированных пятнадцати минут беседа продолжается уже около часа. И тут француз, чувствуя, что его сейчас пригласят закругляться, решает поставить еще один психологический эксперимент. Спокойным, вполне естественным тоном он спрашивает, ничем не выделяя этот вопрос из серии тех, что были заданы до сих пор:

— Скажите, пожалуйста, каково ваше мнение об одном из ваших прежних министров, докторе Марсело Каэтано. О нем так много говорится в обществе в последнее время?..

— Я хорошо знаю доктора Каэтану, — устало отвечает Салазар. — Он неоднократно входил в мой кабинет, и я весьма ценю его... Он весьма способен, обладает авторитетом, но, к сожалению, в последнее время он не испытывал желания сотрудничать со мной и поэтому сейчас не включен в мое правительство. Он продолжает преподавать в университете, часто пишет мне, высказывая свое мнение о моих инициативах. Не всегда их одобряет. Мне нравится его мужество. Но он не понимает, что для того, чтобы наши идеи обрели жизнь, необходимо участвовать в работе правительства.

— Но ведь я слышал, — иезуитски спрашивает француз, — что это именно вы не пожелали, чтобы он оставался в составе вашего кабинета.

— Может быть, может быть... — устало шепчет выдохшийся старец и снова погружается в беспросветный маразм. Дона Мария прерывает это ставшее последним в жизни Салазара интервью. Через восемь месяцев он умирает, так и не узнав правды.

Мир, в котором нет «порядка»

...А теперь, в июле семьдесят пятого, мы с Бабаджаном молча созерцаем его могилу. Сколько ни суетись человек, как ни цепляйся за власть, как ни уверуй в свое всемогущество, а конец все равно известен: серая плита и шуршащие по ней сухие дубовые листья.

Мысли ушли куда-то далеко в сторону, но в этот момент Алексей толкает меня локтем в бок, возвращая с выцветших небес на пересохшую землю. Я оборачиваюсь и вижу подходящего к нам человека. Судя по всему, это крестьянин из какой-нибудь окрестной деревни. Суровое, морщинистое лицо. На левой щеке глубокий шрам. Черные руки с навечно вьевшейся в кожу и под ногти землей. Тяжелые башмаки — «боты», как их называют в Португалии, затертые и застиранные шаровары, пятнистая, сшитая из маскировочной ткани солдатская гимнастерка, войлочная пастушья шапчонка и японский самораскрывающийся зонтик-трость в руках. Алексей отворачивается, пряча улыбку, которая может обидеть незнакомца да и вообще неуместна в таком месте, а я стараюсь придать своему лицу максимально благочестивое выражение.

Незнакомец подходит, снимает шапчонку и вежливо кланяется нам. Мы в ответ тоже склоняем головы и, памятуя, что местный люд не любит лишних расспросов со стороны чужеземцев, вновь переводим взгляд на серую могильную плиту.

— Все там будем, — со вздохом говорит крестьянин и крестится, сплюнув на пальцы.

— Да, — соглашаюсь я. — Только каждый хочет, чтобы это случилось как можно позже.

— Вот и он тоже хотел, — вздыхает незнакомец и, надев шапку, опирается двумя руками на зонтик-трость, словно пастух, наблюдающий за мирно пасущимся стадом.

— Сеньоры издалика будут?..

— Издалика, — отвечаю я и неопределенно киваю головой в сторону мрачающих на востоке гор Эстрела, за которыми лежит Испания, потом Средиземное море, Европа и Азия. Незнакомец понимающе качает головой и, демонстрируя традиционную португальскую деликатность, не настаивает на дополнительных разъяснениях. Мы молчим. Тягуче звенят пчелы. Жаркий ветер лениво шелестит сухой травой.

— Пришли поклониться нашему земляку, стало быть? — Он не спрашивает нас, он говорит это с утверждением, и в голосе его слышится нечто, напоминающее гордость старожилы, в любую минуту готового вместе с очередным заезжим путником в тысячу первый раз насладиться любимой достопримечательностью родных мест, выслушать вопросы и дать надлежащие разъяснения.

Я изрекаю в ответ нечто нечленораздельное, и он, расценив мою реакцию как само собой разумеющееся замешательство перед суровым ликом Вечности, глядящим на нас из-под серой плиты, не дожидаясь расспросов, неторопливо, степенно, с сознанием важности сообщаемой нам информации начинает рассказывать о том, что мы и без него хорошо знали: как долго жил и как много сделал этот человек, чей прах покоится теперь под серой плитой... Как он трудно и медленно — почти два года! — умирал, не желая уйти в мир, где нет уже земных страстей и страданий, радостей и слез. Где все равны перед суровым оком Всезнающего Судии.

— Скажите, а много людей приходит к нему на могилу? — бестактно прерываю я философские размышления незнакомца. Мне не

нужна лирика. Я хочу спустить его с небес на землю, чтобы почерпнуть хотя бы что-нибудь полезное из этой беседы. Отношение местных жителей к скончавшемуся ровно пять лет назад диктатору — это интересная информация. Она может пригодиться в работе, проиллюстрировать дополнительным штрихом сумбурную сюрреалистическую картину жаркого португальского лета семьдесят пятого года.

Словоохотливый собеседник отлично справляется с возложенной на него задачей. Он с готовностью рассказывает, что людей приходит сюда довольно много. Правда, «сразу после этой прошлогодней революции» кладбище на несколько месяцев опустело: «народ присматривался». Побаивались... Мало ли что... Но в последнее время все начинает становиться на свои места: с каждой неделей идут все больше и больше. Теперь могила опять никогда не бывает без цветов. И чем хуже дела в этом «красном Лиссабоне», где коммунисты, похоже, уже совсем прибрали власть к рукам, тем больше народу появляется здесь, чтобы воздать должное великому сыну своей земли.

...Он так и сказал: «великому».

— Дня три назад был здесь даже один «тениенте» — лейтенант. Он принес на могилу большой букет белых роз и сказал: «Прости!.. Я против тебя пошел, но теперь вижу: просчитался. Видно, прав ты был: нам, португальцам, нужна твердая рука. А все эти хунты, коммуны, революционные советы — это все не для нас».

Земляк Салазара мрачно сплюнул и, посмотрев на небо, испросил у господина прощения за это святотатство: плевать здесь, на этой, можно сказать, священной земле. Шрам на щеке его покраснел от прилива крови. Видимо, и впрямь крестьянин возмущен был непонятными ему «лиссабонскими делами».

Слушая его, я с какой-то пронзительной силой впервые ощутил, сколь бездонна пропасть, разделяющая мятежный и революционный португальский Юг с его аграрной реформой, рабочими комиссиями, кооперативами, национализацией банков и словно противостоящий ему, настороженно затаившийся, напряженно ожидающий, «что там еще выкинут эти коммуны?» Север, готовый в любой момент выпустить когти. Конечно, это деление страны на Юг и Север было в значительной мере упрощенным. Конечно, и на Юге далеко не все было тогда в порядке с точки зрения ревностных активистов апрельской

«революции гвоздик». С другой стороны, и на Севере и тогда и теперь немало тех, кто готов биться за революцию, не щадя жизни своей. Но все же, чем больше накалялась революционная ситуация, тем обнаженнее возникало национальное противостояние: Север — Юг. Побудившие его причины уходили корнями в национальную историю: на юге, где в деревнях испокон веков преобладало батрацкое, разоренное, обездоленное нещадной эксплуатацией безземельное крестьянство, коммунисты издавна имели прочные позиции, мощный авторитет и влияние. Север же с давних пор, чуть ли не со средневековья, был краем мелкого землевладения и землепользования, где лепящиеся по склонам и уступам гор небольшие поместья и плантации дробились на арендуемые исполу еще более мелкие участки. У владельцев этих средних, мелких и совсем микроскопических клочков земли издревле складывалась психологическая иллюзия: «хоть маленькое, да мое». Именно иллюзия, ибо для подавляющего большинства «тразмонтануш», «бейроэш» или «миньотуш», как зовут себя жители этих провинций, земля, будучи действительно «маленькой», как правило, не была «своей». Однако сохранявшаяся десятилетиями, а иногда чуть ли не веками система наследственной аренды этих крохотных плантаций, переходивших от отца к сыну, внуку или правнуку, от дядьев к племянникам, от тестей к зятям, создавала этот мираж, это обманчивое впечатление: «маленькое, да мое»...

— Да, тот тениенте с розами был прав: никакие демократии нам не нужны, — категорически пояснил свою мысль незнакомец. — От них, от демократий, честным мирным людям — один лишь беспорядок, беспокойство и убытки. Нам это не нужно. Нам нужна твердая рука.

Он помолчал, отставил зонтик к ограде кладбища, достал кисет и крохотную вересковую трубку, набил ее табаком и с наслаждением раскурил. В жарком воздухе вкусно пахло дымком. Снова опершись на зонтик, как на посох, он назидательно продолжал:

— Что бы там ни говорили в Лиссабоне про нашего его превосходительство, — он кивнул головой в сторону серой плиты, — а в одном отказать ему никак нельзя: при нем в стране были порядок и тишина. И страна была богатая, и войн не было, и коммунистов...

— А что же они вам плохого сделали, коммунисты? — спросил я.

— Как что? — удивленно поднял он брови. — Они же землю у нас отбирают, в коммуны всех загоняют. Хотят, чтобы у нас тут стало так

же, как в России, которая до сих пор, вот уже шестьдесят лет после своей революции, не может сама себя прокормить!

Он смотрел на меня с искренним удивлением человека, отказывающегося поверить, что кому-то нужно разъяснять такие элементарные вещи. Чувствовалось, что ему даже жаль меня.

Я уже знал, как это трудно: убедить португальца в чем-либо, что противоречит представлениям и убеждениям, выкованным в его сознании на протяжении десятилетий.

В Санта Комба Дао мы приехали с севера, из Траз оз Монтеш. Не далее, как два дня назад мы снимали сюжет для программы «Время» в маленькой горной до удивления убогой и безнадежно отставшей от бега цивилизации деревушке, где еще даже не знали о существовании телевидения и кино. Ветхая старушка, вся в черном — платок на голове, платье, чулки, башмаки, — долго и сосредоточенно наблюдала за совершенно не понятными для нее манипуляциями Алексея, который, изнемогая от творческого экстаза, суетился, бегал, в поисках лучшей точки припадал к земле и вспрыгивал на каменную ограду, снимая эту крохотную бабуся и ее таких же черных подруг, примостившихся на каменных «завалинках» у своих убогих хибар.

— А ты знаешь, мать, кто эти люди? — спросил ее сопровождавший нас лейтенант Мендонса, славный парень, с которым за два дня совместной работы мы успели проникнуться взаимными и весьма крепкими симпатиями.

— Откуда же мне знать, сынок? — прошамкала старушка и воззрилась на нас слезящимися глазами.

— Так ведь это же русские, бабушка, первые русские люди в вашей деревне...

Он не успел договорить эту фразу: с неожиданным для ее ветхого возраста проворством бабуся перекрестилась и бросилась бежать.

Мы остолбенели. Алексей чуть не выронил камеру. Мендонса растерянно глянул на нас и в три прыжка, как коршун, настиг семящую по пыли беглянку. Следом за ним подбежал и я, и это вызвало у старушки новый приступ паники. С округлившимися от ужаса глазами она пытается спрятаться за спину лейтенанта.

— Ты что, с ума сошла? — кричит ей Мендонса.

— Нет, нет, — шепчет она, цепляясь за офицерскую гимнастерку.

— Да что с тобой стряслось?

Не понимая, что происходит, но чувствуя, что именно я служу причиной этого необъяснимого возбуждения, делаю несколько шагов назад.

Старушка заметно успокаивается. Лейтенант встряхивает легонько ее за плечи:

— Так в чем же все-таки дело?

— Они... Они... — шепчет старушка, показывая глазами в нашу сторону.

— Ну что они?

— Они... правда русские?

— Да, конечно, а что? — спрашивает лейтенант.

— Да, да, мы — русские, — подтверждаю с самой искренней и доброй улыбкой, на которую только способен. И делаю шаг вперед, пытаюсь восстановить атмосферу дружелюбия и мирного сосуществования. Увы, бабуся вновь вцепляется в рукав лейтенанта и опять пытается спрятаться за его спину. Я останавливаюсь. Она успокаивается.

— Черт знает что! — горячится Мендонса. — Ты объяснишь мне наконец, мать, что с тобой происходит?

— Так ведь... — Старушка встает на цыпочки и что-то шепчет в лейтенантское ухо. Шепчет истово и жестикулирует рукой. Мендонса слушает ее и вдруг разражается хохотом.

— Ну, мать...

Я вопросительно смотрю на него. Он нежно обнимает старушку за плечи и говорит ей:

— Не бойся, я точно знаю, что они не привезли с собой шприц.

Потом объясняет мне:

— Видишь ли, местный священник говорил им, что в России введен закон: «Кто не работает, тот не ест».

— Все правильно, — говорю.

— Правильно-то правильно, — говорит Мендонса, — но святой отец пояснил им, что в соответствии с этим законом в Советской России каждому человеку, когда ему исполняется шестьдесят лет и он перестает быть трудоспособным, врачи делают укол за ухо, чтобы он, раз уж не может работать, безболезненно отправлялся в лучший мир и не мешал трудящимся, не висел у них на шее. Вот так...

Поскольку я не проявляю видимых признаков агрессивности, бабушка успокаивается, отпускает руку Мендонсы и отряхивает с подола пыль. Потом внимательно глядит на меня, на стоящего поодаль Алексея с камерой и на мою жену, соображая что-то про себя. И говорит лейтенанту уже не на ухо, а осмелев, во весь голос:

— Пожалуй, однако, ты меня обманул, сынок: они — не русские.

— Это почему же ты так думаешь?

— А как же? Ты посмотри на них: одеты они очень прилично и каждый по-разному. У этого рубаха синяя, а у того, что там, сзади, серая.

— Ну и что?

— А то, — назидательно отвечает окончательно пришедшая в себя бабуся, — что падре наш рассказывал, как в России государство выдает каждому из людей одинаковую одежду раз в год: рубаху, штаны и пиджак. Одного цвета. А та сеньора, — она кивнула головой в сторону жены, — так она вообще одета, как наши городские. Разве так бывает в России?

И она глядит на лейтенанта чистым, незамутненным взором, словно отказываясь принимать его неуместную шутку о русских, вдруг появившихся на этой мирной, богобоязненной земле.

...Не буду рассказывать о том, каких трудов стоило нам убедить старушку в том, что хотя мы и впрямь являемся русскими, но никакой опасности для нее самой и ее земляков не представляем. Вспомнилась она мне, когда слушал я спокойную, рассудительную речь крестьянина с японским зонтиком у могилы Салазара. И подумалось: сколько же таких гадостей и мерзостей ежедневно и ежечасно рассказывается о нас во всем мире! Сколько нетерпимости и ненависти к русским прививают темным людям батюшки с амвонов и ораторы с трибун, телевизионные комментаторы и кинематографические джеймсы бонды... И поэтому нет ничего удивительного в том, что когда в далеком Лиссабоне случилась шумная и непонятная «революция гвоздик», рухнул руководимый «твердой рукой» привычный мир, в котором «был порядок», эти вскармливаемые годами и десятилетиями чувства, эти дикости, засаживаемые в головы школьников и старух, ожили здесь, на португальском Севере — в Санта Комбе, в Брагансе, в Браге. Ожили и вскипели благородным гневом.

...Распрощавшись с крестьянином, оставшимся у кладбища в Санта Комбе, мы проехали через этот городок, задержавшись на несколько мгновений у оплетенного виноградными лозами маленького одноэтажного домика под красной черепицей. Домик скромный и простой: одна дверь, три или четыре окна. В нем родился и жил в юности человек, покоящийся теперь под уже знакомой нам серой плитой. Домик этот — не единственная в Санта Комбе память о знатном земляке, ухитрившемся побить все европейские рекорды по долголетию пребывания у власти. В центре города, рядом с высокой голубой пинией перед зданием Дворца правосудия стоит его статуя. Если говорить точнее, не «стоит», а «сидит»: диктатор высечен из гранита сидящим на широкой скамье-пьедестале без спинки. Уверенно, по-хозяйски расставил он ноги и оперся руками о пьедестал. Голова его была чуть наклонена вперед, и полуприкрытые веками глаза смотрели не на прохожих, а куда-то внутрь самого себя...

...Впрочем, о «наклоненной вперед» голове и о «полуприкрытых веками глазах» я рассуждаю чисто теоретически, вдохновляясь старой дореволюционной открыткой, запечатлевшей монумент. А в тот июльский день семьдесят пятого года, когда по пути в Коимбру мы задержались на минутку возле этого монумента, у задумчивого старика уже пять месяцев как не было головы: «Охваченные революционным восторгом массы», как писала об этом одна из лиссабонских газет, еще в феврале отколотили у статуи голову. Заметьте: в феврале семьдесят пятого! То есть спустя целых десять месяцев после апрельской революции семьдесят четвертого года. Десять месяцев творение скульптора Леопольда де Алмейды оставалось нетронутым. Сейчас уже трудно сказать, в чем причина такой многозначительной задержки. То ли местные люди ждали, как повернутся события, то ли отколотили голову вообще не местные люди, а пришлые с юга активисты «революции гвоздик». Теперь это не так уже и важно и не столь интересно. Важнее и интереснее тот факт, что между широко расставленными башмаками «хозяина» лежит букет цветов... Стало быть, даже сейчас, когда с точки зрения осторожных и рассудительных «бейроэш» дела в Лиссабоне идут «в сторону коммуны», даже сейчас здесь, в Санта Комбе, находятся люди, которые не боятся класть цветы к ногам «великого», хотя и обезглавленного, земляка.

Мы проехали Санта Комбу, продолжая движение по 234-й национальной дороге, и взяли курс на запад — на Бусако и Лузо, чтобы затем у Меальды выбрать на автостраду номер 1 Порту — Лиссабон. Крутые виражи, узкие каменные мосты через речки, постепенно удаляющиеся то слева, то за спиной суровые склоны Эстрелы. На горных террасах — попеременно плантации кукурузы, огороды, виноградники, но не такие ухоженные, как в долине Доуру: лозы вьются по деревьям, окружающим кукурузные посадки. Кукуруза только начинает наливаться, и виноград еще совсем зеленый, и трудно поверить, что в это жаркое лето удастся спасти урожай.

Мелькнул указатель «Педрас Неграс». Останавливаемся, ослепленные раскинувшейся вокруг панорамой сразу трех горных хребтов: Эстрелы, Колкориньо и Лоузан, и двух речных долин: Дао и Крис. Шара... Внизу на склоне — небольшое пастбище. Пастух спрятался от палящего солнца за высоким камнем. А овцы пытаются искать спасения в тени друг друга. Упрямо и настойчиво лезут они одна другой под бок, образовав кучу-малу.

Приемник в машине настроен на волну «Радиоклуба Португеш». В международных новостях слышу знакомое имя «Людвиг»: корреспондент агентства ЭФЭ рассказывает об уже хорошо, хотя и заочно, знакомом мне американском миллиардере, скупившем по левому берегу Амазонки гигантскую территорию.

Людвиг... Неужели Амазония всю жизнь будет преследовать меня. Как немой укор, как вечное и острое сожаление: так и не добрался я до этого Людвига. А какой взрывчатый мог бы получиться материал.

Прислушиваюсь к «Радиоклубу Португеш»: оказывается, путь американского миллиардера к сокровищам амазонской сельвы отнюдь не усыпан розами. Правда, Людвиг сумел доставить на Амазонку гигантскую фабрику по переработке древесины в бумагу (фантастическая по смелости операция: фабрику буксировали в плывь через три океана!), но сейчас по всей Бразилии, — рассказывает корреспондент ЭФЭ, — нарастает волна общественного возмущения. «Общественность требует выставить Людвига и другие американские монополии вон из Амазонии».

Выпуск международных новостей заканчивается, начинается концерт португальского фаду, однако минут через пять он прерывается внеочередным сообщением: Революционный совет утвердил и

направил для публикации в правительственном вестнике закон от 25 июля, устанавливающий сроки тюремного заключения для бывших чиновников ПИДЕ/ДЖС: от четырех до восьми лет следователям фашистской охраны, от двух до восьми лет — остальным ее сотрудникам. И от восьми до двенадцати лет тюрьмы — правительственным чиновникам, руководившим в годы диктатуры полицейским и репрессивным аппаратом. Хорошая новость! После наводящих на мрачные размышления наблюдений и встреч в Санта Комбе известие «Радиоклуба» поднимает настроение, и в приливе энергии жму на педаль акселератора с такой силой, что «кортина» откликается нервным визгом резины о разогретый асфальт. Мы летим в Коимбру.

...Мы еще немножко наивны в тот момент. Мы верим в торжество справедливости. Мы еще не знаем, что этот антифашистский закон так и останется на бумаге. И что сидящие пока в тюрьмах «пидес» через несколько месяцев начнут выходить на свободу, а в Санта Комбе появится «народная комиссия», которая начнет сбор средств на реставрацию обезглавленной статуи «отца нации». Ничего этого мы еще не знаем и не можем даже предположить, что буквально через несколько дней страна начнет клониться к такому невероятному выражу. Тогда мало кто еще мог предвидеть, сколь трагичными окажутся для революции последствия раскола между социалистической партией и коммунистами. Раскола, который вызревал подспудно и незаметно, а потом прорвался, как гнойник, неожиданным и драматическим решением руководства соцпартии о выводе своих представителей из правительства. Это случилось 10 июля, когда оно фактически объявило коммунистам войну и демонстративно предложило руководителям Движения вооруженных сил выбирать, с кем они намерены впредь управлять страной: с «коммунистическим меньшинством» или «большинством португальского народа»?

В обоснование этой фальшивой альтернативы были заложены результаты состоявшихся 25 апреля выборов в Конституционную ассамблею. Социалисты получили в ней 116 мест, коммунисты — 30, их союзники из Португальского демократического движения — еще 5. А правые партии — центристы и социал-демократы не набрали вместе и ста голосов. Казалось бы, вывод напрашивался сам собой: народ проголосовал за продолжение и углубление революционного курса,

которое могло бы быть осуществлено только опирающимся на прочное парламентское большинство правительством левых сил. Однако руководители соцпартии вместо того, чтобы протянуть руку коммунистам, оттолкнули их от себя, противопоставив абстрактное «большинство португальского народа» «коммунистическому меньшинству».

В этом непонимании социалистическими лидерами своей исторической роли и лежала основная причина последующих событий, повлекших торможение революции и постепенное увядание апрельских гвоздик. Но тогда, в июле семьдесят пятого, все это мало кто мог предвидеть и предсказать.

Коимбра: возраст любви и ненависти

В Коимбру мы въезжаем со стороны Порту по авениде Фердинанда Магеллана, чье имя в португальской интерпретации узнать невозможно: «Фернао де Магальяэш».

Авенида узенькая. И чем ближе к центру города, тем она становится проще и неудобнее. Неужели не могли подобрать великому мореплавателю более импозантную улицу? — думаю я, не зная еще, что более импозантной транспортной артерии в этом лежащем на холмах городе просто-напросто нет.

Даже на первый взгляд заметно, что революционные страсти кипят здесь столь же интенсивно, как в Лиссабоне: стены домов расписаны революционными, ультрареволюционными и контрреволюционными лозунгами. Десятки партий приглашают на свои митинги, собрания, манифестации. Объявления, воззвания и плакаты клеются друг на друга. Если содрать со стены этот окаменевший многослойный пласт, а затем, как это делают археологи, разделить его на «культурные слои», получится летопись революционного крещендо со всеми сольными партиями, хоровым многоголосием, отсебятиной и фальшивыми нотами. Каждая партия, даже если ее возраст, история ее возникновения и деятельности исчисляются неделями, а численность активистов не превышает нескольких десятков студентов-недоучек, только себя считает хранительницей абсолютной революционной истины и

яростно, с бескомпромиссной ненавистью предает анафеме оспаривающих у нее это право конкурентов.

Мы въезжаем в город в конце дня. Час пик. Люди разъезжаются с работы. На авениде великого мореплавателя — вавилонское столпотворение, усугубляемое бестолковыми манипуляциями беспомощных полицейских. «Революция гвоздик» в разгаре, и одним из самых очевидных следствий этого стало всеобщее презрение к серому полицейскому мундиру. Даже регулировщики уличного движения рассматриваются сейчас португальцами как реликты низвергнутого с пьедестала режима. Поэтому никому и в голову не придет повиноваться руке в белой полицейской перчатке. Никто не рассматривает красный свет светофора иначе, как покушение на обретенную в революционной борьбе свободу. И безответные местные «гаишники» вынуждены кротко терпеть это наплевательское к себе отношение. Никто из них сейчас не осмелится оштрафовать водителя, проехавшего на «кирпич» или на красный свет. Робкие, словно извиняющиеся посвистывания регулировщиков безжалостно подавляются и заглушаются разъяренными автомобильными сиренами, которые пронзают и без того перенасыщенную, густую, как вата, звуковую атмосферу города: разноголосье толпы, текущей по тротуарам, всплески тягучего фадо и яростные причитания Глории Гэймор, вырывающиеся из бесчисленных магазинов, автомобильных приемников и открытых окон, мегафонные заклинания агитаторов, приглашающие на митинги, крики уличных торговцев, хриплые колоратуры допотопной шарманки, звонки велосипедов, колокольчики дверей в маленьких лавках и протяжная сирена поезда, подходящего к городскому вокзалу, что находится совсем рядом, справа, в двух кварталах от авениды великого мореплавателя.

Над всей этой неопикуемой суетой и какофонией, добру и злу внимая равнодушно, слева на холме величественно возвышается серая «торре» — башня с часами, стоящая на площади среди корпусов одного из древнейших в Европе университетов. С момента своего появления в Коимбре в 1308 году он стал главной приметой этого города, его славой, его самой знаменитой, овеянной легендами достопримечательностью. «Коимбра песен, Коимбра традиций, университетская Коимбра», — вспоминается фадо, которое пела в «Возрасте любви» Лолита Торрес. Коимбра... Надо бы благоговеть

при виде этих святых камней и древних стен одного из первых университетов мира. А я никак не могу подавить ощущение неприязни, которое рождается во мне при мысли о том, что самым известным питомцем этого университета, сначала студентом, а потом и преподавателем был все тот же обладатель «твердой руки» и тяжелого взгляда, покоящийся с 1970 года на кладбище Санта Комбы.

И это ощущение не покидает меня и на следующий день, когда мы наведываемся в университет, стоим у подножия «торре», заходим в величественную библиотеку, и дежурный экскурсовод обрушивает на нас хорошо отрететированные восторги, эпитеты, охи и ахи по поводу не только и не столько пухлых фолиантов, сколько позлащенной резьбы монументальных, уходящих куда-то в стратосферу стеллажей... Мы посещаем импозантный актовый зал, созерцаем гигантские портреты португальских королей, развешанные на стенах, которые снизу покрыты голубой керамикой, а сверху обиты ярко-красной тканью «Дамаском». Вдоль стен — темно-коричневые деревянные скамьи для «докторов». На одной из них сидел и Салазар, нахохлившийся, как одинокий ворон, в своей черной профессорской плащ-накидке с ярко-красной пелериной. Ирония судьбы: именно красного цвета была у «докторов права» в Коимбре важнейшая фирменная деталь профессиональной униформы, свидетельствующая о принадлежности обладателя этого наряда к профессорскому сословию.

Да, Коимбрский университет катапультировал одного из своих самых компетентных докторов в лиссабонский дворец Сан-Бенту. И не потому ли сейчас, в июле семьдесят пятого, революция здесь, в Коимбре, сталкивается с такими сложностями и затруднениями?

— Я знал, что здесь будет трудно, но не предполагал, что до такой степени, — говорит Жоаким Пирес Жоржи, член Центрального Комитета Португальской компартии, только что направленный в Коимбру для координации всей деятельности коммунистов в этом городе и провинции. Пользуясь привычной нам терминологией, Пиреса Жоржи можно было бы назвать «парторгом ЦК в Коимбре». Мы провели с ним весь день: утром в городском партийном комитете сняли большое интервью для фильма, потом ездили и снимали по городу, а теперь, поздно вечером, отдыхаем после трудов праведных над жареным цыпленком в маленьком ресторанчике «Альфону». Я очень люблю такие неторопливые вечерние застольные беседы. И именно так

стараюсь заканчивать в командировках рабочий день. Какой-нибудь час назад перед объективом камеры Жоаким говорил бойко и складно, интересно и «по делу», казалось, интервью получается таким, что лучше и не придумаешь: «Наша революция идет вперед. Хотя и не так быстро, как нам того хотелось бы. Но мы, коммунисты, упорно работаем. Главная задача сейчас: мобилизовать и повести за собой массы крестьян и рабочих. Мы верим, что эта задача будет решена...»

И вот теперь лампы погашены, камера и магнитофон уложены в кофры, беседа идет вроде бы о событиях и вещах второстепенных, а сидящий передо мной человек вдруг раскрывается в каком-то ином, неожиданном ракурсе. И жалко, что нельзя снова включить магнитофон, чтобы записать этот, уже не энергичный и напористый, а усталый и неторопливый голос: я знаю, что, включив магнитофон, спугну его, и он перестанет размышлять вслух и вновь начнет говорить быстро и гладко.

— Так трудно мириться с предательством социалистов... Казалось, с ними можно идти до конца. А когда дело дошло до решающего момента, когда нужно уже не говорить о социализме, а строить его, они трусили. Нет, не все, конечно. Я говорю о лидерах, об этих «камарадаш» в галстуках и белых сорочках, которые заседают в их ЦК на Ларго ду Рато в столице. Они только называют себя социалистами. А на самом деле их «социализм» — это капитализм, замаскированный красивыми словами о демократии, свободе и равенстве. Все мы знаем, что среди рядовых социалистов, в низах их партии есть немало хороших людей, честных борцов, настоящих революционеров. Но те сеньоры в Лиссабоне...

Он качает головой. Его легко понять: человеку, прошедшему самые страшные застенки, изведавшему пытки, бежавшему из тюрем и всю жизнь сражавшемуся с фашизмом, претит мелочная бюрократическая суэта, в которой увязают многие из тех, кого он считал настоящими бойцами. Дискуссии, переговоры, сопоставление позиций, терпеливая разъяснительная работа с колеблющимися и нерешительными, с теми, кого можно привлечь, кто пока не до конца понимает цели и задачи революции, — все это где-то в глубине души раздражает его. Он — трибун. Он хоть сейчас готов в бой. А уточнять платформы, убеждать сомневающихся, наводить мосты и искать взаимопонимания с возможными союзниками — это не по нему.

И мне жалко, что телезрители увидят лишь одну сторону этого могучего, горячего характера: бодрость, уверенность в себе и в своих товарищах, готовность идти до конца и хоть сейчас отдать свою жизнь за народ, за родину и революцию. И не увидят его таким, каким вижу его я за этим поздним ужином: сосредоточенным, ушедшим в воспоминания, спорящим с самим собой.

— Кем я только не был в начале жизни: моряком, токарем, музыкантом (играл на кларнете и саксофоне), потом стал водителем такси. Кстати, это очень помогло мне в партийной работе: в моей машине устраивались заседания подпольного секретариата ЦК.

...Я слушаю его с благоговением, ибо хорошо понимаю, что за человек передо мной. О нем можно писать книги со множеством восклицательных знаков на каждой странице. И снимать нескончаемые телевизионные сериалы, от которых зритель не сможет оторваться. Ведь вся его жизнь — это легенда, ставшая явью. Сейчас, когда мы беседуем с ним, ему шестьдесят семь. Сорок четыре из них он — в партии, причем почти половину этого срока — двадцать один год — в подполье, а семнадцать — в тюрьмах и концлагерях. Полузакрыв глаза и откинувшись на спинку стула, он вспоминает свои первые шаги по этому пути. Первые конспиративные встречи, первый арест, первый побег:

— Меня привели в казарму, и когда этот гад (имеется в виду, естественно, полицейский, который его задержал), захлопнув дверь, отошел, чтобы взять ключ, я подумал: «Или сейчас, или никогда!» Открываю дверь, которая пока еще не заперта, а тут опять появляется он. И ко мне! Я швыряю ему под ноги койку, он падает, я — в коридор, на двор, сзади выстрелы, я — за угол, а часовые кричат: «Эй, парень, давай сюда! Уходи через забор!» И отворачиваются... Тогда еще попадались часовые, которые не стреляли в нас. Потом уже такого не было.

Еще через несколько недель ему снова пришлось стать героем ситуации, сравнимой с кинематографическими подвигами какого-нибудь Фанфана-Тюльпана:

— Уходил от полицейских по лиссабонским крышам. Они стреляют, а я себе прыгаю с одной крыши на другую, — улыбается он. — Молодой еще был, здоровый. Бегу, присяду за трубой, дам три-

четыре выстрела — и снова бежать. Целый квартал прошел по крышам. И ушел-таки от них. Вот что значит молодость!

...Слушая его, я стараюсь накрепко врезать в память все, что он говорит. Нужно запомнить это хотя бы до вечера, когда вернусь в гостиницу, и все это можно будет записать в блокнот. А если вытащить блокнот сейчас, то он засмеется и скажет, что ничего особенного в том, что он делал, нет. «У нас в партии таких, как я, сотни...»

Слушаю Пиреса Жоржи и стараюсь запомнить, как еще в начале 30-х отсидел он, точнее говоря, отработал свою первую каторгу в Анголе. Как в тридцать шестом отправился выполнять специальное задание партии в республиканскую Испанию: появились надежды, что ветер революционных бурь занесет семена надежды из Испании на берега Тежу и Доуру, и для этого нужно было крепить связи с соратниками Хосе Диаса и Долорес Ибаррури.

На обратном пути из Мадрида попал в лапы полиции, был выдан ПИДЕ, отправлен в тюрьму на Азорские острова. Еще семь лет за решеткой...

А в сорок третьем он сам «организует» себе очередной побег. Инсценирует «острую зубную боль», добивается визита к дантисту и, убедившись, что из кабинета врача есть второй выход, говорит доктору, что ему нужно в туалет, и исчезает, оставив в дураках охрану, неусыпно бдящую в приемной.

За очередным побегом следуют восемнадцать лет подполья. «Трудные годы. Но работа была интересная», — скупко резюмирует он этот отрезок жизни.

Упрямо, но деликатно пытаюсь вытянуть из него подробности. Узнаю, как в конце 50-х годов по заданию партии он превращается в «инженера», якобы вернувшегося из Анголы после длительной командировки. В аристократическом пригороде столицы Эшториле снимает весьма respectable особняк. «Комнат этак на семь, один гараж — на четыре машины, и сад большущий». Для чего это было нужно? Для того, чтобы вывести ЦК из Лиссабона: этот дом стал главной базой ЦК. А в столице тогда работать становилось все труднее и труднее. Почему? ПИДЕ начало особенно сильно свирепствовать. «Доктор Салазар решил покончить с нами раз и навсегда. Для этого он распорядился взять в качестве образца для борьбы с коммунистами американское ЦРУ».

Да, Пирес Жоржи не преувеличивает: именно тогда, в конце 50-х, с благословения Салазара ПИДЕ заключает соглашение о сотрудничестве с ЦРУ. В Вашингтон на учебу отправляются первые четверо чиновников охраны. В 1957 году с помощью американских специалистов в Лиссабоне устанавливается система подслушивания телефонных переговоров. Забегая вперед, можно было бы сказать и о том, что эти братские связи американских и португальских спецслужб крепили и расширялись вплоть до самой революции. Накануне ее победы — в начале семьдесят четвертого года — португальская охранка вела с американцами переговоры о покупке или аренде в США компьютера, который позволил бы фашистам взять на учет и завести досье практически на все взрослое население страны. И вести каждое такое досье от рождения до смерти. До такого не додумались ни Гитлер, ни ФБР. Пуск в ход этой шпионской супермашины планировался на февраль семьдесят пятого.

...Но вернемся к рассказу Пиреса Жоржи. Дом в Эшториле должен был вывести ЦК из-под туч, сгущавшихся в Лиссабоне. И он выполнял эти функции несколько лет. Хотя, как выяснилось впоследствии, одним из соседей Пиреса Жоржи там, в Эшториле, был директор ПИДЕ капитан Пассош. «И именно в этот наш дом, — улыбается Пирес Жоржи, — мы привезли Алваро Куньяла после побега из Пенише».

Побег этот был организован в январе шестидесятого года. Одним из главных его инициаторов, координаторов и руководителей был Пирес Жоржи.

А спустя два года он снова попадает в сети ПИДЕ. Снова — пытки, тюрьма. «Партийная работа в новых условиях». «Так уж и работа?» — улыбаюсь я. «А что? — строго спрашивает он. Ему не нравится мое недоверие, и он не замечает иронии. — Партия и в тюрьме оставалась партией! Да, да!» И начинает увлеченно рассказывать о партийных летучках, проводимых на прогулках в тюремном дворе, о голодовках и других формах протеста, о никогда не обрывавшейся связи заключенных коммунистов со своим оставшимся на свободе, хотя и в глубочайшем подполье, ЦК. Он говорит о том, что в любой тюрьме, в любой камере или блоке все остальные заключенные, даже уголовники, всегда безоговорочно признавали коммунистов своими лидерами: «Нас уважали за стойкость, за мужество. А кто сомневался, так ему

говорили, попробуй, как они, выстоять „статую“ на несколько суток или не сойти с ума после недельной пытки лишением сна».

Время позднее. Ресторан опустел, и одинокий официант вопросительно поглядывает на нас. Пирес Жоржи подзывает его: «Еще кофе, пожалуйста!»

— Накануне революции вы были, я слышал, в Париже?

— Да, все последние годы провел там, — отвечает Пирес Жоржи. И рассказывает, что в начале 70-х, когда под давлением нараставшего в стране и во всем мире широкого общественного движения за освобождение португальских политзаключенных власти вынуждены были пойти на некоторые уступки, его выпустили из тюрьмы, и он отправился в эмиграцию. Несколько лет координировал работу эмигрантской коммунистической организации в Париже. Там его и застало сообщение о победе революции 25 апреля. Хотел сразу же рвануться на родину, но нет: партия велела поработать во Франции — нужно было организовать быстрое и четкое возвращение зарубежных партийных кадров в страну. Лишь совсем недавно ЦК разрешил ему вернуться и сразу же направил на один из самых трудных участков: в Коимбру.

— Сообщение о смерти Салазара застало вас в тюрьме?

— Да, конечно.

— И как вы прореагировали?

— Спокойно. Мы, коммунисты, прекрасно понимали, что уход старого, выжившего из ума и уже выдворенного в отставку диктатора мало что изменит в жизни страны. Тем более, что новый глава правительства Марселу Каэтану следовал салазаровским курсом. И поэтому у нас не было причин ликовать, хотя этот разбитый параличом старец был нашим заклятым врагом и непосредственным виновником страданий, которые испытывала вся страна, а мы, коммунисты, в особенности. И все же его смерть мы не считали праздником. Мы знали, что впереди — новые бои, победа в этой борьбе может быть достигнута только ценой больших жертв. И мы готовили себя к этой борьбе и к этим неизбежным жертвам.

— Я замечаю, что здесь, в Коимбре, и особенно в самом поселке Салазара — в Санта Комбе, ощущаются, и притом весьма сильно, настроения в пользу либо открытой и прямой реабилитации Салазара как «великого сына этой земли», либо, на худой конец, к «справедливой

оценке» и к пониманию его «исторической миссии», его роли в наведении «порядка», в обеспечении «процветания и благополучия».

Пирес Жоржи закрывает глаза и откидывается на спинку стула. Так поступает человек, у которого где-то в глубине души вдруг загорается застарелая боль. Он словно прислушивается к этим ощущениям, потом берет стакан, пьет минеральную воду, вытирает пот со лба.

— Знаешь... Это очень трудно: поверить, что люди действительно могут вспоминать об этом чудовище с сожалением. Это же ужасно! Если бы я мог, — его рука сжимается в кулак, жилы на шее и лбу взбухают и напрягаются. — Если бы я мог, я поговорил бы с ними, с теми, кто тоскует по прежним временам, кто по-доброму вспоминает Салазара, я поговорил бы с ними другим языком! Они сейчас ходят к нему на могилу, кладут цветы к его безголовому памятнику. А я отвел бы их в Пенише, в подземные колодцы, где месяцами держали по горло или по пояс в воде моих товарищей. И откуда они выходили уже калеками на всю жизнь! Я показал бы им камеру пыток в Алжубе. Или каменоломню в Таррафале, где солнце, казалось, выжигало нас, испепеляло, превращало в серую пыль. Я заставил бы этих салазаровских «сострадателей» выпить воды из колодца, из которого пили там, на Таррафале, Алпедринья, Чико Мигель, Бенту Гонсалвиш и сотни других узников: там на дне лежали разлагавшиеся трупы собак, птиц и коз, и в этот колодец стекала вода с обезображенных проказой рук и ног женщин, которые приходили туда за водой... Я заставил бы их познакомиться с пыткой «лишение сна». Нет, не испытать самим, а хотя бы посмотреть, как это бывает с другими... Как это сделали с Антонио Жервазио, которому не давали заснуть четыреста часов подряд. Ты представляешь себе, что это такое: четыреста часов без сна! Шестнадцать суток. Человек сходит с ума, у него начинаются галлюцинации, он слышит плач родных и близких, начинает биться головой о стену. И если бы и после этого кто-то из них понес цветы к статуе своего «доктора», то я бы...

Он бьет кулаком по столу. И смотрит пронзительно и нервно сквозь меня, куда-то вдаль. словно видит себя в том страшном прошлом. И я не хотел бы, чтобы в эту минуту здесь перед ним оказался тот крестьянин, который рассуждал с нами о «порядке и тишине» в добрые старые времена, когда люди жили «спокойно и никто не боялся за завтрашний день».

...А ведь в тот июльский день, когда мы беседовали с Пиресом Жоржи, ни он, ни я, никто не мог еще предвидеть, что три года спустя, в феврале семьдесят восьмого, в Санта Комба будет создана «общественная комиссия», которая от имени «народа» этого поселка возьмет на себя хлопоты по реставрации обезглавленной статуи «великого сына земли своей». А когда другие жители Санта Комбы воспротивятся этому, поселок окажется расколотым и охваченным чем-то, напоминающим маленькую, но яростную «гражданскую войну». И что самое невероятное — среди сторонников всепрощенческого тезиса: «Салазар все-таки был сыном нашей земли», окажется президент муниципальной камеры Санта Комбы Лауро де Фигейредо Гонсалвес, избранный на пост «мэра» Санта Комбы от... социалистической партии!

Узнав об этом, я вспомнил яростный монолог Пиреса Жоржи о лидерах социалистов, о том, какой социализм они защищают, чего они хотят, чего добиваются и к чему пытаются привести страну. И понял, что старый революционер, не привыкший, казалось, к тонкостям политической игры, задохнувшийся в атмосфере политических интриг, дискуссий, компромиссов, оказался все-таки самым прозорливым и мудрым из всех, с кем беседовал я в Коимбре, в те бурные дни июля семьдесят пятого года. Он тогда категорически сказал: «Салазара не удастся вернуть. Ни в Португалию, ни даже в Санта Комбу. Они пошумят, пошумят, а потом успокоятся. Поносят цветы к могиле и к памятнику без головы, а потом поймут, что прошлого не вернешь».

...Когда я начал писать этот очерк, со времени смерти Салазара прошло уже пятнадцать лет, а со дня того памятного разговора в Коимбре с Пиресом Жоржи — десять. И решив разузнать, чем закончились попытки реставрировать статую старого диктатора в Санта Комбе, я позвонил в Лиссабон Виктору Аникину, работающему там корреспондентом нашего телевидения, и попросил его связаться с коммунистами Коимбры и выяснить у них судьбу обезглавленного памятника. Через несколько дней от него пришла записка: «...По данным местных коммунистов того самого памятника Салазару в Санта Комба Дао уже нет на месте, где он раньше стоял. Других данных о нем не имеется. Посылаю тебе любопытную информацию на ту же тему».

К записке была приложена вырезка из газеты «Диарио» от 29 мая 1985 года. Речь в ней шла еще об одной статуе Салазара, которая до

революции стояла в одном из лиссабонских скверов. Привожу эту заметку целиком: «Неизвестные лица обезглавили статую Салазара, которая была сооружена от имени „матерей, благодарных ему за то, что Португалия не вступила во вторую мировую войну“. Отсечение головы последовало в ходе нападения на склад муниципальной камеры Лиссабона, где эта статуя работы Леопольдо де Алмейда хранилась после того, как в разгар революции 25 апреля она была убрана из сада, в котором в свое время была установлена».

Да, положительно не везет скульптору Алмейде, который избрал объектом своего творчества человека, ставшего для португальцев «персоной нон грата». На вечные времена.

...и поэтому жизнь продолжается

У каждой истории бывает конец. И у каждой человеческой жизни тоже. «Никак не можем помириться с тем, что люди умирают не в постели, что гибнут вдруг, не дописав поэм, не долечив, не долетев до цели». Человек уходит, но всегда оставляет что-то после себя. Прежде всего — память о себе. И незавершенные дела. Дом, который предстоит достроить. Урожай, который нужно собрать с посаженной им яблони. Книги, которые нужно будет вернуть в библиотеку.

Незавершенные дела будут заканчивать друзья, родные и близкие.

И именно в эти минуты с особой силой почувствуют они боль утраты и ощутят, кем был для них ушедший. Наступит время последних и окончательных оценок. Которые уже никто и ничто не сможет исправить. Никогда.

...Я много раз встречался с Пиресом Жоржи и там, в Коимбре, и в Лиссабоне, где он впоследствии работал, и в Москве, где он жил несколько лет. Наша последняя встреча была в семьдесят девятом. А еще через пять лет он скончался от тяжелой неизлечимой болезни. И рассказ о последних днях и минутах пускай сделает тот, кто был одним из самых близких его друзей, — Мигель Урбано Родригес.

Все, что будет сказано ниже, я беру из газеты «Диарио», в которой Мигель опубликовал статью о Пиресе Жоржи к первой годовщине его кончины. Читая эту статью Мигеля Урбано Родригеса, я не мог не вспомнить рассказ француза Роланда Фора о последнем интервью

Салазара. Не хочу никому навязывать эту родившуюся в моей душе ассоциацию. Читайте, судите сами. Делайте свои собственные выводы.

Итак, Мигель Урбано Родригес вспоминает о своем Друге:

«Писать о Жоакиме Пиресе Жоржи, когда он был жив, всегда было для меня радостью. Говорить о нем сегодня очень нелегко. И не только по причине грусти, но и потому, что осознаешь неизмеримую разницу, которая разделяет воспоминание о каком-либо житейском эпизоде и суждение, пускай даже краткое, о человеке, столь сложном в своей кажущейся простоте, каким был Жоаким Пирес Жоржи.

Спустя несколько месяцев после его смерти, когда мы с друзьями вспоминали о нем, все молча и единодушно согласились с тем, что он был человеком **ОСОБЕННЫМ**. Не таким, как все. И те, кто знал его, понимают, о чем идет речь. Но не находят легкого объяснения, вспоминают, что на протяжении своей жизни очень мало встречали они людей, которые вызывали бы у них столь сильное чувство дружбы и восхищения.

Почему? Если нет двух одинаковых людей, что же особенного было в неповторимости Пиреса Жоржи?

В такой партии, как Португальская коммунистическая, полная самоотдача борьбе на протяжении поколений рождает многих героев, людей, необычных своей отрешенностью от мелких обмещанивающих нас тривиальностей, личностей, выделяющихся своим мужеством, талантом, самоотверженностью, умом и способностью к творчеству.

Жоаким Пирес Жоржи сконцентрировал в себе многое из того, что мы привыкли определять как редкие качества. Но не только это притягивало нас к нему и восхищало. Однажды, увидев, как он смеется, я сказал ему: „Ты помогаешь ощутить по-настоящему, что такое смех“. Он ничего не ответил, потому что понял меня без лишних слов.

В каждом существе человеческом живет постоянное стремление к счастью. Мы стремимся к нему, но достигнутая, обычно изменчивая доза всегда достается с привкусом неудовлетворенности. И случается это не так уж часто. Жоаким Пирес Жоржи прожил жизнь, полную страданий. И несмотря на это, был лихорадочно счастлив. Из него прямо-таки била радость, которая заражала, которая, казалось, переливалась искрящимися в брызгах волнами.

...Хорошо понимая, что красота жизни коротка и бесконечна, Жоаким Пирес Жоржи научился любить каждое существо, каждую

ситуацию, каждый предмет, каждую идею, каждую схватку — с необычайной интенсивностью, но вместе с тем и со способностью по особому оценить свое чувство. Именно так любил он Революцию, партию, свою дочь, своих друзей, поле, животных, морской пляж, собор церковный и простенький дом.

Частенько в нескончаемо долгих беседах мы говорили буквально обо всем. И я постоянно у него учился... (И тут, прервав на минуту воспоминания Мигеля Урбано Родригеса, хочу пояснить, что он, Мигель, — это один из крупнейших и известнейших португальских писателей, лауреат многих премий, образованнейший человек. Его без колебаний можно было бы отнести к той категории людей, которых принято именовать „интеллектуальной элитой нации“. Напомню и о том, что говорит он эти слова о Жоакиме Пиресе Жоржи, чей образовательный уровень, если судить терминологией кадровиков, никогда не поднимался выше „начального“...) Я постоянно учился у него, — продолжает Мигель Урбано Родригес, — потому что в понимании незримых, не лежащих на поверхности истин он мог пойти гораздо дальше и глубже, чем я.

Если мы говорили о книге, он не растекался в долгих аналитических рассуждениях. А говорил что-то конкретное, что полностью изменяло понимание того или иного персонажа или словно поворотом ключа открывал двери, которые я просто не замечал. Я очень любил слушать, как он рассуждает о картине, о фильме, о городе, и делает это с естественностью, свойственной тому, кто культуру ощущает прежде всего как какое-то внутреннее свойство человеческой природы, как способность к динамичной ассимиляции знаний, неразрывную от взгляда, которым смотришь на мир.

...Пирес Жоржи называл „фаррас“ — „загулы“, семейные обеды с друзьями. О последнем из таких „загулов“ храню мельчайшие воспоминания. Я знал, что следующего не будет.

Это было 1 мая. После того как закончились демонстрация и митинг на Аламеде, мы с женой, а также Антонио Дуарте отправились навестить Пиреса Жоржи к нему домой в Прагал.

Хотелось обнять его в этот день. Рассказать о подробностях грандиозного праздника, в котором он из-за болезни не смог участвовать. Мы нашли его в постели, а комната была полна друзей, у которых родилась та же идея.

Смерть уже как бы обозначила на его лице свое приближение. Но настроение вокруг было бодрим. И сам он источал радость и веру в будущее.

Я чувствовал, что он устал. Но когда попытался распрощаться, он подмигнул мне, потянул за рукав рубашки и строго сказал: „Ты не уйдешь сейчас, потому что я тебе не разрешаю. Оставайся с Дуарте и с Зилой!“ Мы повиновались. И он объяснил: „У меня тут есть немного овечьего сыра, из тех сортов, что ты любишь, потом еще чокиньюс, которые моя Меседес состряпала, винцо мне дали недавно, оливки, способные с ума свести, и алентежанский хлеб!“

Он улыбнулся одной из тех своих улыбок, которые словно накладывали свет на его морщины, и пояснил: „Ты знаешь, я не могу есть все эти вещи, врач запрещает мне, да и аппетита у меня нет, но я люблю смотреть, как друзья это кушают с наслаждением. Я гляжу на вас, и мне кажется, что это я“.

Мы поели, и выпили (все кроме него), и поговорили.

По телевидению показывали программу о Первомае. От имени Интерсиндикала Жозе Луис Жудас участвовал в „круглом столе“, посвященном профсоюзным темам. Другими участниками беседы были депутат и социолог Сезар де Оливейра и профессор филологического факультета Пачеко Перейра, специализирующийся на антикоммунизме. Пирес Жоржи говорил с нами о разных вещах, но краешком глаза внимательно следил за тем, что происходило на маленьком экране.

В какой-то момент Сезар де Оливейра стал почти грубым. Он резко выступил против забастовок, выходящих за рамки сугубо трудовых требований. И спросил, могут или не могут иметь место в Португалии забастовки политические? Уравновешенный и спокойный Жозе Луис Жудас, который четко и логично говорил о профсоюзной проблематике, назвал своих собеседников людьми образованными, интеллигентными, однако не согласился с высказанной ими точкой зрения.

Пирес Жоржи, выслушав выступление Сезара Оливейры, взорвался: „Хотел бы я оказаться сейчас там, в студии. И сказать, что эти типы не имеют никакой культуры и способны только говорить глупости. Они невежды. Я хотел бы сказать им прямо в лицо, что в Португалии имеется рабочий класс, который выступает в защиту своих революционных завоеваний и которому нет никакого дела до теоретических сомнений этих сеньоров насчет того, как в учебнике

следует классифицировать забастовки. Португалия — это не Европа „Общего рынка“! У нас здесь уже был 25-й апрель!“

И он задохнулся в кашле. Потом мы беседовали еще больше часа. О политике правительства, о Первомое, о партии, об Афганистане (стране, в которой мы оба бывали). Пирес Жоржи расспрашивал о новостях сегодняшних, с огромным энтузиазмом говорил о будущем, более близком и отдаленном. Он буквально заполнял комнату своей радостью.

...В последний раз я увидел его в госпитале, накануне того дня, когда он ушел из жизни. И говорю „увидел его“, потому что мы уже не смогли поговорить. Выйдя из долгого бессознательного состояния и услышав голоса, он открыл глаза и тут же закрыл их снова. Минуту спустя, когда он опять приоткрыл их, его взгляд был уже ясным. Он смотрел на меня долго, словно сконцентрировавшись весь целиком. Хотел сказать что-то, но не смог пошевелить губами. И я угадал, почувствовал в нем все ту же неумность, ту же волю рабочего парня, моряка, революционера-романтика и коммуниста — героя многих битв. Я угадал, что он хотел и мне повторить то, что уже попытался выразить другим, самым близким своим друзьям. Он прощался. И прощался на свой лад, с мужеством и человечностью, которые отличали любой его шаг...

Это продолжалось какое-то время и отозвалось во мне острой болью. Он боролся, чтобы пошевелить хотя бы пальцами. И наконец смог это сделать. Он боролся, чтобы что-то сказать. И смог сказать только одно слово: „Ола!“

И я ощутил, что это „Ола!“ — это „Прощай!“, которым удостоил меня из последних своих сил Жоаким Пирес Жоржи, — значило для меня больше, чем любые премии, которые я получал в моей жизни, больше, чем любые похвалы, которые я слышал от друзей и товарищей.

„Прощай“ Пиреса Жоржи было пронизано всем тем, чем он сам был и за что боролся. Оно обнажило абсурдность того факта, что человеческая жизнь столь коротка. Но оно и подчеркнуло вечные ценности, которые придают жизни человеческой какое-то значение. Оно было пронизано надеждой. Оно звучало так: „Я умру, но ничто не изменится. Вы остаетесь, и поэтому жизнь продолжается“.

...Для человечества всегда были и будут величайшим благом такие люди, как он. Люди, словно отмеченные печатью: „ОСОБЕННЫЙ“. Не

такой, как все...»

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ От Севильи до Гранады



Перевал «Живодерня»

Отчужденно отгородившаяся от остальной Испании горной цепью Сьерра-Морена Андалузия, или, как говорят в Испании с ударением на последнем слоге «Андалусия», начинается сразу же за перевалом Деспеньяперрос. Название весьма многозначительно: на русский с известной дозой приближения его можно перевести как «Живодерня». Дело в том, что дорога, по которой мы сейчас едем в Андалузию, в давние времена была единственной, связывавшей этот край с остальной Испанией. А отрезок ее, начинающийся за перевалом Деспеньяперрос, был самым удобным для налетчиков и грабителей. Еще какие-нибудь полтора века назад здесь приходилось впрягать в дилижансы свежих лошадей, и сопровождавшие почту чиновники нервно ощупывали пистолеты, вглядываясь в густые заросли кустарника, сквозь которые с

трудом продиралась дорога. Сегодня, подымаясь к перевалу по национальной автостраде № 4, путник хватается не за пистолет, а за фотоаппарат: после унылых степей Кастилии и Ламанчи Андалузия встречает его ошеломляющими панорамами горных отрогов, ароматом эвкалиптов и буйным цветением трав.

Спустившись в долину Гвадалквивира, шоссе у поселка Байлен разветвляется: к югу уходит дорога на Гранаду, на запад продолжается четвертая автострада, щедро орнаментированная рекламами отелей Кордобы и Севильи. Мы едем в Севилью. Нас — четверо: политический обозреватель Центрального телевидения Владимир Дунаев, кинооператор Алексей Бабаджан, моя жена Ирина и автор этих строк, ведущий машину и поэтому лишенный возможности так активно, как того хотелось бы, реагировать на восторженные восклицания спутников, обильно насыщенные сугубо профессиональной терминологией: «режим», «панорама», «наезд», «передёр», «точка». Дискуссия, впрочем, носит сугубо теоретический характер, ибо кинокамеры и магнитофоны наши покоятся пока в багажнике, лишь завтра начнется работа, по, увы, так уж, видать, устроены все служители и рабы телевидения: даже без камеры в руках не можем мы отдаться безмятежному любованию красотами природы. Мы не глядим на ослепительный пейзаж, а изучаем его. Не наслаждаемся медленно скрывающимся за Сьерра-Мореной багровым усталым солнцем, а прикидываем диафрагму, которая понадобилась бы для съемки этого «пейзажного плана», и деловито прикидываем, насколько лучше получится он, если воспользоваться «кодаком», и как он погибнет при съемке на шосткинской «ЦО».

А серая лента асфальта бежит и бежит под капот «форда-картины», успокаивая, убаюкивая, утешая...

* * *

Мы едем из Мадрида. Цель поездки — снять фильм об Испании. Точнее сказать, об Испании, какой она стала сорок лет спустя после франкистского мятежа и полтора года спустя после смерти Франко. Впрочем, по замыслу Владимира Павловича фильм будет посвящен не всей Испании, а ее южной провинции Андалузии как одной из самых

типичных, символизирующих и олицетворяющих эту страну. Андалузия — это земля крестьян и матадоров, это табак и цитрусовые, воспоминания о Кармен и севильском цирюльнике, неистовый танец фламенко и грустная память о лиричнейшем испанском поэте Лорке... Словом, в Андалузии есть что снимать.

Дней десять провели мы в Мадриде. По невообразимому везению, которое так редко озаряет судьбу журналиста, именно в эти февральские дни семьдесят седьмого года в Москве и Мадриде было объявлено о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Испанией. И мы смогли осветить это событие, так сказать, с испанской стороны. Мы сняли и отправили для программы «Время» взволнованный и сумбурный репортаж, в котором были сразу четыре «говорящих головы». Редакторским ножницам в Останкине было где развернуться: из этого опуса в эфир проскочила не то четверть, не то пятая часть. А мы, воодушевленные сознанием исторической важности момента, носились по Мадриду и продолжали снимать интервью для будущего фильма, которому Дунаев позже придумал гениальное, по моему, название «Гренадская волость в Испании есть».

А потом, закончив этот почти пиратский по творческой ярости, по ненасытному стремлению объять необъятное налет на Мадрид, мы и отправились в Андалузию. Точнее говоря, в ее столицу Севилью, где должны были продолжить работу над фильмом.

На перекрестке цивилизаций

На протяжении многих веков Андалузия была самым оживленным перекрестком коммуникаций, связывающих Европу с Африкой и Ближним Востоком, а затем и с заокеанскими колониями Испании. Через нее прошли финикийцы и картагеняне, затем она была покорена Римом и превратилась в Бетику — одну из самых процветающих провинций великой империи, родину философа Сенеки и императоров Траяна и Адриана. До сих пор сохранились здесь многочисленные памятники той эпохи: величественные руины Италики под Севильей, бесчисленные мосты, акведуки и дороги.

В V веке нашей эры сюда хлынули орды вандалов, давшие имя этой области («Вандалузия»), но не сумевшие совладать с ее слишком

развитой для них культурой. Затем было восьмивековое господство арабов. Слава о преуспевающем и благоденствующем халифате Аль-Андалуз разнеслась по всему миру. Со своим знаменитым университетом, богатейшими библиотеками и бурной научной жизнью Кордоба становится самым передовым культурным центром Западной Европы, а последний бастион арабского владычества — Гранада, до сих пор продолжает ослеплять мир величием своей Альамбры — дворцового комплекса, воздвигнутого уже незадолго до того, как под могучим напором реконкисты рухнуло последнее мусульманское королевство на Иберийском полуострове.

А потом началась эпоха Великих географических открытий, и древнейший европейский порт Кадис стал окном Испании в Новый мир. Не найдется, пожалуй, ни в одной стране, ни вообще в Европе другой области, ставшей средоточием такого вавилонского столпотворения различных культур, религий, традиций и нравов, взаимовлияние которых придало Андалузии ее нынешний неповторимый облик.

Пожалуй, самым наглядным символом этого «кровосмешения» может служить история знаменитого, третьего по величине в Европе после римского Святого Петра и лондонского Святого Павла, кафедрального собора в Севилье. Сначала, полтора тысячелетия назад, на останках римского Акрополя был воздвигнут строгий храм вестготов. В XII веке на его руинах выросла арабская мечеть с изящным 98-метровым минаретом Хиральдой. А спустя еще триста лет на этом же месте началось продолжавшееся 104 года строительство католического собора, одного из самых знаменитых памятников средневековой готики. Мечеть была, естественно, снесена, но, демонстрируя удивительную для тех суровых времен терпимость, а может быть, руководствуясь соображениями экономии государственных средств, строители сохранили Хиральду, слегка модернизировав ее и превратив в колокольню.

С тех пор Севильский собор стал главной достопримечательностью Андалузии, местом паломничества католиков и обязательной точкой пересечения всех туристских маршрутов, проходящих через испанский Юг. Он поражает и подавляет холодным величием своих теряющихся во мраке сводов, монументальностью необъятных колонн, пронзительным свечением гигантских витражей.

Суровый покой храма нарушают лишь непрерывные потоки туристов, восторгающихся импозантным надгробием Христофора Колумба, резной аркой королевской капеллы, бесценными коллекциями полотен Мурильо и прочими сокровищами, собранными здесь святыми отцами за пять веков. Пройдя через темные залы храма, туристы поднимаются на Хиральду, откуда открывается панорама Севильи, рассеченной бурой лентой Гвадалквивира. У подножия собора теснятся узкие щели переулков квартала Санта-Крус — самого аристократического района города, вылизанного и вычищенного до нестерпимого блеска. Облицованные кафелем разноцветные домики. Уютные, утопающие в цветах внутренние дворики, вымощенные гранитными плитками, в которых аккуратно прорезаны отверстия для апельсиновых деревьев. Мелодичное журчание фонтанов. Медные таблички на дверях: «Адвокат Хосе Лопес», «Доктор Ибраим де Руэда», «Архитектор Карлос Сильва». Ни адвокатов, ни докторов, ни архитекторов не видно. Они в своих офисах, в клубах или в кафе. Их жены либо предаются праздному безделью (если доходы мужа позволяют), либо ведут отчаянную борьбу, стремясь удержаться на своей ступеньке, завоеванной годами упорных трудов и гарантирующей минимум благополучия и социальный статус, приличествующий «адвокату», «доктору» или «архитектору».

Тишина... Изредка просеменит по камням служанка, возвращающаяся из булочной с сумкой в руке. А где-то за углом приблизится и затихнет дробное цоканье копыт: удачливый владелец старинного экипажа повез чету туристов.

Улочки столь узки, что увитые жасминами балкончики противостоящих домов почти соприкасаются друг с другом резными перилами. Вероятно, именно эти балкончики и эти решетки на окнах вдохновили Гарсиа Лорку на стихи:

Ампаро!
В белом платье сидишь ты одна
у решетки окна...
Ты слушаешь дивное пенье
фонтанов у старой беседки
и ломкие, желтые трели
кенаря в клетке...

Идиллический покой, аптечная чистота, и если бы не заунывные гаммы, доносящиеся из полуприкрытого окошка, и не будоражащий вечно обостренное обоняние изголодавшегося путешественника аромат жареного цыпленка, струящийся из рестораника «Остерия дель Лаурель», можно было бы предположить, что этот благополучный уголок законсервирован как музейная реликвия, как памятник невозвратно ушедшего в прошлое тихого благополучия, вскормленного щедрыми потоками золота из заморских колоний.

— Наш город, конечно, самый красивый в Испании, — категорически заявил, молодцевато глядя в объектив кинокамеры Алексея, алькальд Севильи Фернандо де Париас Мерри. Он принял нас в импозантном здании аюнтамьенто, как именуются в Испании муниципалитеты, где над входом красуется латинская надпись, извещающая посетителя: «Каждому, кто входит сюда, мы дадим все то, что следует. Так требует справедливость, которой мы служим».

Вдохновленные этим ободряющим напутствием, мы просим алькальда рассказать о том, как заботятся городские власти о сохранении бесценных памятников архитектуры города-музея.

— Конечно, охрану исторического наследия мы считаем своей главной задачей, — вздыхает алькальд. — Но, увы, наши планы и инициативы не подкреплены надлежащими бюджетными ассигнованиями и не встречают энтузиазма со стороны частного капитала.

Алькальду можно посочувствовать. Нелегка задача, лежащая на его плечах. Потому что у государства руки вечно не доходят до памятников старины, а «частному капиталу» в высшей степени наплевать на сокровища прошлого. Строительная лихорадка, гуляющая по городам Испании, да и вообще западного мира, не привыкла считаться с сентиментальными предрассудками и заклинаниями ревнителей отечественной истории. И когда квадратный метр площади в центре города — будь то Париж, Амстердам или Севилья — растет в цене, исторические монументы превращаются в тормоз прогресса, в досадное препятствие, которое необходимо любой ценой преодолеть. Севилье в этом отношении еще повезло: город в основном растет вширь, и хотя уже более половины его населения живет в домах, построенных в последнее десятилетие, исторический центр остался неприкосновенным. Во всяком случае, пока.

Наш собеседник недавно занял свой пост, но уже успел прославиться на всю Испанию. Случилось это во время недавнего визита в Севилью короля Хуана Карлоса. Встречая монарха, алькальд вместо того, чтобы воскурить верноподданнический фимиам, обратился к нему с приветствием, неожиданно вышедшим за рамки приличествующего случаю протокола. Изумленная свита услышала взволнованную речь, в которой говорилось о сложных проблемах города, о нехватке средств, о нуждах населения и претензиях городских властей к центральному правительству. Тот факт, что это выступление не стало последней публичной акцией энергичного алькальда, безусловно свидетельствовал не только о широте взглядов и терпимости интеллигентного и умного Хуана Карлоса, но и о том, что в стране после смерти Франко действительно начали происходить позитивные перемены.

После беседы Париас Мерри пригласил нас в увешанный гобеленами капитулярный зал, где заседают отцы города, показал библиотеку аюнтамьенто: старинные фолианты, пожелтевшие свитки, пыльные карты Испании и ее заморских владений. В зале приемов громадный, во всю стену, портрет Франко напомнил еще об одной, совсем недавней странице истории Севильи: именно здесь в июле тридцать шестого года обосновалась штаб-квартира мятежников, развязавших гражданскую войну против республиканского правительства.

На прощание алькальд дарит нам монументальные путеводители по Севилье, диктует длинный перечень исторических монументов, храмов и достопримечательностей, которые нам обязательно следует посмотреть. Мы благодарим его и говорим, что нас интересуют не только памятники старины, но и жизнь сегодняшней Андалузии.

— Это значит — сельское хозяйство, цитрусовые, виноделие, животноводство, в первую очередь наши знаменитые быки для коррид, — уточняет алькальд. — Жалко, что вы не приехали в апреле, когда мы устраиваем знаменитую на весь мир севильскую ярмарку.

— Начнем с вина, — говорю я. — Где можно увидеть самое типичное и хорошо организованное винодельческое хозяйство Андалузии?

— Конечно, в Хересе.

Прекрасно! И по одной из лучших в Испании автострад, связывающих Севилью с Кадисом, мы отправляемся в городок Херес де ла Фронтера.

Херес в Хересе

В Хересе нас встретил подтянутый и элегантный, учтивый и предупредительный Манозель Франко. В управлении фирмы «Гонсалес Биасс» он заведует департаментом по связям с общественностью и прессой: на плечи Маноло возложено ответственное дело пропаганды продукции этого предприятия — знаменитого хереса — вина, ставшего славой всей Испании и в первую очередь самого Хереса.

Даже самое беглое перечисление сведений, которые обрушил на нас энциклопедически эрудированный Маноло в ходе многочасовой экскурсии по бodegaм — винным погребам «Гонсалеса Биасса», заняло бы пухлые тома. С почтением взирали мы на запорошенные вековой пылью и оплетенные древней паутиной бочки.

Пока Алексей фиксировал на пленке их нескончаемые ряды, мы с Дунаевым благоговейно внимали монологу нашего гида, пытаюсь постичь тайны древнего как мир ремесла. И хотя никто из участников нашей маленькой экспедиции не принадлежал к числу горячих поклонников вина вообще и хереса, в частности, остаться равнодушным под натиском восторженного патриотизма Маноло было невозможно. И заражаясь его энтузиазмом, мы готовы были впрямь поверить, что херес — это, разумеется, самое лучшее вино на земле. А из всех его разновидностей и типов самые изысканные и утонченные производятся, конечно же, в бodegaх «Гонсалеса Биасса». Мы прилежно зафиксировали в записных книжках, что 800 рабочих этой фирмы в разгар «сафры» перерабатывают ежедневно до двух миллионов килограммов винограда! А в год предприятие производит до 50 тысяч «ботас» вина. Каждая «бота» — бочка, содержит около 500 литров хереса. Чтобы заполнить ее этим божественным нектаром, необходимы около 670–680 килограммов винограда.

Чем объясняются непревзойденные качества здешнего хереса? Особенности андалузских почв, климата, воздуха. Ну и мастерством специалистов, хорошо знающих свое дело.

Бодег «Гонсалеса Биасса», безусловно, заслуживают обстоятельного рассказа. Самая древняя была сооружена еще в начале XIX века и сохраняется в неприкосновенности как символ незыблемости и преемственности традиций фирмы. Здесь покоятся именные бочки, каждая из которых была посвящена в свое время королям, королевам и их многочисленным отпрыскам. «Его величество Альфонс XII», «Королева Мерседес», «Инфанта Эулалия». Пожалуй, только в королевской усыпальнице дворца Эскориала под Мадридом можно с такой основательностью исследовать генеалогию испанских монархий.

Самая знаменитая из бодег фирмы «Гонсалес Биасс» — «Конча» («Раковина») — была построена в 1862 году по проекту тогда еще совсем не знаменитого, тридцатилетнего, только начинающего свой путь французского инженера Эйфеля. Мы с интересом осмотрели это круглое сооружение шатрового типа с легкой ажурной крышей. Вспомнили Парижскую башню и вдохновленный теми же Эйфелевыми идеями легкости, изящества и инженерной логики мост через реку Доуру в Порту. И пришли к выводу, что почерк великого художника отличался завидным постоянством и верностью своим принципам. Впрочем, так и должно быть у великих художников. По одной фразе вы определите Хемингуэя, по одному штриху — Матисса, по рисунку консоли — Эйфеля...

Маноло прервал наши размышления. Настало время дегустации продукции. Эта церемония выливается здесь в специальный ритуал, который должен окончательно добить подавленного обилием впечатлений гостя достопочтенной фирмы. Вас приглашают в светлый просторный зал, стены которого оклеены рекламными плакатами «Гонсалеса Биасса» и старинными афишами знаменитых коррид. Вы садитесь в деревянные кресла и наблюдаете за манипуляциями затянутого в ослепительно красный сюртук Пепе Ортега, главного церемониймейстера дегустации. Пепе Ортега, как я понял, в пропагандистском механизме «Гонсалеса Биасса» является столь же важной шестеренкой, как припорошенные пылью «королевские» бочки, как шныряющие между бочками дрессированные мышки, как эйфелева «Конча», как рекламные буклеты, которыми одаривают посещающих фирму туристов элегантные стюардессы из ведомства Маноло Франко. Пепе Ортега размещает между пальцами левой руки восемь фирменных

бокалов с надписью «Гонсалес Биасс». Правой рукой берет крохотный черпачок с длинной — около метра — ручкой. Черпачок опускается в узкое круглое отверстие бочки с надписью «Тио Пепе». Зачерпнув золотистый нектар, Пепе на мгновение замирает, а затем, проделав какие-то неуловимые эволюции, вскидывает черпачок над головой, и вино падает вниз с полутораметровой высоты тончайшей струйкой точно в узкий бокал. Эта операция повторяется восемь раз. Наполнено восемь бокалов. Ни одна капля вина не пролита на ковер. И со снисходительной улыбкой мастера, знающего себе цену, Пепе элегантно одаривает восхищенных зрителей бокалами.

После дегустации Маноло сообщает, что нас ожидает в своем кабинете глава фирмы — Мануэль Гонсалес Гордон, маркиз де Бонанса. Знаменитый Гонсалес — внук основателя «Гонсалеса Биасса». Внуку сейчас уже 92 года, но он полон энергии и оптимизма. Утопая в мягком кресле под портретом своего деда, дон Мануэль Гонсалес, не обращая ни малейшего внимания на наши слепящие лампы и на камеру Алексея, которая тихо стрекочет ему прямо в лицо, с гордостью повествует о процветании предприятия, о растущей популярности хереса в самых разных странах мира от Соединенных Штатов до России, с которой его отец и дед поддерживали торговые связи еще в прошлом веке.

На обратном пути в Севилью обмениваемся мнениями. Ирина восхищена эйфелевой «Кончей». Алексей потрясен жонглерским мастерством Пепе Ортеги. Я вспоминаю старика маркиза. По удовлетворенной улыбке Дунаева чувствую, что маркиз понравился и ему. Хотя Владимир Павлович не говорит ни слова, догадываюсь, о чем он сейчас думает: в еще не рожденный, постепенно, по кусочкам, по отрывочным идеям лишь слагающийся, возникающий из тумана в его воображении сценарий будущего фильма очень удачно улегся сейчас старый дон Мануэль.

...Маркиз де Бонанса. Владелец раскинувшей свои щупальца по всему миру винодельческой империи. Хозяин земли, виноградников, погребов, тысяч людей, которые, как пчелы, умножают своим трудом фамильное, заложенное еще дедом состояние. Словом, наглядный образец эксплуататора трудового народа. Один из хозяев «Гренадской волости»...

Конечно, при сравнении с американцем Людвигом, вознамерившимся пустить на бумагу амазонскую сельву, маркиз де

Бонанса выглядит как озорной мальчуган с рогаткой рядом с Аль Капоне. Но для Испании и тем более Андалузии маркиз — вполне весомая фигура.

Теперь надо подумать о том, где и как увидеть и снять тех, кого маркиз эксплуатирует. Крестьян, возделывающих землю. Батраков на плантациях. Землепашцев за плугом. Сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд: сейчас в Андалузии — межсезонье. Дождливый февраль. Прошлогодние урожаи убраны. Нынешние еще не созрели. Поля вокруг стоят голые. От Хереса до самой Севильи. Впрочем, мы едем сейчас не сразу в Севилью...

Бык умнее человека!..

Дело в том, что, распрощавшись с нами в Хересе, добрый человек Маноло одарил нас еще одной услугой: на обратном пути в Севилью он посоветовал заскочить в поместье своего друга Карлоса Уркихо. Кто такой Карлос Уркихо? О, это выдающаяся личность. Одна из самых ярких фигур в Андалузии. Ведь он занимается выведением быков для корриды. Этим, как вы понимаете, занимается у нас, в Испании, не он один. Но мало, очень мало таких, как он, специалистов этого дела.

— И потом... — улыбнувшись, сказал Маноло, — вы там увидите еще кое-что, без чего невозможно понять ни Андалузию, ни Испанию. Не хочу ничего объяснять заранее. Поезжайте — не пожалеете. Скажете мне потом спасибо...

Мы заинтригованы. Мы, разумеется, готовы немедленно отправиться к сеньору Уркихо. Маноло звонит по телефону и выясняет, что сеньор Карлос на месте и готов принять нас. И если мы успеем туда засветло, то Алексей сможет снять лучших быков Андалузии, готовящихся к предстоящему сезону.

Увы, снять быков дона Уркихо мы все же не успели. Когда наша серая от пыли машина влетела под арку с надписью «финка Хуан Гомес», оранжевое, как перезрелый мандарин, солнце уже окунулось в темную массу видневшейся на горизонте оливковой рощицы. Черные тени окружающих усадьбу эвкалиптов перечеркнули пастбище, на котором, увязая в черной глине, раскисшей от недавних ливней, равнодушно пощипывают травку массивные быки.

— Ну как? — с гордостью спрашивает нас сеньор Карлос. С почтением взирая на эти мощные туши, мы одобрительно покачиваем головами, как это и должны были бы сделать на нашем месте специалисты по части разведения быков. Чтобы не выглядеть совершенным профаном, решаюсь поддержать беседу и для начала осторожно осведомляюсь, как обстоят дела с кормами.

— В каком смысле? — оборачивается явно удивленный сеньор Карлос.

— Ну... так сказать, в смысле калорийности?

— По-моему, все нормально. Травы у нас сочные, питательные. Бык к тому же животное неприхотливое. Круглый год на воздухе, на пастбище.

— И много их у вас? — с трудом выдавливаю из себя еще один вопрос.

— Восемьсот с небольшим голов, — отвечает Карлос и приглашает осмотреть дом.

Тут-то мы и поняли энтузиазм Маноло и его многозначительное упоминание о сюрпризах, которые ждут путника на этой финке. Переступив порог невысокого дома, мы попадаем в музей.

Гостеприимный и экспансивный, как все испанцы, старик Карлос Уркихо принадлежит к породе тех, не слишком уж часто встречающихся людей, которые безраздельно и преданно способны служить всю свою жизнь одной, но пламенной страсти. Бескомпромиссных однолюбов. Одержимых фанатиков. Влюбленных в свою мечту чудаков. Встреча с такими людьми всегда интересна, независимо от того, чем «болеет» этот человек: расшифровывает ли он древние письмена, испытывает реактивные самолеты, коллекционирует оловянных солдатиков или конструирует карманный видеоманитофон. Карлос Уркихо оказался фанатиком корриды. Человек, одержимый быками, превратил свой дом в музей быков.

Водя нас по комнатам, заполненным самым разнообразным тореадорским реквизитом, сеньор Карлос с нескрываемым наслаждением открывает нам тайны тавромахии:

— Когда появилась коррида: пятьсот или тысячу лет назад, этого с точностью никто не знает. Известно лишь, что в эпоху Средневековья она уже была очень популярна. Правда, в те времена она еще не стала подлинно народным искусством, а оставалась сугубо

аристократическим, даже придворным развлечением. Именно потому тореро тогда работали только верхом: ведь настоящий кабальеро-рыцарь лишь в седле может раскрыть во всем блеске свои таланты!

В XVIII веке с приходом к власти Бурбонов, не любивших корриду, аристократия теряет к ней интерес, и вскоре бой быков становится любимым зрелищем народа. После этого тореро «спускаются на землю»: на арене появляются плебеи, и далеко не каждый из них имеет собственного коня.

Сеньор Карлос задумчиво поправляет складки висящего на стене яркого костюма тореро, подаренного ему знаменитым Манолете, стряхивает невидимую пылинку с расшитого золотом камзола и продолжает:

— Та, прежняя коррида, еще совсем не походила на нынешнюю. Это была озорная, но беспорядочная игра с быком. Импровизация на тему: «Умный всадник и глупый бык». Потом стали появляться правила, традиции. Приемы, изобретенные одним тореро, подхватывались другими. Именно тогда, в конце XVIII века, знаменитый Костильярес придумал «веронику», о которой вы, возможно, читали у Хемингуэя: элегантный, но очень опасный прием, когда тореро, стоя боком к быку, пропускает животное под эффектно распушенным плащом так, что бык проносится совсем рядом, почти касаясь матадора. И именно у нас, в Андалузии, были выработаны первые правила корриды. Это случилось в поселке Ронда, километрах в ста к востоку отсюда. Создатель их Франсиско Ромеро еще в первой половине XVIII века начал работать с капой и мулетой ^[3], заложив основы современной тавромахии. Его сын Хуан организовал куадрилью ^[4], а внук — знаменитый Педро Ромеро — это было уже в начале XIX века — изобрел самый трудный и самый красивый прием убийства быка, который называется «эстакада-а-ресибир»: когда матадор убивает шпагой не неподвижно стоящее животное, как это делалось до него и как это продолжают делать сейчас менее опытные тореро, а поражает быка в тот момент, когда животное бросается на матадора.

И заметьте, что почти все великие тореро были из Андалузии! — с гордостью говорит, закуривая трубку, сеньор Карлос. — Например, Пепе Ильо — самый выдающийся мастер XVIII века, создатель так называемого «севильянского» стиля, более легкого и грациозного по

сравнению со школой Ронды, основанной семейством Ромеро. Он погиб на мадридской арене, а трауром была охвачена вся страна.

— Значит, в прошлом веке коррида уже была совсем как сегодняшняя? — спрашивает Дунаев. Кажется, это первый его вопрос, обращенный к сеньору Карлосу. Вообще-то Дунаев — скептик. Он еще недавно работал нашим корреспондентом в Лондоне. И поэтому его, как настоящего «англосакса», все эти латинские страсти-мордасти: мулеты, корриды и капы — не очень-то волнуют. Но энтузиазм сеньора Карлоса, похоже, начинает заражать и невозмутимого Владимира Павловича.

— Нет, это не совсем так. Сто или даже пятьдесят лет назад коррида была куда более опасной, чем сейчас. Тореро погибали и получали увечья чаще, чем нынче.

Дело в том, что тогда они работали с быками-пятилетками, вес которых достигал шестисот килограммов. Такой гигант утомлялся гораздо меньше, чем четырехлетки, которых ввел в корриду Хуан Бельмонте уже в нынешнем веке. Это новшество сделало корриду более артистичной и, я бы сказал, изящной. Особенно после того как после дебатов было решено, что лошадей под пикадорами следует защищать толстыми предохранительными накидками. А ведь совсем недавно — я еще очень хорошо помню эти бои — лошадь была беззащитной, и буквально в каждой схватке бык вспарывал ей брюхо. Это было весьма удручающее зрелище: бедное животное бьется в конвульсиях, арена залита кровью, внутренности — на песке!

Проходим в следующий зал, сеньор Карлос показывает пожелтевшую афишу 1886 года:

— Как вам нравится это?

Читаю обычный текст приглашения на корриду и с изумлением вижу среди ее участников женское имя: Долорес Санчес Фрагоса.

— Да, да, бывало и такое... Но женщина-тореро — это глупость. Это, извините, извращение. Место женщины — на трибуне, с белым платочком в руках, чтобы приветствовать удачливого тореро, чтобы вдохновлять его, поощрять и воодушевлять!

Мы рассматриваем плащи и шпаги, пожелтевшие фотографии и мощные муляжи бычьих голов. Эту коллекцию начал собирать еще сто лет назад отец Карлоса, и теперь в Севилье, а может быть, и во всей

Испании не найдется частного собрания, которое могло бы сравниться с сокровищами поместья «Хуан Гомес».

А потом я задаю вопрос, который для каждого испанца, если он, конечно, настоящий испанец, является едва ли не главным вопросом бытия. Альфой и омегой. Началом всех начал... Выпуская джинна из бутылки, я спрашиваю сеньора Карлоса:

— А кого вы считаете лучшим тореро всех времен?

Карлос задумывается. В его глазах вспыхивает огонь.

Он расправляет плечи и, как лайнер, идущий на взлет, начинает отвечать не спеша, а затем набирает скорость:

— Не берусь утверждать категорически... Боюсь, что единого мнения на этот счет нет. Одним из лучших был, на мой взгляд, Бельмонте. Очень любил я нашего земляка Хоселито. Хорошо помню его последний бой в двадцатом году в Талавере. Ему было тогда всего двадцать пять лет. Он погиб, вспоротый рогом. А Манолете? Великий Манолете, с которым никто не мог сравниться по элегантности работы, по особой, свойственной только ему грации движений, по умению пропустить быка в сантиметре от себя и не сдвинуться, не шелохнуться! Он тоже погиб на рогах быка в сорок седьмом году в Линьяресе. Тридцать лет ему было, но вряд ли кто может сравниться с ним по количеству заработанных ушей и хвостов! Вы ведь знаете, сеньоры, что по требованию публики отличившийся тореро может быть награжден по окончании корриды отрезанным у быка ухом или — как высшая награда — хвостом?

...Он говорит долго и вдохновенно. Это, впрочем, уже не рассказ. Это гимн тавромахии. «Песнь песней» мужеству людей, выходящих на схватку с неукротимым и грозным животным, которое побеждает всех зверей, кроме, может быть, слона. Имена тореро, клички быков, названия «пласа де торос», факты, события, даты, подробности...

Если бы все это записать, получилось бы нечто вроде энциклопедии испанской корриды. Говорю «испанской» потому, что коррида практикуется еще и в ряде стран Латинской Америки, а также в Португалии, где она, впрочем, сильно трансформировалась: португальские тореро (в Португалии они называются «форкадуш») быка не убивают. Их задача — побороть животное, лишить его возможности двигаться. И выполняют они эту чисто спортивную

функцию целой командой: полдюжины «форкадуш» дружно бросаются на быка с подпиленными рогами.

Когда, желая блеснуть эрудицией, я упоминаю об этом, сеньор Карлос возмущенно подымает брови и испепеляет меня негодующим взглядом. Да, конечно, он видел однажды это анекдотическое представление, недостойное ни настоящего мужчины, ни настоящего быка. Но разве эта португальская клоунада имеет что-то общее с темой сегодняшнего разговора: с благородной корридой бессмертных Домингина, Пако Камино или Кордобеса?!

Я чувствую, что сеньор Карлос уязвлен в своих лучших чувствах. Но благородство и воспитанность, присущие ему как настоящему испанцу, помогают перебороть неприязнь, вспыхнувшую в его сердце после упоминания об «этих португальских паяцах». Он приглашает нас подняться на второй этаж в библиотеку. Мы послушно следуем за ним по скрипучей деревянной лестнице. В застекленных шкафах, на полках и стеллажах — энциклопедии и учебники, комплекты журналов, рекламные брошюры и научные труды. На одной из полок — портрет Хемингуэя.

— В России знакомы с корридой в основном по его книгам, — говорю я. Сеньор Карлос улыбается и пожимает плечами:

— Это, конечно, лучше, чем ничего, но все же маловато. Старик был гениальным писателем и очень любил корриду, но вряд ли будет справедливо полагать, что он хорошо разбирался в быках. Впрочем, а кто в них разбирается? Наверное, никто. Я занимаюсь быками уже пятьдесят шесть лет, а все равно не знаю о них все, что следовало бы и что хотелось бы знать.

Он берет со стола большой альбом с фотографиями быков, перелистывает его:

— Посмотрите, какой красавец? А этот?.. Разве есть что-нибудь в природе, сравнимое с такой красотой?

Мы дружно киваем головами и соглашаемся, что ничего подобного никогда не видели. Карлос удовлетворенно улыбается и закрывает альбом. Как стопроцентный андалузец, он великодушен и добр: чувствую, что он уже простил мне неудачную импровизацию на португальские темы.

— А почему бык не любит красный цвет? — спрашивает Ирина.

— А кто вам сказал, что он его не любит? — поднимает бровь сеньор Карлос.

— Все говорят, — смущенно улыбается Ирина. — Разве не потому плащ у тореро — красного цвета. Разве это сделано не для того, чтобы бык кидался именно на плащ?

Сеньор Карлос тяжело вздыхает. Он впервые осознал всю глубину нашего невежества:

— Бык ничего не имеет против красного цвета. И бросается он на мулету — или, как вы, дорогая сеньора, изволили выразиться, на «плащ» — отнюдь не потому, что она — красная, а потому, что она двигается перед ним, полощется из стороны в сторону. Бык бросается не на цвет, а на движение. Именно поэтому тореро может работать с быком, именно в этом — залог его безопасности: животное привлекает не цвет мулеты, а движение, не неподвижная фигура тореро или пеона, а трепещущая мулета.

— Бывают ли случаи, когда быка на корриде не убивают? — спрашиваю я.

— Очень редко. Один раз на тысячу. Так случается, когда публика требует пощадить животное в награду за его мужество и ловкость в поединке.

— А второй раз этого быка выпустят на арену?

— Ни в коем случае. Дело в том, что бык умней человека. Он быстро усваивает правила игры и, если его выпустить снова, пойдет не на мулету, а на тореро. И убьет.

Карлос Уркихо замолкает, любовно разглядывая нависший над лестницей муляж великолепной бычьей головы.

— Если позволите, я тоже хотел бы сказать, — обращается к нам Фернандо — помощник Карлоса, молчаливо сопровождавший нас в этой экскурсии. — Бык характером всегда похож на своего ганадеро — хозяина. Потому что ганадеро подбирает стадо по своему вкусу. Выбирает самок с особым характером, с психологией. И эта психология передается рождающимся бычкам. Вот у нас на финке — восемьсот быков. Это не обычные быки. Они преисполнены гордости. Они отличаются благородством и чувством собственного достоинства, они великодушны и умны.

— Вы это... что: серьезно? — спрашивает Дунаев, подняв правую бровь.

— Да, вполне! — с достоинством отвечает Фернандо, игнорируя иронию Владимира Павловича.

— Боже мой! — тихо шепчет потрясенная Ирина. Она — друг животных. Она начисто лишена англосаксонского дунаевского скепсиса. Она восхищена тем, что слышит.

— Приходите на корриду с участием наших быков, — говорит Фернандо, — и вы увидите, что они никогда не нападают на упавшего тореро или пеона. Наш бык остановится и ждет, когда человек встанет. Только потом он продолжает схватку.

— Боже мой! — снова восклицает Ирина.

— Да, бык умнее человека, — задумчиво говорит сеньор Карлос. — А самое главное — бык благороднее нас. Он никогда не нападет без причины. Убеждением вы можете добиться от быка всего, чего пожелаете, насилием — ничего не добьетесь. Поэтому-то мы, испанцы, и считаем быка самым благородным животным. Нас, людей, можно согнуть, запугать, поработить, подчинить насилием или подкупить. Быка — никогда.

Я слушаю эту патетическую оду с громадным сожалением: все это, увы, не снято Алексеем, не записано на магнитофон и поэтому не войдет в фильм. Я слушаю взволнованный монолог Фернандо о самом благородном животном нашей планеты, вспоминаю Эренбурга, очень точно писавшего о быках и корриде: «Это смирные животные, и только такому зверю, как человек, удается их вывести из себя. На арене бык сперва недоумевает. Он похож на растерянную корову. Он ищет лазейки. Он явно вспоминает пастбище. Его колют стрелами. Он весь в крови. Тогда начинается якобы бой. Человек знает, что надо отбежать в сторону, бык этого не знает, бык кидается вперед. Исход ясен заранее. Может быть, именно эта обреченность быка, эта трагическая тупость и ненужное благородство пленяют испанцев, напоминая им и об их жестокой истории, и об их личной драме?..»

Между прошлым и будущим

«...Об их жестокой истории». Пожалуй, не подберешь более точного, чем слово «жестокая», определения испанской истории, драматической, поднимающейся иногда до трагедийно-эпических

высот, а частенько — низвергающейся в суетливые водовороты мелодраматического фарса, граничащего с пошлым водевилем. Да, именно «жестокая» у этой страны история. Вспомним конкисту и реконкисту, нескончаемые междоусобные войны и драки королей, инквизицию, разгром «Непобедимой армады», захват страны Наполеоном. Вспомним, как на руинах монархии родилась в 30-е годы XX века республика. И как была затоплена она в крови фашистской фалангой.

Мне и моим современникам повезло. Мы еще помним, хотя бы по детским, может быть, недостаточно четким, но врезавшимся в наши души на всю жизнь впечатлениям атмосферу романтической солидарности с республиканской Испанией, которая в середине 30-х годов охватила нашу страну и наши сердца, как жаркое пламя. Мы пережили волнения и боль боев за республику, горечь поражения. А теперь, полвека спустя, мы стали свидетелями возрождения Испании на новом, послефранкистском этапе ее истории. Тем памятна и дорога мне наша поездка в Мадрид и Андалузию: она дала возможность лучше увидеть Испанию на переломе. Испанию, уже отвергшую свое черное прошлое и мучительно ищущую путь к будущему.

Как это всегда бывает в такие переломные моменты «жестокой» истории, путь к будущему и само будущее виделись испанцам в бесчисленном множестве вариантов, версий и гипотез. От подновленного и реставрированного франкизма до общества, строящего социалистический строй. И как это часто случается в таких ситуациях, в результате мучительных поисков, метаний, ожесточенной полемики и борьбы родилась на свет (к тому моменту, когда пишутся эти строки) совершенно неожиданная, принципиально новая и, как ни странно, неплохо функционирующая, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, модель, в которой с удивительной для пылких и бескомпромиссных испанцев гармонией уживаются монархия и социализм, в той его специфической интерпретации, которую предложила своему народу Испанская социалистическая рабочая партия и ее лидер Филиппе Гонсалес. Об этом интереснейшем политическом эксперименте можно было бы поразмышлять особо, но тема эта выходит за хронологические рамки моего рассказа. Ведь в этой главе речь идет об Испании второй половины 70-х, когда социалисты и Филиппе Гонсалес были еще в оппозиции, когда политическое будущее

этой страны казалось зыбким и неопределенным, когда в военных штабах еще весьма активно вызревали семена будущих заговоров и путчей, а на подпольных сборищах правых и левых экстремистов планировались террористические акции.

Впрочем, не только «планировались»... За несколько дней до нашего приезда в Мадрид фашисты убили двух студентов столичного университета, которые участвовали в манифестациях за амнистию. Затем левяки из «Группы антифашистского и патриотического сопротивления» (ГРАПО) похитили председателя Высшего совета военной юстиции генерала Вильяэскусу (за несколько недель до этого был похищен председатель Государственного совета Испании Ориоль-и-Уркихо), в тот же день фашистские террористы совершили нападение на адвокатскую контору Рабочих комиссий, размещавшуюся в Мадриде на улице Аточа. Были расстреляны пять юристов-демократов, которые защищали интересы Рабочих комиссий. Именно там, в помещении на улице Аточа, где еще сохранились на стенах и на полу шрамы от пуль и следы крови фашистских жертв, снимали мы интервью с генеральным секретарем Рабочих комиссий Марселино Камачо. Невысокий, плотно сбитый, как все испанцы, темпераментный, он говорил о сложившейся в тот момент в стране ситуации:

— Наши Рабочие комиссии родились как историческая необходимость. Они помогли рабочему классу прийти в себя, оправиться после жестокого поражения от франкизма. И стать на ноги, да, да! Мы снова встали на ноги! Фашизм сейчас исчезает и в нашей стране. Но здесь это происходит не так, как это было в Италии, Германии или Португалии. В Италии и Германии фашизм был уничтожен в результате освобождения этих стран войсками союзников, в первую очередь — героической Красной Армией, а также благодаря борьбе народов самих этих стран. В Португалии конец фашизму положило восстание армии. А у нас, в Испании, все сложилось по-иному. Впервые в истории Европы страна преодолевает наследие фашизма под давлением широких народных масс, возглавляемых рабочим классом. Начались демократические преобразования, которые проходят в условиях тяжелого экономического кризиса в стране, но при благоприятной международной обстановке.

...В этом тщательно отредактированном переводе речь Камачо ничем не отличается от стандартного политического интервью. А на

самом деле он говорит не так гладко и спокойно. Он жестикулирует, встает со стула, садится, опять встает. Подходит к большой карте на стене, резкими взмахами руки показывает Италию, Германию, Португалию. И при этом все равно заглядывает в наши лица, как бы удостовераясь, все ли понятно нам, что он говорит.

— Рабочий класс сыграл решающую роль в предотвращении опасности реставрации франкизма. Но не смог сам возглавить переход от фашизма к демократии. Возглавили этот процесс люди, в прошлом связанные с французским режимом. Отсюда сложность и зигзаги пути Испании от франкизма к демократии.

Он снова вглядывается в наши лица: понятно ли нам?..

— Будете в Севилье, обязательно разыщите Эдуардо Саборидо. Вот его телефон. Скажете, что вы — от меня.

— Кто такой Саборидо? — спрашиваю я.

— Наш человек в Андалузии. Коммунист. Мы поручили ему организовать и наладить деятельность Рабочих комиссий в Андалузии. Он лучше всех знает проблемы этого края.

Встреча с Саборидо состоялась. Не без сомнений и споров. Дело в том, что, запросив у руководителей испанского телевидения разрешение на съемку фильма об Андалузии, мы деликатно обошли молчанием вопрос о содержании нашего будущего опуса. Испанцы, видимо, предполагали, что мы направим свой творческий порыв на отображение архитектурных памятников, природных красот этого края, чарующей магии национального танца фламенко и экзотических традиций тавромахии. Мы не разубеждали их, но, разумеется, решили отразить и политические бури, всколыхнувшие этот край, как и всю страну. Без упоминания о профсоюзах, без рассказа о классовых боях тут не обойтись. И Марселино Камачо прав: кто может рассказать об этом лучше, чем активист Рабочих комиссий, коммунист Эдуардо Саборидо? Но ведь в тот момент, когда мы оказались в Севилье, Рабочие комиссии, как и компартия, еще не легализованы. С точки зрения закона и властей они пока остаются, по меньшей мере, «предосудительными» организациями, занимающимися «антиправительственной» и «подрывной» деятельностью. А поскольку наша поездка по Испании находится под неусыпным и бдительным отеческим оком тех, кто дал на нее согласие, встреча советских

журналистов с представителем Рабочих комиссий может вызвать там, «наверху», раздражение и повлечь против нас санкции.

Мы с Дунаевым обсуждаем сложившуюся коллизию, взвешиваем все «за» и «против». И в конце концов решаем рискнуть. Я созваниваюсь с Эдуардо. Мы договариваемся о том, что он приедет к нам в отель. Через час он звонит снизу от стойки администратора. Я приглашаю его подняться. Понимая, что друзьям нужно соблюдать максимум осторожности и сохранять бдительность, мы прежде всего показываем Эдуардо наши документы. Он улыбается, отшучивается. Потом мы приглашаем его поужинать с нами, поднимаемся в ресторан на самый верхний этаж отеля. За окном моросит нудный зимний дождик, омывающий оранжевые мандарины на Пласа Нуэва. Официант долго откупоривает бутылку «Риоха Алта», а потом еще дольше трет салфеткой идеально чистый стол. Мы молчим. Официант топчется вокруг нас, старательно глядя в сторону. Нам не нравится это слишком настойчивое усердие. Мы по-прежнему молчим, ждем, когда он оставит нас в покое. Наконец он отходит. Теперь можно поговорить. Но сначала — тост за дружбу, за успех испанских коммунистов, прошедших через без малого сорок лет подполья и продолжающих сейчас, в новых сложных условиях, борьбу за демократизацию страны.

Эдуардо Саборидо еще молод: ему всего тридцать шесть лет, на вид не дашь и тридцати, а позади у него уже несколько лет подполья, с десятков арестов, полдюжины судебных процессов, по одному из которых — приговор к двадцати годам тюремного заключения. Отсидел он из них четыре с половиной года. «Послужной список», как видите, впечатляет, но если учесть, что речь идет об испанском коммунисте и профсоюзном вожаке, такая биография не может считаться чем-то из ряда вон выходящем. А начал Эдуардо свою трудовую жизнь мальчиком на побегушках в небольшой адвокатской конторе в Севилье. В семнадцать — пошел работать на авиационный завод. Это была вторая половина 50-х годов, когда в Андалузии, как и во всей Испании, резко активизировалась классовая борьба, и именно в то время в недрах контролируемых правительством профсоюзов начали создаваться Рабочие комиссии. В двадцать три года Эдуардо избирается в руководящий орган «вертикального» профсоюза на своем заводе.

— Продвигая наших людей на официальные профессиональные посты, мы стремились, как учил в свое время товарищ Ленин, сочетать

подпольную работу с максимальным использованием легальных форм борьбы, — объясняет Эдуардо. — Именно на нашем заводе была организована первая в Севилье Рабочая комиссия. Чтобы не дразнить властей, ее первые заседания проводились во время разрешенных трудовым законодательством коротких перерывов «на бутерброд».

Естественно, очень скоро имя Эдуардо попадает в полицейские картотеки, несколько раз ему «по-дружески» советуют не заниматься политикой, «не будоражить рабочих», иначе «будут приняты меры». В 1966 году Эдуардо избран вице-президентом профсоюза металлистов Севильи, и в том же году принимаются обещанные полицией «меры»: его арестовывают, затем заносят в черные списки, запрещая впредь заниматься профсоюзной деятельностью. Потом было еще много арестов и судебных процессов, в том числе один из самых нашумевших: так называемый «процесс по делу 1001» в 1973 году, когда франкизм пытался загнать за решетку всех вожakov Рабочих комиссий во главе с Марселино Камачо. И чем больше было репрессий и гонений, тем больше рос авторитет и влияние этих организаций, превращавшихся в боевой штаб испанских трудящихся.

— Сначала мне дали двадцать лет, потом скостили до шести, — рассказывает Эдуардо, — и я до сих пор сидел бы за решеткой, но пришедший к власти после смерти Франко король Хуан Карлос распорядился об амнистии для большинства политзаключенных, и я снова оказался на свободе.

Мы спрашиваем, как обстоят дела сейчас. Эдуардо допивает вино, закуривает, с улыбкой поглядывает на вновь суетящегося около нашего стола чрезмерно любопытного официанта и, дождавшись, когда тот отходит, говорит:

— Сейчас вся Испания словно бы оказалась между прошлым и будущим: в стране уже не диктатура, но еще и не демократия. Идет ожесточенная борьба между небольшой группировкой правых, пытающихся, заменив фасад, сохранить основу старого режима, и громадным большинством народа, требующего подлинных перемен. Нарастает движение за легализацию компартии и Рабочих комиссий, и есть все основания надеяться, что в самое ближайшее время мы этого добьемся.

Прежде чем распрощаться, Эдуардо приглашает нас побывать завтра утром на заседании местного комитета Рабочих комиссий. Мы с

энтузиазмом соглашаемся. Потом спохватываемся. Опять та же проблема: Рабочие комиссии находятся на каком-то странном полулегальном положении, и не считает ли Эдуардо, что появление в их среде советских журналистов может вызвать отрицательные эмоции у местных властей?

Эдуардо улыбается и говорит, что для того, чтобы власти придрались к нам, уже достаточно одного этого вечера, который мы провели вместе с ним.

— Да-да, одного ужина, о котором, — он кивает головой в сторону описывающего вокруг нас круги официанта, — разумеется, будет доложено, кому следует.

Что касается завтрашнего заседания, то оно с точки зрения властей и их отношения к нам, является, конечно же, более суровым нарушением, чем наш сегодняшний ужин с коммунистом. И все же...

— Решайте сами, — говорит он. — За решетку вас, конечно, не посадят. Но какие-то неприятности могут, конечно, причинить. И все же, я думаю, ничего серьезного не случится. Все-таки времена франкизма уже прошли...

Может быть, нам стоило воздержаться от визита на это нелегальное или полулегальное заседание? Не знаю... Но никак не хотелось смалодушничать в глазах Эдуардо. И на следующее утро мы отправились по указанному им адресу.

Конечно, мы старались принять все меры предосторожности. Конечно, прежде чем приехать в пункт встречи, мы долго петляли по городу и, следуя рецептам героев Юлиана Семенова, старательно следили, нет ли за нами «хвоста». Видимо, в этом деле мы оказались полными профанами, ибо, как только вернулись с заседания комитета (оно было не очень долгим, но довольно шумным: обсуждалась политическая ситуация в стране и задачи борьбы за легализацию Рабочих комиссий), в холле отеля нас уже поджидали учтивые молодые люди. Вежливо, но твердо они потребовали снятую нами пленку и пригласили нас на беседу к «хефе», то есть шефу, начальнику местной полиции.

— Мне сообщили из Мадрида, — сказал «хефе», — что вы должны снимать фильм о народном искусстве, истории, памятниках культуры Андалузии. И вдруг мне докладывают, что вы оказались на подпольном собрании коммунистов.

Мы объяснили, что никакого уговора насчет содержания фильма у нас ни с кем не было. Памятники мы снимаем — это верно, но сеньор должен согласиться, что фильм об Андалузии был бы весьма скудным, если не показать в нем жизнь и заботы трудящихся.

На лице «хефе» — крайняя озабоченность. Он просит наши паспорта, переписывает их номера, прячет паспорта в сейф и говорит, что серьезность совершенного нами проступка ставит под вопрос возможность продолжения нашей работы и целесообразность нашего дальнейшего пребывания в этой стране, законы которой мы так безжалостно и бестактно нарушили.

— Я уже доложил в Мадрид о ваших похождениях. Жду инструкций. Мне очень не хотелось бы применить к вам крайние меры...

Мы говорим, что нам этого тоже не хотелось бы. И просим разрешения позвонить в Мадрид. «Хефе» великодушно соглашается, придвигает к нам телефон, ибо знает, что мы все равно сможем, выйдя от него, связаться со столицей из гостиницы или почтамта.

Мы говорим с нашим торгпредством (советского посольства в Мадриде пока нет), объясняем ситуацию. На том конце провода говорят, что сейчас же свяжутся с руководством мадридского телевидения.

Дунаев кладет трубку. «Хефе» вопросительно смотрит на нас. Мы — на него. Выражаясь языком шахматистов: сложилось нечто вроде патовой ситуации: и он, и мы ждем инструкций из Мадрида.

В ожидании решения наших судеб обмениваемся с «хефе» свежими анекдотами, и это помогает не только скоротать время, но и прийти к выводу, что мирное сосуществование двух противостоящих миров, которые в данную минуту в миниатюре как бы сошлись в единоборстве в этом кабинете, является, все-таки лучшим решением, чем эскалация враждебности и недоверия.

Словно подтверждая эту мысль, звонок из Мадрида решает проблему. Мы не знаем, о чем идет речь, ибо по телефону говорит хозяин кабинета, но чувствуем, что идеи мирного сосуществования одержали-таки верх: «хефе» возвращает нам паспорта и меняет свой помпезный гнев на тщательно инсценируемую милость.

— Снимали бы наш фламенко или, к примеру, карнавал в Кадисе. Или, коль уж вам нужны трудящиеся, съездили бы в какое-нибудь

хозяйство. Сейчас повсюду идет уборка цитрусовых. Кстати, прихватили бы там и для себя ящичек апельсинов по себестоимости. Нигде в Европе нет таких дешевых и вкусных апельсинов, как у нас, в Андалузии, — советует он нам на прощание.

Спальня императрицы

Севильский «хефе» как в воду глядел: именно эта работа — съемка цитрусовых в сельском кооперативе была запланирована у нас на следующий день. Начинаем ее с визита в андалузскую провинциальную «делегасию» — то есть отделение министерства сельского хозяйства, где нам дают сопровождающего — невысокого, стремительно полнеющего и, видимо, очень страдающего от этого сеньора с темными усиками на пухлой губе. Он носит звание доктора агрикультуры и имя, которое могло бы украсить любого испанского гранда: Хесус-Фернандес Монтес-и-Диего.

Вместе с ним и его помощником молодым инженером Хоакином Домингесом мы направляемся в одно из образцово-показательных хозяйств, которое по замыслу севильских чиновников сможет наглядно продемонстрировать нам стремительный прогресс андалузского сельского хозяйства.

Из объяснений доктора Хесус-Фернандеса мы понимаем, что кооператив «Кофруктекс» — весьма специфический: он объединяет не крестьян, а землевладельцев.

«Это образец нашего, „андалузского социализма“, — смеется доктор Хесус-Феднандес, — и я уверен, что он ничуть не хуже вашего, советского».

Мы молчим, решив отложить идеологические споры до знакомства с этим социалистическим черенком, привитым на древе андалузского частного предпринимательства. Под размеренный монолог доктора агрикультуры мы пересекаем Гвадалквивир. Справа и слева тянутся оливковые рощи, мандариновые плантации, поблескивающие тяжелыми оранжевыми плодами, ровные грядки огородов с нежными, чуть показавшимися из сырой земли всходами, и, конечно же, виноградники, представляющие собой в эту пору года, в феврале,

весьма безрадостное зрелище: короткие голые костлявые плети без каких бы то ни было признаков жизни.

Сеньор Хесус-Фернандес выражает по этому поводу сочувствие и начинает рассказывать нам о кардинальных переменах, происшедших в сельском хозяйстве Андалузии за последние годы, о стремительном развитии ирригации, позволяющей увеличивать урожаи, о механизации полевых работ, о прогрессе и процветании, приходящем в эти края благодаря мудрой политике министерства агрикультуры. Я слушаю его и вспоминаю, как Эдуардо Саборида говорил о том, что за последнее десятилетие из Андалузии уехали в другие районы страны и эмигрировали за границу свыше миллиона крестьян. Если Андалузия — рай, то почему из рая бегут?

— В начале века здесь вообще не было ирригационных сооружений, — доктор агрикультуры продолжает свой ликующий гимн Андалузии, — а к шестидесятым годам искусственным орошением было охвачено уже свыше трехсот тысяч гектаров. Вон, посмотрите! — Широким жестом руки сеньор Хесус-Фернандес обращает наше внимание на тянущийся справа от шоссе канал, который подает воду Гвадалквивира на раскинувшиеся до горизонта плантации, и вдохновенно продолжает засыпать нас цифрами могучего роста урожаев. Мы восхищаемся каналом, но потом пытаемся объяснить ему, что нас интересуют не столько сводные показатели орошаемых плантаций, сколько индивидуальные судьбы людей, работающих на этих площадях, не столько валовые доходы провинции, сколько индивидуальные заработки крестьян, создающих своим трудом эти доходы.

— Нельзя ли побеседовать с рядовыми тружениками, — говорит Дунаев. — Вот с теми, например, крестьянами, что виднеются там, за рощицей?

— Да мы не доберемся туда по этой грязи, — говорит Хоакин, которому смертельно не хочется покидать уютный салон машины.

— А мы попробуем, — деликатно настаивает Дунаев. — Для фильма нам просто необходимы кадры работающих крестьян.

— Но они и не работают вовсе, — озабоченно говорит сеньор Хесус-Фернандес, взглядыываясь из-под ладони и жмурясь от сильного солнца. — У них сейчас, кажется, перерыв на обед.

— Вот и прекрасно, значит, у нас будет возможность побеседовать с ними.

Доктор агрикультуры явно не в восторге от нашего настойчивого желания пообщаться с крестьянами. Он опасается, что они расскажут нам что-нибудь такое, что придет в противоречие с нарисованной им патетической картиной процветания Андалузии. Он говорит, что мы нарушаем программу и опаздываем в кооператив!

— И все-таки нам очень хотелось бы побеседовать с этими людьми, — обезоруживающе улыбается Владимир Павлович.

Скользя и спотыкаясь, мы с трудом добираемся до группы молодых парней, заканчивающих завтрак, представляемся, извиняемся, просим разрешения побеседовать с ними и снять их за работой.

— Подождать надо, — отвечает один из них. — Еще минут двадцать осталось. Сейчас придет капатас, и мы выйдем на работу.

«Капатас» — означает бригадир, то есть приставленный к ним хозяином надсмотрщик, который отвечает за качество работы.

В ожидании капатаса беседуем с ребятами, выясняем, что работают они по найму. Своей земли ни у кого, разумеется, нет, вот и приходится наниматься то на сев, то на прополку, то на уборку, то еще на какие-либо работы. Чем они занимаются сейчас? Пропалывают сахарную свеклу. Сколько зарабатывают? Семьсот песет в день. За семь часов работы. Много это или мало? Они улыбаются и разводят руками. Хозяин считает, что много, а они не отказались бы получать и побольше. Хотя, конечно, спасибо и за это: безработица тут очень большая, желающих занять твое место много, привередничать не приходится.

И все-таки, что такое семьсот песет?.. Я вспоминаю, что вчера вечером мы вчетвером пообедали в небольшом и весьма неприятном кафе. Скромный ужин: бифштекс, салат и чашка кофе... На четверых это стоило восемьсот песет. На каждого — по двести. Вечером отправились в кино. Билет обошелся в сотню песет. Стало быть, за день тяжелейшего труда каждый из этих парней получил плату, равную семи билетам в кино...

На тропинке, идущей от шоссе, появляется капатас, выглядит он весьма представительно: высокий, статный мужчина средних лет. Судя по походке — суровый и знающий себе цену.

Без пяти два. Капатас подходит, вопросительно смотрит на нас. Мы представляемся, просим разрешения снять его парней за работой. Пожалуйста, он не возражает, если мы не будем мешать. Нет, мешать не будем.

Все встают, вытирают рот рукавами рубах, ставят кувшины с вином и водой в тень. Натягивают резиновые сапоги и выходят гуськом на размокшие грядки.

Ровно два часа. Жаркое солнце безуспешно пытается подсушить размокшую землю. Нежные зеленые стебельки чуть колышутся под легким ветром. Парни выстраиваются в цепочку и взмахивают маленькими тяпками с короткими, очень короткими ручками. Они укорочены не случайно: с такой ручкой работнику поневоле приходится нагибаться. А склонившись к самой земле, он гораздо лучше видит сорняки. И аккуратнее пропалывает их. А если и прозевает какой-нибудь нечаянно, то на этот случай сзади шеренги работников идет капатас, помахивая прутиком и покуривая. От его бдительного взгляда не ускользает ни один пропущенный сорняк. Именно за этот контроль качества прополки ему и платят деньги хозяин. Парни мерно взмахивают тяпками, капатас пускает дымок, Бабаджан снимает. Дунаев счастлив. Я знаю, почему он счастлив: эти кадры крестьян, склонившихся над черной влажной землей, смонтируются в фильме с безмятежной физиономией маркиза де Бонанса из Хереса. Получится сопоставление: владелец плантаций, винных заводов, земли и виноградников. И те, кто умножает его богатства...

Сломив явное недовольство сеньора Хесуса-Фернандеса, нам удалось еще несколько раз пробить брешь в строгой программе поездки в кооператив «Кофрутекс» и пообщаться с простыми крестьянами, с батраками и мелкими землевладельцами. Близ поселка Лос Паласиос мы познакомились с пожилым земледельцем Антонио, ковырявшимся на огороде вместе с шестнадцатилетним сыном и девятнадцатилетней дочерью. Семейство хлопотало на грядках, где зеленели молодые побеги тыквы. Для каждого стебелька сооружали они крошечный навес, предохранявший растение от прохладного северного ветра и открывавший его теплым лучам солнца.

— Если повезет, сможем собрать ранний урожай, — говорит, вытирая пот со лба, Антонио. — За раннюю тыкву сможем взять на рынке в Севилье пять, а то и шесть песет с килограмма. А потом,

недели через полторы цена упадет до трех песет. Потому и возимся тут в грязи, не дожидаясь, пока подсохнет.

Много ли у него земли? Нет, маловато: полгектара — огород, да еще полтора — виноградник. Можно кое-как свести концы с концами. Хорошо, дети помогают. Но вот дочь уже на выданье. Скоро уйдет в другую семью, парой рук станет меньше.

Учились ли дети? Сын умеет читать и писать. А дочка в школу никогда не ходила...

Закончив съемки в кооперативе, узнаем, что сеньор Хесус-Фернандес приготовил нам приятный сюрприз: группа его друзей — местные землевладельцы, хозяева животноводческих ферм, словом, люди, вполне достойные нашего внимания, приглашают нас на ужин в имение одного из крупнейших «ганадеро», специализирующегося на выведении высокопородных быков для корриды.

Прекрасно! Мы с энтузиазмом принимаем приглашение.

Добравшись до поместья ожидающего нас скотовода — «ганадеро», мы торопливо выполняем ритуал знакомства, представляемся, обмениваемся визитными карточками и со вздохом облегчения падаем на стулья.

Помимо нас, советских гостей, Хесуса-Фернандеса и Хоакина Домингеса, за столом собралось еще около дюжины представителей частного землевладельческого сектора Андалузии. Чувствуется, что с их стороны — это не просто жест вежливости, спровоцированный севильской «делегасией» министерства сельского хозяйства. Недавнее известие о восстановлении дипломатических отношений с далекой и немного загадочной Советской Россией взбудоражило всех испанцев. И у каждого — свои причины интересоваться русскими, свой интерес, свои соображения. Кажется, наши собеседники вполне искренни, когда выражают горячую заинтересованность в укреплении дружеских связей между Испанией и Советским Союзом.

Сосед слева, вытирая седеющие усы, с улыбкой говорит, что уже побывал однажды в Советском Союзе. Это случилось в сорок первом — сорок втором годах. Он воевал тогда в испанской «Голубой дивизии» в чине полковника.

— Мы не дошли до Ленинграда всего несколько километров. Дошли до Колпино и остановились. И простояли там две зимы.

Он вспоминает, что часть его была расквартирована в каком-то старинном дворце, а сам он — полковник все-таки! — размещался в спальне «какой-то вашей императрицы. Кажется, Екатерины». Пользовался ее кроватью и, извините за пикантную деталь, ночным горшком.

— Ох, какие то были суровые зимы! И как жаль, что так и не удалось повидать Ленинград!..

Действительно «жаль»: проторчать две зимы в Колпино и не найти удобного случая, чтобы заскочить в Ленинград. Хотя бы на полчаса... Я сочувствую полковнику и говорю, что теперь эту проблему можно решить очень просто: в Мадриде уже открылось агентство Аэрофлота, каждую неделю в Москву идут из Мадрида самолеты, и фирма «Интурист» может предоставить полковнику шанс добраться до Ленинграда куда более быстрым и надежным способом, чем та неудавшаяся попытка сорок первого года. Правда, спальню императрицы и ее ночной горшок фирма, увы, не гарантирует полковнику...

Он весело смеется, отчего обретает сходство с апостолом Петром, трясет на прощание мою руку и говорит, что постарается воспользоваться советом.

Мы беседуем о жизни в СССР и в Испании, о прочных симпатиях и взаимном интересе, связывающем народы наших стран, несмотря на различия политических и социально-экономических систем. Кто-то высказывает предположение, что советская сельскохозяйственная техника могла бы очень пригодиться на здешних плантациях, а это теперь, когда в Мадриде появится советское посольство, совсем нетрудно осуществить.

— Нам, конечно, нелегко понять страну, где отсутствует частная собственность, — сетует Хоакин. — В самом деле, как может распорядиться своим капиталом советский человек, которому удалось разбогатеть? Может ли он, например, купить тысячу гектаров земли или многоквартирный дом, чтобы сдавать квартиры в аренду?..

Я объясняю, что земля у нас не продается и не покупается. Она принадлежит государству. Да и нет у нас людей, которые обладали бы средствами, достаточными, чтобы купить тысячу гектаров земли или многоквартирный дом:

— Простите, но не сковывают ли эти ограничения творческую инициативу предприимчивых людей? — спрашивает «апостол Петр».

— У нас нет миллионеров, но нет и нищих, голодных и безработных. И у нас нет девушек, подобных той, которую мы встретили сегодня утром, — дочь крестьянина Антонио, которая прожила уже девятнадцать лет, но ни одного года не провела в школе, — отвечает Дунаев. — И потом... разве предприимчивые люди не могут найти более удачного применения своей инициативе, чем покупка земель или многоквартирных домов?..

— Да, да, конечно, — кивают головой, не скрывая разочарования, испанцы. Девушка, которая осталась неграмотной, — это, признают они, действительно нехорошо. Но вот насчет невозможности купить в России землю — это, простите, их не устраивает. С этой точки зрения испанские законы, конечно же, лучше...

Впрочем, поскольку все мы уже насытились и настроение у хозяев и гостей отменное, никаких более серьезных идеологических споров не возникает. Наоборот, снова поднимаются тосты за мир и дружбу, за взаимопонимание и терпимость.

«Оставьте балкон открытым!»

Красивая легенда о девушке по имени Кармен с табачной фабрики, неутомимые приключения знаменитого севильского брадобрея и романтические похождения бравого Дон Хуана (превращенного почему-то в русских переводах в Дон Жуана) продолжают гипнотизировать всех, кто приезжает в Испанию. Вероятно, именно поэтому среди самых устоявшихся представлений об испанцах вообще и об андалузцах в особенности наиболее каноническим является убеждение в том, что они обладают исключительно веселым, искрометным и горячим темпераментом.

И все же меня разочаровало знаменитое андалузское фламенко, с которым мы познакомились в Гранаде, заканчивая путешествие по Андалузии. В узком и длинном сарае с тщательно выбеленными стенами, которые ради экзотического туристского антуража были завешены медными кастрюлями и сковородками, усталые цыганки без всякого энтузиазма притопывали каблуками, прищелкивали

кастаньетами и вели душераздирающие речитативы о всеиспепеляющей страсти и неукротимой ревности. Вероятно, нам просто не повезло с исполнителями, и, может быть, именно это и имел в виду знаменитый сын Гранады Федерико Гарсиа Лорка, когда предостерегал: «Нельзя допустить, чтобы нить, связывающая нас с загадочным Востоком, была натянута на гриф кабацкой гитары».

Мы слушали фламенко в Албайсине — арабском квартале Гранады, расположившемся на склоне холма у речки Дардо. Здесь словно в срезе геологического пласта окаменел зримый образ халифата Аль-Андалуз: узкие кривые улочки, глинобитные белые домики-сарай, окруженные по восточному обычаю глухими стенами. Все окна открываются только внутрь двора. Тяжелые засовы и плотные ставни ревниво оберегают от постороннего ока гордую бедность обитателей Албайсина, вопиюще контрастирующую с ослепительным великолепием дворцов Альамбры, высящихся на другом берегу реки.

Четыре десятилетия назад — в июле тридцать шестого — Албайсин стал местом первой кровопролитной схватки гражданской войны, предвестием трагедий Герники и Овьедо. В лабиринте этих переулков и тупиков безоружные рабочие Гранады три дня отбивались от франкистских мятежников, обрушивших на беззащитный Албайсин авиабомбы и снаряды. И когда отчаянное в своей обреченности сопротивление было сломлено, фашисты учинили здесь чудовищную резню, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков.

В кудрях у Гвадалквивира
пламенеют цветы граната.
Одна — кровью, другая — слезами
льются реки твои, Гранада, —

писал Лорка, расстрелянный месяц спустя на опушке оливковой рощи близ дороги, ведущей из Гранады в поселок Визнар. По этой дороге мы проехали, направляясь в маленькое селение Фуэнтевакерос, километрах в двадцати от Гранады. Каждый год там у подъезда серого двухэтажного домика, где родился Лорка, появляются букеты цветов. И еще при жизни Франко в кафе Требол в двух шагах от этой улочки, названной теперь именем поэта, появилось панно с портретом поэта и его стихами, звучащими, как завещание:

Если умру,
Оставьте балкон открытым!
Мальчик ест апельсин.
(Я вижу его с балкона.)
Крестьянин сеет пшеницу.
(Я чувствую это с балкона.)
Если умру,
Оставьте балкон открытым!

В июне 1976 года тысячи людей собрались в Фуэнтевакерос, чтобы отметить сорокалетие гибели поэта и открыть посвященную ему мемориальную доску. Там были рабочие и крестьяне, поэты и писатели, выдающиеся деятели испанской культуры. Один из участников митинга сказал: «Чтобы убить поэта, его надо убить дважды: сначала — физически, затем — уничтожив память о нем. Убийцам Федерико последнее не удалось, память о поэте жива. Иначе мы не собрались бы на это первое открытое чествование Лорки здесь, на земле Испании...»

...Хроникальные кадры этого митинга Дунаев взял заповом, прологом к фильму об Андалузии. Получилось впечатляюще. Жаркое солнце, гневные лица. И стихи. Стихи Лорки и стихи, посвященные Лорке. Поэты читают, а вокруг — плотная стена жандармов. Они застыли в ожидании команды. Так и кажется, что сейчас прозвучит хлесткий крик командира, и солдаты вспомнят недавние времена. Взлетят дубинки, грохнут выстрелы...

Двадцать и два удара.
Двадцать и три с размаху!
Воды, воды хоть немного!
Воды, где весла и солнце!
Воды, сеньоры солдаты!
Воды, воды, хоть на донце!
Ах, полицейский начальник,
Там, наверху, на диване,
Таких платков не найдется,
Чтобы эту кровь посмывали.

...Митинг в Фуэнтевакерос разгорался, как костер. А ведь это было спустя каких-то полгода после смерти Франко. С юридической точки зрения ничего еще тогда в Испании не изменилось.

Губернатор приказал разойтись через тридцать минут.

Митинг продолжался три часа. Три часа читали поэты стихи Лорки и стихи о Лорке. Вокруг стояли жандармы. И ничего не смогли сделать. Видно, и впрямь настали в Испании новые времена!

Эй, испанцы! Пробил час!
Солнце светит и для нас!
Настежь окна, души, двери:
тьнь бывшего — не потеря,
праха прошлого не жаль.
Только будущее суще,
сущи только смех грядущий
и грядущая печаль.

Да, фашизму не удалось убить память о выдающемся поэте — сыне испанского народа. В первый же год после смерти Франко только здесь, в крошечном Фуэнтевакере, вступили в еще не легализованную тогда коммунистическую партию триста человек. Триста новых бойцов партии, которая всегда была символом и боевым штабом антифашистского сопротивления. Триста новых коммунистов на родине Лорки, в маленьком Фуэнтевакеросе, который всемирно известная автомобильными шинами и туристическими путеводителями фирма «Мишлен» высокомерно не включила в свой путеводитель по Испании.

* * *

Мы возвращаемся из Фуэнтевакероса в Гранаду поздно вечером. Завтра утром через перевал Деспеньяперрос отправимся в Мадрид.

Я перебираю андалузское досье: записные книжки, газетные вырезки, фотографии, визитные карточки, выписки из советских и испанских книг. Вот она — еще одна цитата из Эренбурга, которую я искал. Удивительная вещь: случается иногда, что мысль, высказанная

давным-давно, в данном случае — полвека назад, вдруг зазвучит сегодня, сейчас с какой-то оглушающей силой.

Побывав в Испании в начале 30-х годов, еще до Народного фронта, до франкистского мятежа, Илья Григорьевич закончил путевые заметки об этой стране словами, лучше и точнее которых не скажешь об Испании конца 70-х: «Теперь все спорят. Скульптор за красоту... коммунист за справедливость. Это спор 1931 года. Его сейчас повторяют в разных странах разные люди... Испания долго была в стороне. Она тешила мечтателей и чудаков гордостью, темнотой и одиночеством. Казалось, она вне игры. Так в Америке люди машин и ожесточенного труда устроили заповедник с девственными лесами и с диким зверьем. Однако в Испании не деревья и не звери, но люди. Эти люди хотят жить — так Испания вступает в мир труда, борьбы и ненависти. Она вступает вовремя».

...Алексей ведет машину спокойно. Сидит за рулем прямо. Сосредоточенно смотрит вперед. Не скажешь по нему, что за последние три недели он отснял, как говорят операторы, «материала», которого хватило бы на три полнометражных фильма. Мы возвращаемся в Гранаду. Солнце уже опустилось за изломанную отрогами гор линию горизонта, а ночь все медлит, собирается с силами и никак не решится хлынуть и затопить своей южной чернотой долину Дардо — «реки крови и слез». Ночь ничего пока не может поделать с солнцем: слишком уж ослепительно продолжают сверкать в его последних лучах снежные вершины Сьерра-Невады.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Спастись в Вашингтоне



В июле семьдесят девятого года, возвратившись из Португалии в Москву, я приступил к исполнению обязанностей политического обозревателя Центрального телевидения и Всесоюзного радио. С тех пор работа моя проходит в основном в родных стенах Останкинского телецентра. Но два-три раза в год, сломив упорное сопротивление начальства (оно почему-то глубоко убеждено, что рабочее место политического обозревателя — письменный стол, а зарубежная командировка является чем-то вроде дополнительного отпуска), мне, как и остальным коллегам, вышедшим на эту орбиту, удается выезжать в разные города и страны, чтобы освещать происходящие там важные события: встречи и переговоры руководителей государств, кризисные ситуации, конгрессы политических партий или международные конфликты. Например, войну Англии с Аргентиной из-за Мальвинских (Фолклендских) островов.

Правда, если уж говорить именно об этом событии, то по причине слишком уж затянувшихся размышлений начальства о том, стоит ли посылать в Буэнос-Айрес спецкора, я попал туда к шапочному разбору, к самому окончанию войны, но все же и эта поездка не пропала даром: она привела к появлению фильма «Буэнос-Айрес: город и люди».

Поскольку главной сферой моих творческих интересов по-прежнему остается «иберо-американский», или «латинский», мир, то

есть Испания, Португалия и Латинская Америка, то подавляющее большинство моих командировок за последние годы приходится именно на эти страны. Хотя однажды волею случая, который в судьбе журналиста играет немаловажную роль, я умудрился оказаться даже на юге Аравийского полуострова и вел из Адена репортажи с проходившей там конференции Организации солидарности народов Азии и Африки. Но это было исключением из правила, а в остальных случаях мои вояжи ограничивались уже упомянутым регионом: от Аргентины до Мексики и от Испании до Панамы.

В ходе этих поездок были сняты фильмы, подготовлены репортажи, написаны статьи и книги, собраны материалы для очерков уже опубликованных и еще не увидевших свет.

Пожалуй, больше всего запомнились мне четыре командировки в Никарагуа, а самой, как мне кажется, удачной журналистской работой в этой стране стал короткий репортаж для программы «Время». В эфире он занял три минуты. Снимался несколько дней. О нем хочу рассказать в следующей главе этой книги.

Фотография в «Ньюсуик»

«Как держать в руках Никарагуа?» — так назвал однажды свой очередной репортаж, посвященный центральноамериканским проблемам, американский журнал «Ньюсуик». Для точности сообщу, что материал этот был напечатан в семнадцатом номере, датированном 29 апреля 1985 года на 34–35-й страницах. Открывался он большой — в треть страницы — фотографией: президент Рейган рядом с молодым никарагуанцем, на лице которого видны шрамы и следы ожогов. Президент смотрит на своего никарагуанского друга с отеческой любовью. Прямо-таки изнемогает от нежности и сострадания.

А публикуемый под фотографией репортаж начинается рассказом о том, как этот никарагуанец по имени Байардо Сантаэлис Селайа был представлен президентом американской общественности в качестве почетного гостя на торжественном обеде, который Рейган затеял в Вашингтоне в честь своих никарагуанских друзей — «борцов за свободу и демократию». Как сообщил президент (далее я буду скрупулезно цитировать «Ньюсуик»), «Байардо Сантаэлис был обречен

на гибель, когда никарагуанские солдаты ворвались в его дом, связали несчастного, а дом подожгли. Но от пламени загорелись веревки, которыми Байардо был связан. Ему удалось бежать, и в конце концов его доставили в Вашингтон, чтобы он смог рассказать здесь свою историю.

— Он пережил такое, — сказал Рональд Рейган, — что большинство из нас и вообразить себе не может. Я считаю, что Америка должна это узнать, Америка должна увидеть подлинное лицо Никарагуа».

Тут я позволю себе закрыть цитату, разглядеть получше фотографию и представить себе, как это было. Как гремел, подрагивая благородным негодованием, президентский баритон. Как смущенно потупился Байардо, когда на него обратили заинтересованные взоры самые высокопоставленные представители вашингтонского общества. Как, приглядевшись в молниях репортерских блицев и жарком свете телевизионных ламп к страшным рубцам и ожогам Байардо, жены министров и сенаторов прикладывали к глазам кружевные платочки: «Боже мой, какие же они чудовища, эти сандинисты!..»

«Он пережил такое, — сказал президент, — чего большинство из нас и вообразить себе не может». В этом смысле президент оказался прав. Никто из присутствовавших на банкете, включая самого Рейгана, не мог и вообразить, какой неожиданной окажется развязка этой истории, преподнесенной Америке с таким драматизмом.

...После описанных выше событий прошло несколько дней, и в начале мая того же года один из номеров журнала «Ньюсуик» от 29 апреля оказался в Манагуа в руках двадцатипятилетней медсестры Ким Вудкирк, американки из штата Иллинойс. К тому времени она вот уже полгода работала в Никарагуа, подобно сотням других честных американцев, которых в этой стране называют «интернационалистами».

Их действительно много в Никарагуа. Их встречаешь буквально на каждом шагу. Чуть ли не каждый четверг их можно увидеть на бульваре Сальвадора Альенде у массивной, увенчанной гирляндами электрических проводов, несущих ток высокого напряжения, ограды американского посольства в Манагуа с плакатами «Руки прочь от Никарагуа!». Они требуют от своего правительства прекратить бесцеремонное и наглое вмешательство в дела этой страны. В октябре восьмидесят третьего года мы с кинооператором Анатолием Ивановым

снимали одну из таких демонстраций для фильма «Никарагуа: решимость победить». В июне восемьдесят пятого, когда я вновь вернулся в Манагуа, чтобы сделать несколько репортажей для программы «Время», манифестации продолжались все с той же настойчивостью и последовательностью.

В городке Окоталь, километрах в пятнадцати от границы с Гондурасом, увидел я однажды большую группу янки, разместившихся в той же самой, куда приехали мы с оператором Молчановым, гостинице «Фронтера», что означает «Граница». Поначалу предположил, что это? Жаждающие острых ощущений туристы. Однако, поговорив с ними, выяснил, что они — тоже «интернационалисты». Приехали сюда из небольшого городка Боулдер в штате Колорадо. И отнюдь не в погоне за тропической экзотикой, не ради грозных красот вулканов Масая или Момотомбо. Дело в том, что Боулдер объявил себя побратимом никарагуанской Халапы — совсем крохотного поселка на крайнем северо-востоке этой страны. Жить и даже находиться там хотя бы несколько часов весьма опасно: Халапа постоянно подвергается налетам американских наемников — контрас. И вот, пожалуйста, два десятка американцев из штата Колорадо едут именно туда, чтобы на деньги, собранные жителями Боулдера, выстроить в Халапе школу.

Я беседую с ними, восхищаюсь хорошей оснащенностью их экспедиции: они даже питьевую воду везут с собой в Халапу, зная, что контрас могут отравить там колодцы, и вдруг... стоп! Вспоминаю, что именно в их Боулдере издается известный всему миру журнал «Солджер оф форчун» — «Солдат удачи»: реакционнейшее издание, рупор наемников империализма, подряжающихся за плату сражаться во всевозможных «иностранных легионах», в бандах и воинствах афганских душманов, Джонаса Савимби — в Анголе, сомосовских контрреволюционеров, окопавшихся в Гондурасе, в войсках всевозможных хунт и реакционных режимов в Африке, Азии и Латинской Америке. Вот ведь как сложна и противоречива сегодняшняя Америка: из одного и того же Боулдера в штате Колорадо одни американцы едут по белу свету убивать, взрывать и грабить, другие — строить школу в Халапе...

Правда, узнав, что они имеют дело с корреспондентами Советского телевидения, мои собеседники там, в Окотале, посоветались и попросили не называть их имен.

Предосторожность вполне понятная и извинительная: быть интернационалистом в Никарагуа нелегко и совсем непросто. В те июньские дни восемьдесят пятого, когда происходили события, о которых сейчас пойдет речь, на северо-востоке страны близ Пуэрто-Кабесаса контраст похитили и угнали в Гондурас Еву-Регину Шмеман из ФРГ, которая вместе с никарагуанскими учеными занималась там изучением экологических проблем. Лишь через несколько недель с помощью Международного Красного Креста ее удалось вырвать из плена и переправить в Мексику.

Тогда же, в июне, в самой Манагуа в квартале, в котором живут дипломаты, журналисты и иностранные специалисты, была убита супружеская чета англичан — научных работников. Они уже завершили свою миссию и готовились вернуться на родину.

А в феврале 1986 года в поселке Сомотильо — буквально в двух шагах от Окоталья — пробравшимися из Гондураса контраст был убит швейцарский агроном Морис Демьер, тоже интернационалист, оказывавший помощь местным крестьянам. Поэтому-то и не удивила меня просьба американцев из Боулдера не снимать их для Советского телевидения. По тем же причинам не стали мы снимать и рассказ Ким Вудкирк, с которой познакомились в детской больнице «Мануэль де Хесус Ривера» в квартале Санта Хулиа.

— Было это в середине мая, — рассказала она. — Я только что купила очередной номер «Ньюсуик», пролистала его и вдруг вижу фотографию: президент Рейган с каким-то никарагуанцем. Показываю фотографию женщинам, с которыми работаю в лаборатории. Они смотрят без особого интереса: мало ли контраст фотографируют американские корреспонденты! Подумаешь, еще один контраст, оказавшийся в Вашингтоне!..

И вдруг медсестра Мария, присмотревшись к фотографии, хватается за журнал и говорит мне: «А ну-ка, Ким, переведи, что здесь написано!» Я перевожу ей: «Рейган знакомит американцев с никарагуанцем Байардо Сантаэлисом Селайа, который вырвался из рук сандинистов со следами ужасных пыток. Сандинисты попытались сжечь его живьем. Америка должна знать правду о злодеяниях, которые чинят нынешние руководители Никарагуа».

Мария услышала это и прямо-таки побледнела:

— Боже мой! — сказала она. — Я знаю этого человека...

«Я еще до тебя доберусь!»

...Так начала разматываться история, о которой пойдет сейчас речь. Но, прежде чем продолжить ее, сделаю еще одно необходимое пояснение: президент Рейган представил своей стране и всему миру Байардо Сантаэлиса в облике «жертвы сандинистов» не просто из чувства «сострадания». Не только потому, что ему захотелось лишний раз уколоть Никарагуа. Именно в тот самый момент, когда у него под рукой оказался этот изуродованный никарагуанец, президент вел упорную борьбу с конгрессом, стремясь заставить его выделить новые ассигнования на оказание помощи «борцам за свободу», то есть контраст, окопавшимся в Гондурасе и Коста-Рике. Шрамы и ожоги Байардо Сантаэлиса были, по мнению Рейгана, весьма убедительным аргументом, неопровержимым свидетельством «зверств» сандинистов, пыток, которым они подвергают противников своего «прокоммунистического режима».

...Медсестра Мария Хесус Брисеньо рассказала о фотографии в «Ньюсуик» знакомому фотографу из газеты «Эль Нуэво Диарио» Эрнесто Мехия и молодой журналистке Росарио Моптенegro. Фотография Рейгана и Байардо из журнала «Ньюсуик» вместе с рассказом медсестры Марии были напечатаны в этой газете. И сразу же нашлись еще несколько человек, которые тоже знали Байардо и помогли восстановить подлинную историю драмы, разыгравшейся в июле семьдесят девятого года, в дни победы революции. На заключительном этапе к расследованию подключился и я. Так что для меня эта история стала известна с ее сенсационного конца: со встречи в городе Гранаде с 23-летней женщиной Шиомарой Эспиноса, которая работает там секретарем городского комитета сандинистской защиты. Мы с Эрнесто и Росарио поехали к ней в Гранаду сразу же после того, как она, увидев в «Эль Нуэво Диарио» фотографию Байардо Сантаэлиса, позвонила в редакцию и сказала, что еще до революции была хорошо знакома с этим человеком.

— Да, я хорошо знала его, — повторила она нам, когда мы примчались в Гранаду, — потому что мы с ним были соседями по кварталу в Манагуа, где я тогда жила. В семьдесят девятом, накануне революции, было мне семнадцать лет. Сомосовский режим уже разваливался. И все мы, молодежь, либо участвовали в революционном

движении, либо помогали тем, кто сражался с сомосовцами. И очень хорошо помню, как все наши разговоры о листовках, баррикадах, оружии и стачках мгновенно прекращались, когда поблизости появлялся Байардо: мы знали, что он завербовался в ЭЭБИ, специальную пехотную школу, под вывеской которой скрывался один из самых жестоких отрядов сомосовской тайной полиции.

Байардо всех нас ненавидел. Он охотился за революционерами. Многих моих друзей самолично арестовал и пытал, чтобы выбить из них признание в связях с сандинистами. Много раз угрожал и мне: «Подожди, я еще до тебя доберусь!» До сих пор не могу без дрожи вспомнить эту отвратительную физиономию, эту ухмылку, с которой он проходил мимо меня: «Дойдет и твоя очередь, красотка Шиомар!..»

Она вспоминает это, и лицо ее, тонкое, смуглое, с черными поцыгански вразлет бровями, искажается болью, вздрагивает, и на лоб падает прядка иссиня-черных волос. От страха не лечат даже годы. А ведь с тех пор, как ее ранили, прошло уже шесть лет:

— Я сидела на парапете маленького фонтана, — вспоминает она, — и вдруг чувствую толчок в бедро. Смотрю — кровь. Я потеряла сознание, так и не поняв, что это было, кто стрелял и откуда... Спустя некоторое время, когда, подлечившись, я вышла из дома, Байардо, словно подстерегавший меня, оказался тут как тут. Подошел ко мне и шепчет на ухо: «Если не прекратишь свою дружбу с сандинистами, в следующий раз будет еще хуже: вышибу у тебя мозги...»

Тогда по совету друзей и родных она уехала из Манагуа в Гранаду. И вот спустя шесть или семь лет увидела Байардо на фотографии в «Ньюсуик» рядом с Рейганом.

Мы сняли ее рассказ. Росарио тщательно застенографировала его. Эрнесто извел на Шиомар чуть ли не целый ролик пленки. Пока Молчанов укладывал в багажник «мазды» кинокамеру и магнитофон, я поблагодарил Шиомар и спросил: не собирается ли она вернуться в Манагуа? Она сказала, что вряд ли теперь это возможно: судьба ее уже сложилась здесь, в Гранаде. И сложилась неплохо: у нее тут муж, трое детей. Работа в комитете сандинистской защиты. Все хорошо. Жизнь идет вперед. «И слава богу, что мерзавцы вроде этого Байардо не мешают больше нам. То есть, конечно, мешают, нападают на нас из Гондураса, из Коста-Рики... Но это уже не так тяжело и не так страшно, как было во времена Сомосы. Теперь, когда мы взяли власть и стали

хозяевами страны, мы обязательно справимся с ними, как бы ни бесновались, они, как бы ни выслуживались перед Рейганом».

Попрощавшись с Шиомар, возвращаемся в Манагуа. Дорога усыпана лепестками пронзительно красных цветов. Они осыпаются с растущих по обеим сторонам шоссе раскидистых фламбоянтов. Смотрю на бегущий под колеса красный асфальт и думаю о том, сколько крови пролили в этой стране все эти Байардо — приспешники диктатора, пытавшиеся любой ценой спасти прогнивший режим от неминуемого краха.

Мы мчимся в Манагуа. Слева неторопливо проплывают приземистые, но грозные вулканы Масая, окутанные никогда не исчезающим облаком дыма и газов, и у меня рождается название репортажа: «Гость президента». Потом, поразмышляв, прихожу к выводу, что еще убедительнее прозвучит «Спасти в Вашингтоне». Предвкушаю, какой сенсацией может стать следующее интервью этого репортажа, которое снимем там, в Манагуа. Оно должно будет ответить на главный вопрос: где и каким образом получил Байардо свои страшные ожоги и увечья, вызвавшие такой патетический всплеск сострадания у президента Рейгана и столь гневные президентские обличения по адресу «кровожадных сандинистов»?

Ради этого интервью мы направляемся в квартал Санта Роса, приютившийся близ ведущей в аэропорт имени Сандино автострады Педро Хоакин Чаморро. В этом квартале живет бывшая жена Байардо — Кларибел Изагирре, которую коллеги из «Эль Нуэво Диарио» Эрнесто Мехия и Росарио Монтенегро разыскали на прошлой неделе.

Росарио вспоминает, что сделать это было не так-то просто. Когда им в редакцию позвонила медсестра Мария Брисеньо и рассказала о репортаже «Ньюсуик», она заодно вспомнила, что у сфотографировавшегося рядом с Рейганом никарагуанца была молодая жена. Где она сейчас, Мария не знала. Знала только, что эта женщина приезжала к Байардо в госпиталь из квартала Санта Роса. И назвала ее имя: «Кларибел».

«Там, где было деревце...»

И тут я прерву на несколько мгновений историю поисков, чтобы показать, сколь нелегкими они были. Дело в том, что в Манагуа нет адресных столов и справочных служб. Не существует там паспортов, ЖЭКов или ДЭЗов. Не имеется там ничего, хотя бы отдаленно напоминающего наш институт прописки. Впрочем, какая там «прописка»! В Манагуа нет даже самих адресов в обычном, общепринятом понимании этого слова.

Что такое «адрес»? Это точные пространственные координаты искомого объекта. К примеру, если дело происходит в Москве и вы получаете адрес: «7-й проезд Марьиной рощи, дом пять, квартира такая-то», то вы уже абсолютно точно знаете, что вам нужен не 6-й и не 8-й, а именно 7-й проезд Марьиной рощи. Тот самый, что находится между 1-м Стрелецким проездом и 3-й улицей Марьиной рощи. Что может быть понятнее и логичнее?

Так вот, в Манагуа нет ничего подобного. В подавляющем большинстве случаев улицы, не говоря уже о переулках, не имеют там названий, а дома — номеров. Поэтому адрес в Манагуа — это не адрес в нашем понимании этого слова. Это робкая попытка привязать искомый объект к каким-то иным, более или менее известным объектам, точкам, символам. Адрес в Манагуа — это не адрес. Это зыбкое предположение, робкий намек, приглашение к поиску. Чаще всего в качестве адреса вам предлагают ссылку на соседство с каким-то иным объектом, который вам, может быть, случайно окажется известен. Вот, например, типичный адрес какого-то мне неизвестного сеньора Карлоса Хосе Падилья Сиснероса, который я взял наугад в телефонной книге: «От статуи Монтой 3 квартала на север и один квартал вниз».

Стало быть, в данном случае вы должны разыскать посредством опросов старожилков упомянутую статую, затем (видимо, определившись по компасу) проследовать искомое число кварталов на север и спуститься на один квартал «вниз». Но что такое «вниз»? Прежде, чем ответить на этот вопрос, приведу еще один типичный адрес-шараду из телефонной книги Манагуа. Его разгадка требует не просто сообразительности, а солидных знаний местной топографии, топонимики, истории и даже древней метрологии. Вы думаете, я преувеличиваю? Тогда, пожалуйста, попробуйте расшифровать такие «пространственные координаты»: «От того места, где было Арболито, 70 варас вверх и 20 — вниз».

Возникает, во-первых, вопрос; что это за «Деревце» («Арболито»)? Оказывается, в давние времена действительно росло в какой-то точке города красивое деревце, служившее надежной и всеми признанной точкой привязки. Несколько десятилетий назад, повинувшись грустному, но непреложному закону конечности всего живущего и сущего, упомянутое «Арболито» высохло, было срублено и ушло в область воспоминаний и легенд. Но... адресные ссылки на него по-прежнему действительны для доброй сотни находящихся в том районе жилых домов, магазинов, учреждений. И даже печатаются в телефонной книге!

Идем дальше: «70 *варас* вверх»... Что такое это «варас»?

«Вара» — это мера длины, которая существовала в Испании во времена не то Торквемады, не то Сервантеса. С тех пор о ней забыли во всем мире, кроме... Никарагуа. Но и в Никарагуа нет ни одного гражданина этой страны, который мог бы сказать вам, что такое «вара»: полметра, метр, сажень или десяток метров.

Дальше: «70 *варас* *вверх*» и «20 — *вниз*». Как понять эти «вверх» и «вниз»? Тут тоже существуют различные толкования. Некоторые считают, что «вверх» означает «на восток», ибо именно на восток от Манагуа находится аэропорт, то есть место, где поднимаются «вверх» самолеты. Другие, однако, резонно утверждают, что понятия «вверх» и «вниз» существовали в Манагуа и в стародавние времена, когда ни братья Райт, ни Александр Федорович Можайский, ни Сантос-Дюмон еще не осчастливили человечество своими гениальными изобретениями и свершениями. Поэтому направление «вверх» еще со времен обитавших в этих краях индейцев действительно относилось к востоку, где подымается солнце, а когда говорят «вниз», то имеют в виду ту сторону земли, где солнце заходит, то есть «опускается».

Можно представить себе теперь, сколько усилий пришлось потратить Эрнесто и Росарио, когда они обходили в квартале Санта Роса дом за домом и спрашивали молодую женщину по имени Кларибел, тем более что имя это — одно из самых распространенных в Никарагуа... Эти поиски могли бы затянуться до бесконечности и, возможно, никогда не увенчались бы успехом, если бы Росарио не осенила счастливая идея: расспрашивая людей о Кларибел, упоминать об ожогах и шрамах на лице ее мужа. Вот по этой примете они вышли на Кларибел довольно быстро: увечья Байардо прямо-таки врезались

сердобольным соседкам в память. И вот, спустя несколько дней, появляемся в этом квартале и мы — спецкоры Советского телевидения.

Миниатюрная, совсем молоденькая и до невероятия застенчивая женщина с крохотной малюткой на руках сидит, покачиваясь, в кресле-качалке у двери своего дома. Впрочем, «домом» это сооружение можно назвать лишь при достаточно богатом воображении. Поэтому Кларибел смущается и краснеет, когда, представившись, мы просим разрешения посмотреть ее жилище, чтобы выбрать место для съемки интервью, или, как говорят операторы, «точку».

С видимой неохотой Кларибел открывает дверь, и с первого же взгляда становится ясно, что с «точкой» здесь у нас возникнут нешуточные сложности. Ругая себя за настойчивость, входим в этот сколоченный из разнокалиберных досок сарай. Одна дверь, одно окно, без стекол, разумеется, но с примитивной ставней, которая закрывается, когда хозяйка уходит. Я знаю, что в такой же бедности живут еще очень многие люди в этой многострадальной стране, разоренной полувековым диктаторским режимом, а сейчас, спустя шесть лет после победы революции, вынужденной затрачивать до сорока процентов своих средств на нужды обороны, на защиту от банд контрас, от таких, как бывший муж Кларибел.

Интерьер жилища соответствует его фасаду: маленький стол, вместо кровати — гамак, ящик-комод — для одежды и уже упомянутое кресло-качалка. Кстати, такие кресла являются самым распространенным элементом никарагуанской мебелировки. В доме, бараке или крестьянской хижине может не оказаться кровати или шкафа, роль стульев выполняют колченогие табуретки или наспех сколоченная скамья, но кресло-качалка обязательно будет присутствовать практически в каждом, даже самом скромном никарагуанском жилище.

В лачуге Кларибел темно. Сквозь единственное окно света внутрь проникает очень мало, снимать интервью придется на улице. Выходим из барака и оказываемся в плотном кольце любопытствующих мальчишек всех возрастов и оттенков кожи. Объясняю Кларибел, что через пару минут, когда оператор приготовит камеру, мы попросим ее рассказать о Байардо и объяснить, кто его изуродовал так жестоко и где он получил свои страшные ожоги.

Она вздыхает и переминается с ноги на ногу. Чувствую, что все это ей совсем не по душе. Есть такие люди, стеснительные и робкие. Их угнетает объектив кинокамеры и микрофон. Смущает внимание окружающих. На мою беду, ситуация осложняется, вокруг нас собираются женщины из соседних бараков. Среди них — несколько весьма говорливых, социально активных особ. Не разобравшись толком, в чем дело, не спросив, кто мы и откуда, они дружно набрасываются на меня с возмущенными упреками:

— Зачем сеньор беспокоит бедную Кларибел?! Оставьте ее в покое! Разве мало перестрадала эта святая женщина-мученица?

Вижу, что Кларибел колеблется. На глазах у нее наворачиваются слезы. На щеках появляется румянец. Ей жалко саму себя. И спящая у нее на руках малютка вдруг так некстати зашевелилась. Сейчас проснется, начнется плач, ребенка нужно будет успокаивать и кормить, и наша затея с интервью рухнет под напором этих галдящих, размахивающих руками сердобольных соседок.

— Вы знаете, может быть, они правду говорят? — шепчет испуганно Кларибел. — Может быть, не нужно ничего этого? Я ведь уже все ему рассказала, — она кивает головой в сторону Эрнесто, который, не скрывая сочувствия и вместе с тем какого-то профессионального интереса, следит, как я выпутаюсь из этой сложной ситуации.

— Давай быстрее, — говорю Молчанову, который слишком долго копается со своими кассетами, экспонометром и аккумулятором.

— Нет, нет, я не хочу фотографироваться! — испуганно шепчет Кларибел, шарахаясь от нацелившегося на нее черного объектива кинокамеры. — Меня уже фотографировал этот компаньеро, — она снова показывает на Эрнесто. — Разве этого недостаточно?..

— Но мы и не собираемся фотографировать тебя, — говорю я, беру в руки микрофон. — Мы снимаем тебя для телевидения.

— Но зачем же это? — сопротивляется она.

Чувствую, что еще мгновение, и съемка сорвется, если немедленно, сию секунду я не найду какие-то безошибочные аргументы, если не успокою, не смогу убедить ее...

— Послушай, Кларибел. Как тебе не стыдно? Разве ты хочешь, чтобы с какой-нибудь другой женщиной случилось то же, что с тобой? Ты считаешь, что то, что он сделал, можно оставить безнаказанным?

— Нет, но...

— Кларибел! Твой бывший муж помогает Рейгану достать новые деньги для контрас. На эти деньги будут куплены пулеметы, из которых станут стрелять в твоих братьев, и бомбы, которые контрас захотят сбросить на Манагуа, на Леон и на другие города.

— Ну, хорошо, я согласна, но, может, быть, мы это сделаем завтра?

— Завтра уйдет самолет, на котором я хотел бы отправить пленку с твоим рассказом...

Соседки за моей спиной по-прежнему гудят, как осы: «Оставьте бедняжку в покое! Девочка и так перестрадала». Молчанов кивает мне головой: он готов, можно начинать.

Включаю магнитофон, подношу микрофон к лицу Кларибел. Это всегда оказывает мобилизующий эффект: вы можете сколько угодно сопротивляться, отказываться от интервью, но как только увидите, что завертелись кассеты магнитофона, как только услышите легкое жужжание мотора кинокамеры и у вашего лица окажется микрофон, ваше сопротивление — хотите вы этого или нет — сломлено, сомнения уходят. И вы начинаете неестественно высоким голосом говорить неестественно красивые фразы. Вы улыбаетесь и стремитесь выглядеть молодцом.

Кларибел не исключение. Завидев, как шарахнулись от кинокамеры ее соседки, она покорно вздыхает и начинает отвечать на мои вопросы. Говорит она односложно, с трудом, стесняется камеры, побаивается сердобольных соседок, которые хотя и глазают на меня с нескрываемой злостью, но вынуждены отступить.

Виновато поглядывая на них, словно извиняясь за то, что уступила моему нажиму, Кларибел рассказывает, что познакомилась с Байардо, когда он уже лежал в госпитале. И хотя знала, что он — контрас, но ей стало жалко его. Так сильно мучился, бедный, от этих страшных ожогов...

— Откуда же взялись ожоги? — спрашиваю я.

— Получил он их по собственной неосторожности, чтобы не сказать глупости: когда революция уже побеждала, когда всем стало ясно, что Сомосе пришел конец, фашисты принялись зверствовать особенно беспощадно. Байардо то ли приказ получил от своих начальников, то ли сам по своей воле решил поджечь убежище, в котором скрывались от пуль, снарядов, и бомб мирные жители. В

основном женщины и дети. Байардо и еще несколько сомосовцев облили стены убежища бензином, потом он бросил спичку...

Многие из тех, кто находился там, сгорели заживо. Ужасная смерть... Но Байардо не повезло, — говорит она и разводит руками. — Словно бог там, на небе, завидев его за этим страшным делом, решил наказать: когда Байардо обливал бензином стены дома, в подвале которого сидели беженцы, бензин попал и на его собственную одежду. Казалось, совсем немного, несколько капель, но... как только загорелся дом, полетели во все стороны искры, одна из них попала на Байардо, и одежда его вдруг вспыхнула.

Он побежал, потом бросился на землю, начал кататься по траве, пытаясь погасить это пламя, но ничего из этого не получилось. Он превратился в живой факел. Кричал страшным голосом, потом затих...

А друзья его, те, кто помогал ему и обливал вместе с ним этот дом бензином, бросили его. Решили, что сандинисты уже вот они, уже близко, и нужно спасаться. А Байардо, он уже — в лучшем из миров, где никого не надо спасать и ни о ком не надо беспокоиться, где нет революций и возмездий, где перед ликом всевышнего все равны.

...Так бы оно и получилось, если бы не сандинисты. Они подобрали его, обнаружили, что он жив, что еще дышит, что хотя и с трудом, но все же прослушивается у него пульс. И он тут же был отправлен в госпиталь имени Антонио Ленина Фонсеки.

Три имени одного госпиталя

...Тут я позволю себе сделать еще одно отступление от истории поисков, чтобы рассказать историю названия госпиталя. «Ленин Фонсека...» Этими двумя именами один никарагуанец назвал еще задолго до революции своего сына в честь двух самых великих с точки зрения отца мальчика людей Земли: самого выдающегося революционера всех времен и основателя Сандинистского фронта национального освобождения.

Но ведь это было в годы диктатуры, и попробуй-ка назови свое имя, если оно звучит: Ленин Фонсека! Мальчишка не мог бы ни с кем общаться. Его нельзя было бы даже записать в школу. Достигнув совершеннолетия, он не смог бы получить документов. И вот, чтобы

избежать этих сложностей, чтобы ребенок мог общаться с друзьями на улице, с соседями или учителями в школе, отец дал ему и третье, «легальное» имя Антонио. В результате и получилось: Антонио Ленин Фонсека.

Мальчик с этим чудесным именем подрос и вслед за отцом вступил в ряды сандинистов, стал сражаться против диктатуры. Разве мог поступить иначе парень, носящий имена Ленина и Фонсеки?..

Он сражался геройски и погиб от пули сомосовцев всего за несколько дней до окончательной победы революции. Такая вот получилась печальная и героическая история... Таким славным именем назван госпиталь, самый крупный в никарагуанской столице, находящийся на западной окраине Манагуа, близ небольшого озера Асососка.

Мы едем туда на следующий день после разговора с Кларибел. Едем в надежде, что нам повезет, что сможем разыскать там кого-нибудь, кто помнит пациента Байардо Сантаэлиса Селайа с тяжелыми ожогами лица и тела.

Директор госпиталя доктор Хулио Брисеньо разводит руками: сам он назначен сюда всего полгода назад, естественно, ничего не знает. И хочет предупредить нас, что за последние пять лет медицинский персонал сменился почти полностью. Впрочем, может, быть, нам сможет помочь его секретарь — Марта Агирре Гомес?

Он вызывает Марту, поручает ей оказать нам содействие. Сразу же чувствуется, что Марта — женщина энергичная и расторопная.

Минут через десять она находит сразу двоих, кто работал в госпитале в семьдесят девятом году: лаборантку Алму Патрисию де Моралес и администратора Гладис Родригес. Обе они прекрасно помнят Байардо. Именно Гладис дежурила в приемном покое в тот вечер, когда его доставили сюда. Именно она зарегистрировала этого обгоревшего пациента в книге поступивших больных.

— Боже мой! Это был самый тяжелый случай в моей практике. Тот больной был похож на головешку: сгорел почти начисто! Лишь ноги у него, и то лишь ниже колен, где они были защищены сапогами, сохранились невредимыми. Все остальное... Это был какой-то кошмар!

Гладис и Алма Патрисиия ведут нас по длинным коридорам в хирургическое отделение и находят палату, где лежал Байардо. Показывают его кровать. Сейчас здесь женское отделение. В «той

самой» палате лежат две женщины средних лет. Извиняемся перед ними за беспокойство, просим разрешения снять комнату и кровать, на которой сейчас лежит весьма симпатичная и словоохотливая пациентка. Пожалуйста, ради бога! Почему бы и нет? Узнав, что их снимают для Советского телевидения, женщины наспех поправляют прически и устраиваются поудобнее на своих матрацах и подушках. Мне кажется, они даже благодарны нам за то, что в унылую монотонность их больничного быта мы внесли эту сумятицу и беспокойство.

Вспыхивают лампы, чуть слышно жужжит камера. Снимаем палату, увековечиваем на пленке вывеску над дверью: «Хирургическое отделение».

— А нас тоже будут снимать? — слышатся заинтересованные голоса из соседних палат.

— Это сейчас здесь так шумно и многолюдно, — говорит Алма Патрисия. — А тогда Байардо лежал в палате один. Так распорядился главный врач, учитывая тяжесть его состояния. Да и охранять его было проще: ведь он тогда еще ожидал суда. Боже, это был какой-то кошмар, а не лечение! Невозможно описать, каких трудов нам это стоило. Хорошо помню все это, поскольку именно я выполняла многие процедуры, смазывала ему раны пенициллином, ассистировала на операциях по пересадке кожи, делала анестезирующие уколы.

— А медсестру Марию Брисеньо помните? — спрашиваю я.

— Конечно! Она работала вместе со мной. Сейчас перешла в другое место, не помню куда...

— В детскую больницу в Санта Хулии.

— Точно! Она тоже помнит его?

— Да. И именно она помогла нам разыскать жену этого Байардо!

— Правильно! Я помню, как приходила его навещать совсем юная девушка. Мы прямо-таки восхищались ее упорством: как заботливо она ухаживала за ним!.. Часто оставалась ночевать на скамье в коридоре, чтобы утром, когда он откроет глаза, первой увидел бы ее. Мы удивлялись: такая красивая, молодая и вдруг решила связать свою судьбу с этим калекой. Из жалости, что ли?.. Интересно, где она сейчас?

— Живет в квартале Санта Роса.

— Как? Стало быть, она не уехала с ним в Америку?

— Нет, — отвечает Эрнесто. — Она, наоборот, стала милисиано. Именно из-за этого Байардо и бросил ее.

— Подождите насчет «бросил», — говорю я. — Мне еще непонятно, когда они успели пожениться.

— Вскоре после того, как он вышел из тюрьмы.

— Так он что: и в тюрьме успел отсидеть?

— Совсем немного: всего несколько недель, — объясняет Росарио. — Когда его вылечили и выписали из госпиталя, началось следствие. Его судили и дали тридцать лет тюрьмы, учитывая тяжесть совершенных преступлений. Это максимальная мера по нашим законам. Учитывались и его предреволюционные «подвиги», участие в арестах и пытках сандинистов. И, конечно, поджог убежища, когда столько людей сгорели по его вине.

А через некоторое время его выпустили на свободу.

Сам команданте Борхе увидел его однажды и говорит:

«Этот уже получил сполна за свои преступления, отпустите его, пускай живет и благодарит революцию за милосердие».

«И благослови их за это бог!..»

— Вот он и отблагодарил, — говорит Мария Брисеньо.

Она тоже подъехала сюда, в госпиталь имени Ленина Фонсеки, чтобы помочь нам разыскать врачей и сестер, которые лечили Байардо, и завершить, так сказать, «реконструкцию» его извилистого жизненного пути. — Правда, когда его выпускали, — продолжает Мария, — он радовался, говорил, что раскаялся, что встал на правильный путь. Тем более молодая жена у него, семья. Новая жизнь начинается. И все такое...

— Чем же он жил? — интересуюсь я.

— Сначала ему помогали соседи. Кто чем мог. Да и Кларибел работала за двоих.

— Где работала? — спрашивает Росарио.

— Домработницей, где же она может еще работать: молодая девушка без всякого образования, без специальности... Я чувствовала, как ей, бедняжке, трудно, — вздыхает Мария Брисеньо, — и предложила ей помогать мне по дому. Она приходила почти каждый день. И вскоре я заметила, что у них с Байардо жизнь не складывается.

Он буквально взбеленился, когда узнал, что Кларибел вступила в народную милицию. Несколько раз даже бил ее.

— Вот мерзавец! — возмущается Гладис.

— А сам он что: совсем не работал? — опрашивает Алма Патрисия.

— Его вполне устраивала роль несчастенького и беспомощного. Ему нравилось бездельничать. Он всегда с готовностью и как должное принимал подачки от соседей, — говорит Мария. — Несколько раз приходил ко мне домой: «Отдохну у тебя на диване». И валяется часами. Не знала, как его и выпроводить. Некоторое время пытался он подрабатывать как «амбуланте»: бродячий торговец. А потом вдруг исчез. Честно говоря, я даже обрадовалась за Кларибел: наконец-то она освободилась от этого тунеядца. Конечно, мы не знали тогда, что он сбежал в Гондурас. И уж тем более не могли предположить, что объявится в Белом доме рядом с Рейганом...

— А ведь сколько сил на него извели, сколько нервов, — говорит Алма Патрисия. — Сколько операций, процедур, сколько крови в него перелили, сколько сделали пересадок кожи и сколько... — она развела руками, — грех, конечно, об этом говорить, шла бы речь о любом другом, так не упомянула бы такое, но тут не могу не сказать... — она вздохнула. — Сколько дорогих и редких лекарств на этого подонка израсходовали! А ведь у нас лежали и женщины, и дети. Пенициллин, который ему отдавали, пригодился бы раненым революционерам, да что говорить!..

Она махнула рукой и в сердцах бросила на тумбочку уже изрядно помятый и растрепанный номер «Ньюсуика» с фотографией, которая вызвала все эти воспоминания. С фотографии смотрел на разгоряченных медсестер улыбающийся Байардо. И Рейган заслонял его от ужасов сандинистской диктатуры своей старческой, но все еще импозантной, сохраняющей голливудскую выправку фигурой. «Все в порядке, дорогой друг! — читалось в отеческом взоре президента. — Теперь ты находишься под сенью великой американской демократии, теперь ты, слава всемогущему богу, оказался в самой свободной стране».

Так сказал или подумал Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов Америки, страны, которую он не постеснялся назвать «сияющим городом на холме». И о которой другой американец, куда более великий и мудрый, — его имя Эрнест Хемингуэй — еще полвека назад сказал так: «Америка была хорошая страна, а мы превратили ее черт знает во что...»

И словно отвечая на горящий, начертанный у подножия статуи Свободы призыв-приглашение, обращенное к «усталым», «нищим», «мятущимся», «жаждущим дышать свободно», Хемингуэй продолжил свою мысль так:

«Пусть в Америку переезжают те, кому неведомо, что они задержались с переездом. Наши предки увидели эту страну в лучшую ее пору, и они сражались за нее, когда она стоила того, чтобы за нее сражаться. А я поеду теперь в другое место».

...К сказанному остается добавить еще одну, но весьма существенную деталь: через несколько недель после того, как «жертва сандинистов» Байардо Сантаэлис Селайа был представлен Рейганом на банкете в Вашингтоне, конгресс одобрил запрос президента о выделении 27 миллионов долларов на оказание помощи контраст, сражающимся против «сандинистской диктатуры». Видно, растрогала конгрессменов история Байардо, рассказанная президентом.

А на следующий год Рейган запросил у конгресса на помощь контраст уже 100 миллионов долларов. Аппетит, видать, и впрямь приходит во время еды...

Мотивируя свои просьбы, свои ходатайства по делам контраст, президент не жалел красноречия. Сначала он воспел высокие нравственные достоинства своих протеже: «Рождаются движения за свободу, которые утверждают свои права. Они возникают почти на всех континентах, населенных людьми: в горах Афганистана, в Анголе, в Кампучии, в Центральной Америке.

Эти борцы за свободу — наши братья, и мы обязаны им помочь. Я говорил недавно о борцах за свободу в Никарагуа... Вы знаете правду о них, вы знаете, с кем они борются и почему». (Далее, обратите внимание, следует самый вдохновенный и блистательный всплеск президентского красноречия.) «По своему нравственному духу они стоят вровень с нашими отцами-основателями и мужественными борцами французского Сопrotивления. Мы не можем отвернуться от

них, ибо это борьба не между правыми и левыми, а между правыми и неправыми».

Сравнения с Джорджем Вашингтоном и Томасом Джефферсоном — самыми святыми именами американской истории Рейгану показалось мало. Спустя несколько месяцев он пошел еще дальше: «Многие люди, поддерживающие силы контрас, никогда не называют их контрас, потому что „контра“ — это сокращение от „контрреволюционер“. А термин „контрреволюционер“ использовался там, в Никарагуа, как „сторонник Сомосы“. Это считалось оскорблением для сандиниста. Но, как вы знаете, Сомосы уже давным-давно нет. Революция, которая его свергла, затем переросла в коммунистический переворот, и так называемые силы контрас выступают против переворота. Поэтому в определенном смысле они действительно контрреволюционеры, и благослови их за это бог! И, как я полагаю, именно это и делает их контрас. И тем самым делает контра и меня».

...Никарагуанскую главу книжки я позволю себе закончить этой самой, пожалуй, удачной и самой красноречивой цитатой из еще, к сожалению, не изданного Полного собрания сочинений и речей 40-го президента Соединенных Штатов Америки Рональда Уилсона Рейгана. Первого президента этой великой страны, родившейся в огне великой революции, который открыто и во всеуслышание причислили себя к сонмищу контрреволюционеров.

Браво, сеньор президент! Спасибо за откровенность.

Промежуточный финиш

Одиннадцать часов вечера. Москва засыпает. Светлый в лучах прожекторов шпиль Останкинской телебашни пронзает черное небо. Отблеск ее света падает через окно кабинета, где я заканчиваю последние приготовления к очередному выпуску программы «Сегодня в мире». Собственно говоря, он уже готов: текст написан, «картинка» (так мы называем видеосюжеты) смонтирована, через несколько минут на моем столе зазвонит телефон, и я услышу: «До эфира — четверть часа. Приглашаем вас в студию».

В ожидании звонка листаю свежий, только что полученный из Бразилии номер журнала «Вежа». Сначала быстро-быстро. Как говорится, для очистки совести, лишь бы не проглядеть что-то важное. Потом притормаживаю себя. С удовольствием читаю заголовки, погружаясь в знакомый мир, в котором начинал корреспондентскую работу. Да, прошло немало времени с тех пор, как я впервые приехал в Бразилию, ставшую первой профессиональной любовью. А первая любовь не забывается никогда.

«Вежа». Номер как номер. Ничего сенсационного. «Президент принял делегацию губернаторов из штатов северо-востока страны. Губернаторы просят федеральной помощи в связи с сильной засухой». «В конгрессе обсуждается очередной проект аграрной реформы». На заседании выступили три сенатора, в зале находилось двенадцать... «Урожай кофе обещает быть рекордным. Специалисты полагают, что это повлечет беспредельное падение цен». Упадет в цене наверняка и продукция фирмы «Касике». Понесут убытки ее хозяева Орасио Коимбра и Родольфо Кретч. Как они там, интересно было бы узнать...

...Двадцать лет пролетели как один день, а там, в Бразилии, похоже, ничего не изменилось: «Пеле заключил миллионный контракт на рекламу новой модели мужского костюма. На коктейле, устроенном фирмой по этому случаю, бывший король футбола объявил о своем желании сняться в новом телевизионном фильме вместе со своей нынешней подругой модельершей Шушей, с которой он неразлучен после того, как разошелся с Роземери».

Обычный набор обычных новостей. Жизнь далекой страны на страницах журнала, который пытается быть интересным всем: богатым

и бедным, «кариокам» и крестьянам Рио-Гранде, крупным предпринимателям и мелким чиновникам.

Где-то в самом конце номера, в разделе «Экономика и бизнес» глаз вдруг спотыкается еще об одно знакомое имя: «Провал авантюры Людвига». Читаю: «Американский мультимиллиардер Даниэл Кэйт Людвиг принял решение отказаться от своего гигантского проекта Жари в Амазонии»...

Вот так бывает: под самый занавес приходит чуть ли не самая важная новость сегодняшнего дня. Правда, строго говоря, это уже не сенсация «дня»: журнал шел к нам в Москву дней двадцать. Так что о решении Людвига бразильцы узнали давно. Ну что ж, сегодня о нем узнают и советские телезрители. Пробегаю глазами заметку: да, действительно, разочарованный «враждебностью» бразильской общественности и «отсутствием понимания его проблем местными властями», американский миллиардер принял решение продать свое детище консорциуму из двадцати семи бразильских фирм и частных предпринимателей. На этой сделке он потерял около полумиллиарда долларов!

Вот это да! Это действительно новость!

Как жалко, что не удалось посмотреть «Вежу» пораньше! Прочитай я о банкротстве Людвига хотя бы в середине дня, у меня нашлось бы время для того, чтобы превратить это сообщение в самый интересный сюжет выпуска. Я успел бы порыться в досье, разыскать фотографии, слайды...

Я мог бы написать хороший текст, вспомнить скандал с массовыми скупками американцами земель в Амазонии. Напомнить о Фуллере и Селиге, о контрабандистах, промышлявших стратегическим сырьем, о миссионерах со счетчиками Гейгера, о тайных аэродромах и радиостанциях. Мог бы вспомнить, как в семидесятом году побывал в тех краях и своими глазами увидел возмущение бразильцев, требовавших от правительства положить конец «тихой оккупации» Амазонии.

Можно было бы показать фотографию самого Людвига и его знаменитую плавучую целлюлозную фабрику, которую он купил в Японии и доставил в Амазонию по штормовым водам трех океанов. Эта фабрика должна была превращать амазонскую древесину в бумагу, точнее сказать, в доллары, сотни тысяч, миллионы долларов.

Черт возьми, какой мог бы получиться прекрасный сюжет! Не могу, никак не могу простить себе, что самая интересная, «гвоздевая» информация насчет Людвига не сработает у меня так, как она того заслуживает!..

«И никогда нам не удастся сделать все, к чему мы стремимся», — сказал однажды Пристли о театре и актерах. Грустная и непреложная истина. Вот и в нашем деле тоже: что-то находишь, что-то упускаешь. И никогда не бываешь доволен собой.

Почему режиссер не звонит? Пора бы... Вновь беру «Вежу», перечитываю заметку о Людвиге, и в голову приходит еще одна мысль. Ее, пожалуй, можно назвать удачной. Удачная мысль — это очень важно в нашей работе. Когда за день приходят две-три удачных мысли, этот день можно считать прожитым с толком...

Так вот, последняя сегодняшняя мысль рождается на самом больном месте: на всплеске разочарования из-за потерянного сюжета о Людвиге. Мне приходит в голову, что раз уж нельзя превратить эту информацию в хорошее политическое «шоу», то, может быть, стоит... одну минуту, не торопите, дайте еще раз подумаю!

Да, сделаем так: я подверстываю сообщение о крахе амазонской империи Людвига к сюжету о поездке чиновника госдепартамента в Латинскую Америку. Это очередной вояж высокого гостя, призванный «приструнить» не в меру самостоятельных соседей. Далее следуют кадры с дрессированной лошадкой, которая управляет... автомобилем. Какой-то американский фермер, кажется из Техаса, усадил лошадь в пикапчик, переделал руль так, что лошадь могла мордой поворачивать его, и получилась любопытная картинка. Лошадь сидит в автомобиле, хозяин идет рядом и слегка стегает кнутом «водителя» по бокам. Ударит справа — пикап поворачивает направо, слева — налево. Комично? Да. Но ведь именно такой послушной лошадкой хочет видеть дядюшка Сэм своих южных соседей по континенту! Поэтому к этим кадрам следует комментарий: «Такой хотел бы видеть Вашингтон Латинскую Америку». А дальше? А дальше прибавлю: «Но вот беру журнал „Вежа“ и коротко излагаю суть дела: пытавшийся наложить лапу на национальные богатства Бразилии миллиардер вынужден капитулировать. Его амазонская империя переходит в руки бразильцев. Это значит, „дрессированная лошадка“ становится непокорной. Это

значит, что дядюшка Сэм, как бы ему того ни хотелось, уже не может, не способен диктовать Латинской Америке свою волну».

... Не бог весть что, но все-таки выход.

Хватаю ручку, пишу текст. Короткий. Несколько строк. Правлю. Отдаю машинистке.

Звонит телефон. Голос режиссера: «Пора работать!»

Встаю и иду в студию. Иду раздосадованный и злой. Нынешний день был далеко не лучшим. И обзор, с которым выйду сейчас в эфир, ничуть не интереснее сотен других, которые делал за последние семь лет. А жаль... Каждый раз хочется сделать что-то такое, чего никогда не удавалось раньше. Сегодня это не получилось. Может быть, в следующий раз повезет?

Кстати, когда я работаю в следующий раз? Через неделю во вторник? Но до вторника надо, как говорится, еще дожить. А пока у меня через двадцать минут очередной выпуск. Нет, уже через восемнадцать... Надо спешить. И я прибавляю шаг.

Я иду в студию. Через восемнадцать минут тем, кто еще не выключил телевизор, я вновь буду говорить о том, что произошло сегодня в мире. Чем жили, о чем говорили, что делали люди в этот относительно спокойный день в разных городах и странах по обе стороны экватора.

* * *

События, о которых идет речь в этой книге, охватывают два десятилетия: с 1966 по 1986 год. Конечно, здесь лишь малая часть впечатлений и воспоминаний, накопившихся за эти двадцать лет. К тому, что сказано на этих страницах, можно было бы добавить рассказы о поездках в Мехико, Каракас, Лиму или Буэнос-Айрес, о путешествиях на Азорские острова или плавании по Амазонке и озеру Титикака, о Панамском канале, об англо-аргентинской войне из-за Фолклендских — Мальвинских островов или футбольной «войне» на мексиканских стадионах во время 13-го чемпионата мира. О чем-то из этого уже рассказал в вышедших ранее книжках, что-то будет вспомнито и рассказано в будущих очерках. А некоторые мысли и воспоминания — такова уж природа творчества... — так и останутся в подвалах и

кладовых памяти. Двадцать лет работы — это, согласитесь, немалый кусок жизни. И хотя рано еще думать о подведении итогов, но чувствую, что книжка эта стала для меня чем-то вроде промежуточного финиша для велосипедиста, участвующего в долгой гонке. Чем-то, напоминающем конец трудного горного этапа. Когда, даже не завоевав призового места и не получив от судейской бригады льготных секунд, испытываешь все-таки чувство удовлетворения уже от сознания того, что выдержал затяжной подъем, не сошел после падения на крутом вираже, добрался до заветной черты и завтра сможешь снова продолжить путь к далекой цели.

И все же двадцать лет работы в разных и, как правило, довольно далеких странах по обе стороны экватора дают право сделать на этом промежуточном финише некоторые предварительные выводы. Оглянуться назад, прежде чем вновь устремиться вперед.

Первая мысль, о которой хочется сейчас сказать: при всей кажущейся многоликости нашего большого и беспокойного мира он все же удивительно един, если оценивать его по такому универсальному показателю, как стремления, чаяния и надежды людей. Да, да, это действительно так, несмотря на кажущуюся парадоксальность только что сделанного утверждения. На первый взгляд все люди стремятся к разным целям. Одни жаждут сорвать крупный куш на бирже и стать миллионерами, другие ищут славы на футбольном поприще, третьи мечтают найти хороший лист жести, чтобы закрыть щели на крыше лачуги в Санта-Марте. Кто-то молится на урожай бананов, а кто-то томится в ожидании вердикта судейской бригады на очередном конкурсе «Мисс Бразилия» или «Мисс Универсул». Но если судить по главному счету, если отбросить сиюминутные житейские планы, то нетрудно увидеть, что все люди на земле рождаются с одной и той же мечтой и надеждой: прожить жизнь, если не головокружительно-счастливую, то, по крайней мере, спокойную, без трагедий и несчастий, с минимально гарантированной верой в завтрашний день.

Любая мать, будь то дона Терезинья из здания «Сервантес» с Копакабаны, Роземери — супруга футбольного короля из «Сантоса» или Кларибел Изагирре из квартала Санта-Роса в Манагуа, неистово и страстно хотела бы видеть свое дитя здоровым и счастливым. И чтобы сын нашел хорошую и верную подругу, а дочь — умного и работающего парня. И чтобы у детей появились здоровые и, по возможности,

счастливые внуки. И так продолжалась бы жизнь наша и род наш от поколения к поколению. И чтобы дом и очаг и детей, и внуков, и правнуков был бы спокоен и приветлив. С минимумом достатка. Желателен, конечно, максимум, но если он невозможен — не всем же найдется место в здании «Шопен»! — то пускай будет хотя бы немного света и гарантированная лепешка из маиса под любой крышей.

А что нужно человеку, чтобы эти надежды сбылись? Многого нужно... Иногда — умение распорядиться тем, что досталось тебе по наследству, что расписал тебе в завещании своевременно почивший богатый дядюшка. Иногда — удача или счастливый случай. Иногда — умение, настойчивость или терпение. Чаще — вера в себя, в свои руки, в надежное плечо друзей и товарищей. Но самое главное, что нужно людям не только для счастья, но и вообще для жизни, — это мир. Безоблачное небо. Сознание того, что сын твой, призванный под ружье, не погибнет в джунглях Вьетнама или в горах Никарагуа. А дочь или мать не станут вдовами. И дом не сгорит в напалмовом смерче. И солнечный свет не закроется для тебя и для всех людей земли черными ядерными грибами.

За два десятилетия, прожитых в разных городах и странах, близких и далеких, я наблюдал и чувствовал, как все больше и больше охватывает людей понимание этой главной истины нашего времени: чтобы жизнь продолжалась, войны быть не должно. Жизнь и война не могут сосуществовать и даже соседствовать в мыслях людей.

Люди сознают, что разделенный термоядерным противостоянием мир становится все более неустойчивым, и начинают понимать, что именно наша страна прилагает главные, решающие усилия для превращения этого неустойчивого равновесия в стабильную, спокойную ситуацию. Отсюда — рост симпатий, надежды и благодарности, обращенных из самых дальних уголков планеты к Москве, к «Советской России», как нас часто все еще называют, и ко всем к нам, к советским людям.

Вообще, когда меня спрашивают, как относятся к нам в далеких градах и весях, я всегда отвечаю, что отношение это неоднозначно. Прежде всего оно никогда не бывает равнодушным. Точнее: нас или любят, или ненавидят. Третьего не дано. Нас любят, нам симпатизируют, к нам испытывают дружеские чувства миллиарды наших друзей всех национальностей и цветов кожи на всех

континентах. Их — абсолютное большинство. Но есть такие, что нас боятся и, повторю, ненавидят. Их мало, но они тоже есть, и об этом забывать нельзя.

Сотни раз наблюдал я знакомую картину. Вместе с группой коллег, журналистов из США, Франции, ФРГ — членов Ассоциации иностранной прессы или Клуба зарубежных корреспондентов, совершаем мы поездку по Бразилии или Мексике, Португалии или Эквадору. «Медвежий угол», глухая провинция, крохотный полустанок. Нас встречают местные власти, вокруг толпятся любопытные. Мы представляемся. Называем себя, называем страну, откуда каждый родом. Передо мной идут американец, англичанин, француз: «Я — из Вашингтона...» «Корреспондент „Таймс...“» «Заведующий бюро Франс Пресс». Я вижу вежливые улыбки и скуку в глазах. Когда говорю: «Московское радио», словно искра пробегает среди тех, кто встречает нас. Кто-то тянется ко мне с особо крепким рукопожатием, а кто-то, сжав зубы, отходит в сторону, чтобы избежать рукопожатия вообще. И маленький провинциальный мир оказывается с этого мгновения расколотым на тех, для кого я — «русский друг», и на остальных, кто видит во мне «этого типа из Москвы».

До сих пор сжимается у меня сердце и комок подступает к горлу, когда вспоминаю древнего старца в маленьком селении на юге Португалии в провинции Алентежу. Август семьдесят пятого года. Вместе с коллегой из Москвы приехали мы на митинг, посвященный проведению аграрной реформы в одном из уездов Алентежу. Землю, отнятую у латифундиста, передают крестьянам.

Пока Алексей Бабаджан снимает выступающих с трибуны ораторов и слушающих крестьян, мы с коллегой стоим в задних рядах и негромко беседуем. Я объясняю ему смысл происходящего и перевожу речи. Когда мы на несколько мгновений замолкаем, стоящий впереди старик оборачивается и, извинившись за беспокойство, спрашивает меня: откуда мы родом и на каком таком странном языке разговариваем?.. Я отвечаю ему, и тут... Даже не знаю, как описать эту сцену.

Старик шагнул ко мне, взял за плечи, положил свою седую голову мне на плечо и заплакал.

Я замер, не зная, что сказать и как быть. И так продолжалось довольно долго. Мне показалось, что это было долго... В конце концов

старик поднял голову, погладил меня по щеке морщинистой, черной от навеки въевшейся земли рукой и сказал, шумно вздохнув: «Спасибо, сынок... Теперь я могу спокойно умереть».

И, заметив ужас в моих глазах, добавил: «Я увидел наконец человека из Москвы. Ты сам посуди, сынок: столько лет мучились мы при фашизме! Голодали, страдали, умирали в нищете. А то и в тюрьмах умирали, как два сына моих. Они, понимаешь, пытались бороться, чтобы землю получить. Жили мы очень плохо, мучились, сынок, но всегда знали одно. Как бы тяжело ни пришлось нам, но есть на свете страна, которая наш друг. Есть люди, которые в решающую минуту нам помогут. Русские, советские люди из страны Ленина. И все мы тут думали: какие же вы? И вот теперь, когда увидел я человека из Москвы, могу спокойно помереть. Землю я получили русского живого увидел. И больше ничего мне от жизни не надо».

Этим воспоминанием хотелось бы и закончить книгу. Чтобы, поставив последнюю точку в конце последней главы, достать из пачки чистый лист бумаги и приступить к составлению плана следующей командировки, репортажа или книги. Жизнь продолжается, работа — тоже. И как сказал американский просветитель, ученый и дипломат Бенджамин Франклин, «если бы мне позволили выбирать, я бы не возражал против повторения всей своей жизни с самого начала, испросив при этом только одну льготу, какой пользуются писатели при повторении издания своей книги, — возможности исправить ошибки, допущенные в первом издании».

notes

Примечания

1

Напоминаю, это эти цифры относятся к тому времени — к середине 60-х годов. А впоследствии, с увеличением добычи нефти, страна стала получать от ее продажи до трех четвертей валютных поступлений.

Сейчас, когда я пишу эти строки, Хосе Солис Кастро является секретарем по международным связям ЦК Коммунистической партии Эквадора.

Капа и мулета — малиновый и красный плащи, с которыми работают во время корриды пеоны и тореро.

Куадрилья — руководимая тореро, или, как его иногда называют, матадором, бригада или команда участников корриды, в которую входят пеоны, работающие с плащами, пикадор-тореро на лошади и бандерильерос — вонзающие быку стрелы с острыми наконечниками — бандерильи, в загривок.